

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

2003

3

2003

ПОЛВЕКА БЕЗ СТАЛИНА БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

**В 2003 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Глаша (повесть);
АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН. Поверх старого текста (стихи);
АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);
ЮРИЙ БУЙДА. Кёнигсберг (роман);
ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Новая повесть;
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
АНДРЕЙ ВОЛОС. Новая повесть;
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ. Танк (повесть);
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Возвращение в Кандагар (повесть);
ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);
ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);
МАРИЯ ЛОСЕВА. Зимовье (роман);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новые рассказы;
АННА МАТВЕЕВА. Небеса (роман);
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума (роман);
ЛАРИСА МИЛЛЕР. На тонкой леске (стихи);
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ. Реабилитация, или Письма из Испании;
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);
ОЛЬГА НОВИКОВА. Женщина с ее проектами; Питер и поэт (из цикла «Вымыслы»);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;

(См. на обороте)

МАРИНА ПАЛЕЙ. **Вода и пламень** (рассказ);
ВИКТОР ПАНОВ. **И там жили** (из наследия);
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. **Заморозки** (повесть);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. **Пустырь** (повесть);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. **Третье дыхание** (повесть);
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. **Филологические новеллы**;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. **Избранник** (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное повествование);
ДИНА РУБИНА. **На солнечной стороне улицы** (роман);
РОМАН СЕНЧИН. **Вперед и вверх на севших батарейках** (повесть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. **Период** (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. **Новая проза**;
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. **Игры на свежем воздухе** (рассказы);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания; Этюды из «Литературной коллекции»**;
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. **Бабушкин спирт** (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. **Прощание с гармонистом** (роман);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. **Сансаныч** (повесть);
АНТОН УТКИН. **Новый роман**;
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. **Теленовости** (продолжение цикла «Мелочи культуры»);
ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ. **По мосткам, по белым доскам** (стихи);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. **Откос** (повесть);
ГУСТАВ ШПЕТ. **«Я пишу как эхо Другого...»** (письма к жене);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. **Смерть в операционной** (повесть);

а также стихи ТАТЬЯНЫ БЕК, СВЕТЛАНЫ КЕКОВОЙ, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ТАТЬЯНЫ МИЛОВОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, РОМАНА СОЛНЦЕВА, статьи, обзоры, эссе СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ИРИНЫ СУРАТ, ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2003 году: \$ 10,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2003. Пресса России». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталожная стоимость подписки на второе полугодие 2003 года — 414 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходиться за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Нахимовский проспект, 51/21), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА — Ты имеешь то, что ты есть, стихи	7
ЛЕОНИД ЗОРИН — Из жизни Ромина	13
ИРИНА ЕРМАКОВА — Легкая цель, стихи	30
МАКСИМ ГУРЕЕВ — Быстрое движение глаз во время сна, повесть. Вступительное слово Андрея Битова	35
ВИКТОРИЯ ИЗМАЙЛОВА — Дети затмения, стихи. Вступительное слово Дмитрия Быкова	75
ОЛЬГА ПОСТНИКОВА — Петь и петь! Рассказ	80
ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ — Жернова созвездий, стихи	89
АННА ВАСИЛЕВСКАЯ — Книга о жизни. Публикация Андрея Васи- левского. Окончание	92

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ — Уже открыт новый счет. Из дневниковых записей 1987 — 1994 годов. Публикация и примечания Т. Ф. Дедковой. Продолжение	133
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИРИНА СУРАТ — Смерть поэта. Мандельштам и Пушкин	155
--	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Валерий Сендеров. Из той страны, которой больше нет	174
Владимир Цивунин. Горькая дерзость Геннадия Русакова	178
Павел Руднев. Страшное и сентиментальное	182
Юрий Каграманов. Бес легкости и бес тяжести	185

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА	191
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО	199
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	203
WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО	205

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	209
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	213
SUMMARY	240

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА И КОЛЛЕГУ
ОЛЕГА ГРИГОРЬЕВИЧА ЧУХОНЦЕВА
С 65-ЛЕТИЕМ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
МАРИНУ ВИШНЕВЕЦКУЮ,
СЕРГЕЯ ГАНДЛЕВСКОГО,
АНДРЕЯ ГЕЛАСИМОВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ИМ — ПО ИТОГАМ 2002 ГОДА —
ПРЕМИИ ИМЕНИ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА,
УЧРЕЖДЕННОЙ АКАДЕМИЕЙ РУССКОЙ СОВРЕМЕННОЙ
СЛОВЕСНОСТИ И РОСБАНКОМ!**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА

*

ТЫ ИМЕЕШЬ ТО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ

Неровный час

У нас теперь своего шестка ни один сверчок
и знать не желает. Целыми днями
чаёт каждый туземец найти сундучок,
битком набитый дукатами, золотыми перстнями.

Грезит, как, стукнув лопатой, махнув топором,
пеньё сокровищ под спудом земным услышит
или как полкоролевства, чиркнув пером,
родственник неизвестный ему отпишет...

Снится ему по ночам — с черною головой
Левиафан с рубином на месте глаза
иль ядовитый колючий куст, съезженный, неживой,
выросший из алмаза.

...Тут у нас ходил какой-то старик да пропал с весны,
все грозил и к вечеру и под утро —
за такие грезы ваши, за ваши сны
даже мелкого жемчуга вам не дам, даже перламутра!

Даже розу не наряжу в ее пунцовый для вас!
Даже ласточка не будет вам серебриста!
...И оставил — пустынный берег, неровный час:
ни легкого сердолика, ни быстрого аметиста.

Снаружи и внутри

Маленькая женщина с сумочкой, с завитком у виска
семенит на зеленый свет, вдыхает запах весны,
а в груди у нее вроде как битва при Фермопилах, войска
ринулись врукопашную — кровожадно, распалены...

И все заливает мертвящий стеклянный свет,
и все оглушает протяжный надрывный стон:
маленькая женщина чаёт больших побед
и правоту свою снаряжает, как легион.

Весна

Даже постмодернист Лев Семенович призывал весну,
ждал пробуждения живности, молодой травки, птичьих щедрот,
ежился под снегопадом, носимый по ветру, ну —
вроде дозвался, а ветер дует, а снег идет...

Тогда ему приходит послание: «Дорогой Лев!
Смотри, какой у меня пронизывающий апрель и май — ледяной.
Даже июнь — и тот, колючим кустом задев,
знобит по ночам, пугает красной луной.

Метафорой одичанья бредит, эллипсисом: „Я — домой!”
Пиррихии и спондеи сбивают шаги,
намекая на зыбкость существования, на ломовой
язык, перевозящий такую тяжесть туда, где уже — ни зги...

А ведь было когда-то принято, чтоб воздух — горел, дрожал,
чтоб земля в цветущих одеждах, беспечальная, налегке...
Чтоб конь белейший под гору так прытко бежал, бежал,
и всадник его легонько пришпоривал — плеточка у него в руке!..

И если он говорил: „Весна!”, то — так решено.
И если он говорил: „Жизнь!”, то сразу — любовь: остра.
И если уж он говорил: „Смерть!”, то сразу она, но —
как бы прекрасная отроковица, потерянная сестра».

Знаешь ли ты

Знаешь ли ты язык обстоятельств,
на котором с тобой говорит Бог?
Понимаешь ли речь случайностей,
намекы обмолвок, порванный сон лукавый?
Читаешь ли трогательную историю дня, вслушиваешься ли в диалог
неба и персти, левой руки и правой?

Знаешь ли, о чем красноречиво свидетельствует внезапная немота?
Отчаянно жестикулирует паралич воли? —
Свобода в обмороке, иссякли
нюхательные соли ее, выдохся нашатырь... Так читай с листа
смирненные эти буквы — черные дождевые капли.

...Вот я и читаю эти голые ветки, этих нищих птиц.
Эту хронику поденной вековой барщины, судьбы самовластной
барство...

И все чаще вспоминаю Саула:
отец его посылал искать пропавших ослиц,
он так их и не нашел, но в пути повстречал пророка
и обрел Царство.

Ослицы, впрочем, сами потом нашлись. И пропадали — не зря.
Они вернулись домой. Отец был счастлив. Земля была разогрета.
Саул был призван на гору и помазан в царя.
И все вокруг ликovalo, Бога благодаря!
Но он обратил себе на погибель призванье это.

Песнопения

I

Господи! Я напоминаю чуму,
ураган аравийский, тьму
Египетскую, фараонову лесть,
а ведь так говорила — петь Господу моему
буду, пока я есть!

Я с ладоней Твоих глотала Твой виноград,
мне казалось — сплошь зарифмован Твой вертоград
и Твоя запятая всего горячей, остра...
И едва ли не Сам Ты — в летящем шелке до пят
прямо здесь стоишь — у самого моего костра!

...На меня поднимался самый мятежный полк,
и служил у меня на посылках матерый волк,
вечеряло небо со мной за одним столом...
До сих пор шелестит этот вкрадчивый легкий шелк,
уходящий в лепет: лепет, переходящий в псалом.

Безымянный — чернел под моею ногой провал,
бессловесный, одетый в железо, полк бунтовал,
осажденный город падал, смертельно пьян, —
пока Ты не взял меня в руки, словно кимвал,
не ударил, словно в тимпан!

II

Ты меня узнавал по имени меж теней.
И покуда лыка не свяжут пять чувств, семь дней
и двенадцать месяцев — здесь, в ледяном снегу,
не сыскать ни белых ворон, ни вороных коней,
ни тем паче того, кого назвать не могу.

Я к нему приходила со всем юродством своим, тоску
украшая венком из ромашек, лесным «ку-ку»,
веселящим юность, вином обожанья, но —
Ты был с нами всегда на страже и начеку:
помнишь, я ему жизнь свою обещала, как ни смешно?

Ибо что обещать может хвощ полевой у порога зимы иль жердь,
даже если Твоя земля начинает светиться, сияет твердь
и ликует воздушный сгорающий окоем?
Пока ты меж нами не встал и вторую смерть
не привел, а первой умерли мы вдвоем...

III

Дождь со снегом заняты собственным ремеслом,
присваивая окрестность, задним числом
поминая красавиц, а те, выходя из игры,
превращаются в тучных замерзших теток — уже с веслом
никогда не встать им у водомета — там, на верху горы...

Все в упадке, крушенье. Знобит ледяное пальто.
Если, правда, я есть только то, что имею, то я здесь — никто
и огульное «нет».
И сквозит в мое решето
синеватый морозный свет.

Сквозь меня мерцает молоденькая зима
и Господние праздники — Рождество, дома,
превращенные в ясли. Оттуда несется весть:
ты имеешь все то, что ты есть сама,
ты имеешь то, что ты есть!



ЛЕОНИД ЗОРИН

*

ИЗ ЖИЗНИ РОМИНА

ПРОГУЛКА

Как давно в моей жизни была та ночь, если до половины века еще оставалось несколько лет! Были потом и другие ночи, которые грешно забывать, и все же забыл, а ту я помню, кажется даже, что осязаю.

Уже началась календарная осень, но было по-летнему тепло, улица все еще сохраняла неуходящий полдневный зной. Только казалась длинней и шире, может быть, по причине безлюдья, может быть, оттого, что мгла увеличивала ее протяженность.

Однако глаза мои были молоды: я различал смену фасадов, глазницы витрин, успевал замечать, где обрываются кварталы, — совсем как в романе с продолжением — на самом неожиданном месте.

Тихо, неправдоподобно тихо. Эта густая тишина была одновременно торжественной, исполненной смутного значения и властной, не допускавшей и шороха. Она точно вырвала славный город из обихода сегодняшней жизни, перенесла на чужую планету, замолкшую тысячи лет назад. Тем громче отзывался в ушах четкий и равномерный стук, я даже не сразу догадался, что это стучат мои шаги. Не странно ли, все неподвижно, все замерло, лишь я перемещаюсь в пространстве, озвучиваю московскую ночь. Окна зашторены или закрыты, только из одного пробивается еле приметный свет ночника.

Насколько мягче сейчас столица! Днем она подавляет гостя, дает ему понять его место, обрушивается на него этажами и словно растворяет в толпе. Днем с мазохическим восторгом чувствуешь свою малость и хрупкость: ты — странник, пришедший на богомолье, в ночные часы — ты ее собеседник.

Не важно, что я скорее угадывал, чем видел, во тьме я острее обонял. Хоть ночь и смешала дневные запахи, я отделял один от другого — и опаленный смолой и дымом запах уложенного асфальта, и полусонное дыхание еще не остывшего кирпича, и сладковатую струйку гнильцы из чана, стоявшего в подворотне. Когда же на пути возникал какой-нибудь сквер, сквозь дрожь ветвей, уже обреченных на дни листопада, ко мне доносился чуть слышный призыв ушедшего лета, земля и трава по-прежнему кружили мне голову.

Мне было жаль, что метро закрыто. Я не успел к нему привыкнуть и с радостью входил в его чрево. В нем так естественно уживались пряный загадочный дух подземелья и столь домашний запах мастики. Я погружался в особый мир. Он обдавал меня терпким жаром влажной человеческой плоти и вместе с тем внезапной прохладой, летевшей впереди поездов, пронизанной их свистом и ветром. Сейчас там было глухо и немо.

Но улица не была безгласной. Кто говорил, что ночь враждебна? Все обстояло наоборот. Стены меня уже не давили, а тротуары не отторгали,

Зорин Леонид Генрихович родился в 1924 году в Баку. Окончил Азербайджанский государственный университет и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор многих книг прозы и около полусотни пьес, в том числе «Покровских ворот», от имени главного героя которых — Костика Ромина — и ведется повествование в предлагаемом цикле рассказов. Живет в Москве. Постоянный автор «Нового мира».

встречные тумбы мне не казались ни безучастными, ни слепыми — каждая со мною здоровалась шелестом театральных афиш. Впрочем, я мог бы понять и раньше: то, что так кругло и дородно, не может не источать доброты.

Теперь, когда мегаполис стал ближе и я ощутил возникшую связь, мне вновь захотелось его спросить: найдется ли в нем для меня местечко? Не в первый раз я об этом спрашивал, но в этот час между ним и мною ничто не стояло, ничто и никто, вдруг он меня наконец разглядел? Я словно ждал условного знака. И в этот миг над моей головой чуть слышно раскрылись створки окна.

Я часто ловил себя на том, что засматриваюсь на окна столицы. За ними текла другая жизнь, она томила воображение, мне приходилось только гадать: кто эти люди, которым однажды выпало родиться в Москве? Чего добиваются и добились? Какую отвоевали жердочку в этой волнующей карусели? Я мысленно сочинял биографии, сталкивал судьбы и отхождения.

Однако в ту ночь я готов был поклясться, что сквозь распахнувшееся окно вижу супругов или любовников. С такую резкостью и отчетливостью, как будто я их фотографировал. Окно отворилось совсем не случайно и не за тем, чтоб умерить пламя, а для того, чтоб я стал свидетелем их упоительной бессонницы. Власть разгоревшейся фантазии была поистине гипнотической, я был почти убежден, что слышу сдавленный шепот, счастливый всхлип, и кажется, во всей полноте испытывал то восторг, то зависть.

Видение, поманив, исчезло, я снова был один на земле, мир оставался непроницаемым, небо — пустым и неподвижным. Цвет его был чернильно-черен, лишь одинокая звезда мерцала, как давешний ночник, мигнувший мне из твердыни дома. Кто-то не спал в ту ночь, как я, кто-то такой же неугомонный, с такой же неутоленной душой; жаль, все остальное было несходно — я был здесь чужой, а он был свой.

Странное дело, ведь я уже знал, как нелегка столичная жизнь, ее изнурительный, вязкий быт. Немногие тут живут сепаратно, все остальные — в тесном соседстве, под постоянным взаимным присмотром. В такой же очереди, что и везде. На улице — за батоном хлеба, внутри — к умывальнику и стульчаку. И сам я так жил в запроходной, и оболящаться мне было нечем.

Но все это сущие пустяки в сравнении с тем, что вокруг меня один за другим пропадали люди, то и дело исчезали бесследно. Кто сказал, что меня эта чаша минет, что ко мне это не имеет касательства? Удивительно, как во мне уживались несовместимые самооценки — лелеял Наполеоновы помыслы, но думал при этом, что слишком я мал, чтоб вызвать внимание соглядатаев.

Как уязвима была моя молодость! Дело было не в унижительной бедности, почти граничившей с нищетой, не в бездомности, а в ее незащитности, в зависимости от чьей-либо злобы, от самой ерундовой нелепости, от поворота шестеренки. Стоило только приблизиться к жернову — и нет ее, поминай как звали. Впору было бежать сломя голову, найти забытое богом укрытие! Но я ничего не сознавал. Даже на ум не приходило, что город моей мечты опасен.

А между тем и ума не требовалось. Мне-то легко было разобраться. Я проводил ту ночь на улице не из любви к ночным прогулкам. Мою двоюродную тетку, которая дала мне приют, дважды навестил участковый — узнать, почему я живу без прописки. Рассчитывать на нее я не мог — родство было признано слишком дальним. Я счел за лучшее не появляться в ближайшие ночи — для собственной пользы: спящего как раз и накроют.

Достаточно внятное приглашение убраться подобру-поздорову! Но я пренебрег им по обыкновению. К этому времени я привык отмахиваться от разумных советов и от разумных предостережений. Не то по южной своей беспечности, не то из-за глупого куража — порой они бывают спасительны. Все, что со мною происходило, было в моих глазах неприят-

ным, но неизбежным эпизодом в борьбе за мое московское будущее. А то, что только одна Москва и есть состоявшаяся жизнь, было для меня несомненно.

Должно быть, поэтому я шагал по темным улицам, не ощущая ни ущемленности, ни усталости. Совсем наоборот — я испытывал непобедимый душевный подъем. С детства я жил ожиданием чуда, верил, что однажды с ним встречу, пусть даже оно от меня потребует усилий, превосходящих возможности.

Чем ближе было другое столетие, тем все настойчивей я себя спрашивал: что же оправдывает усилия и какова она, их цена, есть ведь предел у всякой платы. Но так и не смог себе ответить. При мысли, что они позади, казалось, я чувствовал только радость, однако наступала минута — и вдруг понимал, что готов на все, на все напасти и горькое горе, готов повторить присужденный мне срок, пожизненное мое приключение, лишь бы идти по ночной Москве, вслушиваясь в ее тишину, вглядываясь в чужие окна и в одинокую звезду в непроницаемом черном небе.

СЕМЬЯ

— Когда поженились, мальчишкой я был, — негромко говорит Рудаков, — в этом и секрет неудачи. Жизнь жить — не на тахте кувыркатся. Помыкалась Ольга со мной по хозяйствам и заскучала, понятное дело. В городе женщине веселей. Но если ты леса не любишь, не чувствуешь, зачем тогда выбрала лесотехника? По-моему, она знала, чем кончится. Недаром же не хотела детей. И вышло, что к тридцати годкам оказался я холостой мужчина.

Положение это, скажу вам, дрянное. Особенно при моей профессии. Три года бирюковал бобылем, едва говорить не разучился. Характер у меня стал хуже некуда. Ожесточенный. Кто лес валил, знали: этому лучше не попадаться. Волчарой звали. Станешь волчарой! Вальщиков еще можно понять: им тоже надо семью кормить. Так ведь от них и начальнички кормятся. Эти всегда в первых рядах. И чем помельче, тем беспардонней. А форсу-то... Самый хреновый народец. Не зря говорят: без порток, а в шляпе... Ну ладно, на то она власть, чтоб красть, но все-таки вы же еще лесопользователи. Ельник вырубил, за кедр взялись. Он уже теперь в Красной книге. Найди нынче дерево в три обхвата...

Идет по Оби теплоход «Чулым». Мы с Константином Рудаковым пристроились на корме на брезенте и время от времени наполняем свои пластмассовые стаканчики густой струей из домашней бутылки.

Знакомство свели на тобольской пристани, за час или два перед посадкой. Как это частенько бывает, в пестрой толпе случайных спутников невольно выделили друг друга. Не знаю, чем я привлек внимание, я-то его заметил сразу. От будущих пассажиров «Чулыма» он был отгорожен своей неспешностью, бросавшейся в глаза отрешенностью. Было видно, что и его молчаливость не оттого, что сказать ему нечего, а оттого, что всего не скажешь. Бросит словечко, одно-другое, — и вновь сомкнет бескровные губы. Я и не думал, что он способен на монолог — весь путь от Тобольска отделялся невнятными фразочками, и вот — точно хлынуло. Прорвало.

Суровая обская волна с урчанием омывает «Чулым», дышит студеным колючим ветром, необъяснимым в зените лета. В Тобольске стояла духота, город искал в воде спасения — похоже, она сама раскалилась от голых разгоряченных тел. Но чем очевидней истаявал день, тем становилось вокруг свежее, а с час назад темно-бурый Иртыш уткнулся в Обь, и Обь приняла его, вобрала в себя, хозяйски окрасила серебряным металлическим цветом. Только не сдавшийся до конца, сквозной малахитовый оттенок напоминает об Иртыше, о беспощадном тобольском полдне. Все поменялось: сол-

нечный луч из золотистого стал вишневым с бледным синеватым отливом, лес — реже, воздух точно похрустывает ломкой прохладой нескорой осени.

Выглядит Рудаков неброско. Он плотен, но над мосластым туловом — худое, усталое лицо. Нос у него утиный, добрый. Но медные глаза часто хмурятся. Выбрит небрежно, на подбородке, как первый снежок на осенней стерне, пробивается поседевший волос.

Самогон на кедровом орешке жжется, приручаем то муксуном, то нельмой. Рудаков продолжает свою историю, мне остается лишь гадать, что же с ним сейчас происходит — то ли все разом поднялось, скрытое, давно погребенное, то ли утомился под тяжестью не произнесенного вслух, перемолчал и вот захлебнулся не сказанными прежде словами.

— В общем, такие отношения сложились с начальством — узелок. Будь ты двужильный, а не развяжешь. Хоть у верблюда два горба, потому что жизнь — борьба, а ничего никому не докажешь. Верблюд поэтому и верблюд — доказывает, что он не верблюд. На нем и ездят. В общем, однажды расплевались к взаимному удовольствию.

В Дворках я оказался так: один корешок — служил я с ним срочную — позвал недельку у них пожить. Подумал-подумал — и поехал. Сколько ни петушился, усыхаешь от своего житья-бытья, от всех своих замечательных дел. Каждый почему-то уверен: возьми левее или правее, и все пойдет чин чинарем. Сразу наладится — здесь вам не тут. На самом деле и здесь все то же. Всюду серийная продукция, как говорится, один узор. Но у меня началось по-новому. С белого, можно сказать, листа.

Дворки — это районный центр. В округе другое слово: район. «Меня с утра в район вызывают», «В районе — собрание», «В районе — артисты», «Поеду в район качать права»... Понятно, не город, не городок, самое верное название — поселок городского типа. Но, правда, если принять во внимание подчиненную ему территорию, то какая-никакая — столица.

Когда там прознали, что я лесотехник, — на уши встали, иначе не скажешь. Сдували пылинки, соломку стелили, обхаживали меня, как невесту. Когда ты нужен, ты лучше всех. А лесотехник им так был нужен, хоть в струнку вытянись, а найди. Своего они год назад схоронили. Мужик, говорили, был как ствол, а рухнул в одночасье, без звука. Известно, такие хворью не маются, они кончаются на ходу. Уговорили вдову и дочь остаться вместо него — до замены. Как они без самого управлялись — понять не просто. Но — управлялись.

Ждали как раз лесникову дочь. От их заимки, можно сказать, семь верст до небес и все пеши. Может, до небес и семь верст, а до района полста — не набегаешься. Разок в два месяца выбиралась.

И появляется эта Анфиса. Чем-то, само собой, запастишь, конечно — среди людей потолкаться, а прежде всего — решать проблемы: поставить в известность про то, что делается, поплакаться на все затруднения. А ей приготовили тут сюрприз. Знакомься, Фиса, и прояви себя. Твое спасенье — в твоих руках. Сумеешь уговорить человека — можете сдавать ему пост.

Вечер солнечен, небо бело. Рудаков неторопливо покуривает, смотрит на проплывающий берег. Вдали обозначивается цепочка горной гряды, все больше затонов, все чаще просеки и лужки, лес на глазах уменьшается в росте, словно в предчувствии лесотундры, уже подступающей к тайге. Кажется, что до нас долетает стылая сырость мшистой земли.

— Познакомились, — говорит Рудаков. — По первости девушка как девушка. Ростом невелика, кость узкая, губы сжаты, точно слова стережет. Волос русый, скуластенькая, глаз быстрый и цепкий, охотничий глаз. А цвет неожиданный и опасный — яшмовый, с кошачьей загадкой. Как говорится, увидишь — вздрогнешь.

Не расставались мы с нею весь день. Мало-помалу разговорилась. Сперва — про хозяйство, вводила в курс дела. Потом — про отца, земля ему пухом, про мать, про себя. В общем, доверилась. Вечером пошли с

ней на танцы. Стоило ее приобнять, и все мне сразу стало понятно. Девушки — каждая наособицу. Одна — обезьянка, лицом хлопочет, другая — наоборот, тяжелая, как шапка Мономаха, а третья — в атаку с грудью наперевес. Анфиса ничем себя не выдала, но положил я ей руку на спину, и все в ней будто оборвалось. Лопатка вошла в мою ладонь и целиком в ней поместилась. Друг к дружке прижимались мы плотно, местные ребята набычились, однако никто не подошел. Видят, с ней — взрослый человек, а главное, все прочие — лишние. Что тут сказать? В тот вечер в Дворках музыка только для нас играла.

Когда провожал ее, говорю: идем со мной. Она усмехнулась: ты разве мне муж? Я ее спрашиваю: а что — не гожусь? Она промолчала. Потом вонзилась кошачьими глазками, шепнула: женись — не пожалеешь. И я, как в дыму, говорю: женюсь. Все тут сошлось. То ли поверил — не пожалелю, то ли устал, всякое дерево устает. То ли решил: как будет, так будет. Куда ни бредешь, от судьбы не уйдешь.

Утром нас с нею и записали. Довольные, лыбятся, чуть не пляшут. Разом и сняли все вопросы. Лес под присмотром, я — на крючке, и дочь с вдовой не нужно устраивать. Ни за кого голова не болит.

Свадьбы играть мы с ней не стали. И я не люблю, когда толпятся, и ей эта шелупонь ни к чему. Отметим с моим корешком, с женой его, с тестем, ну и ладушки. Потом оформился как положено и двинулся с молодой женой на новое место работы и жительства. Вся моя кладь была со мной. Много добра себе не нажил, а то, что нажил, то отдал Ольге.

И вот являемся.

— Здравствуйте, мама. — Здравствуй, доча. Ты, вижу, с гостем? — Не с гостем, а с мужем. Знакомьтесь, мама.

Чем дальше, тем больше Обь утрачивает малахитовую иртышскую рябь. Окрас волны не то слюдяной, не то свинцовый. Бледное небо медленно начинает темнеть. Рудаков усмехается и продолжает:

— Теперь представьте любую женщину: дочка твоя ушла в район всего на три дня, вернулась вдвоем, и ты не только вдова и мать, ты еще теща, а этот лоб — твой зять и новый хозяин тайги. Что бы сказала любая женщина? Нашла бы два-три подходящих слова, а может быть, не только два-три. Но Софья Петровна была не любая. Только взглянула на дочь с интересом, потом — на меня, головой качнула, бросила: «Ничего зятек», — и начала собирать на стол. И у нее было чем встретить, и мы не с пустыми руками пришли.

За ужином я на тещу посматривал. На дочь свою совсем не похожа. Как лиственница против ольхи. Крупная, мощная, стать атаманская, тугая, кусочка не отколупнешь. И не намного старше меня. Пускай не в самом цвету, но — в силе.

Она — в свой черед — ко мне приценивается. Вроде бы возражений не вызвал. Разговор она ведет осторожно, в душу не лезет, все понимает. Один раз головой покачала и засмеялась. — Чем распотешил? — Да нет, — говорит, — я о своем. Думаю, как ты в лесу жил-работал? Глаз доверчивый, как у бурундука.

Тут уже я повеселился, вспомнил, как вальщики волком звали. — Не опасайтесь, Софья Петровна. Верю с разбором, а глаз у меня видит насквозь и даже глыбже.

Принял я у женщин хозяйство. Знакомые радости. Короед. Насекомые обжирают листья. Затенение. В почве мало воды. Ядровая порода так-сяк, а с заболонными есть проблемы. Но если на круг, то лучше, чем ждал. Вник в обстановку, пришел в равновесие. Дерево не человек — поладим.

И стали мы жить своим обиходом. У каждого имелись обязанности. Работы в доме не убывало, поэтому дом и был отлажен. Какой-никакой, а огородишко. И живность. И банька была пристроена. Покойник умел свою жизнь оборудовать, да и помощницы не ленились. Банька была наша

главная радость. Женщины приготовят душицу — это такая сибирская мята, — сделают из нее отвар. Этот отвар мы с Фисой плеснем прямо на раскаленные камни — дух от них сразу такой, что хмелеем. После польешь их медком или пивом — они начинают пахнуть хлебом, горячим, только что испеченным.

Вошел я в эту жизнь, как в паз. Недаром и псы меня признали с первого дня — кое-что значит! С ними и веселей, и надежней. В тайге с человеком встретиться можно, а человек — не зверь. Пострашнее. Увидишь, как они ноздри раздуют, сперва себя спросишь: не пахнет палом? И тут же: а человеком не пахнет? Идешь осторожно, ступаешь мягко. Лес вообще учит приглядчивости, особенно — хвоя, когда по коре подсчитываешь кольца прироста.

В общем, и днем зевать не приходится, и ночью не спишь с молодой женой. Нет-нет и вспомнишь, как посулила: «не пожалеешь». Сдержала слово. В себе не сомневалась. Вдруг спросит: «По людям еще не заскучал?» И засмеется, блеснет в темноте яшмовым глазом, сама и ответит: «Зачем тебе люди, если я есть». И не поймешь — откуда берется. Девчонка, а все про любовь понимает. И кто научил? Опять смеется: «Это мне дан такой талант».

Конечно, свое медовое время, самое сладкое и бесстыдное, нужно проживать без свидетелей. Хотя и в пятистенке мы жили, и комната своя — не укроешься. Пусть не от глаз, так от ушей. Думаю, и Софье Петровне тоже тогда не больно спалось.

Но — не показывала вида. Добра, улыбчива, мне за столом подложит в тарелку лишний кусок: ешь, зятек, сил набирайся. Всегда в движении — дом на ней, тело носит легко, как платье. Посмотришь — совсем молодая женщина.

Тут бы и раскинуть мозгами. И ей, и Анфисе, а первому — мне. Но все мы — не в обиду будь сказано — скроены по особой мерке. Назад обернуться — охоты нет, вперед заглянуть — кишка тонка. Первая заповедь: не задумывайся. Главная песня: авось да небось. Вроде и знаем, что только мусор плывет по течению, а плывем.

Отправилась моя Фиса в район. А мы с Софьей Петровной остались. День выдался такой же, как прочие. Есть чем заняться — и ей, и мне. Дотопал до пади — давно наметил. Прутьев на жердочки нарубил. Достал полосовое железо. Осенью без фашиника взмокнешь.

Вечером, после трудов наших праведных, зовет подкрепиться. Сели, заправились, приняли с нею по стопарю. И вижу я, сидит она смутная, непохожая на саму себя. И на меня не глядит, смотрит в сторону. Спрашиваю: что-то не так? Молчит, потом говорит еле слышно: будь человеком, помоги...

Сразу не понял, когда дошло, чуть не лишился дара речи. Только и выкнул: Софья Петровна...

Она остановила: не надо. Я себе все слова сказала. К ним уж ни одного не добавишь. Сам видишь, каково мне просить. Был у меня терпеж — весь вышел...

Он снова наполняет стаканчик, вливает его в горло не морщась. Обский жестяной ветерок лезет за ворот все беспардонней, но я не решаюсь прервать Рудакова.

— Всякий мужик на свой салтык. Можно, конечно, меня ископытить за то, что я — не зола в обертке, за то, что дал тогда слабину. Но пусть мне покажут того героя: сам — крепость, граница — на замке. Хотя бы издали поглядеть на этого Железного Феликса. А самое главное, я-то видел, что тут не скука, не баловство, легко ли вымалывать женщине ласку, признаться вслух, что сама с собою не может ни справиться, ни совладать.

Особенно такой, как она. Я не вчера на свет родился, уже и забылось больше, чем помнится, однако же есть у каждого то, чего никакая вода не

смоет. Не знаю я, кто кому помог и кто кому мог позавидовать. Казалось, что кровь у нее звенит. Дарила себя — не берегла, себе про запас ничего не оставила. Как будто все было в последний раз, а завтрашнему дню не бывать.

Но человек интересно устроен. Чем больше отдаст, тем больше возьмет. Чем больше возьмет, тем больше нужно. Сказал я однажды Софье Петровне: ты все-таки во вкус не входи. Так до беды недалеко. Она отвечает: сама разберусь.

Было бы ей меня послушать. Когда живешь под одною крышей, такого, сколько ни прячь, не спрячешь. Сколько ж следить за каждым шагом — ровно ты партизан в засаде. Анфиса умна и не слепа. Пошла у нас веселая ярмарка. Счеты-пересчеты, разборки. «Мать мужа у дочери отнимает, ей надо порушить мою семью». Попытался принять огонь на себя: «Что ты бросаешься на нее? Мне выговаривай, я не маленький». Ну, ей не докажешь: «Какой с тебя спрос? Она тебя сразу разглядела. Приметила: глаз у тебя доверчивый». — «Мой глаз — значит, моя и вина». — «Твой глаз, ее слез. Твоей вины нет. Мужик никогда не виноват. Его помани, он и готов. Будто не помнишь?» Ну как не помнить? Помню. «Женись — не пожалеешь»... Теперь-то я распознал и понял, в кого моя жена удалась и от кого у нее талант.

Софья Петровна сперва не отбрехивалась. Бросит словечко — и молчок. Вся красная, как осиновый лист. Но Фису смирением не уймешь. Дух переведет, сил накопит, воздуха в легкие наберет и снова за свое: «И ведь чувствовала... Когда я шла в район, сердце ныло. Подсказывало, что дома делается». Софья Петровна говорит: «Тихо оно тебе подсказывало». — «Себе не верила, все надеялась, что хватит у родной матери совести». Этим Анфиса ее и достала. Софья Петровна вдруг поднялась, лицо от волнения стало белое, и с маху по столу — кулаком — «Все, дочка, наслушалась я тебя. Теперь помолчи, меня послушай. Раз уж о совести речь пошла, мне есть что тебе сказать, моя ясочка. Все правильно, я его попросила. Прости, что я живая, не мертвая, что следом за отцом не отправилась. Ты мать убить готова. За что? За то, что я тебя гладкой вырастила, жить научила, всегда заботилась? За то, что отчима не привела? Ты, мать не спросясь, с мужиком явилась, я слова поперек не сказала, а ты подумала обо мне? Легко мне на простыне вертеться, пока тебя топчут каждую ночь? Легко мне было его просить? Чуть ли не кланяться-христарадничать? Я ведь не трясогузка нынешняя, не шлюшка какая, не те мои годы... Была бы ты хорошая дочь, хоть посочувствовала бы матери...» — «Так, может быть, — Анфиса кричит, — мне вам еще спасибо сказать? Мужем не делаться...» — «Ах, не делаться? А ты поделись, дрянь бессердечная, мужа твоего не убудет. Смотри, Анфиса, не промахнись. Одной щелкой мужика не удержишь. Ему еще и душа потребуется. А у тебя вместо души только трухлявая деревяшка».

Долго они не унимались, долго друг дружке шерсть трепали, не день и не два, но больше для вида и для порядка, чем от злости. Вышло в конце концов по-тещиному.

Как быть-то? Либо живи, как жил, либо круши все до основания. Пусть остается Софья Петровна одна на свете, а ты бери Фису, которая уже ходит тяжелая, и сматывайся незнамо куда.

И стали мы жить одной семьей. Конечно, иной раз женщины сцепятся, тогда вмешиваешься: «Кончайте шуметь. От ваших свар голова трещит. Уйду от вас в лес на две недели». Тут они быстро входили в норму.

Анфиса, само собой, психовала: «Вырастет у меня живот, она тебя совсем оседлает, весь ей достанешься». Софья Петровна тоже за словом в карман не лезла: «Стыд поимей, о чем ты маешься? Не за дитё — о том, чтобы матери, не дай бог, чуть больше не перепало. Нет у тебя другой заботы, сучка ты этакая, ревнующая». Ну да ведь женщину не вразумишь.

Но вскорости в нашей семейной истории случился еще один поворот. Заметил я, что Софья Петровна день ото дня все темней лицом. Раньше Анфисе и слова не спустит, теперь как будто ее не слышит. Спросил я ее: что происходит? Дернула плечом: мое дело.

Как отрубил. Твое так твоё. У каждого что-нибудь есть в заглазнике. Однако проходит недельки две, вечером села она перед нами, ноги в стороны, руки висят как плети: «Доча, родная моя, беда. Не ты одна у нас затяжелела. И я туда же, коряга старая... Надеюсь я плод извести, и ничего не получилось. Не верила, что такое возможно, вот время и упустила — поздно. Вышло у меня, как в пословице: хоть яловая, а телись. Уж вы простите меня, дурную». Тут они обе заголосили, а я из дома на воздух вышел, покурить и обмозговать ситуацию.

Смолю и думаю: что ж нам делать? Фиса родит, и теща родит — кем же мои дети окажутся? Тот, что от тещи, он Фисе — брат, а Фисиному ребенку — дядя. Другой вариант: сестра и тетка. А я кто буду собственным детям? Одновременно отец и дед. Сраму-то! Головы не поднимешь. Понял: пора уносить нам ноги.

Вернулся и застаю картину: обе лежат и спят, умаялись. А спят-то, между прочим, в обнимку. Стою и гляжу на них на обеих, на бедных моих залетевших баб, впору и самому зареветь.

Но ты — не выпь, чтобы выть в лесу до самого рассвета. Нет права. За ночь восстановись, днем действуй. Спился со своими ребятами, вместе учились, — закорешились. Подставили плечо, помогли, в скором времени прислали мне вызов.

Сложили вещички — ехать так ехать. А в сердце тоска — то место любу, где счастье видел, здесь его было больше, чем за всю мою жизнь.

В районе меня чуть не побили. Можно понять — и сам ухажу, и женщин увожу, а они их все-таки до меня вырочали. В общем, прошел как лесной пожар, оставил после себя головешки.

И вот оказались мы все в Надыме. Рассказал там про свои обстоятельства. Так, мол, и так, вот такой наворот. Софье Петровне надо рожать, а муж ее скоропостижно помер. Ясное дело, мы опасаемся, чтоб потеря не отразилась на родах. Куда ни кинь, а женщина в возрасте. Посоветовали сменить обстановку. А тут еще и жена, как на грех, точно в таком же положении.

Сочувствуют. Нелегко мужику. Досталось ему по полной программе.

В скором времени наша семья увеличилась. Сперва родила Анфиса Серезжку, а следом Софья Петровна — Сашеньку. Не доносила почти два месяца. Но вроде обошлось — уцелел.

Живем, обживаем новое место, растим потихоньку племянника с дядей. Племянник на месячишко постарше, ну да пока им это без разницы.

Усмешка на бледных губах Рудакова, едва появившись, сразу же тухнет. Чинарик, зажатый в пальцах, крошится. Он медленно прячет его в карман.

— Недолгая была передышка. Год-полтора — и под откос. Сломалась наша Софья Петровна. Она почти сразу все просекла, но долго вида не подавала. Держалась из последних силенок, меня подбадривала, пошучивала: «Есть такая бабья примета: грудь чешется — милый по мне скучает». С груди у нее все началось. Потом уже, когда всем стало ясно, шутки кончились: «Ничего не поделаешь, за все хорошее люди платят. Трудно мне мой поскребыш дался».

Быстро ее сожрала хворь. Сколько хирурги ее ни резали — все только хуже. Потом сказали: «Домой возьмите, хватит ей мучиться». Приходит Фиса, от слез опухшая. «Иди, — говорит, — зовут попрощаться».

Вошел я к ней, присел на кровать. Смотрю на нее, узнать невозможно — где ее стать, ее красота? И все передо мной будто встало — какой я увидел ее в первый раз: литая, спелая, сила такая — кажется, что сносу ей

нет. Тот вечер, когда ко мне подошла, — ноги не держат, глаза не смотрят и — еле слышно: «Зятек, помоги...» Куда все делось, куда пропало?

Она мой взгляд поняла, улыбнулась: «Вот, стала я сухая трава — ни коню корм, ни конюху подстилка...»

Все шутит, а я от этих шуточек совсем чумной, язык не ворочается. Она все видит и говорит: «Да не смотри ты так на меня, бурундучок ты мой разнесчастный. Все у нас не напрасно было. Сашечку оставляю. На память. Заместо себя».

И шепчет: «Спасибо».

Я говорю: и тебе, Соня. Прости, если что было не так...

Единственный раз назвал ее Соней. И тут она взяла мою руку, поцеловала, махнула ладошкой: иди... И отвернулась к стене.

Вышел, провел по лицу пятерней, а оно мокрое, как гриб.

Пьем молча, не скупно, но не хмелеем. Похоже, что на обском ветру кедровый орешек не так напорист.

— Схоронили, — говорит Рудаков, — и точно я себя потерял. Спать перестал, скриплю зубами, корчусь, как береста на огне. Если бы не Анфиса — запил. Не зря тогда посулила в Дворках: женись — не пожалеешь. И правда — она меня за волосы вытащила.

«Не стланик, так не стелись». Все верно. Нашему брату нельзя пластаться.

Усыновил я родного сына, стал он из дяди младшим братом, и сразу перебрались в Матлым. От всяких ненужных разговоров. Опять новосел, в который раз...

И ведь не от склонности — от судьбы. Вообще-то я скажу вам по опыту: тяжелый вес человеку вреден. Трудней укореняется в почве. Самое легкое дерево в мире растет на африканском болоте, а делают из него плоты. Амбач называется. Так и в жизни: будешь легче — и будет легче.

Он неожиданно смеется:

— Недостижимая мечта.

Держим паузу. Каждый молчит о своем. Где-то, почти на другой планете, Москва, из которой я кинулся в путь, поверив тому, что дорога лечит. В дороге не будешь гадать, как сложатся эти шестидесятые годы, куда они тебя заведут.

Негромко вздохнув, Рудаков говорит:

— Живем теперь, можно сказать, по-людски. В прошлый раз, когда ездил в Тобольск, взял своих пацанят с собой. Пусть глянут на городскую жизнь. Сходили мы с ними в сад Ермака, поели мороженого, послушали музыку, потом — в кино, гулять так гулять.

— Сами по городу не томитесь?

— Долго там не могу. Отвык. И толкотня, и воздух не тот. Безжизненный и неразличимый. В лесу все дышит, и все по-своему. Ствол — возрастом, корни — землей, листья — ветром, мох дышит севером, хвоя — свежестью. Лес пахнет гуще, чем океан. Что говорить — сила да воля. Лесотехнику в городе нечего делать. Сам выбирал себе биографию.

Мало-помалу белесый свет неба меркнет, и мир вокруг темнеет. Волна за кормой урчит, будто жалуясь, что до Губы еще далеко — пока мы до нее доберемся, много еще утечет воды.

К Матлыму «Чулым» подошел уже ночью. От берега подгробла моторка, она и забрала Рудакова.

ПАЛКА

Чем дальше и дольше твое путешествие, тем чаще скрещиваются частицы, составившие пейзаж и сюжет. Кажется, что ничем не схожи, разные по сути, по весу, но словно ищут одна другую и, странным образом, обретают. И то, что недаром так много значило, осело, укоренилось в созна-

нии, и то, что давно и легко унялось, вдруг стягивается в один пучок. Нежданная магнитная буря. Смешиваются звуки и краски, предметы и лица, слова, мгновения, и обнаруживается их связь.

В тот день он был грустен. В его глазах, всегда ободряющих собеседника, мне вдруг почудилось незнакомое и непонятное выражение — не то виноватость, не то растерянность.

И разговор наш был тоже странен. Не то что не клеился, но не выстраивался в нечто осмысленное и цельное. Перескакивали с темы на тему, не зацепившись ни за одну. То обсуждали последнюю новость, какой-нибудь слух, несусветную чушь, то неожиданно забирались в слишком мудреные лабиринты. Заговорили об очередности движущих мотивов и сил. Он заявил, что, безусловно, Платон был прав: идея понятия предшествует самому понятию.

— Не только Платон, — сказал я кисло, — наши вожди-материалисты ей подчинили все на свете — прошлое, настоящее, будущее, и жизнь на земле, и нас с тобою. Жаль только, что их идея — варварская.

— Я знаю, ты остроумный малый, — вздохнул он, — и все же я убежден: идея судьбы предвдвуряет судьбу. Поверь мне, я знаю это по опыту.

Домой он собрался раньше обычного. В углу прихожей стояла палка, весьма привлекательное изделие. Обвитый серебряным ободком коричневый стан со склоненной шейкой. Мне доставляло удовольствие в свободную минутку взглянуть на безупречную текстуру. Стоит всмотреться — и различишь спрессованную слоистую стружку. Ломаные золотистые полосы — следы преобразования дерева в произведение искусства — плавно сбегают сверху вниз.

Он спросил меня:

— Где ты ее раскопал?

— В комиссионном магазине. В Риге. Достаточно давно.

Я видел, что он не в своей тарелке, но все еще по привычке резвился:

— Ты можешь назвать мне идею палки?

Он поморщился, потом произнес:

— Идея еще одной ноги, недостающей человеку.

Он повертел палку в руках:

— Занятно, кому она принадлежала?

Я сказал:

— Какому-нибудь коммерсанту, процветавшему при президенте Ульманисе. Так и вижу, с каким самоуважением он шествовал, на нее опираясь, в воскресное утро в Домский собор. Там после службы играл органист, откуда-то из-под самого купола слетали божественные звуки. Потом он прогуливался по улицам, к обеду возвращался домой.

— Что ж было дальше?

— Дальше, естественно, материализовалась идея. По просьбе латышских крестьян, рабочих и трудовой интеллигенции мы выгнали господина Ульманиса, принесли социальную справедливость. Бедняга коммерсант разорился, почувствовал, что силы исчерпаны, и в скором времени успокоился в могиле на лютеранском кладбище. После войны его вдова, оставшись без средств к существованию, снесла эту палку в комиссионный.

— А далее являешься ты. За палкой.

— Именно так и было. Почуял, что она — на комиссии.

В начале пятидесятых годов Рига была уже разноплеменной. Центр был многолюдным и пестрым, заполнившая его толпа казалась собранной с бору по сосенке. И все же, после всех перемен и потрясений, город хранил еще магию своей длинной истории — воздействие старых камней было сильным.

— Хочу попросить у тебя эту палку, — сказал он. — Грустная необходимость.

— В чем дело?

Он ответил не сразу. И снова мелькнула в его глазах эта оленья беззащитность.

— Просто недавно я попытался сжать пальцы на левой руке в кулак, и ничего у меня не вышло. Видишь? — Он показал ладонь, пальцы отказывались повиноваться, белые, будто вытекла кровь.

Я побормотал неуверенно:

— Пройдет.

Он покачал головой:

— Вчера и нога забарахлила. Наверно, из чувства солидарности.

Он все еще продолжал посмеиваться. Я промолчал. Мне не хватило ни собственного легкомыслия, ни тем более его твердости. Все с той же виноватой ухмылкой он озабоченно проговорил:

— Достала Отечественная война. Достала все-таки, что ты скажешь... Дала отсрочку на тридцать лет и, видимо, решила: достаточно.

И показал глазами на палку:

— Так ты не возражаешь?

— Ну что ты... В сущности, я ведь ею не пользуюсь.

— Предмет туалета, я понимаю. Идешь себе по улице Горького и этак равномерно помахииваешь.

Я все же заставил себя улыбнуться:

— Случалось. В моей суетливой младости. Я был еще глупей, чем сегодня.

Когда мы прощались, он произнес, взвешивая палку в руке:

— Забавно, что все началось с контузии. Как раз в твоей любимой Прибалтике. Будем считать, что рижский посох — это награда освободителю.

Не было человека лучше, чем наш Антон. Ни в ком я не видел такого сдержанного достоинства. Не помню, чтоб он хоть раз посетовал на несправедливость судьбы. А между тем уже через год она сделала для него недоступным все то, что так просто давалось другим, не сознававшим своей удачи.

Он вышел, опираясь на палку. Ему предстояло с нею срастись, образовать единое целое. Какое-то время я прислушивался к его неуверенному шагу и к мерному глуховатому звуку — палка постукивала по ступеням.

Мне вспомнился августовский денек, когда я увидел ее впервые. Сколько прошло десятилетий! Какая была разлита тревога в летнем воздухе — послевоенной поре так и не удалось обрести хотя бы подобие равновесия. Пахло угрозой, гончими псами, пахло охотой на человека. Запах погони был так отчетлив! Лишь очень молодой человек вроде меня мог пренебречь им.

Тем более, что поездка в Ригу была приятной во всех отношениях. Всего три дня, но такой насыщенности! Мое явление было связано с первым литературным успехом — это особенно грело душу.

Все радовало. Мне нравилась Рига. Мне нравилась гостиница «Рига». Моя московская комнатуха в густо населенной квартире была похожа на конуру, и номер, в котором я жил эти дни, выглядевший вполне аскетически, казался мне королевским покоем. Нравилось мне сидеть за столиком в кафе «Луна», гулять в Межа-парке. Нравилась улицы старого города, мрачноватая поэзия готики. Нравилась тихая Даугава.

Во всем угадывалась неразделенная и трогательная тяга к Европе, отдавшей без видимых колебаний свою провинциальную родственницу ее решительному соседу. Но равнодушие Старой Дамы не охладило стойкого чувства полузабытой хуторянки — о том свидетельствовал монумент, который еще лет шесть назад символизировал суверенность — три женщины, три латышских провинции, красноречиво смотрят на Запад.

Но я не созрел еще до сострадания драматическому жребии стран, разделенных могуществом территории и демографии, — сколь ни комично, недавний южанин, одной ногою зацепившийся за столичную твердь, был

тем не менее неким звеньшком этой суровой сибирской силы. И очень возможно, по этому поводу испытывал тайное удовольствие.

Все радовало. В юные годы кивок фортуны творит чудеса. Походка становится победоносной, море и впрямь тебе по колено. Тем более это странное море — полверсты, а оно по щиколотку. Топаешь по воде, аки посуху.

Я увидел двуязычную вывеску. Слева выведено латинскими буквами: Frizetava, а справа — родной кириллицей: Парикмахерская. Я поразмыслил — есть время, посетим фризетаву. Пусть мне сделает красивую голову.

Я вошел. Одно кресло было занято. В нем восседал молодой латыш. Зато другое было свободно. Справа от двери стояли парни, поджидавшие своего приятеля. Их было четверо или пятеро. Пока надо мной колдовал чародей с певучими ножницами в руке, я искоса наблюдал за ними. Мое внимание остановил шуплый юнец в белой сорочке, в черных брюках. Он был альбинос. Низкорослый, всем остальным по плечо, ноги были слегка расставлены, пальцы засунуты за ремень с громадной металлической пряжкой. Белые волосы аккуратно зачесаны над покатым лбом, но все же один вихорлок завис в задиристой боевой стойке. И сам он раскачивался на носках, словно готовился к прыжку. Не только я смотрел на него, он тоже разглядывал меня — глаза под белесыми бровями, как будто выгоревшими на солнце, не скрывали ни вызова, ни антипатии.

Постриженный, пахнущий одеколоном, я возвратился в гостиницу «Рига», взял в номере свой ручной чемоданчик — моя трехдневная эскапада не требовала основательной клади, — простился с дежурной по этажу, выбежал на летнюю улицу, продефилировал мимо Оперы и перешел на теннисную сторону.

До поезда было достаточно времени, и я благоразумно решил, что проведу его на воздухе. Уже темнело, и в этой сумеречной лилово-фиолетовой дымке город казался еще притягательней.

Я брел по улице Криштъяна Барона. Из комиссионного магазина вышла черноволосая женщина, костистая, лет сорока пяти. Уже на пороге она обернулась, не то сказала, не то спросила у девушки, провожавшей ее: — Аусма, до завтра. Ты скоро?

И, не дождавшись ответа, исчезла, точно растворилась в толпе.

Аусма. Выждав минуту-другую, я не спеша вошел в магазин. Привлечь в ту пору мое внимание легко удавалось каждой второй, но в Аусме было нечто особое, какая-то несхожесть с другими. И уж тем более с продавщицами, щебетавшими за прилавками Риги. Она стояла, глядя в окно, взгляд ее был таким отрешенным, что мне даже стало не по себе. Я понял, она едва ли отметила присутствие столь привлекательной личности. Я был задет таким равнодушием. И не сумел этого скрыть. Больше того, сделал внушение:

— Не надо стоять ко мне спиной, как дамы на памятнике независимости.

Я устыдился собственных слов, еще не закончив бестактной фразы. («Костик, ты свалял дурака».) Умней всего было ретироваться, но мне не хотелось признать поражение. Строгое северное лицо нравилось мне все больше и больше. Оно уже не было отрешенным, наоборот, отразило волнение.

Она сказала:

— Мы закрываемся.

Я улыбнулся:

— Я не задержу вас.

И в этот миг я увидел в углу палку аристократической внешности — прочную, но при этом изящную, увитую золотистыми полосами и опоясанную ободком.

— Что вам нужно? — спросила девушка.

С той же улыбкой я отозвался:

— Вы, Аусма. А кстати, и палочка.

Не так уж трудно было предвидеть, что это имя в моих устах не может оставить ее безразличной, однако эффект был совсем иным, чем тот, на который я рассчитывал. Лицо ее стало еще белей, а в синих глазах мне помешался какой-то непонятный испуг.

Когда палка перешла в мою собственность, я сказал:

— Я подожду вас на улице.

Склонив свою голову, еле слышно она откликнулась:

— Хорошо.

Прохаживаясь перед магазином, я толком еще не успел понять, как мне теперь распорядиться свалившейся на меня удачей — Аусма появилась в дверях.

Она не произнесла ни словечка. И неожиданно я ощутил: мне тоже трудно нарушить молчание. Однако чем больше оно затягивалось, тем я, несомненно, глупее выглядел. Забавно мы смотримся со стороны. Красивую девушку сопровождает задумчивый молодой человек. В одной руке его чемоданчик, в другой — щеголеватая палка. И он и она как воды в рот набрали. Надо было уметь затеять всю эту бессмысленную авантюру, когда до торжественного отбытия, в сущности, не остается времени. И как мне выбраться из тупика, в который я загнал себя сам? С честью, не теряя лица...

Я сказал ей:

— Меньше чем через час я еду в Москву. Надеюсь, Аусма, вы не откажетесь проводить меня?

Она ответила:

— Нет, конечно. Вряд ли я могу отказать вам. Мне только нужно зайти домой. Живу я — вы, верно, знаете — рядом. И я вас не задержу. Мы успеем.

Мне стоило немалых усилий не показать своего удивления. По-видимому, она избалована мужским вниманием и уверена, что я страдаю не первый день. Вполне романтическая история: однажды один молодой москвич увидел ее, узнал ее имя, узнал ее адрес, любит ее и не решается подойти. Чтоб оправдать свое появление, делает странную покупку — зачем ему палка в цветущем возрасте? Только за час до отхода поезда преодолел он свою застенчивость и попросил его проводить. Что делать, она не смогла отказаться. Была растрогана и снизошла. Да, есть о чем рассказать подругам.

Дом, где жила прекрасная Аусма, в самом деле был на соседней улице. Она спросила:

— Вы подождете? Или подниметесь со мной?

Я произнес:

— Предпочел бы подняться.

Третий этаж. Мы вошли в квартирку из двух тесно заставленных комнат. Первая — нечто вроде гостиной, вторая была, очевидно, спальней. Я мысленно вздохнул: не сравнить с моей столичной собачьей будкой.

Она сказала:

— Присядьте, пожалуйста. Я не задержу вас. Минуту.

Вторично Аусма не без изяществ использовала куртуазную фразочку, которой я начал наше общение. «Я не задержу вас». Жаль, жаль.

Я огляделся. На стенах висели портреты родителей или родственников — почтенных пожилых латышей. А на комод в углу — фотография в овальной рамке: мужское лицо с крепким уверенным подбородком, с твердыми ледяными глазами. Вдруг показалось, что я и он внимательно смотрим друг на друга, и мне этот изучающий взгляд напомнил мальчишку из фризетава.

Но все это не имело значения. Гораздо больше меня занимало, что делает сейчас Аусма в спальне. Возможно, я должен за ней последовать?

Само собой, поезд уйдет без меня. И черт с ним! Сейчас на ее глазах порву свой дурацкий билет на кусочки.

Она прервала мои размышления — вошла с вместительным рюкзаком, сказала:

— Я готова. Идемте.

Мы молча направились к вокзалу. Слова все так же не шли на язык. Она шагала чуть впереди, двигалась быстро и энергично. Я вновь подумал: нет, в самом деле, мы с нею — живописная пара. Она со своим рюкзаком и я — с ручным чемоданчиком и палкой.

Мы появились на платформе, когда сумятица и суматоха достигли своего апогея. Еще три минуты, и мне действительно пришлось бы задуматься о ночлеге.

Она повернулась ко мне и негромко, чуть слышно спросила:

— Какой вагон?

Взгляд ее был таким напряженным, словно сама ее судьба зависела от моего ответа.

Я обронил небрежно:

— Спальный. Номер десятый. А вот и он.

Но эта фразочка прозвучала, пожалуй, несколько театрально. Я не был привычным пассажиром спальных вагонов. Мотался в других. Но так уж сложился мой рижский вояж. Где палка с серебряным ободком, там и железнодорожный рай. Пусть Аусма вспоминает пришельца, слетевшего к ней на час с экрана.

Дебют знакомства мне не удался. Зато вознаграждает финал. Я чувствовал, как ко мне возвращается моя уверенность в Костике Ромине. Остался заключительный штрих.

Я с чувством сказал:

— До свидания, Аусма. Ох, видит бог: не хочется ехать. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся. Иначе не видать мне покоя.

После таких взволнованных слов мой поцелуй был вполне естествен. Она не успела ни возразить, ни ответить, лишь вспорхнули ресницы. Поезд тронулся, я вскочил на подножку. Она не махнула прощально рукой, но долго не уходила с платформы, обескураженно глядя мне вслед, будто пыталась что-то понять.

Это невинное приключение, замкнувшее мой набег на Ригу, меня развлекло и повеселило. В купе я оказался один, в приятном одиночестве ужинал, колеса вздрагивали на стыках, за шторкой дышала летняя полночь — мне не спалось, я думал об Аусме с уютной элегической грустью.

Однако чем дальше, тем меня больше одолевали темные мысли, тревожно холодела душа. То, что недавно казалось ясным, запутывалось с каждой минутой.

Я вспомнил отсутствующий вид, с которым стояла она у окна, ничто вокруг не имело значения. Вспомнил и то, какое смятение я вызвал, когда ее укорил за то, что не в ту она сторону смотрит. Странной была и ее реакция, когда я произнес ее имя. Не удивление, не интерес к нежданно явившемуся поклоннику — нет, первое мое впечатление, бесспорно, вернее: то был испуг.

А это покорное «хорошо», когда я сказал, что буду ждать ее на улице перед магазином? Это подавленное согласие сопровождать меня на вокзал! Казалось, что мое предложение не было для нее неожиданным.

Зато меня весьма удивила и эта просьба зайти к ней домой и — еще больше — ее уверенность, что мне хорошо известен адрес. Кокетства не было и в помине — попросту давала понять, что мне не надо играть с ней в прятки.

И этот вопрос: «Вы подождете? Или подниметесь со мной?» Только самодовольный олух мог в нем услышать нечто фривольное. Услышать следовало иное: «Конечно же, я остаюсь под присмотром?»

Лежа с открытыми глазами, я восстанавливал шаг за шагом час, проведенный мною с Аусмой. Вот я стою в заставленной комнате, вот это фото в овальной рамке. Выдвинутый вперед подбородок, холод неуступчивых глаз. Они недобро меня оглядывают. Кто этот человек и где он?

Но Аусма уже возвращается, как раз в тот момент, когда я нацелился порвать свой билет, задержаться в Риге. В руках ее туго набитый рюкзак.

Поезд несется, колесный стук становится невыносимо громким, он сотрясает спальный вагон. Один за другим, один за другим, летит эшелон за эшелонам, туда, на восток, и рельсы под ними стонут на разные голоса.

Рюкзак. За минуту его не уложишь. Он был давно наготове и ждал, когда понадобится хозяйке. Я снова увидел ее идущей по тротуару, чуть впереди. А я — за нею, с моим чемоданчиком в одной руке и с палкой — в другой. Не то догоняю, не то конвоирую.

Похоже, она не сомневалась, что я отвезу ее в Москву. Зачем? Откуда ей знать? Но, видно, дело закрутилось нештучное. Могу лишь представить, как поразил ее мой нежный поцелуй на прощанье.

В ту пору мой сон был сшит без швов, из одного куска материи. На сей раз он пришел лишь под утро, был дробным и рваным, я изживал его малыми дозами, точно силясь вытолкнуть застрявшие в горле непереваренные ломти. Я и хотел поскорей проснуться и чувствовал, что боюсь пробуждения.

Утром, подъезжая к Москве, стоял в коридоре, смотрел в окно на при вокзальные строения, потом, пробираясь к тамбуру, к выходу, зажав в руке свой рижский трофей, думал о том, что ждет в столице. Если б я мог увидеть Аусму, сказать ей, что все мы под богом ходим...

А что меня ожидало? Да то же, что всех, кто ехал со мной в этом поезде, и всех, кто жил со мной в этом царстве. Угрюмые будни сверхдержавы и новые взрывы ее паранойи. Кому-то из нас повезло больше, кому-то меньше — как выпала карта.

Только через несколько лет мне привелось оказаться в Риге. Я вновь исходил ее вдоль-поперек, на старой улице Криштьяна Барона зашел в магазин, где купил свою палку. Аусмы, разумеется, не было, не было и костистой брюнетки. В доме, где я тогда побывал, жили совсем другие люди — о прежней хозяйке не то не знали, не то не захотели сказать.

Уже десять лет, как не стало Антона. Болел он долго, ушел внезапно. Устал держаться, бороться с немощью, устал ежеминутно бояться обременить нас своей бедой. Палка латышского негодянта служила Антону долго и верно, и вот она вернулась ко мне. Но больше уже не приходит в голову пощеголять своей иноземкой и прогуляться с ней по Тверской. Я вспоминаю о ней в тот день, когда мне требуется ее помощь. Рука находит склоненную шейку, опирается на коричневый ствол, обвитый серебряным ободком.

При этом отчего-то всегда я вспоминаю, как мы обсуждали догадку Платона: идея понятия (или предмета) и предваряет, и определяет его. Может быть, так оно и есть и в палке была своя идея. Идея дубинки или шпицрутена — принять удары, пройдя сквозь строй.

Но тут же отчетливо сознавал, что в той навсегда ушедшей жизни, во мне, в каждой клеточке, пела и пенилась юность, а не ее идея. Хоть выпало жить — в двадцатом веке, а ведь идея двадцатого века давала не много шансов выжить.

Но я давно уже больше не Костик из улья близ Покровских ворот, а Константин Сергеевич Ромин. Стал желчен, замкнут, тяжел на подъем. Отстранствовал. Никуда не тянет. И в Ригу тоже, что мне там делать? Я чувствую ее неприязнь. Возможно, я это заслужил, и все же *идея* общей вины невыносима для человека.

Эпоха реванша. Время от времени там возникают полуживые, потусторонние старики. Их извлекают из небытия, чтобы они держали ответ за развалившуюся империю. Должна торжествовать справедливость.

И все это — вздор. *Идея* возмездия призрачна так же, как все остальные. Лишь умножается масса ненависти, которая копится день за днем и возвращается к нам ответом перенасыщенной злом природы — трясением почвы, мором, потопом или осколком погибшей звезды, летящим сквозь вселенскую ночь на встречу с приговоренной планетой.

СХИМА

Жил я в запущенном старом доме, в комнатке, похожей на ящик. Главным предметом был письменный стол преклонного возраста, центр вселенной, созданной на нескольких метрах. В окно было видно ленивое море. Утром, когда я просыпался, оранжевый шар золотил, точно кистью, темно-зеленую волну.

То состояние острой радости, в котором я тогда пребывал, вряд ли хоть кто-нибудь смог бы понять. Жизнь моя становилась все горше и не сулила благих перемен. Был я в опале, беден и болен.

Однако в то лето все мои беды будто ослабили свою хватку — попросту было мне не до них. Утром выходил я из дома. В нескольких шагах от него виляла, сбегая под горку, тропинка. Она постоянно была безлюдна — ни разу я никого не встретил.

Трава, подожженная свежим светом, похрустывала под моими ногами. Один раз вниз, один раз вверх — и вот я снова в своей каютке.

Я торопился и в то же время хотел продлить ожидание праздника, который магически начинался, едва я усаживался за стол. Накануне — так бывало всегда — я совершал над собой усилие, чтобы прерваться до нового дня. Кто только внушил мне этот завет: не вычерпывай колодец до дна? Я следовал ему неуклонно, но как нелегко мне это давалось — точно я обрывал любовную судорогу! Ночью не спал — и не мог, и боялся, листок с карандашом наготове — что, если вдруг мелькнет зарница? Коли задремлешь, то ненадолго, да и без толку — сон был мне в тягость. С надеждой открываешь глаза — но нет, что за мука, все еще ночь. Быстрей бы, быстрей бы она истаяла. Словно захватывающего приключения, я ждал скорой встречи с утренним миром, с утренним морем, но прежде всего с полурассохшимся столом, с бумажным листом, на котором дымилась недописанная вчера строка.

Откуда являлось ко мне ощущение такой молодой, сокрушительной мощи? Зрелость давно уже наступила, и все же, стоит лишь мне решиться на добровольное заточение, стоит увидеть в своем окне синий целительный горизонт, а на столе — исчерканный лист, сразу, по-фаустовски, юнесь, только и мечтаешь извергнуться.

Ну, с богом! Шариковая ручка призывно вздрагивала в моих пальцах, весь день принадлежал только мне, и не грозили ни чье-то вторжение, ни чей-то привет, ни чей-то вызов. Я вновь ощущал, что на белом свете не может быть ничего упоительней и переполненней одиночества.

Только бы то, что неверно мерцало, почти неразличимо скользило на грани бодрствования и сна, сопровождало меня на тропинке — предвестье, предчувствие, дрожь сознания, — все переплывало бы в мысль, которую я должен отдать возникшему во мне человеку. Я с ним неразлучен не первый год, но только теперь предстоит понять, кого я избрал в свои конфиденты. Посильна ли для него эта мысль или, наоборот, недостаточна — Атланту и бремя должно быть под стать. Если и впрямь я нашел того, кому она придется по мерке, то дай этой мысли кровь и плоть — слово, в котором она состоится. Мысль не существует вне слова. Но если оно не способно к движению, если устанет и остановится, если замрет, подобно дрофе, повисшей над полуденной степью, какой же в нем прок? Упорствуй, ищи.

Все, что себя предлагает вначале, темно и тускло — и звон глуховат, и цвет не слепит, и запах без хмеля. Схоже со мною в часы безделья... Легко

представить, как тяготятся те, кто забрел ко мне на огонек. Хозяин мычит нечто невнятное, роняет ненужные междометия, с трудом поддерживает беседу.

Но что-то ведь зрело в моем тайнике, просилось на свет, и все, что мне требовалось, — проснуться однажды вот в этом ящике. Здесь, вырванный из своей среды, в забытом людьми и Богом пристанище, возможно, я буду не так безнадежен.

Как незаметно проходит день, не слышно шагов, не видно тени! Куда уносит мои часы? Жалею я о том, что их отнял у срока, который мне был отпущен, у соблазнительных авантур, у тех, кто мне дорог, а их немного. Нет, не жалею. В том-то и дело.

Чем ближе к закату, тем несговорчивей и неуступчивей голова. Но я не намерен давать ей потачки. Я знаю: натруженная, гудящая, она живет в нормальном режиме. Надо лишь помнить, что время от времени стоит ее отрывать от стола, чтоб вновь увидеть, как молодо море.

Все здесь мое, и все мне в радость. И стены, и стол, и шелест догадки. И этот охотничий свист в ушах, когда настаиваешь неуловимое и смутное обретает цвет, становится тем, чем должно оно быть. Неведомо почему понимаешь, что варианты исключены.

Теперь уже знаешь, как все начинается. Просто вдруг слышишь тревожный гул. Просто отзывается кожа на неожиданный ожог. Просто душа теряет панцирь.

Все — в ней, все — от нее, и даже — сердцебиение новой мысли, нервно пульсирующая связь между постигнутым и непостижимым. Твоя уязвимость — не только плата за эти часы, она — награда. Она и бросает тебя к столу.

Кончается еще один день, который сокращает дорогу до неизбежной последней точки. Срок отторжения настает. И всякий раз открываешь заново, что воплощение — это разлука.

Тогда я себе говорил: утешься. Годы твои еще в зените. Все повторится. Еще не раз тебе предстоит ожидание утра, пустынный сияющий мир за окном, нетерпеливая лихорадка. Вновь будут и стол, и бумажный лист с оборванной накануне строкою, совсем не остывшей за долгую ночь.

Все повторится и все продолжится. И жизнь новорожденного слова, и жизнь тех слов, что еще родятся, и твоя собственная жизнь, которая окажется длинной. Однако и ей положен предел, все горестней выцветают краски, все глуше звуки, и одиночество утрачивает свое колдовство, когда превращается в повседневность. Надо смириться. Твой век отмерен, и всей бумаги не исписать.

А все же если на этом свете есть то, с чем расстаться невыносимо, то это серебряный холодок хранящего твою тайну утра, прекрасная пустыня и стол со стопкой непечатых листов, готовых принять в свое лоно семя.



ИРИНА ЕРМАКОВА

*

ЛЕГКАЯ ЦЕЛЬ

* *
*

И. В.

Проснешься от ледяного звона
В растерянной тишине:
Волшебный алый персик Ли Бо
Расцвел на твоём окне.
Раскрылся, вспыхнул и затаился,
Прижался спиной к стеклу.
Линь-лин, — звенит железная стын, —
Настраивая пилу.
Линь-лин, — захлебывается, тонет
Поток на краю земли,
Бьет хвостом под Тяньцзиньским мостом
За тысячу тысяч ли.
Линь-лин, — заходит желто, жадно —
Зуб на зуб и лед о лед.
А ночь прозрачна, как черный шелк, —
До Поднебесной растет.
А небо — наше, и радость — наша,
Известны наши дела:
Проснешься утром — новый цветок
Под корень грызет пила.

* *
*

На границе традиции и авангарда
из затоптанной почвы взошла роза
лепества дыбом винтом рожа
семь шипов веером сквозь ограду

Распустилась красно торчит гордо
тянет корни наглые в обе зоны
в глуховом бурьяне в репьях по горло
а кругом кустанья еще бутоны

Огород ушлый недоумевая
с двух сторон пялится на самозванку
на горящий стебель ее кивая
на смешно классическую осанку

То ли дело нарцисс увитой фасолью
да лопух окладистый с гладкой репой
а под ней земля с пересохшей солью
а над ней небо и только небо

* *
*

Вот пуля пролетела и — ага.

КИНО.

Вишня в окошко — торк!
Тянется к белым губам:
вишенный вышел срок,
кисло, поди, голубкам.

Спелую косточку в ствол,
небо — легкая цель,
весь в лепестках стол,
вся в лепестках постель.
Вольный июль, стрелок,
шерри мой дорогой,
будто бы не присох,
будто и свет другой,
будто не вяжет плод —
мякоть, наливка, душа.
Дух выжигает плоть.
Падает пыж, кружа.
Каплет вишневый сок
в жесткий сырой песок.

Вот и — ага — пора
в стреляном небе жить,
молча глядеться в огонь до утра,
черную вишню варить.

Тот

Не надо знатного ума
чтоб начитать абзац
есть свет и свет как тьма и тьма
птицеголовый чтец

Над лодкой полая луна
и от нее круги
гляди — пернатые со дна
вскипают огоньки

Идут петляя и темня
они тебе — родня?
я здесь — на линии огня
не проворонь меня

Здесь в этом клюве световом
сойдется наконец
весь сущий свет в тебе одном
со всею тьмой мудрец

Египетский световорот
вдоль лодки за корму
и лунный луч как огнемёт
распарывает тьму

Меня в луче почти что нет
но сорок тысяч лет
я вчитываюсь в этот свет
не видный никому

* *
*

В самый купол вздернул солнечный перст
золотую пыльную нить
все слова сказаны — только жест
может что-нибудь изменить

И ворвись во храм опрокинь столы
покати горящим шаром
распахни все настежь — забей пером
слухом духом огнем углы

Никаких голубей скопцов писцов
сколько можно — кончили век
пусть хоронят сами своих мертвецов
ты еще живой человек

Подними голову — как гремуч
расщепленный одним кивком
семихвостый острый радужный луч
в амбразуре под потолком

Как теснится в нем ошалелый пух
как перо в лучевой пыли
вскинув клюв спокойно обводит круг
вышибая купол земли

* *
*

По стеклу частит, мельчит, косит обложной дождь
и берет за душу, ревниво смывая тело.
Я прошу: «Забери меня скорей. Заберешь?»
Разлетаются капли — ишь чего захотела.

А душа в руке его длинной скользкой дрожит,
а в размытом воздухе вязкий гул ниоткуда.
Сколько можно тянуть эту муть, эту ночь, этот стыд,
я ведь тоже вода, забери ты меня отсюда.

И вода заревет, взовьется, ахнет стекло,
отряхнется и медленно — разогнет выю,
и душа, вся в осколках, рванет, сверкнув зело,
в самый полный Свет, где ждут меня все живые.

* *
*

Погадай мне цыганка погадай
на победу на имя на время
да на красную жизнь в нашем Риме
на метельный отеческий рай

Век по крыше крадется как враг
в новогоднюю вьюгу обутый
погадай мне по свисту минуты
на весну в москворецких дворах

На врага загадай на врага
было-было наври будет-будет
бес рассудит — сойдемся на чуде
рассыпается пухом пурга
пробивается солнца фольга
вся ты речь-руда и вся недолга
сколько ярости ушло в провода
сколько крови утекло навсегда

Говори заговаривай кровь
там краснеют еще под снегами
отметеленными сторожами
семь гусей семь великих холмов

Ай цыганка затяни разговор
растрави заболтай все на свете
вот закатится солнце во двор
и закончится тысячелетье

* *
*

Летяга молится без слов
срываясь в темноту
и легионы огоньков
теряют высоту

Но занимается трава
пережигая страх
и все забытые слова
пылают на полях

И только тьму перемахни
как жалость ярость стыд
и за тобой — огни огни
вся жизнь твоя летит

Дрожит и светится ладонь
сшибая наугад
слепой от радости огонь
в горящий Божий сад

Евангелисты

Лука лукав, литературен,
Матфей мастит, суров и рьян,
Марк изначален в квадратуре,
но всех тревожней Иоанн.

Дух осязаем, тают швы,
сминая времени пространство —
четырёхмерность христианства,
путь к сердцу мимо головы.

* *
*

Мне сегодня 33 года.
Я вошла в Ершалаим.
Был скандал небольшой у входа,
И краснела верба над ним.

И растерянных провожатых
разомкнулся притихший круг,
золотой, липучий, кудлатый
трепыхался на солнце пух.

Мне в лицо уставились храмы,
и росли в толпе до угла
жаркий гул, перезвон охраны:
— Что за дура ведет осла?

И когда в одной из излучин
улиц я начала говорить,
стало ясно — хоть путь изучен,
все равно меня будут бить.

* *
*

Распушилась верба холмы белеют
Слух повязан солнцем дымком и пухом
Ветер утреннее разносит ржанье
Треплет наречья

Вниз пылят по тропам ручьи овечьи
Колокольцы медные всласть фальшивят
Катит запах пота волненья шерсти
К Южным воротам

Голубь меченый взвинчивает небо
Блещут бляхи стражников шпиди башен
Полон меда яда блаженной глины
Улей Господень

Никаких долгов никаких иллюзий
За плечами жар — позвоночник тает
И душа как есть налегке вступает
В праздничный Город



МАКСИМ ГУРЕЕВ



БЫСТРОЕ ДВИЖЕНИЕ ГЛАЗ ВО ВРЕМЯ СНА

Повесть

Однажды в 1989 году вышло так, что я принялся одновременно за два непонятных дела: преподавать в Литинституте и писать о Ломоносове. Эти два занятия отразились друг в друге. Сейчас, держа перед собой текст Максима Гуреева, я нахожу его внутри этого отражения.

Я собирался не столько учить детей писать, сколько отучать их от этого. Дети оказались на редкость понятливыми: им только так и хотелось — быть не первыми, но единственными.

Н. Божидарова, А. Бычков, А. Кавадеев, С. Куряшина, Е. Перепелка, Е. Садур, М. Шульман, Л. Шульман... не знаю, какая из этих звездочек окончательно засверкает на общем небосводе русской литературы XXI века, в конце XX они все бывали уже достаточно известны в узком кругу.

Я задавал им задание: анализ неизвестного текста — то есть читал им вслух и спрашивал: что это? Например, это был любимый рассказ Чехова «Студент». Никто не угадывал. Наконец, когда идентификация происходила, следовали некорректные, но коварные вопросы: что бы Чехов вычеркнул, если бы перечитал свой рассказ сегодня? Как мог возникнуть замысел подобного рассказа? Почему рассказ так называется? Естественно, правильные ответы знал только профессор, то есть я. Мне было не стыдно.

На меня лбом смотрел Максим Гуреев — у него был такой характерный, вперед смотрящий лоб (как у Андрея Платонова, неприкаянным призраком до сих пор бродящего по коридорам Литинститута).

«Вы это что, Гуреев?» — «Бутылку», — отвечал Гуреев. «Что бутылку?» — «Он бы вычеркнул, будто то кто-то жалобно дул в бутылку». — «Почему?» — «Потому что — находка. Нельзя вставлять находки в текст».

И это был правильный ответ. И я сам понял, почему так называется рассказ и что мне писать про Ломоносова. Что Ломоносов — это гениальный студент и что университет — это не профессор, а студент, и что Россия слаба не профессурой, а студенчеством.

Как в анекдоте: пока объяснял, сам понял.

Лоб студента гипнотизировал меня: он не понимал, а постигал, не усваивал, а думал.

И именно это усилие (оно же чувство) он хотел выразить словом. Дословное, предсловесное. Не потому, что до него уже писали и надо не хуже. А потому, что до него этого не писали. Вот подлинная литературная амбиция! Что это — поражение или победа, покажет только время. Что мне нравится в Максиме, так это способность к духовному усилию. Ни к трудолюбию, ни к талантам, ни к успеху эта высокая способность не имеет отношения. Это гарантия пути.

Гуреев Максим Александрович родился в 1966 году в Москве. Закончил филфакт МГУ, учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Печатался в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Искусство кино» и др. В «Новом мире» публикуется впервые. Живет в Москве.

Внезапно мы стали соавторами, и это оказалось кино, телефильмы: «Неизбежность ненаписанного», «Медный Пушкин», «Столетие века» (Олег Волков), «Возвращение» (Бродский и Баратынский), «Преодоление зла» (Платонов), «Перед закрытой дверью» (Борис Вахтин).

Во всем этом бурном производстве Гуреев скрывался от меня как писатель. Оказалось, что он всегда только им и был...

*Но, однако, пора! Пора нырять в леденящую читательскую прорубь!
Я уверен в своем ученике.*

Андрей БИТОВ.

Последнее время, прежде чем уснуть, я подолгу сижу за письменным столом, поочередно включая и выключая настольную лампу. Наконец, когда все в очередной раз погружается в темноту, я встаю из-за стола, на ощупь подхожу к кровати и, не раздеваясь, ложусь поверх одеяла.

Вскоре глаза совершенно привыкают к темноте, и я даже нахожу весьма и весьма приятным лежать вот так в мгlistой голубоватой дымке, воображая себя целиком потопленным в непроточном, абсолютно неподвижном водоеме, на илистое, взвизгивающее дно которого едва проникает слабый свет уличных фонарей.

Нет, я никогда не пользуюсь шторами и всегда оставляю окно совершенно открытым, чтобы не умножать и без того непроглядной тьмы, а также иметь счастливую возможность в минуты бессонницы наблюдать за движением звезд и луны по небесному своду, за их скоплением.

За парадом планет?

И вот, когда мои глаза почти полностью перестают различать матовые сполохи света на потолке, я, по-прежнему не раздеваясь, прячусь под одеяло, чтобы таким образом согреться. Холодно-холодно. На какое-то время я даже забываюсь, но спешу превозмочь этот первый, без сомнения, весьма призрачный, лукавый и оттого изобилующий беспорядочными видениями полусон, потому как жду сна настоящего и панически боюсь пропустить его. Сие паника, паника.

Однако ожидание затягивается. Это происходит скорее всего потому, что я сильно устал, просто смертельно устал и впал в прострацию, в коллапс. Такое со мной уже случалось и поэтому не вызывает особого беспокойства, но скорее умиротворение, нечувствие и острое желание отвлечь себя воспоминаниями хотя бы и о прочитанном за день. Хотя бы и о написанном за день...

...эта попытка написать автобиографический роман все более и более превращается для меня в мучительное непонимание того, что, собственно, я должен писать, а вернее сказать, как писать и о чем писать.

Наверное, в первую очередь я должен рассказать историю собственной жизни самому себе. Просто сесть у окна, или за столом, или на скамейке в саду и вспомнить все, что, на мой взгляд, достойно быть отраженным на бумаге: какие-то подробности, имена, события, памятные даты, дни ангела, дни успения. Например, ветряная оспа, драка на заднем дворе, поступление в университет, плавание на остров Коневец, первая публикация, развод родителей, постоянные скандалы... да вот, кажется, и все, что приходит в голову, при том, что ни одно из этих событий не занимает меня до такой степени, чтобы посвящать ему хотя бы и страницу моего будущего сочинения. Повествования. Почему так? Нет, вовсе не потому, что эти события мне до такой степени безразличны, а просто потому, что я едва ли смогу рассказать о них что-либо новое, едва ли смогу удивить самого себя каким-то особенным поворотом мысли на сей счет. Ведь все опять закончится длинными, не вполне стройными экзистенциальными рассуждениями о смерти, о каких-то страхах, об абсолютном непонимании смысла и мотивов собственных поступков, о неспособности на искренние, нежные чувства и так далее, до бесконечности.

До бесконечности.

Хотя только ли в этом дело? Думаю, что нет.

Ведь прежде чем сесть за стол и приступить к написанию, необходимо вспомнить главное — с чего это все началось. Вспомнить тот день, когда я полностью осознал себя, увидев собственное отражение в наполовину завешенном тяжелыми шторами окне или в зеркале, что висело в ванной комнате.

Увидел.

...увидел, на какое-то мгновение замешкался, потому что показался сам себе абсолютно, просто до смертельного ужаса чужим, но тут же преодолел этот страх, поборол это оцепенение и ощутил совсем незаметную, но в то же время необычайно явственную задержку во времени — вот настенные часы пробили десять утра, а теперь еще раз пробили десять утра. Событие повторилось! Значит, оно началось дважды, тем самым нарушив временной хаос, раз и навсегда упорядочив по крайней мере мою отраженную в зеркале жизнь. Стало быть, эта разница во времени и есть момент прозрения, момент осознанного восприятия самого себя.

И это уже потом часы пробьют одиннадцать, полдень, час дня, но об этом не будет знать никто — ни родители, ни братья, ни друзья, — только я, только я буду знать.

Хорошо, предположим, что это был один из дней первой половины лета. Теперь я могу оправдать собственную неточность, вероятно, тем, что тогда на стене в столовой комнате висел прошлогодний или даже позапрошлогодний календарь, такой старый, абсолютно выгоревший на солнце, пожелтевший календарь, и соответственно у меня не было никакой возможности более точно установить хронологию.

Первая половина лета.

Обычно она приключалась в наших краях весьма и весьма дождливой и потому всегда, по крайней мере в моем воображении, становилась синонимом «полуденной» скуки, когда однообразные, серо-зеленые дни сменяли друг друга, при том что делали это как-то нехотя, лениво, словно выполняли какую-то бессмысленную, бесконечную работу, не приносящую результата. Рутинную работу. И вот рутина этих дней постепенно складывалась в тот отрезок времени, который всегда было принято называть детством.

Да, все началось именно тогда, в детстве, подспудно, абсолютно необъяснимо, как-то исподволь. Может быть, во время довольно частых семейных скандалов, ссор или перед сном, когда мои братья — Максим и Модест — гасили в комнате свет, но при этом оставляли дверь приоткрытой, скорее всего чтобы слушать, как я ворочаюсь.

И я ворочался, потом затихал на какое-то время, прислушивался сам к себе и ворочался снова. Нет, я не знаю, зачем я это делал. На этот вопрос я не отвечу теперь...

Клянусь, что я не храпел во сне, но братья почему-то обзывали меня храпуном. Это была ложь! Ложь! Они врали.

Ворочался — это да...

Кстати, сейчас меня посетило одно весьма любопытное предположение по этому поводу, а может быть, я просто хотел проверить таким образом — жив я или уже умер. Однако, если я могу шевелиться, ворочаться, могу различать звуки, значит — я жив.

И как бы в подтверждение подобной счастливой догадки, это я понял только сейчас, из соседней комнаты доносилось: «А ну спать немедленно! Перестань подслушивать! Перестань ворочаться!»

Пронзительный крик: «Вот, опять нашему храпуку досталось!»

Я спал. Я не боялся спать. Что мне снилось?

Мне снилось, что я сын пациента специального лечебного учреждения, в которое он, то есть мой отец, попал сразу вскоре после того, как они расстались с матерью.

Мой отец — коротко стриженный, коренастый старик в очках на мясистом венозном носу — мог резко сказать мне: «Убирайся прочь!» — или же, напротив, смилостивиться и жалостливо, совсем по-детски попросить: «Нет, нет, не уходи, прошу тебя, побудь немного со мной». Я, разумеется, оставался с отцом в необычайно просторной и светлой больной палате, где он содержался в полном одиночестве. Да, он мог живо интересоваться тем, как я живу, чем занимаюсь, как живет мать, как себя ведут мои братья — не безобразничают ли. Однако на все мои по-дурачки однообразные вопросы о его самочувствии он, как правило, отвечал мрачным молчанием.

Боже мой, Боже мой, только теперь я понимаю, как невыносимо глупо звучали мои вопросы. Да и что он мог ответить мне. Тогда я не понимал этого, может быть, потому что был слишком глуп...

Я глуп? Я лжив? Я сам записывал ответы на эти нехитрые вопросы на клочках бумаги, чтобы спустя много лет прочитать их. Я глуп? — и да и нет. Я лжив? — и да и нет.

Сокровищница. Дарохранительница. Ковчег. Крест-энколпион. Предсонье. Сон.

Потом я просыпался.

Ветер перелистывал страницы раскрытой книги...

Вот ветер перелистывает страницы раскрытой книги, лежащей на подоконнике. А это значит, что к окну можно подойти с другой, противоположной, стороны и заглянуть в эту раскрытую книгу и так долго стоять, внимательно изучая последовательность расположения перевернутых абзацев, заглавных букв, рассматривая иллюстрации, а еще упавшие в траву, в снег ли закладки и мысленно, разумеется, только мысленно составлять из них гербарий.

Когда идет снег, то я теряю ощущение реальности. Времени?

Наконец я забываюсь. Правда, в самую последнюю минуту в голове отчаянно проносятся какие-то совсем посторонние мысли, например, о необходимости раздеться целиком, о необходимости встать, пойти на кухню и проверить, выключен ли газ, о необходимости проснуться завтра как можно раньше, чтобы полюбоваться на рассвет, и еще Бог знает о чем...

Никаких сновидений! Нет! Ведь они только расхолаживают внимание и утомляют зрение своими необычайно яркими, буквально ядовитыми цветами, а также вызывающими формами и абсолютным нарушением хронологии событий. Стрелки движутся в противоположную сторону или это только зеркальное отражение циферблата настенных часов? Отражение в зеркале, которое висит над туалетным столиком в ванной комнате.

Теперь остается довериться только звуку. При том, что совершенно невозможно понять — музыка ли это, вой ветра, нестройный унылый хор стариков в медвежьих, надвинутых на самые глаза шапках, мычание сирен, а может быть, просто гудение мятых молотком жестяных труб или рогатого, так напоминающего камертон неповоротливого, кобальтовой окраски жука-носорога. Однако поющие голоса постепенно затихают, сбиваясь на бормотание, на шепот, на шелест сухих, потрескавшихся, облепленных сухарями простуды губ. Остается возможным разобрать только выражение недовольства: «Это просто безобразие какое-то!»

Безобразие — значит отсутствие образа, формы и подобия, а иначе говоря, утрата всякого смысла, воцарение хаоса. Понимание этого приходит с наступлением рассвета...

1. Наитие

Утром путешественник уехал.

Последним, кто его видел, был начальник почтовой станции, высокий, в устаревшего образца малиновом кителе на ватном подбое, худой старик с бельмом на левом глазу и совершенно сросшимися на переносице, как усы, колючими бровями.

Проявил нерасторопность: слишком поздно велел закладывать обклеенную синей в разводах бумагой повозку и в суматохе забыл спросить у путешественника имя, чтобы занести его в книгу для проезжающих. Запомнил только, что незнакомец был, кажется, немного нездоров, по крайней мере выглядел таковым: тяжело дышал, ощущал дурноту, невыносимо страдал от электрических разрядов в ногах, а из-под меховой шапки, нагнутой на самые его глаза, стекал пот.

...начальник станции очнулся и побежал открывать ворота, однако, пока он возился с замком, одна из запряженных на скорую руку лошадей, видимо, от волнения и нетерпения обмочилась прямо на только что выскобленные доски пристанционного въезда, тут же заскользила, еще больше оттого испугалась и чуть было не понесла, поперхнувшись стальным грызлом, выпучив налитые кровью злые глаза, как будто бы осатанела от адской боли. Потом пустила из распертой удилами пасти желтую, резко пахнущую настоем чеснока пену, задергала бородатой, больше похожей на оживший череп мордой и затихла. Впала в прострацию. Или оцепенела?

Пошел пар.

Опять оттепель! В запотевшем окне предбанника проплывают пологие, уходящие за горизонт холмы, что обложены мокрым снегом, и курятся густым клокастым туманом. Это как дыхание, настойчиво прорывающееся сквозь залепленную хлебным мякишем газоотводную трубку, которая по настоянию уездного, страдающего одышкой фельдшера вставлена в рот слепой улыбающейся собаки — «блаженны, блаженны чистые сердцем». В пасть. Этой едва передвигающейся, уморительно пускающей ветры и страдающей недержанием кала собаке прошлым летом исполнилось девятнадцать лет, и она по праву считается членом семьи начальника почтовой станции, что проживает тут же, рядом, в одноэтажном деревянном доме, с пристроенными к нему конюшней и каретным сараем.

Начальник почтовой станции привязывает собаку к спинке стула, чтобы она не упала, залезает под нее и чешет ей брюхо сплетенной из водорослей губкой-власяницей.

А еще долгими зимними вечерами собака любит лежать в прихожей под дверью и, находясь в болезненной старческой полудреме, слушать сквозь просверленные ртутью в голове дыры, в лысой-лысой голове, как начальник почтовой станции сгребает широкой жестяной лопатой снег с крыльца.

Так и дождь колотит по жестяному карнизу или расслоившиеся угли падают на жестяной поддон.

Мыши скребутся, ходят по полу, обнюхивают неподвижно лежащую собаку, недоумевают: «Может быть, она уже отошла и не ощущает нашего присутствия? Сдохла, что ли, она? Черт ее знает...»

Почувствовав свежую, обжигающую суставы дорожную грязь вперемешку со льдом и снегом, лошади наконец разбежались. Путешественник откинулся на подложенное под спину одеяло и закрыл глаза.

...и сразу же пригрезился Петербург в один из тех редких теплых осенних дней, когда только что прошедший дождь уже испарился с мостовых, изошел, но воздух еще полнится пряной, пахнущей свежими водорослями сыростью.

Часы на Адмиралтействе показывают полдень, однако вскоре под тяжестью выкрашенных черной краской чугунных гирь стрелки не выдерживают, выгибаются, замирают на какое-то мгновение и падают вниз порванными сухожилиями. Сразу наступает половина седьмого вечера, и на улицах с характерным фистульным свистом, воем ли вспыхивают газокалильные лампы. Теперь немногочисленные, по большей части прижимающиеся к блеклым стенам домов прохожие скорее напоминают изломанные, мечущиеся вдоль тротуаров тени. Целое воинство. Целое царство таких теней в развивающихся на сквозняке холщовых балахонах. Целая не-

мая процессия, которая останавливается возле каждого фонарного столба и поклоняется с гудением разгорающемуся колпаку, что сделан из матового стекла в форме головы Будды.

Становится свежо — высокое предзакатное небо, отражающееся в неподвижной воде многочисленных каналов и проток, начинает медленно выцветать, а затем и гаснуть.

Погасло совсем.

По мере наступления темноты аквариумические витрины магазинов, заполненные рыбами, постепенно превращаются в гигантские минералы. Минералы в беспорядке разложены на лотке ювелира, в глаз которого вставлено увеличительное стекло. Монокль.

Да, это перевернутый город, где вдоль тротуаров нескончаемой чередой выстроились извозчики, где на сентябрьском ветру в окнах мансард хлопают ставни, механический стук которых так напоминает стук телеграфных машин, где река мерно бьется в гранитной горловине, а во дворах-колодцах, уже доверху наполненных пряными, вытекающими из канализационных люков испарениями, наступает полная тишина, вернее сказать, полнейшая тишина, молчание, силенциум, лишь изредка нарушаемая доносящимися с проспекта трамвайными звонками.

Примечательно, что в видениях путешественника, как правило, отсутствовали картины городских окраин с их традиционно спускавшимися на дно длинного, изъеденного дождевыми оползнями оврага фабричными бараками. При том, что в этом была какая-то своя едва ли поддающаяся словесному описанию загадочная красота гористой местности: низины, горвосходные холмы, уступы, опять низины, балки, до краев заполненные зеленой пузырящейся водой, скрюченные, словно разбитые параличом, большие деревья, а также поваленные, заросшие лишаем заборы.

Скорее всего это были окраины Секирного леса. Дорога тут проваливалась в одну из заброшенных и потому заплывших окаменевшей глиной шахт, оставшихся еще со времен торфоразработок, и путешественник сразу же открывал глаза.

...над ним стояли старые бородатые лошади, которые при этом даже могли показаться абсолютно безумными, потому как издавали какие-то нечленораздельные звуки, икали, тужились, хмурились, поводили плешивыми, в коричневых разводах парши боками и трясли лохматыми, совершенно перепутанными колтунами гривами.

— Чего трясетесь? Замерзли, что ли, сволочи?

— Нет, не замерзли.

— Так чего же трясетесь-то?

— Со страху, со страху.

А еще лошади пили ледяную воду из придорожной канавы, по краям которой торчали острые куски грязного, облепленного бурой прошлогодней травой льда, чавкали, как свиньи, толкались, с опаской косились друг на друга, как это обычно делают сердитые, никогда не доверяющие друг другу старики в очереди за хлебом, маргарином, кефиром, картошкой, луком, как безумные схимники, содержащиеся в психиатрической лечебнице доктора Усольцева, что в Петровском парке, или в доме инвалидов, мычали-мычали какой-то парной горячей дрянью. Угощались.

Называли себя «причастниками».

«Причастники» кивали головами, мелодично звеня притороченными к упряжи медными бубенцами, снова и снова заглядывали в лицо странника. Они-то не знали, что с ним случалось так всякий раз, когда наступала болезнь, и все вокруг становилось каким-то необъяснимо призрачным, размытым, вызывающим глухое, угрюмое раздражение именно вот этой своей призрачностью и идиотской загадочностью.

— Чего зырите, а? Чего вам надо от меня? — вопрошал странник в сердцах.

«Ничего», просто рассматривали это бледное, осунувшееся лицо путешественника с выступившей на острых, вырезанных ржавыми ножницами губах лиловой пеной. На самом же деле эти самые страшные лошади оказывались в результате и не лошадьми никакими, но нищими умалишенными волхвами, сбежавшими на первой седмице Великого поста из сумасшедшего дома. Здесь, в мрачной архитектуры кирпичном здании тюремного вида, их — страждущих покаяния — насильно кормили обкусанными ветряной оспой ломтями сырой подмерзшей тыквы, которая так напоминала своим внешним видом моченную в уксусе дыню или луну. Унижали их, сколь душе было угодно, называли узбеками, язычниками, безбожниками, иудеями, сволочами и гадами называли тоже, а еще били, предварительно заткнув им рты тряпками, войлоком, липкими бинтами, марлей ли с присохшими к ней комьями бурой крови и связав при этом им руки за спиной. Страшно, но ведь это правда!

Боже мой, как он, путешественник, странник, мог оказаться среди этих нелюдей? Совершенно непонятно. При том, что когда-то они ведь были вполне достойными, благоухающими маслом и ароматами, несколько не глинобородыми, но седобородыми старцами в шитых дорогим стеклярусом кафтанах, сафьяновых остроносых сапогах и в лисьих, надвинутых на самые глаза шапках с хвостами. Прятали отсутствие лбов? Нет, просто так вид был более грозный и надменный...

Впрочем, нет, это уже слишком! Пора подниматься, не валяться же все время вот так — в грязи, на дороге, без шапки, с заплаканным лицом.

А тут вдруг лошади взяли да и улыбнулись страннику: «Ничего, ничего, сейчас все пройдет, бывало и хуже».

— Это уж точно, бывало и хуже.

— Оказывается, ты добрый странник, и мы тебя не боимся.

До города путешественник добрался только к вечеру. Здесь в окнах домов уже зажгли желтый свет, из труб вертикально в небо уходил рваный, мерцающий марлей горький дым, а еще и скипидар, уголь, хлорка да паленная на костре собачья шерсть...

Это был какой-то заброшенный, провинциальный город, который и городом-то назвать было нельзя.

Потом пришлось довольно долго блуждать по кривым неосвещенным улицам, прижимаясь к сырым, заросшим зеленым мхом кирпичным стенам, с трудом разбирать блеклые, изуродованные непогодой вывески, вежливо кланяться редким в эту пору, по большей части облаченным в долгополые, на войлочном подбое лапсердаки прохожим. И они кланялись в ответ конечно же, но скорее по привычке или по наитию, ведь появление путешественника в городе, в местечке не вызывало у его обитателей никаких чрезвычайных чувств, как-то: изумления или любопытства. Скорее всего это можно было объяснить тем, что город находился на Крестовоздвиженском тракте, и странники, паломники были здесь не такое уж и редкое явление. Пожалуй, к ним привыкли, разве что не решались пускать их в дома и всякий раз вежливо, но настойчиво выпроваживали на постоялый двор, находившийся в самой непосредственной близости от городской заставы — двух облупившихся гипсовых колонн, врытых в землю и охраняемых дегенеративного вида глухонемым подростком в коротком, видимо, не раз дранном собаками засаленном ватнике.

Подросток смешно открывал рот и выпускал из него пар: «Акыхх-х».

Зачем он здесь?

И вдруг путешественник сразу же вспомнил себя таким же подростком — долговязым и несуразным. Вспомнил, как он однажды, кажется, в день накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, стоял на лестничной площадке огромного, многоквартирного доходного дома, в котором жил его отец. Свешивался как дурак на чугунных перилах вниз. Бывал язык. Заглядывал в дудящий сквозняками и источающий подваль-

ную сырость зев лестничных маршей, а еще следил за стариком внизу, что медленно поднимался по лестнице, шаркая по каменным вытертым ступеням, и громко, натужно кричал. Пускал ветры, дышал, в конце концов, исходил пузырями, а каменные стены и сводчатый потолок только разносили по всему дому все физиологические подробности его тягостного, болезненного бытования — здесь и сейчас.

Тогда время тянулось медленно, потому что кровь прилиwała к голове, а движения становились все более и более размытыми, неверными, медленными, теряющимися в гулкой пустоте парадного, ведь старик, черт бы его побрал, еще и оступался ежечасно, скользил, наполняя здание пронзительным пленочным, как в звуковом синематографе, шипом, уходящим под закопченные, едва различимые из бельэтажа перекрытия.

Что было потом? Потом на четвертом этаже открывалась дверь, и на лестничную площадку выходил отец — тогда еще молодой, в белой выглаженной рубашке и домашних байковых шароварах с начесом. Он делал несколько довольно комичных при взгляде со стороны дыхательных упражнений, махов руками, затем расстегивал ворот рубашки и начинал петь. У него был весьма и весьма красивый голос, баритон, который разносился по всему зданию волнообразно. После окончания консерватории несколько сезонов отец даже пел в Мариинке, но потом заболел, кажется, горловым кровотечением, и был вынужден уйти из театра. Преподавал в консерватории, в музыкальной школе, но в основном зарабатывал на жизнь тем, что регентовал в Преображенском соборе, что находился близ Литейного проспекта, или в Николле Морском на Крюковом канале.

Подросток почесал худую шею — горловое пение.

Горловое кровотечение...

Бритва...

Так вот, после непродолжительного пения врачи разрешали ему музицировать не более двадцати минут в день, отец кланялся воображаемым зрителям и возвращался обратно в квартиру, громко захлопывая входную, выкрашенную зеленой краской дубовую дверь, на которой был прикреплен медный картуш с выгравированной на нем надписью: «Учитель пения — Александр Яковлевич Кучумов».

Дверной грохот, так напоминавший выстрел из револьвера в голову, проникал в эту голову, сдавливал виски, а потом еще долго гудел мерным колокольным звоном в яме затылка.

Подросток подходил к этой двери, стоял некоторое время перед ней в нерешительности, искал взглядом упрятанный в каменной нише рядом с почтовым ящиком звонок, который более напоминал вылепленное из хорошо просоленного теста вывернутое человеческое ухо со вставленной в него наподобие высохшего и затвердевшего фитиля кнопкой, затем поднимал руку и резко звонил.

Электрический звонок.

Почти сразу же из глубины коридора раздавались шаги, на смену которым приходило утробное урчание ключей в замочной скважине. Казалось, что в эти минуты время останавливалось совсем, и подросток со страхом думал, что тот старик снизу уже почти поднялся на этаж, где он сейчас стоит под дверью, что он где-то рядом и теперь подкрадывается к нему со спины, чтобы схватить за плечи или за ноги и не пустить его к отцу. Но тут, слава Богу, дверь открывалась...

Отец на удивление приветливо здоровался со стариком, который оказывался его соседом по лестничной площадке и имел фамилию Филимонов, а старик в свою очередь благодарил отца за прекрасное пение, которое, по его словам, помогло ему подняться на четвертый этаж. Взойти. Отец улыбался. Он был как Псалмопевец Давид в эту минуту.

«Псалмопевец Давид».

Старик тем временем, скорее всего, чтобы отдышаться после мучительного восхождения, облакачивался на перила, выпятив при этом живот и отклячив зад, вытирал бордового цвета венозное лицо извлеченным из вислого, наподобие древесного гриба, кармана пальто носовым платком, довольно чистым, к стати сказать, а потом и спрашивал отца:

— А это ваш сын?

— Да, — отвечал отец, — мой сын — Александр, вы разве не знакомы?

— Похож, похож... — бормотал себе под нос старик, вероятно, не расслышав вопроса отца.

— Может быть, зайдете?

— Значит, Александр Александрович, — продолжал старик свое рассуждение.

— Да. Так, может быть, все-таки зайдете?

— Нет, нет, благодарю покорно, но я сегодня сыт совершенно.

Дверь закрывалась...

Всякий раз, оказываясь в квартире отца, подросток воображал себя находящимся в полутемной, расположенной на пересечении Екатерининского канала и Английского проспекта книжной лавке. Кроме расставленных рядами на полках книг, гравюр, пожелтевших фотографий в перламутровых, украшенных замысловатыми монограммами и каббалистическими символами рамках, здесь еще продавались и старинные географические карты, разложенные, как шкуры фантастических животных, на овальных столах-жертвенниках.

По географическим картам ползали муравьи, и при помощи увеличительного стекла в медной оправе вполне можно было наблюдать, как они путешествуют по суше и по водам, бредут, бредут, сами не зная куда и зачем: заваливаются за край земли такие беспомощные, такие беспомощные...

Странники. Странствуют.

На следующее утро путешественник отправился дальше.

После пяти часов утомительно-однообразной дороги, проложенной каторжанами сквозь бесконечный, стоящий на болоте и уходящий за горизонт лес, тракт вышел к заливу, вернее сказать, на самую оконечность далеко выступавшего в море мыса, имевшего название Вей-Наволоок.

Рассказывали, что раньше здесь находился Николаевский острог, который был сожжен дотла в 1854 году английской эскадрой. С тех пор тут больше никто не селился, а между разбросанных, наполовину ушедших в землю валунов можно было найти только разноцветные затвердевшие капли оплавленной эмали с наперсных крестов и панагий, полусгнившие дубовые оковалки да куски превратившегося в труху и оттого курившегося на солнце древесного угля.

И путешественник сразу же узнал эту местность, хотя никогда не бывал в ней раньше, эту равнину, посреди которой возвышалась сложенная из выброшенных прибором камней пирамида. Во время приливов, возникновение которых было принято связывать с фазами небесных светил, это воистину циклопическое сооружение, увенчанное чугунным крестом, почти полностью уходило под воду, густо, густо — говорю, перемешанную с пахнущими йодом водорослями и дохлыми, исклеванными чайками рыбами.

Впрочем, в этом узнавании было больше абсолютно нездорового, сокровенного доверия собственным сиюминутным движением души, пусть даже и не имеющим никакого здравого объяснения. Болезнь? Вполне, вполне возможно. Ведь в одном из своих «душеполезных» писем к ученику Иннокентию старец Амвросий Медиоланский писал, что некоторое состояние болезненности, тревоги, некое незначительное телесное недомогание даже весьма и весьма полезны при стяжании образов духовных, жизни несуетной. Конечно, конечно, не следует специально умножать и без того многочисленные скорби телесные и душевные, но и бежать их в страхе,

надеясь искоренить целиком, безусловно, глупо. Ведь всяко Господь по-даст нам лишь по недостойной и смиренной возможности нашей превозмочь труды и печали. И не более того! Особое в данном случае значение приобретает обращение мысленного взора внутрь самого себя, поиск нестроения лишь внутри самого себя.

Конечно, внутри самого себя! Слишком часто мы пытаемся обнаружить источник зла вне нас, напрочь забывая о собственной греховной сущности! Что это — излишняя чувственность, жалость к самому себе, чрезмерная интуиция или визии зла?

2. Интуиция

На лето семья Кучумовых переезжала за город. От железнодорожной станции Стекольный завод до дачной местности Арсаки, где отец обычно снимал большой двухэтажный деревянный дом, следовало добираться еще около часа на извозчике или на специально подаваемом к поезду таксомоторе. Отец предпочитал, разумеется, авто.

Саша хорошо помнил спину облаченного в кожаную куртку таксиста — блестящую и скользкую, как лед, только что подготовленный дворником-татаринном для катания по нему на коньках, спину, терпко пахнущую машинным маслом и табаком. Также к спине при помощи специальных узких ремней-тяг из сыромятной кожи, чем-то напоминавших конскую упряжь, был прикреплен кожаный шлем с картонными, обшитыми мехом наушниками и медное забрало, что совершенно придавало таксисту, которого, к слову заметить, звали Ионой Пантелеевичем, сходство с тяжело вооруженным пучеглазым всадником.

Иона Пантелеевич мял резиновую грушу начищенного до ослепительного блеска песком клаксона, дудел на всю погруженную в неподвижную полуденную дремоту привокзальную площадь, затем поправлял противопылевые очки со вставленными в них желтыми, абсолютно как у умалишенного глазами, стеклами, и таксомотор, взвихряя мелкую, скрипящую на зубах песочную пыль, отправлялся в путь, который занимал не более половины часа.

А сизый подбородок? А сизый, по армейской привычке гладко выбритый подбородок Ионы Пантелеевича зеркально отражался в отполированном, инкрустированном перламутром руле и застекленной наподобие старинного буфета приборной доске авто.

На заднем сиденье, постоянно пихая друг друга и переругиваясь, сидели старшие братья Саши — Максим и Модест. Рядом же с ними и в то же время как бы отгородившись от них плетеной в форме фельдшерского саквояжа корзиной с холщовым верхом сидела мать — Елена Эльпидифоровна. Отец же, как правило, занимал место впереди, рядом с водителем, а Саша — на откидном деревянном сиденье, прямо за спиной Ионы Пантелеевича, и соответственно он мог наблюдать только эту покатуую, льдистую, источавшую совершенно незнакомые запахи спину, впрочем, об этом уже шла речь выше...

Хотя нет, все могло быть совсем по-другому: Саша мог рассматривать лица своих братьев и матери — они шурились на солнце, улыбались, лениво, нехотя ли переговаривались между собой, и теплый, подобный красному бархату ветер развивал их волосы.

Все происходило так, словно на море, жарким июльским днем, когда внезапно из-под высоко идущего, рваного, наподобие затрапезной кисеи, облака, имеющего форму семисвечника, нелетает горячей, печной ветер, треплет привязанные к бамбуковым шестам полотняные, выгоревшие на солнце тенты, поднимает горчичного цвета пыль с глинистой дороги, ведущей к давно брошенной караимской кенасе, наполняет трубным воем пустые стволы высоких заизвестковавшихся саксаулов и клонит к земле

потемневшее от недавно прошедшего ливня золото ковыля, который так напоминает в своем беспорядочном движении волосы, что, как известно, еще могут какое-то незначительное время расти на голове и лице после усновения.

Впервые Успение Пресвятой Богородицы Саша увидел на старой линогравюре, которую однажды нашел в книжном шкафу отца.

...вот, на низком, убранном обьярью с серебряными кистями по углам одре, скорее напоминающем турецкую тахту, лежала женщина, накрытая багряницей. Казалось, что она спит, потому что лежала на боку, подложив правую руку под голову и, видимо, поджав острые худые колени к ввалившемуся из-за болезни животу. Чреву. Поза ее представлялась в высшей степени неестественной и выдавала страдание, приносимое голодом и жаждой, страхом и отчаянием. Вокруг одра стояли какие-то люди, которые не без интереса и любопытства, а может быть, сострадания и искренней печали заглядывали в лицо усопшей женщины, плакали, прятали свои лица в складках длинных, украшенных тяжелыми волнами накидок. Казалось, что они, сии плакальщики, плывут по этим рукотворным волнам, ничуть не боясь при этом быть поглощенными свинцовым предштормовым и море, а еще и раскачиваются среди пенящихся бурунов, которые разбиваются о сложенные на молитве ладони.

Да, это и было Успение Богородицы, где Богородица, если бы она смогла сама открыть глаза и снять с головы покров-багряницу, напомнила бы Саше его мать.

Но она не могла этого сделать — к сожалению или к счастью, даже не знаю, даже не знаю, нет...

Елена Эльпидифоровна наклонилась к сыну и негромко проговорила: «Просыпайся, мы приехали».

Таксомотор медленно въехал в старый, погруженный в тенистый полумрак парк, одна из аллей которого, огибая заросший пруд, вела к деревянному, готического образца двухэтажному дому с большой застекленной верандой на высоком замшелом каменном подклете, как бы выставшем со дна оврага.

Из его глубины.

Из его низа.

Никто точно не знал, что там было внизу. Рассказывали, будто бы все дно оврага устлало мраморные плиты, испещренные полустершимся кабалистическим орнаментом, а также мистическими изображениями: лапа ястреба-пустынника, специальным образом засушенная над огнем жертвенника, двухглавая рипида, трехглавая рипида, открытая в четырех местах книга «Хесед», свиток, буквы греческого и арамейского алфавитов, алконост, крылатая собака, буддийская божница, сосуд в виде чаши для причастия, птица-сирин, знак Великих Моголов, пылающий кустарник — Купина.

Однако спускавшийся на дно оврага дачный садовник по фамилии Золотарев ничего подобного там не обнаружил, кроме разве что полусгнившего бурелома, поваленных деревьев да извивающегося полозом ручья-студенца, что проделал в земле целую лавру, слабо мерцавшую разноцветными глинами. Разноцветными лампадами.

— Нет! Этого просто не может быть! — Отец резко вставал из-за стола, некоторое время молча прохаживался по кабинету, затем подходил к окну, из которого была видна аккуратно выкошенная лужайка с расположенной на ней беседкой.

В беседке сидели Максим и Модест. Видимо, они опять дрались, потому что их одинаковой формы головы тряслись и раскачивались в разные стороны. Идиоты!

— Неужели все разговоры о мраморных плитах, надписях, тайных знаках и подземных жертвенниках — обычный вымысел? — Отец порывисто отходил от окна и вновь усаживался за стол. — Обычный вымысел?!

— Точно так, уважаемый Александр Яковлевич, чистейший вымысел, вздор, иначе говоря. Бред, так сказать, — приторно улыбаясь, отвечал отцу садовник Золотарев, у него еще было такое странное речное имя — Карп, хотя его круглое, совершенно напоминавшее песочного цвета печатную воскресную просфору лицо сохраняло какое-то потаенное знание, возможно, и придурковатое знание, вполне возможно — стоило на него только посмотреть! Знание, с которым он не пожелал расстаться. Да-а, видимо, он все-таки что-то обнаружил там, на дне оврага, до одури надышавшись тяжелыми болотными испарениями, но не решался об этом рассказать отцу, может быть, чтобы излишне не волновать его и не вызвать, не дай Бог, внезапный припадок невротического горлового кровотечения. А впрочем, черт его знает, демона такого!

Карп Золотарев.

— Ведь врешь же, врешь мне, братец.

— Никак нет, Александр Яковлевич, как можно-с врать-с.

— А вот так и можно, можно врать, говорю, в глаза врать!

— Что же вы это такое говорите, Александр Яковлевич? Врать — грешно.

— Грешно, а ты врешь!

— Никак нет-с.

— Ладно, все, надоел, убирайся вон, не хочу тебя больше видеть! — Отец открывал фрамугу и закуривал.

Наступала пауза, воспользовавшись которой Саша незаметно выходил из кабинета и пробирался на веранду. Здесь было необычайно тихо. Полуразмытые тени мерно и ровно двигались по витражам, деревянному полу, по стенам, обклеенным бумажными жухлыми, местами полопавшимися от сырости обоями, по потолку-небу. Застекленная дверь на веранду едва слышно открывалась и закрывалась, открывалась и закрывалась под действием слабого сквозняка, двигалась, скрипела, жила, как бы отмеривая таким образом дни лета, что протекали удивительным образом медленно и однообразно, а деревянные ступени, обильно заселенные улитками и слизняками, уходили в глубину парка и там исчезали среди перепутанных корнями стволов деревьев. Терялись там безвозвратно.

Старый дом жил. Светился фосфором, выступавшим на замшелой черепичной крыше, вспыхивал, особенно после дождя, желтыми, растворяющимися к рассвету в тумане огнями-живцами.

По ночам Саша не раз слышал, как дом тяжело, неритмично дышал, выпускал густой сизый пар, что восходил-восходил, подобный клубам ладана, со дна оврага.

Саша улыбнулся, потому что представил, как его отец, надев брезентовую куртку и высокие резиновые сапоги, сам спускался на дно оврага, чтобы проверить его...

Вообще-то раньше этот дом принадлежал известному заводчику Филиппу Елисеевичу Назимову, но вскоре после того, как его сын, выпускник Тенишевского училища, подававший большие надежды молодой коммерсант Илья Филиппович Назимов, по неизвестной причине застрелился, причем совершил этот дикий, противоестественный, со стороны, казалось бы, ничем не оправданный поступок именно накануне Пасхи 1899 года, Назимов-старший, не выдержав потрясения, запил, полностью отошел от дел, был вынужден распродать все свое имущество, и в том числе этот дом, за бесценок и вскоре умер.

Ходили слухи, что будто бы в Петербурге Илья Назимов увлекся каким-то изотерическим учением, посещал тайные сессии для посвященных, которые проходили в специально для той надобности перестроенной под дацан даче где-то на Елагином острове, а из одной из своих поездок по делам Русско-Маньчжурской концессии в Ургу даже привез сделанный из кости монгольский реликварий, в котором, по преданию, хранилась высу-

шенная голова известного бурятского мага-медиума из клана Великих Моголов — Джебе-нойона.

Скорее всего самоубийство молодого Назимова, как выяснилось впоследствии, находившегося некоторое время на излечении в психиатрической клинике Бари, именно накануне Святой Пасхи стало его несчастной и в то же время богохульственной попыткой доказать на деле, что Бог на самом деле умер и вовсе не воскрес, как об этом было принято думать. Следовательно, так же не воскреснет и он — Илья Филиппович Назимов. Просто провалится в ледяную бездонную пустоту!

Назимова нашли в ванной комнате его петербургской квартиры на Крюковом канале с наполовину снесенным черепом, потому как он выстрелил себе в рот из револьвера. Здесь обнаружили и предсмертную записку, в которой несчастный безумец никого не винил в своей смерти и просил похоронить его именно в овраге на задах фамильной дачи, что близ Стекольного завода в Арсаках. Еще просил положить в могилу тот самый сделанный из кости монгольский реликварий, просто заклинал это сделать. Однако просьбу эту не выполнили, увы, не придав ей особого значения, но более сочтя предсмертным бредом умалишенного. Похоронили Назимова-младшего в глухой части Смоленского кладбища. Здесь же через несколько лет погребли и его отца — Филиппа Елисеевича.

Может быть, из-за этой истории мать и не любила дачу, находила ее слишком мрачной, слишком сырой и потому всякий раз приезжала сюда с видом полной, абсолютной обреченности. Тут она страдала тем малораспространенным видом меланхолии, что довольно часто мог вызывать у нее даже и расстройство желудка, сильнейшие, доводящие до обморока мигрени, раздражительность, приводившую к частым скандалам, а также необычную бледность лица и обильное потоотделение.

Целыми днями мать проводила у себя в комнате, окна которой выходили в парк.

Саша заглядывал в приоткрытую дверь и видел свою мать лежащей на кровати. Казалось, что она спала, потому как лежала на боку, подложив правую руку под голову и, видимо, поджав острые худые колени к ввалившемуся животу. Такая поза ее представлялась в высшей степени неестественной и выдавала крайнее страдание, приносимое голодом и жаждой, страхом и одиночеством. Рядом с кроватью на полу лежала книга. Скорее всего мать задремала и выронила ее, а пересохшие губы продолжали настойчиво-интуитивно шептать непрочитанные за день слова молитвы. Заклинания.

Это уже потом она признавалась, что всю ночь не спала, потому что через открытое окно в комнату вошла землисто-ледяная луна и вызвала у нее своим inferнальным появлением блуждающие галлюцинации.

Саша отошел от двери, которая тут же и закрылась сама под действием сквозняка. В коридоре сразу стало темно. Тьма египетская.

Саша закрыл глаза, но открыл их уже в парке, причем в самой удаленной, самой глухой его части. Он сам и не помнил, как оказался здесь, — затмение.

Полное затмение.

Откуда-то со стороны пруда доносилось пение отца. Чувствовалось, что каждую новую ноту он брал с особым старанием и осторожностью. Видимо, чтобы не сорвать голос и не вызвать тем самым приступ горлового кровотечения. Боже мой, Боже мой, ведь он так боялся этого!

Максим Александрович и Модест Александрович молча сидели на дне заросшего папоротником балка и жгли костер.

Слабый рваный огонь сполохами освещал их мертвенно-бледные, изможденные, абсолютно похожие друг на друга лица: ведь братья были близнецами. Да, все соглашались с тем, что они походили на мать, по крайней мере внешне, — те же узкие скулы, те же выступающие рогами

желтушного оттенка заушные бугры, а еще темные, как у актеров немного синематографа, круги под глазами, острые, словно срезанные острой бритвой фиолетовые или бирюзовые, в зависимости от освещения, губы и растущие сухим травяным коловоротом до самого лба, жидкие светлые волосы.

Саша же, напротив, был более похож на отца...

В эту минуту отец и перестал петь, потому что врачи из-за его болезни разрешали ему петь не более двадцати минут в день. Это все знали. Это было правдой.

И вновь наступила гулкая тишина, которую нарушал лишь слабый треск сырых веток в костре. Саша еще вспомнил то время, когда на семейных праздниках Максим и Модест сопровождали отца в четыре руки на старом беккеровском рояле, что принадлежал деду матери — Эрасту Андреевичу; его портрет висел в гостиной среди прочих больших и малых портретов родственников. Саша почему-то боялся этого неподвижно смотрящего из-под запыленного стекла худого, остролицего старика с длинной, детально выписанной неизвестным художником жилистой шеей, несколько раз обернутой темно-синим с искрой шелковым платком. И Саша, как ему казалось, будучи полностью подвержен какому-то неведомому смятению и панике, отводил взгляд от ледяных, подвергающих его испытанию надменным молчанием глаз старика, от его презрительно сжатых губ, цепенел, стараясь заставить себя вслушаться в пение отца.

Все превращалось в скверный анекдот, в профанацию пения. Максим и Модест сидели рядом на обтянутой красным вытертым бархатом банкетке, одинаково раскачивали головами (они всегда, всегда так делали!) в такт звучащей музыке, поочередно вдавливали внутрь деревянного ящика, подвешенного под чревом рояля, выкрашенные золотой краской педали, одинаково, абсолютно одинаково двигали руками вдоль фронта клавишей, напоминавших пожелтевшие от частого употребления табака зубы. Выбивали эти старые, но ровные зубы длинными пальцами, выворачивали острые локти, как рычаги, как маховики паровой машины или механического пианино, ну дышали, само собой, ловко успевали перевернуть ноты на деревянном, украшенном замысловатой резьбой пюпитре.

Старинное время. Старинные ноты. Старинные запахи. Саша всегда задавал себе один и тот же вопрос: «А можно ли вообще любить стариков с их ярко-красными, как семена граната, глазами?» — и не находил ответа, вернее сказать, подразумевал его, но не решался произнести вслух. Это был дерзкий ответ!

...и вот, пропахшие дымом костра и какой-то выступившей из-под земли белой пенистой дрянью, держась за руки, братья — Максим Александрович и Модест Александрович — долго брели через парк, путались в заросших высокой, остроконечной, источающей пьянящие благовония травой дорожках, падали, с трудом поднимались с земли, вновь падали.

Так и брели домой.

Путешественник миновал городище и по узкой кривой улице, проложенной между покосившимися лодочными сараями и осевшими от сырости заборами, вышел к морю, что с однообразным, разносимым ветром на многие километры рокотом-дыханием накатывало на берег до бесконечности сменявшие друг друга волны. Шипение соли. Исхождение йода. Да, вероятно, в этой лишенной всякого смысла смене декораций и заключалось состояние безвременья. Когда по отражающемуся в воде залива низкому северному небу совершенно невозможно определить ни положения солнца, ни часа, ни времени суток, ни тем более направления движения стрелок в поле сделанного из панциря черепахи циферблата механического путевого будильника. Пустынно.

Здесь по разгороженным сетями-рюжами отмелям ходили рыбаки, видимо приплывшие сюда на длинных, густо просмоленных кочах с Летнего

берега залива, негромко переговаривались, курили невыносимо вонючий, доводящий с непривычки до рвоты табак, улыбались друг другу.

И что же... путешественник тоже улыбнулся, но более, разумеется, своим мыслям, своим воспоминаниям и грезам. Например, тому, как в детстве они с отцом, матерью и двумя старшими братьями-близнецами плавали на остров Коневец в Ладожский Арсенийев монастырь, как здесь после долгих, утомительных служб, проходивших в низком, почему-то нештукатуренном и оттого напоминавшем катакомбы храме, все вместе гуляли по песчаным, усыпанным сосновой трухой пляжам, как сидели на монастырском дебаркадере и дожидались, пока не придет старый, скрюченный ревматизмом бакенщик с выпяченной, как у глухонемого, нижней губой и не зажжет масляный в форме песочных часов фонарь.

Так наступала ночь, и уже нельзя было разглядеть ничего до самого горизонта, кроме разве что чадающего фитиля, который напоминал бурый, расслоившийся ноготь, довольно часто, кстати сказать, используемый для оставления помет на залоснившихся страницах Требника, «Книги Правил» или книги «Хесед».

...потом приходилось возвращаться в гостиницу для проезжающих, в данном случае для паломников, расположенную в глубине острова, подниматься по узкой деревянной лестнице на второй этаж, проходить по длинному, тускло освещенному газовыми рожками коридору вдоль однообразной вереницы дверей, отличавшихся друг от друга лишь порядковым номером, выбитым на медном каленого цвета картуше.

Отец подходил к одной из этих выстроившихся словно солдаты на плацу дверей, прикладывал ухо к замочной скважине и слушал едва доносившееся из глубины комнаты чтение.

3. Визии

В город, как правило, возвращались в начале сентября.

В вагоне было жарко. Ощущение духоты также усиливали плотного бархата шторы с тяжелыми кистями, на которых сидели оцепеневшие в безвоздушном пространстве мухи. Некоторые из них даже и сидели вниз головами.

Саша смотрел в запотевшее окно, по которому ветер размазывал редкие капли уже по-осеннему холодного дождя, и потому проносившиеся мимо пригороды казались совершенно акварельными, иллюзорными, потерянными в полуоблетевших дачных перелесках, а перемазанные паровозной копотью лица зрителей, обходчиков и пассажиров, мелькавшие среди резных деревянных узоров пристанционных курзалов, походили более на одно лицо с застывшей на нем гримасой раздраженного недоумения.

Вытягивалось, вытягивалось, стыло.

В окне вагона отражались лица матери и отца, и это отражение вполне напоминало фототипию на специально закопченной стеклянной пластинке с ртутным напылением, на которой при помощи магниевой вспышки были запечатлены оцепеневшие от страха сиамские близнецы — Адам и Алексей.

Да, вроде бы так звали братьев Крахмальниковых, владевших купальней для слонов на Фонтанке, где-то в районе Караванной улицы.

Саша улыбнулся этому знанию, оно показалось ему чрезвычайно смешным, занятным. Аллюзии? Нет, несколько, ведь это была чистейшая правда. Слонов, которых держали тут же рядом, в цирке Чинизелли, выпускали из специальных плетеных закутов и по деревянному, сколоченному из дубового горбыля длинному, весьма и весьма внушительной величины помосту заводили в воду.

Помост гнулся и скрипел, выдавливая из себя гвозди.

Настил. Покров. Багряница. Плат. Воздух.

С купанием слонов в Фонтанке было также связано и немало комических историй. Согласно одной из них, полностью увлекшись поливанием друг друга из столь напоминавших морщинистые старческие двугорбые затылки хоботов, африканские или индийские, что не так важно, исполнены, к слову сказать, почему-то получившие в Петербурге имена Каспара, Мельхиора и Бальтазара, совершенно нечаянно облили проезжавшего в открытой коляске по противоположной стороне набережной тайного советника Его Императорского Величества дворцовой канцелярии Михаила Юрьевича Скюдери. Следствием этого досадного инцидента стал вызов братьев Крахмальниковых в городское жандармское управление, вынесение им официального предупреждения, а также наложение штрафа, взысканного в пользу Общества пострадавших от наводнения 1824 года, почетным председателем которого, как выяснилось позже, и был господин Скюдери.

В жандармском управлении братьев Крахмальниковых — Адама Осиповича и Алексея Осиповича — завели в темную комнату, усадили на деревянную скамью и, ослепив магниевой вспышкой, сфотографировали. Для архива. Тогда это входило в моду.

После того как миновали Обводный канал, пройдя приземистый, выложенный из красного огнеупорного кирпича железнодорожный мост, напоминавший римской постройки водовод-акведук, поезд замедлил ход. Отец отдал соответствующие распоряжения по поводу багажа низкорослому, молодцеватого вида проводнику в форменной, обшитой по околышу золотым шнуром фуражке и стал готовиться к выходу.

Саша видел, как отец сосредоточенно расчесывал перед зеркалом усы, несколько слежавшиеся в поездке, повязывал галстук, приглашал мать, чтобы она помогла ему надеть уже загодя вычищенный влажной щеткой дорожный плащ, и тут же буквально на глазах сам превращался в путешественника в том старинном, уже совсем забытом смысле слова, в странника, для которого всякое новое путешествие должно было неминуемо закончиться каким-то удивительным, умопомрачительным, абсолютно не поддающимся здравому пониманию географическим открытием. Например, нахождением страны за Дышащим морем или острова, который во время совершения парада планет погружается на дно залива, этакое блуждающего острова, не отмеченного ни на одной географической карте.

Отец заметил Сашу и улыбнулся ему:

— Ну вот и приехали.

Потом помолчал и добавил, но уже матери:

— Елена Эльпидифоровна, голубушка, будь добра, подтяни хлястик, вот тут, вот тут, чтобы не задувало и чтобы не отсырел бандаж на пояснице.

В такие минуты отец почему-то напоминал плаксивого, только что извалявшегося в манежных опилках старого, страдающего грудной жабой, запойного клоуна в надвинутом на самые глаза колпаке. Этот невероятной, просто болезненной худобы клоун из цирка Чинизелли выбежал из-за портьеры, занавеса ли расшитого серебряными звездами, глупо, невыносимо глупо надувал щеки, стараясь, видимо, тем самым изобразить на своем лице удивление, тарасил глаза и истошно кричал. Да так кричал, вопил, что сидевшие под куполом цирка жирные голуби вспархивали и роняли вниз сизые в разводах перья с прилипшим к ним пометом.

Голосил:

— Антонио! Меня зовут Антонио!

— Да знаем, знаем, как тебя зовут, — звучало из зала, — с чем на сей раз пожаловал, старый дурак?

— Это я-то старый! — Антонио хватался за несуществующий живот и падал на манеж, начиная при этом эпилептически перебирать ногами, поднимая вверх клубы желтой опилочной пыли. — Это я-то старый! Я ста-

рый?! Я — молодой, мне восемнадцать лет! Нет, мне — пятнадцать лет! А ты, старый пердун, заткнись! Понял!

Зал тут же отвечал взрывом дружного хохота:

— Молодой, молодой, пахнешь водой! Да ты на себя посмотри, Антонио!

— Смотрю, смотрю, внимательно смотрю и вижу только ваши ослиные морды да свинячьи рыла! — При этом Антонио вертел головой так ретиво, что колпак наконец слетал с его головы в опилочное месиво, обнажая при этом абсолютно лысый, густо натертый репейным маслом череп клоуна.

— Ну уморил, уморил, разбойник! — вопили сидевшие в первых рядах нарядчики и портовые служащие, младшие офицерские чины, плакали со смеху или даже лупили себя кулаками по животам.

— Сейчас врежу вам всем! Сейчас врежу! — Теперь же Антонио пытался натянуть на голову свой непотребного вида, изваявшийся в опилках колпак, но у него ничего не получалось. Он хватал его обеими руками, невыносимо уморительно примерялся, целился, однако в самый решающий момент промахивался, спотыкался и, перевалившись через обшитое залоснившимся, давно вытертым велюром ограждение манежа, падал кому-нибудь из зрителей на колени.

— А ну пошел, пошел, демон такой! — вопили, превозмогая невыносимый, доводящий до остановки дыхания смех, зрители.

Апноэ — остановка дыхания во сне.

Антонио извивался. Визжал. Пускал слони, а откуда-то сверху к нему уже бежал тучный, едва державшийся на ногах господин:

— Я тебе морду набью, скотина!

— Александр Иванович, Александр Иванович, не извольте беспокоиться, не извольте беспокоиться! — доносилось со всех сторон как эхо. И гул голосов нарастал, превращался в рев, в топот, в стук колес, в стук молотков:

— Держите, держите, мерзавцы такие, господина Куприна, чего пялитесь!

Но было поздно, господин Куприн оступался и тоже неловко падал кому-то из зрителей на колени.

...когда вагон, погрузившись в густое молочное облако взвихряющегося из-под перрона пара, вздрогнул и резко остановился, мать села на край дивана и сложила руки на коленях.

Саша хорошо знал, что именно в такой же позе всегда сидел вырезанный из дерева Спаситель. Он содержался в каменной темнице, и потому по его лицу, рукам, острым худым коленям стекала кровь, а распухшие от слез глаза его выражали лишь страдание да одуряющую боль, приносимую ощущением абсолютной покинутости всеми, оставленности, предательства и безграничного одиночества.

Довольно часто, чтобы не видеть всего этого кошмара, деревянную скульптуру Спасителя накрывали вышитой Голгофами Плащаницей, но и при этом не могли удержаться от вызывающего припадки умопомешательства любопытства. Тайно, тайно, чтобы, не дай Бог, никто не увидел, приподнимали края этой Плащаницы и заглядывали в пахнущую благовониями темноту. Сколько чувств! Сколько видений! Сколько неведомых ранее желаний и ощущений вызывало это, кстати сказать, весьма и весьма греховное подсматривание, что и не перечесать!

Некоторые утверждали, что там, находясь в скинии, Спаситель даже и улыбался сквозь слезы, прощал полностью своих лютых мучителей, хотя, конечно, в это было трудно поверить, ведь перенесенные и грядущие муки могли вызвать лишь уныние и желание призывать и еще раз всячески призывать смерть как единственную цельбоносную возможность если не спасения, то хотя бы освобождения!

Отчаяние.

Потом мать вставала с дивана и выходила из купе, а проводник, совершенно являя собой саму любезность, провожал ее в тамбур, где уже толпились встречающие.

И так все повторялось снова и снова...

Вот мать медленно открывала глаза, с трудом переворачивалась на спину, распрямляла затекшие ноги, что еще мгновение назад были поджаты к ввалившемуся животу, двигала руками под багряницей, которой была накрыта, перебирала четки, а люди, стоявшие вокруг низкого, убранного обьярью с серебряными кистями по углам одра, больше напоминавшего турецкую тахту, тут же приходили в движение, словно очнувшись, словно выйдя из оцепенения. Изойдя.

— Значит, она все-таки жива и не усопла, как могло показаться, или как того по крайней мере требовал сюжет, запечатленный на старой, неизвестного происхождения линогравюре! — восклицали.

Умилялись.

— Или она притворялась, или чудесным образом воскресла, — недоумевали плакальщики, которые еще несколько минут назад должны были держать ее за пальцы ног и вымаливать прощение.

Видимо, здесь было что-то неподвластное их пониманию!

Затем все они, тут же буквально на глазах превратившись из плакальщиков в иподиаконов в атласных, волочившихся по полу стихарях, с причитаниями и увещеваниями помогли ей встать. Славословили, вытирали длинными рукавами заплаканные глаза.

Встречающие толпились, размахивали руками, тискали друг друга, даже плакали от умиления.

Отец взял мать под руку и помог ей спуститься из вагона на перрон, где уже стояли Максим, Модест и Саша.

Паломничество на Коневец запомнилось путешественнику еще и потому, что это было его первое странствие, когда на смену двору, улице, городу, местности, знакомым до самых мелочей, вдруг приходило пространство, напрочь лишенное начала и конца, верха и низа, лишенное времени и часов. Здесь небо сливалось с землей, а земля совершенно незаметно уходила под воду. Здесь, над самой головой влекомые ветром-духом, постоянно неслись кварцевых оттенков извивающиеся наподобие скользких блестящих водорослей или усов сома облака, а вершины шелушащихся сухой глиной и фольгой сосен растворялись в скалистых уступах прибрежных скал. Тут каждую минуту вода, закипавшая в узких каменных горловинах или, напротив, покрывавшаяся тонким, полупрозрачным слюдяным льдом на песчаных отмелях, меняла свой цвет: на смену осыпавшемуся предштормовой рябью цинку приходил кипящий янтарной смолой, пузырящийся, ядовитый, ярко-оранжевый, а еще и выжигающий глаза сердолик.

Немигающее ярое око.

Дыхание чередовалось, и поэтому приходилось широко раскрывать рот, чтобы поглощать, поглощать и не подавиться при этом густым, резко пахнущим йодом паром, который то и дело проваливался в бездонные ямы-колодцы разряженного воздуха. Жар, цветение, Армагеддон...

Может быть, поэтому сия местность и называлась Летним берегом залива. Здесь, в отличие от Зимнего берега, находилось несколько довольно крупных лесопоселков, пороховой завод, церковь и даже железнодорожная станция, от которой вполне можно было добраться до Петрозаводского тракта, а оттуда — и до Петербурга.

4. Превращение

Саша стоял у витрины магазина на Невском и наблюдал, как за стеклом, по которому ползали улитки, в густой перламутровой воде, подсвеченной электрическими светильниками в матовых колпаках, плавал зеркальный карп. Он жмурился от удовольствия, переворачивался брюхом вверх, веял плавниками. Потом с противоположной стороны, то есть из

глубины магазина, к витрине подходил рабочий, открывал окно и на специальном деревянном лотке задавал зеркальному карпу корма, а иногда и сам забирался в витрину и ходил там по шею в воде, поднимая резиновыми чеботами со дна песчаную взвесь.

Саша долго не мог оторваться от этого необычного зрелища. Грезил. Наконец рабочий, словно очнувшись от сонного речного небытия, вылезал обратно в магазин и, оставляя на каменном, вымощенном чугунными плитами полу зеленоватого оттенка бесформенные, по большей части мелкие лужи в форме стоп, под смех и улюлюканье продавцов, мол, «опять обоссался, придурок», удалялся в служебное помещение, расположенное за облицованным мореным дубом гигантским прилавком.

Зеркальный карп подплывал к самому стеклу витрины, замирал, совершенно уподобившись при этом отливающему потемневшим в горячей воде серебром неповоротливому дирижаблю, и немигающим взглядом неотрывно смотрел в глаза Саше.

Смотрел... словно бросал в эти глаза горсти измельченного в стекольную пыль малахита: до рези, до жжения. Тут же веки набухали, а на ладонях вскакивали волдыри и начинала сходить кожа. Шелушиться.

Карп. Золотарев.

Саша отводил глаза от витрины, даже целиком отворачивался от зеркального карпа, становясь к нему спиной, но чувствовал, чувствовал-таки на себе его неподвижный, завораживающий взгляд. А мимо по Невскому проходили прохожие, но почему-то никто из них не обращал на происходящее никакого внимания. Будто бы ни витрины, заполненной малахитовой жижей, ни зеркального карпа, ни Саши вообще не существовало.

Существовали только гигантские минералы, в полнейшем беспорядке разложенные на лотке ювелира, в единственный глаз которого было вставлено увеличительное стекло. Монокль. Одноглазый ювелир!

Впрочем, так могло повторяться изо дня в день, пока наконец тот же рабочий не забирался в витрину с водой, не вылавливал зеркального карпа за хвост и не распарывал ему брюхо длинным хозяйственным ножом, который извлекал из-за пояса.

Саша кричал в иступлении: «Что же ты делаешь, разбойник!» Стучал кулаком по стеклу, да с такой силой и страстью, что улитки падали со стенок аквариума на дно и оказывались тотчас же раздавленными ушастыми чеботами рабочего.

Когда же все это заканчивалось, то зеркальному карпу отрубали голову, и она так еще долго валялась под столом, пялилась остекленевшими глазами в закопченный потолок.

Вот потолок.

— Моя фамилия Золотарев, но зовут меня не Карпом, а Василием. — Рабочий отворачивался к стене магазина, на которой висело изображение августейшей четы на борту яхты «Штандарт», потом смотрел в потолок. Чувствовал себя неловко.

А что же Карп Золотарев? Вот он опустил глаза к полу и, как бы нехотя, еле двигая распухшим, едва помещавшимся во рту языком, проговорил:

— Вчера вечером я спускался на дно оврага, который расположен на задах дома, и там, среди полусгнившего бурелома и поваленных ураганом деревьев, обнаружил выложенный мраморными плитами жертвенник, по четырем сторонам которого были изображены орел, лев, телец и ангел.

— Ну что же ты, стервец, мне врал, что ничего не обнаружил на дне оврага?!

— Так ведь боялся же сказать правду.

— Боялся?

— Боялся, что вы меня заругаете.

— Ладно, иди с Богом. — Александр Яковлевич вставал из-за стола и выключал лампу.

И уже потом, ночью, когда на кухне наконец гасили свет, а на запотевших от бесконечной готовки окнах замирали изломанные силуэты растущих во дворе деревьев, голову зеркального карпа утаскивал в свое подземелье желтоглазый, насквозь провонявший рыбной чешуей старый кот по имени Уар...

Еще какое-то время Саша безо всякой цели и смысла бродил по Невскому, находясь под впечатлением увиденного и пережитого, затем сворачивал на одну из прилежавших к проспекту улиц и вскоре оказывался перед дверями огромного многоквартирного доходного дома, в котором жил его отец.

Раньше квартира здесь, на четвертом этаже, принадлежала деду отца — Петру Ильичу Кучумову, известному в свое время издателю музыкальной литературы и нот. Он выкупил ее у владельца дома — немецкого заводчика Канна. Однако после смерти деда его многочисленные наследники превратили некогда просторную семикомнатную квартиру в обычную коммуналку с общей кухней, общей ванной и вечно забитым вонючим мусоропроводом. С тех пор мать отказалась здесь жить и переехала с Сашей, Максимом и Модестом в квартиру родителей на Миллионную. Отец же переезжать отказался, хотя довольно часто навещался в гости и любил подолгу засиживаться за самоваром — кажется, пока не выпивал его целиком. Пел? Нет, здесь он петь не любил, почитая акустику недостаточной...

Тогда их ссоры с матерью становились все более и более частыми. Скандалы, крики, ругань, угрозы — уйти насовсем. Так оно и вышло в конце концов.

Дверь в парадный медленно открывалась, выдыхая в лицо подвальной сырость, выпуская едва различимый гул, что обитал в чугунных крестовинах лестничных маршей. Тут вполне можно было отдохнуть и справиться с волнением. С сердцебиением.

— Это хорошо, что ты пришел, — говорил отец, — раздевайся. Ботинки — под вешалку. И заходи. Я, видишь ли, сегодня немного нездоров, потому что почти всю ночь не спал, вставал с кровати, подходил к окну, подолгу смотрел в темноту, потом вновь ложился, но еще долго так лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок с застывшими на нем отсветами уличных фонарей. Чувствовал, как начинает болеть голова, потому что откуда-то из самой глубины, из чрева, из подземелья, в нее начинала прибывать дурнота: может быть, из живота, а может быть, из сдавленной волнением груди. Веришь ли, но мне даже становилось как-то необъяснимо приятно наблюдать это внутреннее нарастание чего-то, по сути своей, необъяснимого, напряженного, вызывающего учащенное дыхание и холдную испарину на лбу. Это было как лавина, как наводнение, как приведение приговора в исполнение. И тогда приходилось вновь вставать с кровати, буквально выдергивать себя из полуобморочного забытья, заставляя, через силу заставлять себя вновь подойти к окну, распахнуть его и, широко открывая рот, жадно вдыхать-пить ледяной воздух. Какие-то мгновения — и все наполнялось жгучей, вызывающей судороги, агонию ли прохладой. Льдом? Газом? Ознобом?

Мне кажется, что я уже давно так болею, много лет, и потому привык к этим страданиям. Я изучил их происхождение, последовательность, симптомы. Однако было бы ошибочным думать, что истинные страдания полезны для душевного здоровья, что они просветляют ум и истончают душу. Нет, это совсем не так. Истинные, иначе говоря, внезапные и в то же время со страхом ожидаемые, чаемые мучения необычайно вредны, потому как они мутят рассудок и огрубляют душу, доводя порой человека до животного состояния. До скотского состояния! Поверь мне. До того состояния, пребывая в котором уже невозможно различить все многообразие красок и звуков, просто потому, что на это не осталось сил, и все, совершенно все перерастает в монотонный, ртутью сверлящий голову гул-бред

бледно-серого, металлического, мертвенного цвета, скрадывающего различные детали. Такие детали: кран в раковине, оконная задвижка, настенные часы, радио, телефон, дверной замок. Конечно, впоследствии вполне можно утешить себя тем, что все эти предметы не столь важны, чтобы печалиться от их неузнавания, и без них можно прожить, слушая лишь собственную головную боль и полностью доверяя ей. Но это не так! Уверяю тебя, совсем не так, потому как из подобных незамысловатых частностей, банальных пустяков, а пускай даже и пошлостей и складывается жизнь, обнаруживает себя течением времени. Это как инфекция, неотвратимо приводящая к старости и смерти.

Течение реки.

Саша посмотрел на отца и не узнал его.

Преобразование в совершенно другого человека происходило буквально на глазах, и речь в данном случае даже не шла об изменении внешнем, но скорее внутреннем. Да, того отца, которого Саша знал раньше, пожалуй, уже больше не было, не существовало. Вернее было бы сказать, что он остался в каких-то далеких, смутных, призрачных, ничего не имеющих общего с реальной жизнью путаных воспоминаниях. Могло даже показаться, что его — бодрого, улыбающегося, гладко выбритого и приятно пахнущего дорогим одеколоном — никогда и не существовало. Боже мой, но тогда откуда же могли взяться подобные трансформации? Вероятно, из детских мифов-представлений о том, каким должен быть на самом деле настоящий молодой отец — этакий удалец, выходящий на футбольное поле в только что выглаженных трусах до колен и майке, шерстяных полосатых гетрах и кожаных, спеленутых бесконечной длины шнурками бусах.

Трогал мяч.

Саша трогал голову отца, лежащую на подушке.

А ведь еще совсем недавно он пел этой головой! Использовал ее в качестве духового орудия. Посещал врача-фониатра, который смазывал ему горло и связки эвкалиптовым маслом. Однако в последнее время музицировать он уже почти не мог, потому как только брал первые ноты, тут же начиналось сильнейшее горловое кровотечение, и приходилось вкладывать в рот ватные тампоны, а на горло класть лед.

Вот отец уснул.

Как странно теперь было сидеть рядом с ним, заглядывать в его свернутое простыней лицо и находить там, в глубине, лицо совсем другого человека. Медиума, в которого он перевоплотился, хотя бы и в Сашинем воображении.

Медиум открывал глаза, пристально смотрел на Сашу и вдруг резким, вызывающим сухость в горле голосом выкрикивал:

— Уходи прочь!

Этот ненавистный, коротко стриженный, коренастый старик в очках на мясистом венозном носу выкрикивал:

— Уходи прочь!

Вполне возможно, что отец просто не хотел, чтобы кто-то, в том числе и его сын, видел его страдания, а вернее сказать, то, во что эти страдания его превратили. Конечно, конечно, именно поэтому он и отказывался переезжать в квартиру матери на Миллионную и остался жить один.

«Уходи прочь!»

И это означало, что надо было, не завязав толком ботинок, путаясь в шнурках и спотыкаясь на разбросанной по полу одежде, выбегать на лестницу, прыгать через ступени, падать, вставать, хвататься за поручни, волочить себя из последних сил, тяжело дышать, хрипеть, чтобы не слышать вновь и вновь врывающегося сквозь уши в голову истерического крика: «Убирайся прочь! Скотина! Чтобы больше я тебя, мерзавца такого, не видел никогда!»

Укусил сам себя за палец, и палец распух!

...наконец оказывался на улице перед дверями огромного многоквартирного доходного дома, из которого только что с таким позором был изгнан собственным отцом или, вернее сказать, тем, что от него осталось. При этом Саша чувствовал, как дрожат его руки от страха и в глазах стоят слезы от обиды: «Сам, сам иди к черту, старый дурак, никогда я не приду больше к тебе, даже если ты будешь меня просить, задыхаясь в мокрой, расползшейся наподобие прокисшего теста подушке, звать, свесившись с кровати головой вниз, или умолять о помощи, ползая по полу и не имея ни малейшей возможности подняться. Да, я умер для тебя, чертов псих, меня больше нет для тебя, я больше не существую ни наяву, ни в твоём больном воображении! Аксиос!»

...и оставалось бежать, теряя с каждой минутой силы, задыхаясь, вопя, изнуряя себя памятованием смерти и унынием, совершенно не разбирая дороги. Бежать от собственных воспоминаний, от которых, как известно, убежать невозможно, но лишь еще более при этом наполнить их ядовитыми красками горечи, чтобы еще и еще раз осознать всю унижительность своего положения.

Саша часто думал об этом, вернее сказать, о подобной несправедливости, когда твой вполне искренний, совершаемый от чистого сердца поступок истолковывается совершенно по-иному, противным, даже богопротивным образом, полностью выставляется с ног на голову, и ты, в первые минуты абсолютно беззащитный, не понимающий, что же, собственно, произошло, вдруг должен начать извиняться, что доставил столько неудобств, что даже и не подумал о тех пагубных последствиях, которые повлек за собой твой столь необдуманный поступок. И сразу же буквально весь мир переворачивается в твоих глазах — зло оказывается добром, а добро превращается в зло. Наступает полная иллюзия того, что вся твоя прежняя жизнь оказывается лишенной всякого смысла! Боже мой, это так неприятно и постыдно, когда под бурным натиском внешних лукавых обстоятельств ты перестаешь доверять себе, предъявляешь себе несуществующие обвинения, коришь себя в несовершенных проступках, истязашь себя и ищешь, у кого бы попросить прощения за, собственно, и не совершенное тобой злодеяние. Было бы много лучше, если бы ты нашел в себе силы или даже дерзновение и прокричал в темноту пустой подворотни: «Сам убирайся прочь!» Но ты теряешь сознание, падаешь на мостовую без чувств и разбиваешь себе голову.

Мать трогала голову Саши, лежащую на подушке, потом поправляла подушку, грозила вошедшим в комнату Максиму и Модесту, чтобы они вели себя тихо и не тревожили брата, который болеет и только что уснул, забылся коротким, полуобморочным сном после принятых лекарств. А Максим и Модест, разбойники такие, кралась мимо кровати, на которой лежал Саша, давились от идиотского смеха, закрывали рты ладонями, икали, у кого получится громче, а потом забирались на подоконник и подолгу глазели в окно на улицу.

Вообще-то мать запрещала им это делать, а именно сидеть на ледяном мраморном подоконнике, потому что уже однажды, кажется прошлой зимой, Модест застудил себе таким образом почки и оттого до самого Успения страдал невыносимыми резами в пояснице, а также мочился под себя ежечасно, разнося по и без того никогда не проветривавшейся квартире кислый запах переливающегося янтаря. Просто мать боялась сквозняков, потому что страдала ушами, и не разрешала открывать окна. А дворник Егор Порфирьевич, когда поднимался в квартиру, чтобы в очередной раз доложить о том, что внизу, в парадном, пришел и топчется возле камина отец, всегда приговаривал сквозь золотистые, как у первосвященника, усы: «Что-то, матушка, у вас как-то вонько...»

Ну то есть душно, душно...

Так вот, Модест и Максим не слушали мать, сидели на подоконнике и глазели в окно на улицу.

На улице было пустынно, уныло, и только изредка в сторону Марсова поля медленно проезжали авто.

Довольно быстро темнело.

Прохожих почти не было, и разве что только один мог привлечь внимание братьев, потому как, видимо, был немного нездоров, по крайней мере выглядел таковым: он тяжело дышал — верный признак нездоровья, ощущал дурноту, невыносимо страдал от электрических разрядов в ногах и потому явно хромял, а из-под меховой, надвинутой на самые глаза шапки стекал пот. Внешне этот странного обличия прохожий вполне мог походить на паломника, странника или даже путешественника, пришедшего издалека, из ниоткуда и уходящего в никуда.

Остановился! Он остановился...

Максим и Модест замерли у окна.

Повернулся! Резко поднял голову, вскинул и, невзирая на страдание, приносимое шейной невралгией, стал искать глазами окно. Их окно!

«Вот же оно! Вот же оно!» Нашел и уставился на него абсолютно немигающим, стеклянным взглядом.

Стало страшно.

На подоконнике, улегшись на распаренное от дыхания стекло острыми подбородками, сидели близнецы, у которых были одинаковые узкие скулы, выступающие рогами желтушного цвета заушные бугры, а еще темные, как у актеров немого синемаатографа, круги под глазами, тонкие, словно срезанные опасной бритвой фиолетовые или бирюзовые, в зависимости от освещения, губы и растущие сухим травяным коловоротом из макушки до самого лба жидкие светлые волосы.

Путешественник поклонился мальчикам, потом повернулся и медленно побрел по улице, размышляя о весьма и весьма странном происшествии, только что случившемся с ним.

5. Станция

Путешественник толкнул невысокую, так что даже пришлось нагибаться, обитую драным войлоком дверь и вошел в прямоугольную, со сводчатым потолком, слабо освещенную керосиновыми лампами залу почтовой станции. Тут же из-за выкрашенного коричневой краской прилавка навстречу ему устремился высокий, буквально упирившийся головой в потолок, в устаревшего образца малиновом кителе на ватном подбое худой старик с бельмом на левом глазу и совершенно сросшимися на переносице, как усы, колючими бровями.

Заулыбался.

Проявил искательство и расторопность, не без смущения, но весьма настойчиво попросил назвать себя, дабы в соблюдение инструкции занести имя путешественника в специальную книгу для проезжающих.

Вот она, эта книга.

— Кучумов Александр Александрович, приват-доцент кафедры древних языков Санкт-Петербургского университета. Цель путешествия? Навестить страдающего крайней формой душевного расстройства отца. Хотя совершенно не уверен, жив ли он теперь, ведь мы не виделись столько лет.

Лицо начальника почтовой станции выразило при этом полнейшее удовлетворение, он закивал головой, чем выявил свою и без того трясущуюся мятым, сохнувшим под проливным дождем бельем шею и велел ставить самовар.

Путешественник сел у окна.

Так он сидел какое-то время абсолютно неподвижно, может быть, даже и пребывал в задумчивой усталости, только губы его шевелились. Од-

нако затем он повернулся, лег грудью на подоконник, точно так, как он это делал когда-то в детстве, откинул тщательно отглаженную и оттого наминавшую лист пергамента занавеску и выглянул в окно.

Вот этот двор почтовой станции, куда выходил одноэтажный деревянный дом с позеленевшей от сырости крышей, конюшня и каретный сарай, одна из стен которого была в несколько рядов обложена дровами. Еще здесь сушилось белье и разноцветные, набивные, со следами печной копти половики, а на крыльце лежала собака. Она почти не шевелилась, разве что вздрагивала во время дыхания, шевелила мохнатыми, весьма напоминавшими высохшие елки ушами да улыбалась: «блаженны, блаженны чистые сердцем». А ведь этой едва передвигавшейся, уморительно пускавшей ветры и страдавшей недержанием кала собаке прошлым летом исполнилось девятнадцать лет, и она по праву считалась членом семьи начальника почтовой станции.

Путешественник, конечно, не знал всего этого, как, впрочем, и того, что начальник почтовой станции привязывал собаку к спинке стула, чтобы она не упала, залезал под нее и чесал ей брюхо сплетенной из водорослей ключочей губкой.

Конечно, конечно, не знал, откуда ему было это знать!

А еще долгими зимними вечерами эта собака любила лежать в прихожей под дверью и, находясь в болезненной старческой полудреме, слушать сквозь просверленные ртутью в голове дыры, в лысой-лысой голове, сквозь залепленную хлебным мякишем газоотводную трубку, как начальник почтовой станции сгребает широкой жестяной лопатой снег с крыльца. Тут же мыши ходят по полу, скребутся, обнюхивают неподвижно лежащую собаку и недоумевают: «Может быть, она уже отошла ко Господу и не ощущает нашего докучливого присутствия? Сдохла она, что ли? А черт ее знает...»

Такое странное существование, которое уже невозможно назвать жизнью, но при этом было бы ошибочным говорить и о торжественном наступлении смерти, ведь самые разнообразные токи еще передвигались, правда, с трудом, в теле этой собаки, заполняли все низины ее дряхлого организма, переливались из головы в затылок, из затылка в постоянно распертый газами живот, из постоянно распертого газами живота в вялые, мучнистые и, по сути, уже не принадлежавшие ей лапы. В том смысле, что лапы эти не слушались собаку, и она уже не могла перебирать ими, как прежде, даже во время сна, когда ей мерещились погоня или охота на голубей.

А ведь раньше начальник почтовой станции даже брал ее с собой, например, когда ездил на еще принадлежавших его отцу — тоже, к слову сказать, начальнику почтовой станции — дрожках по тракту километров за сорок — пятьдесят, чтобы проверить врытые у обочины дубовые верстовые столбы и дренажную канаву, особенно по весне немилосердно размываемую паводком разлившихся лесных потоков.

Вот названия этих потоков — Комела, Нурма, Глушица, Кушта, Нейг, Порозовица, Пельшма, Паска, Сянжема, Корнилиев поток, Сяга.

Собака бежала позади дрожек, иногда останавливалась и подолгу не появлялась, видимо, гонялась по перелеску за попавшимися ей на пути зайцами или беспомощными, толстозадыми, пахнущими пометом куропатками. Во время же остановок наконец прибегала вся мокрая, грязная, свалывающаяся, в колтунах, перепутанных прошлогодней травой, с вываленным буквально до земли языком.

— Ну и где же тебя, сволочь такую, черти носили? — устало-безразлично спрашивал ее всякий раз начальник почтовой станции.

И что она могла ответить на это? Она лишь старалась не смотреть в его прищуренные глаза, пряталась за собственные пегие ресницы, щурилась, вертела мордой, в общем, изображала придурковатую, а затем проби-

ралась к лошадям, ложилась рядом и подолгу неотрывно смотрела снизу вверх на их сонные бородатые морды. Смотрела в небо. Наверное, думала про себя: «Вот им хорошо, их не ругают, как меня, потому что юродивых вообще никогда не ругают, а только жалеют».

...да, лошади вполне могли показаться абсолютно безумными, потому как издавали какие-то нечленораздельные, гортанные звуки, икали, хмурились, поводили плешивыми, в коричневых разводах парши боками.

— Ну чего трясетесь-то? Замерзли, что ли? — Начальник почтовой станции вновь забирался на козлы, потягивал поводья.

— Нет, не замерзли.

— А чего трясетесь тогда? А?

— Со страху... — отвечали лошади и пили ледяную воду из придорожной канавы, по краям которой торчали острые куски грязного, облепленного бурой прошлогодней травой льда, чавкали, как свиньи, толкались, с опаской косились друг на друга, как это обычно делают сердитые, никогда не доверяющие друг другу старики в очереди за хлебом, маргарином, кефиром, картошкой, луком, как безумные схимники, содержащиеся в психиатрической лечебнице доктора Бари или в доме инвалидов.

— Это что, вы меня испугались?

— Да, тебя...

— Не бойтесь, не бойтесь, я вас не съем. — Начальник почтовой станции усмехался.

— Благослови тебя Господь, — звучало в ответ.

Лошади мычали. Как коровы.

Вкушали какую-то парную горячую дрянь. Угощались.

— Не изволите ли угоститься горячим чаем, уважаемый Александр Александрович?

Путешественник очнулся, словно вздрогнул от прикосновения, и отвернулся от окна. На столе, прямо перед ним, стоял небольшой походного образца самовар и заварной чайник с металлическим носиком и прикованной к нему на цепи крышкой.

— Благодарю... как-то, вы знаете, что-то нашло, накатило.

— Это бывает, бывает, — приторно осклабился начальник почтовой станции.

— Такое необъяснимое ощущение, что все это уже было со мной, что мне уже приходилось бывать в этих местах и наблюдать из окна этот двор и эту лежащую на крыльце собаку.

— Дело в том, что собака уже год как сдохла от старости, а это вы изволите наблюдать ее чучело, сделанное одним заезжим скорняком по фамилии Мазурин. — Начальник почтовой станции необычайно тщательно протер висевшим на плече полотенцем кружку, наполнил ее из самовара кипятком и поставил перед путешественником: — Угощайтесь.

— Надо же, а я думал, что собака живая.

— Да-да, так многим кажется, потому что внутри чучела находится заводной механизм, который и приводит в действие бока собаки, ее уши и пасть.

— То есть вы заводите ее как часы?

— Точно так. Это и есть своего рода часы, только идут они с некоторой задержкой во времени.

— То есть как это?

— Да очень просто: вот настенные часы пробили десять утра, а теперь еще раз пробили десять утра. Потом часы пробьют одиннадцать, полдень, час дня, потом все это повторится еще раз. Вы меня понимаете?

— Нет. — Путешественник поднес кружку с кипятком к лицу.

— Ну и ладно. Может быть, что-нибудь к чаю?

— Нет, благодарю вас.

— Тогда не смею более докучать вам своим обществом. — Пятясь назад, начальник почтовой станции медленно удалился куда-то в глубину залы, где скорее всего находилась потайная дверь.

Путешественник остался один. Всякий раз, когда он видел перед собой на столе чайные принадлежности, то сразу же вспоминал, как к ним на Миллионную приходил отец и любил подолгу засиживаться за самоваром — кажется, пока не выпивал его целиком.

С удовольствием водил губами по краям кобальтового цвета чашки, обжигался, кряхтел, пристально всматривался в собственное отражение в нефтяных разводах заварки, подмигивал сам себе, вероятно, находя в этом особый ритуал — ну хотя бы и ритуал общения со своим вторым «я». Раздвоение личности? Шизофрения?

Путешественник вновь взглянул в окно, но чучела собаки, что лежало на крыльце, уже не было.

Ушла?

«Как странно, как странно», — подумал путешественник и наклонился к самой чашке, на дне которой дрожал сводчатый, обклеенный бумагой потолок с висящей под ним керосиновой лампой. Тут же появилось лицо и заслонило эту керосиновую лампу.

Стало темно. В чашке с чаем стало темно. Полное затмение.

Путешественник предположил:

— А может быть, это был вовсе и не отец тогда, когда мы встречались с ним в последний раз. В этом надо разобраться... Может быть, это было точно такое же, как собака, механическое чучело, наученное говорить. Или, вернее сказать, кукла, идол, которая, как сказано в Писании, не может ни видеть, ни думать, но научена говорить, то есть может изрекать вложенные началозлобным демоном ей в уста слова.

— Изволили задремать?

Путешественник вздрогнул и открыл глаза. Начальник почтовой станции наклонился к самому лицу его и, выдохнув изо рта терпкий запах дешевого табака и закисшего хлебного мякиша, которым были заткнуты дырки в зубах, доверительно сообщил:

— Ваши лошади готовы. Пожелаете трогаться?

6. Посещение

Впервые в Москву Саша приехал уже после окончания университета. Здесь он остановился недалеко от Николаевского вокзала, на Басманной улице, в квартире дальней родственницы по материнской линии — Надежды Витальевны Серебряковой — высокой, крепкого сложения старухи с бородатым подбородком и усами, которые она каждое утро подстригала ножницами перед зеркалом. Зеркало висело в коридоре рядом с окном, и вполне могло показаться, что в коридоре есть два окна, одно из которых просто заиндевело.

Саше отвели небольшую комнату в самой глубине этой бездонной, наподобие водосточного колодца, бесконечной, как заброшенная каменоломня-лабиринт, вечно темной квартиры.

Соседнюю комнату занимал сын старухи — Антонин Львович Серебряков. Он страдал каким-то весьма редким заболеванием ног и поэтому почти никогда не выходил из своей комнаты. Скорее всего от постоянного, длящегося не одно десятилетие, вынужденного заточения Серебряков был не лишен некоторых странностей. Так, он иногда кричал по ночам и умолял свою мать не водить его гулять на Чистопрудный бульвар, потому что смертельно боялся, что она, воспользовавшись его беспомощностью, утопит его здесь в пруду, в этой вонючей, заросшей тиной луже. Просто толкнет в воду — и отвернется. И заткнет уши. И закроет глаза.

Антонин Львович так рассуждал про себя: «Вскоре мои глаза совершенно привыкнут к темноте, и я даже найду весьма и весьма приятным лежать в мглистой голубоватой дымке, в непроточном, абсолютно неподвижном водоеме, на илистое, взвихряющееся взвесью дно которого будет проникать слабый свет уличных фонарей. И я буду не в живых».

Утопит, утопит. Но почему она это сделает наверняка? Да потому, что уже говорила ему, что давно свихнулась от такой жизни, и он страшился ее, этой безумной старухи.

Что будет потом? А потом его достанут со дна пруда совершенно не поврежденного ни тлением, ни рыбами.

Повреждение в рассудке...

Повредился в рассудке...

Наконец на истошные крики сына приходила Надежда Витальевна, долго просила его успокоиться, обещала не водить его гулять на Чистые пруды и, естественно, не топить там, особенно сейчас, когда на улице зима и на Чистых прудах залит каток. Умоляла принять успокоительное лекарство. И Антонин Львович наконец принимал это лекарство — до лomotы в ноздрах кислую настойку — и тут же засыпал.

Впоследствии он рассказывал Саше, как во сне не раз дрался с матерью, дрался отчаянно, смертным боем, но всякий раз бывал жестоко, до полусмерти, избит и потому просыпался посреди ночи весь в поту и слезах, довольно часто обнаруживая себя при этом лежащим на полу рядом с кроватью и обмочившимся.

Вот так они и жили всю жизнь вместе — старая мать и ее старый сын-паралитик — в этой старой квартире с окнами, выходящими на церковь Петра и Павла, что на Басманной.

...на крыше церкви лежал снег, а по чугунным, покрытым лишаями ржавчины колоннам на деревянные ступени крыльца стекали мутные ручейки талой воды.

Дрова отсырели. Белье заплесневело. Опять оттепель! В запотевшем окне предбанника проплывают пологие, уходящие за горизонт холмы, что обложены мокрым снегом, и курятся густым клокастым паром. Крыша течет. Пахнет керосином и мышами. Лед почернел. Железный короб с углем воняет. Деревья во дворе умерли. Сдохли еще в конце января, а сейчас уже конец февраля. Они так и стоят на виду у всех — непохороненные.

Был конец февраля. Саша хорошо запомнил те первые дни своего пребывания в Москве. Когда слабый, едва мигающий на сильном ветру свет газовых фонарей в нарушение всяческих законов линейной перспективы выхватывал разрозненные, постоянно перемещающиеся и потому неизменно исчезающие куски уличного пространства: подъезды, скамейки на бульваре, редких, весьма и весьма хмурого вида прохожих, колонны грязного льда, питейные заведения с перекошенными, потрескавшимися от старости наличниками на подслеповатого вида окнах, а еще бесконечные торговые ряды, уходящие в морозную мглу Земляного вала.

Из печных труб поднимался дым.

Во дворе у Красных ворот дрались пьяные дворники. То есть как дрались? А вот так и дрались — хватали друг друга за фартуки, за воротники, за бороды, норовили, идиоты такие, ударить забрызганным глиной носком кирзового сапога в пах, но всякий раз из этой затеи ничего не выходило, и они падали, продолжая кататься в темноте подворотни. Глухо орали какую-то неразбериху, ругались, матерились, вернее даже сказать, плевались словами, как выбитыми зубами, кровью или мокротой, что отходит после продолжительного, надрывного кашля, вызванного чихоткой.

«Гадость, гадость какая». Саша отвернулся. Выглянул в окно своей комнаты. Увидел, как церковный сторож закрыл массивные, оббитые железными крестами ворота на замок. Рассказывали, что в этой церкви в 1856 году отпевали Петра Яковлевича Чаадаева.

Потом церковный сторож положил ключи в карман и направился куда-то в сторону Лефортова, смешно размахивая при этом длинными руками, далеко выступавшими из коротких, вытертых на локтях рукавов подшитого войлоком старого немецкого лапсердака. Перепрыгивал через лужи, через сугробы, через тумбы, сооруженные из врытых по обочине тротуара — казенной частью вверх, а стволом — вниз, под землю, — пушек. Они остались здесь, по всей видимости, еще со времен московского пожара.

Антонин Львович целился.

Антонин Львович целился в Надежду Витальевну из костыля, который у него всегда стоял прислоненным к кровати:

— Сейчас как стрéльну в тебя!

Это он говорил, а мать и отвечала ему, дураку такому, укоризненно:

— Сколько раз я тебе говорила, что нельзя целиться в живого человека хотя бы даже и из костыля, хотя бы даже и в шутку, потому что если ты меня застрелишь, то кто за тобой будет ухаживать, кто будет выводить тебя на прогулку, кто будет стирать твои зассанные кальсоны? А? Никто, понимаешь, никто не будет! И подохнешь, просто потому, что не сможешь встать с кровати, ну там от голода подохнешь, от жажды, от собственной беспомощности. Хотя нет, а может быть, ты сам все это будешь делать, паралитик чертов?!

— Все равно стрéльну! — звучало в ответ.

Саша закрывал дверь своей комнаты на задвижку и ложился на кровать. Долго смотрел в потолок, воображал себе, что это вовсе и не потолок никакой, а заснеженная пустыня, которая тянется от Басманной до Сокольников, или что это бескрайний, бездонный овраг.

Вообще-то Саша знал, что такой овраг был в Москве, кажется, где-то в районе Волхонки, и имел странное название — Черторый. То есть, значит, его рыл сам черт, демон, куда и мочился, испражнялся, где и разводил костры из сухих костей.

А за оврагом до Москвы-реки тянулась по большей части одноэтажная местность, где в одном из старых, горчичного цвета особняков на Колымажном дворе у церкви святого Антипия, епископа Пергамского, находилось хранилище древних свитков, мумий, старинных карт, гравюр и египетских изваяний. Особняк этот стоял в глубине старого, почерневшего от февральской ледяной сырости парка. И Саша воображал себе, как он открывает ворота в этот парк, минует сизые, покрытые колючим наждаком иня оштукатуренные столбы ограды и идет между поваленными ураганом, опрокинутыми в кучу после расстрела деревьями.

Происходило это так. Сначала деревья выстраивали в шеренгу перед кирпичным брандмауэром и делали на них отметки красной или белой краской: кого казнить сейчас, а кого — потом. Затем включали электрические прожектора на вышках и специально слепили несчастных, даже не давали им опомниться, в том смысле, что не находили особой разницы между вспышкой яркого света и ружейным залпом. Все едино...

После того как приговор приводился в исполнение, приходили уборщики в длинных брезентовых фартуках, бросали казенных в заранее приготовленные ямы и засыпали мерзлой, комкастой глиной. Перекуривали тут же. Потом, взвалив больше напоминавшие гигантские ложки с прилипшими к ним остатками еды лопаты на плечи, уборщики медленно шли в глубь сада, где в обшитом нестругаными досками каретном сарае была устроена сторожка.

Вот — из короткой железной трубы, выставленной прямо в окно, идет дым, а иногда вылетают и искры.

Здесь дворники обстукивали о деревянную приступку свои вымазанные глиной сапоги и заходили внутрь. Гомонили.

Наконец по пояс в снегу Саша добирался-таки до особняка, поднимался на крыльцо и стучал в дверь...

Надежда Витальевна постучала в дверь и позвала Сашу к ужину. Приходилось дверь открывать...

Антонин Львович уже сидел за столом. Он всегда ужинал в абсолютно одинаковой позе — навалившись плоской, как шахматная доска, грудью на стол, почти полностью опустив лицо в тарелку, руками же при этом он держался за края стула, буквально намертво сжимал их побелевшими от напряжения пальцами — то ли он боялся упасть под стол, то ли сосредоточенно нюхал поднесенную матерью отраву. Черт его знает, припадочно-го! В эти минуты лица его было почти не разглядеть, потому как оно было полностью окутано слоистым паром. А может, это был и не он вовсе, а какой-нибудь нищий инвалид с паперти церкви Петра и Павла, которого Надежда Витальевна предположительно позвала разделить трапезу, ну, например, в Чистый понедельник?

— Что делает здесь это животное? — кричал Антонин Львович. — От него воняет! Пускай немедленно убирается отсюда!

— Да сам ты животное, — невозмутимо отвечала ему Надежда Витальевна и подкладывала инвалиду в тарелку здоровенный кусок тушеного в черносливое мяса. — Угощайтесь, угощайтесь, Христа ради.

Нет, нет, все это вранье, все это следствие крайнего перевозбуждения, и за столом никого, кроме Антонина Львовича, его матери и Саши, нет.

Горит свет.

Тушеное мясо источает сильнейший, доводящий до одури запах распаренных специй, плавающих наподобие океанического планктона в густой, пузырящейся подливе.

Во время ужина Саша рассказывает, как сегодня днем посетил Музей изящных искусств, что на Волхонке, а также расположенное рядом древлехранилище — свитки, мумии, старинные карты, ноты, гравюры и египетские изваяния. Что это и есть основа его книги, которую он должен закончить к концу мая, иначе говоря, по возвращении в Петербург. Впрочем, продолжает Саша, работа подвигается крайне медленно. Например, вчера допоздна сидел за письменным столом, поочередно включая и выключая настольную лампу. Когда наконец все в очередной раз погрузилось в темноту, встал из-за стола, на ощупь добрался до кровати и, не раздеваясь, лег поверх одеяла. Вскоре глаза совершенно привыкли к темноте, и это было весьма и весьма приятно — вот так лежать в голубоватой дымке, воображая себя целиком потопленным в огромной мраморной чаше, на изукрашенное арабской вязью дно которой едва проникает слабый свет уличных фонарей, и думать. Часы на Каланчевке пробивали полночь.

А что значит — думать? Может быть, как никогда явственно, ощущать вторичное происхождение всякой мысли, всякого умственного движения по сравнению с ни к чему не обязывающей бессвязностью и немотивированностью спонтанно возникающих эмоций, имеющих, безусловно, исключительно физиологическое происхождение.

По своей сути всякое размышление, пусть даже и возникающее внезапно, как электрический разряд или хлопок газа в чугунном, стоящем на кухне водогрее, становится закономерным результатом насилия над собой, над своей памятью. Иначе говоря, над кажущимся на первый взгляд неумением вспоминать и выдвигать из себя наиболее верно и точно те движения души, которые и есть мысль. Это своего рода погружение в экстатическое состояние, когда некое беспредметное мечтание, греза, которые и словами-то нельзя выразить, постепенно обретают вполне законченную форму. И вот ты уже не можешь остановить течение мысли, поводом для которой явилась первая пришедшая в голову идея, хотя бы и о смерти, о страхе, о страхе Божиим, о ненависти, о болезни, о твоих родных или родителях. Возникает такое впечатление, ложное в своей основе, будто разверзлись некие врата, и их уже невозможно затворить, как, например, невозможно разучиться думать, до какой бы степени скотства ты ни дохо-

дил, или разучиться писать, читать, говорить. Попытка разучиться говорить вообще выглядит весьма комично — это значит, что нужно просто забирать слова обратно, под спуд, произносить их, наоборот, до тех пор, пока не поглотит последнюю антифразу, последнее антислово. И вот наступает лишь поглощение пустого воздуха, что, впрочем, само по себе не так уж и дурно, но ты не можешь сказать: «Я больше не умею говорить», потому что слов и букв больше нет, просто не существует, они вычеркнуты из твоего знания, из твоей мысли о них.

Что это? Расстроенная физиология? Приступ нервной болезни? Просто отчаяние? Нет, нисколько! Ведь это, по сути, первые пришедшие в голову ответы, весьма и весьма легкомысленные, крайне неглубокие в своей основе, а потому и крайне оскорбительные. Действительно, разве можно видеть в собственном нравственном, духовном ли, не суть важна, опустошении только болезнь, только недуг. Это было бы слишком просто. «Ты тяжело болен, черт возьми, и тебе надо лечиться!» — эти слова произносятся, как правило, с некоторым превосходством — что болен ты, но я-то, слава Богу, здоров. Дидактический, нравоучительный залог просто невыносим! Ну хорошо, а если, например, ты переполнен мыслями, воспоминаниями, видениями и разного рода рефлексиями? Как быть тогда? При чем переполнен до такой степени, что тебя буквально тошнит от них и ты уже не в силах перебороть их нескончаемого круговорота — из головы в желудок, из желудка в голову, и так до бесконечности, до судорог, до обморока.

Значит, надо опять искать пути забвения, например, пить горькую с плавающей на поверхности забродившей мякотью шиповника отраву или выходить на сырой морозный воздух и, делая гигантские шаги, перепрыгивая сугробы и лужи, скамейки и низкие чугунные ограды, идти в темноту, не разбирая дороги, разве что проглатывая газовые фонари распахнутым, как святые врата, ртом.

Антонин Львович проглотил огромный кусок мяса и подавился им.

— Ну вот опять! — Надежда Витальевна швырнула салфетку на пол и резко встала из-за стола. Могло показаться, что про себя она сказала в сердцах: «Опять обожрался, скотина!»

Саша поблагодарил за ужин и встал из-за стола.

Антонин Львович с хрипом повалился на пол, и изо рта у него полилась белая пена.

Мать наклонилась к сыну и запричитала:

— Сейчас, сейчас помогу тебе, потерпи маленько!

Когда все закончилось, Надежда Витальевна так объяснила происшедшее:

— Когда Тонечке исполнилось десять лет, от нас ушел его отец — Лев Валерианович Серебряков. Ну то есть как ушел... просто исчез в один прекрасный день. Он тогда работал кукольных дел токарем в реквизитных мастерских Театра Корша. Был потомственным оформителем. Еще его дед, а стало быть, Тонечкин прадед — Пантелеймон Валерианович Серебряков — служил в должности придворного хранителя Его Императорского Величества коллекции кукол в Царском Селе.

Так вот, исчез, и больше его никто никогда не видел. Бог его знает, что с ним произошло. Может быть, его убили, а может быть, он провалился под лед, мы ведь тогда жили в Замоскворечье, и поэтому зимой приходилось по нескольку раз в день переходить замерзшую реку, минуя специально прорубленные для полоскания белья иордани или изукрашенные разноцветными флажками и еловыми ветками расчищенные для конькобежцев площадки льда. А он как раз зимой-то и пропал... Замерз? Едва ли, ведь весной всех замерзших извлекали из-под снега и выставляли для опознания во дворе церкви Троицы в Листах. Я туда несколько дней ходила, но его среди выставленных не было.

Каток.

Тогда с Тонечкой и случился первый приступ болезни.

Врачи говорили, что это какая-то особая, наиболее тяжелая форма корчей, имеющая невротическое происхождение, и что он вряд ли переживет ее. Но он пережил. Хотя все, что было потом, жизнью уже не являлось, скорее бытование, прожигание пустых, бесцветных, однообразных дней. Ведь я вновь учила его говорить, читать, писать. До пятнадцати лет он не узнавал меня. Однако постепенно сознание возвращалось к нему, он стал улыбаться, произносить вполне связные фразы, наконец он вспомнил сначала мое лицо, а потом и как меня зовут.

Каждый Божий день мы начинали с того, что вместе читали молитву Предначинательную, молитву Господню и псалом 50, покаянный. Дважды я возила его на целебный источник в Сторожевское, под Звенигород. Мне ничего не оставалось делать, кроме как надеяться и ждать, надеяться и ждать...

Так шли годы, десятилетия, но для меня они пронеслись как одно мгновение, как один эпизод из чьей-то разнообразной и богатой событиями жизни, эпизод, подробности которого уже невозможно вспомнить. Все было как будто вчера, и в то же время казалось, что прошла вечность...

Вечность.

Антонин Львович сидел на полу рядом со стулом и старательно вытирал мятой салфеткой щеки. У него были вислые щеки и вислые веки.

Пергамент. Целлулоид. Слюда. Парафин. Воск. Лампадное масло...

Долго вытирал.

— И ничего он не подавился до смерти. Живучий, гад. А? — Надежда Витальевна доверительно подмигнула Саше: мол, бывало и не такое.

Господи, да что же это, ведь она его мать, а он ее сын, хоть и старый, и больной, и полоумный, но все же сын. А может быть, эти слова не имеют никакого значения: «мать» и «сын», «дочь» и «отец», просто люди в силу каких-то объективных причин прожили всю жизнь или часть жизни вместе, но при этом всегда оставались абсолютно чужими друг другу людьми. То ли боялись друг друга, то ли ненавидели и презирали друг друга, то ли, наконец, завидовали друг другу, передавая по наследству лишь мании и болезни, преимущественно психического происхождения. Причем жили так всегда, предвечно, из поколения в поколение, лживо объясняя собственную слабость или даже трусость, неготовность изменить что-либо именно наличием этих сакральных слов-амулетов, слов-терафимов. Еще они переносили страдания, которые сами же себе и причиняли, наивно полагая при этом, что смогут превозмочь в себе взаимную неприязнь, так ничего и не изменив в самих себе, но лишь притворившись. Лишь притворившись, ей-богу, как дети малы! Придумывали страхи, боялись их, придумывали себе болезни, болели ими, лечились от них, а потом набивали в собственные рты мятую бумагу. Подолгу жевали ее, чтобы затем выплюнуть!

Надежда Витальевна рассмеялась. Ей было весело. Смешно.

«Уходи! Уходи прочь!»

В конце мая Саша уехал домой. Ему так и не удалось закончить свою работу, и он надеялся ее завершить хотя бы к середине лета.

Надежда Витальевна и Антонин Львович потом еще долго стояли у окна, как раз до самого лета стояли так, провожали Сашу взглядами. И только к началу Петрова поста Саша полностью растворился в горячем воздухе линии Николаевской железной дороги. Исчез, как будто бы его и не было в Москве.

7. Исчезновение

Лошади захрипели, и путешественник тут же увидел перед собой круглое, заросшее аккуратно подстриженной бородой, орущее лицо извозчика — худого высокого мужика лет сорока с лишним:

— Приехали, приехали с Божией помощью!

— Да не ори ты, демон! Напугал меня.

— Не извольте беспокоиться, доставим в самом лучшем виде, — продолжал орать мужик, делая при этом совершенно зверские морды.

— А я и не беспокоюсь вовсе.

— Вот и слава Спасителю, что не беспокоитесь!

Повозка тем временем свернула на Миллионную и, проехав несколько кварталов, остановилась возле пятиэтажного, выкрашенного в желтую краску дома, в дверях которого тут же возник лифтер:

— Как прикажете доложить?

— Кучумов Александр Александрович, приват-доцент кафедры древних языков Санкт-Петербургского университета, автор нескольких монографий по семиотике искусства, а также по библейской истории. Однако в большей степени почитаю себя именно путешественником, в том старинном смысле этого слова, когда пространство перестает быть только предметом географической науки, будучи с разной степенью достоверности отображенным на пожелтевших от времени картах. Пространство становится, по крайней мере в моем воображении, лишь фактом времени, безграничное течение которого вполне может быть нарушено. То есть изменено. Или даже повернуто вспять. Именно поэтому в автобиографическом романе совершенно не существует никакого цельного, а точно сказать, линейного повествования, ведь я в полной мере доверяю сиюминутным состояниям, посещающим меня. Да, безусловно, это могут быть самого разного происхождения эпизоды, абсолютно не связанные между собой смыслово и уж тем более хронологически, но именно в этом на первый взгляд кажущемся хаосе и складывается истинное повествование о жизни. Нет, нет, не о событиях, но о самом духе жизни, этакое путешествующее, если так можно выразиться, повествование, изначально лишённое всякой объективности, потому что ее вообще, честно говоря, не существует в природе! Я понятно выражаю свою мысль?

— Не очень...

Дверь лифта с грохотом закрылась.

Что было потом?

Потом Александр Александрович еще какое-то время стоял в нерешительности на лестничной площадке четвертого этажа. Затем подходил к дубовой, с проступившей сквозь трещины шпаклевкой двери, искал взглядом упрятанный в каменной нише рядом с почтовым ящиком электрический звонок.

Прикладывал ухо к холодной стене и слушал.

Прикладывал пересохшие губы к холодной стене и умолял, мысленно, мысленно умолял, чтобы его впустили.

Потом опять прикладывал ухо к холодной стене и опять напряженно слушал. Неужели можно было услышать вот так, через стену, что-либо? Да, можно.

...в глубине квартиры тут же начиналось движение — то ли это были шаги, то ли истерические крики и даже требования немедленно открыть дверь, то ли скрежет ключа в замочной скважине.

Путешественник казнил себя.

Дверь Александру Александровичу открывал мальчик и прямо с порога сообщал ему, что прежние владельцы квартиры давно уехали и что теперь здесь живет он с мамой и двумя братьями-близнецами. Да, лифтер доложил, что прибыл некто Александр Александрович Кучумов, но кто это и зачем он прибыл — было совершенно непонятно.

Казалось, что все это время мальчик стоял под дверью и ждал, может быть, и не один год ждал путешественника, чтобы сообщить ему, что прежние владельцы квартиры давно уехали и что теперь здесь живет он с мамой и двумя братьями-близнецами!

Странник снова и снова слушал эти слова мальчика, к слову сказать, очень похожего на него, когда он был в таком же возрасте. Эти слова звучали в его голове и когда он спускался по лестнице, и когда открывал тяжелую стеклянную дверь, и когда ловил на себе сочувствующий взгляд лифтера в обшитой золотым шнуром каскетке: «Изволили ошибиться адресом?» — «Изволил, изволил...» — и когда выходил на улицу.

...из глубины квартиры раздавался слабый женский голос:

— Сашенька, кто там?

— Никто-никто, мама, просто ошиблись адресом.

На улице было пустынно. Только изредка в сторону Марсова поля медленно проезжали авто. Довольно быстро темнело. Прохожих почти не было. Александр Александрович перешел на противоположную сторону улицы и остановился у чугунной, вросшей в мостовую тумбы...

Повернулся!

Резко поднял голову и, невзирая на страдание, приносимое шейной невралгией, стал искать глазами окно своей бывшей квартиры. «Вот же оно! Вот же оно!» — закричал мысленно. Нашел его и уставился в него абсолютно немигающим, колодезного оттенка взглядом, внутри которого раскачивалась тяжелая цементная вода, выплескивалась, вызывала ощущение дурноты, стекла по лбу и щекам из-под меховой, надвинутой на самые глаза шапки.

— Да вот же оно, это окно, — проговорил, рассмеявшись, — вот оно, где, улегшись на распаренное от дыхания стекло острыми подбородками, сидели близнецы, у которых были одинаковые узкие скулы, выступающие рогами желтушного цвета заушные бугры, а еще темные, абсолютно темные, как у актеров немного синематографа, актеров-кокаиновых, круги под глазами. Что еще? Тонкие-тонкие, словно срезанные опасной бритвой фиолетовые или бирюзовые, в зависимости от освещения, губы и растущие сухим травяным колovorотом до самого лба жидкие волосы!

Александр Александрович поклонился мальчику.

Путешественник поклонился мальчику.

А они, дураки такие, стали смеяться над ним, показывать ему свои языки, тыкать в него пальцами и, видимо, что-то кричать, но так как окна были, слава Богу, закрыты, то и разобрать их дурных голосов-воплей не представлялось никакой возможности. Наверное, они богохульствовали, глумились, потешались так, как они всегда потешаются над странниками или паломниками, над самим их видом, над их запыленными уставшими лицами и остановившимися, словно остекленевшими глазами.

8. Быстрое движение глаз во время сна

Умножение в столбик, разгадывание несложных кроссвордов, решение ребусов, завод пружины часового механизма или механического чучела спящей собаки, непродолжительное чтение старых газет, прикладывание уха к холодной кафельной стене, стремительное, как исчезновение в бездонном, пахнущем зацветшей сыростью колодце, погружение в ложный сон, предсонье, мучительное преодоление бессмысленных видений этого предсонья, пробуждение, тремор, беспомощность, нахождение себя покрытым испариной или нахождение себя лежащим на полу, полностью обмочившимся. А потолок-то далеко-далеко, как небо.

Вот я, например, не понимаю, как на небе могут жить святые угодники Божии, как они могут ходить по расплзающимся под действием ветра облакам и при этом не проваливаться вниз, не падать на землю. А на земле — на горах, в низинах, по берегам рек и озер — стоят люди и ждут, просто сгорая от нетерпения, ждут, когда же они — эти святые старцы — наконец упадут, чтобы можно было их схватить, и отнести к себе в дом, и спрятать в сарае, предварительно накрыв брезентом или на крайний случай соломой, до лучших времен.

И вот Саша заходил на кухню, где в клубах пахучего пара с радостными криками бегали какие-то люди, среди которых особенно выделялся один — низкорослый, коренастого телосложения, с короткими распаренными в чане для варки лука руками и абсолютно круглой ушастой головой, что покоилась поверх широкого нагрудника накрахмаленного фартука. Видимо, это был повар. Он передвигался по кухне короткими, рваными, полускрюченными, вывернутыми шажками так, как это делает в итальянской опере носатый с ватными припудренными пейсами шут Алессандро. Широко раскрывает свой ярко напомаженный рот и протяжно выводит: «До, ре, ми... до, ре, ми, фа... до, ре, ми, фа, соль».

Потом повар тоже исчезал в клубах пара, и о его присутствии можно было судить только по этим доносившимся из самых неожиданных мест кухни нотам.

Саша с удовольствием воображал себе кухню, на которой готовится праздничный ужин, кухню таким утопающим в янтарном опилочном чаду конногвардейским манежем с гаревой дорожкой или даже освещенной керосиновыми лампами ареной цирка Чинизелли, что рядом с Инженерным замком, на которую выбегал абсолютно дегенеративного вида клоун Антонио и уже описанный выше повар или шут, черт его разберет, Алессандро, и они начинали драться на потеху публике.

— Дай, дай ему по лысине! — вопили откуда-то с галерки в перерывах между припадками визгливого, доводящего до судорог и икоты смеха.

— Смотри, что у меня есть, Антонио!

— А что у тебя есть, Алессандро?

— У меня есть половник, Антонио!

— А зачем тебе половник, Алессандро?

— А затем, Антонио, чтобы врезать тебе этим половником по балде!

Понял?!

— Давай, давай врежь этому старому пердуну! — надрывались из первых рядов.

— Это кто это старый пердун? Это я-то старый пердун?!

— Да, ты, ты, из тебя вон песок сыплется!

— Вранье! Я молодой — понятно! Мне двадцать лет, нет, мне семнадцать лет!

— Молодой, молодой, да только пахнешь водой!

— Вранье, все вранье! Я оболган навсегда. — Антонио картинно заламывал руки.

— Молодой, говоришь... а мы это, Антонио, сейчас проверим, — криво усмехаясь, цедил Алессандро и наносил рахитичному, трясущемуся от унижения, страдающему грудной жабой старику удар половником прямо между глаз.

Антонио навзничь падал на манеж в опилки, выдыхая при этом под купол цирка струю талька.

— Кажется, он сдох. Ну и черт с ним, — простодушно заключал Алессандро, после чего церемонно кланялся почтенной публике и уволакивал Антонио за ноги за обшитый вырезанными из фольги звездами занавес.

И тут же все приходило в движение: люди сломя голову вскакивали со своих мест, кричали, размахивали руками, свистели, бежали по ступеням вниз, словно спускались с гор в низины, устремлялись по берегам рек и озер, вдоль выложенных камнями дорог, чтобы схватить упавшего с неба угодника Божия да и укрывать его где-нибудь у себя в закуте или в яслях для овец.

Еще тут содержались различные сказочные животные: сфинксы, крылатые собаки, водоплавающие птицы, сжимающие в когтях скользких, извивающихся рыб.

Овцы наклоняли свои мохнатые, бородатые, нечесанные, мокрые морды и обнюхивали угодника Божия:

— Может быть, он уже отошел и не ощущает нашего присутствия? Помер, что ли, он? Страшно.

А угодник Божий вдруг открывал глаза, оказавшись при этом полностью живым, это и понятно, ведь святые и не могут умереть до конца, и строго вопрошал металлическим голосом:

— Ну и чего зырите, а? Чего вам надо от меня?

— Ничего не надо, просто так смотрим...

— А чего тогда дрожите? Замерзли, что ли?

— Нет, мы тебя боимся.

Или:

— Мы тебя хотим съесть...

Саша тут же с ужасом вспоминал слова Спасителя: «...ядите, сие есть Тело Мое... пейте... сия есть Кровь Моя Новаго Завета!»

Как же это могло быть? Нет, не понимал, как это можно есть живого, а мертвого...

О причине и обстоятельствах смерти Ивана Васильевича Игнатьева, известного в Петербурге под именем коверного клоуна Антонио, практически ничего не было известно. Рассказывали, что после одного из представлений он пришел к себе в гримерную, сел перед зеркалом и просто перерезал горло бритвой!

Зачем он сделал это, не знал никто. О нем вообще мало что было известно: кажется, жил недалеко от цирка Чинизелли близ Пантелеймонова моста с престарелой и больной матерью и великовозрастной сестрой, которая довольно часто посещала представления своего брата, специально садилась в первом ряду, чтобы во время его избиения другим клоуном по имени Алессандро он мог, перевалившись через обшитое залоснившимся, давно вытертым велюром ограждение манежа рухнуть ей на колени и здесь впасть в полнейшую прострацию.

Однажды к ней на колени упал абсолютно пьяный господин, назвавшийся известным писателем Куприным. Но правда ли это была — вот в чем вопрос.

Это все, что было известно об Антонио. Ведь даже его настоящее имя — Иван Васильевич Игнатьев — многие узнали только после его смерти.

Сел перед зеркалом и увидел свое лицо, по которому стекал грим.

Господи, почему же все так вышло-то по-дурачки? Да просто последний месяц в городе стояла нестерпимая, одуряющая жара. Казалось, что все небо расплавилось в розовом каустичном мареве, вскипело, пожухло, а когда носатый, с ватными припудренными пейсами повар прибежал и попытался залить его ржавой водой с кислым металлическим привкусом, то уже было поздно. Небо свернулось и потрескалось.

Небо свернулось и превратилось во власяницу.

Небо отражалось в огромном чане для варки то ли овощей, то ли кухонного белья.

Это была хотя и не прозрачная, не глинистая, но зато освященная еще на Крещение вода.

Повар пробовал эту воду и находил ее весьма вкусной.

По поверхности воды плавали куски желтой сахарной ваты, обрывки его припудренных ватных пейсов, глядя на которые становилось еще страшнее, ведь могло показаться, что по небу бегут грозовые облака, а это значит, что Господь гневается на грешника, который сварил небо. Но на самом-то деле это были бесформенные ключья дыма, что поднимались с горящих пригородных торфяников.

И вот Антонио размазывал грим по лицу, как манну небесную, как манную кашу, даже пробовал на вкус, находил его, то есть грим, сладким, карамельным, замирал от предвкушения, что сейчас огненное дыхание не-

бесного свода ворвется в открытое окно и спалит его ненавистный, вылинявший колпак вместе с манежными пахнущими мочой опилками, вместе с остатками вспотевших, прилипших к черепу волос. Но именно в этот сладостный момент ожидания снисхождения благодатного огня из соседней комнаты всякий раз доносился едва слышный, но при этом весьма настойчивый голос матери:

— Ванечка, а Ванечка, подай, Христа ради Спасителя нашего, святой водички испить.

Ее мучила нестерпимая жажда. Она ведь и не знала, что крещенская вода теперь свернулась подобно тому, как сворачивается перед грозой или ураганом молоко во время кипячения, и пить ее уже невозможно, но лишь пересыпать колючий, как еловые иголки, песок из ладони в ладонь, из ладони в ладонь!

— Ванечка, Ванечка, ну где же ты, негодник!

— Да иду я, мама, только не орите вы, Бога ради!

Приходилось вставать, набирать из-под крана воды и поить ею старуху, которая пила маленькими глотками, издавая при этом гортанные, каркающие звуки.

— Хорошая вода, хорошая, потому что святая, — улыбалась она, и Антонио соглашался. Инстинктивно трогал себя за горло, думал, что в нем, в этом горле, и заключена вся его однообразная, изо дня в день повторяющаяся жизнь. Лживая жизнь.

Перетекает.

Например, если бы он сейчас лег на пол, то она заполнила бы голову и стала хлестать изо рта...

— Ванечка, спасибо. — Мать протягивала Антонию пустую чашку, на дне которой было выведено черной сурьмой: «Ангела-хранителя».

Значит, эта чашка принадлежит ангелу-хранителю, а мать только что пила из нее обычную водопроводную воду и находила ее при этом весьма вкусной. Дикость какая! Ангел-хранитель может обидеться на это. И жестоко наказать за обман — побить огненным мечом или уморить голодом.

И словно в ответ на это подозрение Антонио звучало:

— Ты совсем, совсем не жалеешь меня, сын!

— Перестаньте, мама, прошу, перестаньте говорить глупости!

— Нет, не перестану, не перестану! Это вовсе не глупости никакие, а правда! Ты злой, бессердечный сын! Убирайся вон! Вон! — Она закрывала глаза, и они начинали хаотически двигаться в темноте, как бы пытаясь вырваться из-под век наружу...

9. Оpozнание

Боже мой, путешественник отсутствовал в городе всего несколько лет, а приехав, не нашел в нем ничего, что могло бы напомнить о прежней жизни, засвидетельствовать ее, — только разрушения, только разрушения...

Так, к приезду Александра Александровича его родители — Александр Яковлевич и Елена Эльпидифоровна — уже давно умерли и были похоронены на кладбище Новодевичьего монастыря. Братья же уехали из города кто куда — Максим Александрович в Москву, где, по слухам, занимал должность хранителя в отделе древностей Румянцевского музея и жил где-то на Басманной, а Модест Александрович перебрался куда-то на Север, кажется, в Вологду или в Каргополь, где впоследствии и постригся в монахи под именем Иннокентия в одной из Олонецких пустыней.

Теперь в квартире на Миллионной жили чужие люди, и поэтому путешественнику пришлось поселиться на съемной квартире в доходном доме Блинова, что на Крюковом.

Вернее сказать, это была вовсе и не квартира никакая, а маленькая пеналообразная комната на третьем этаже с единственным окном, выходящим на канал.

Почти всю зиму Александр Александрович провел в этой комнате за письменным столом — статьи, заметки для газет и журналов, отзывы, однако братья, собственно, за роман удавалось всякий раз лишь только ближе к ночи, когда унылый вид из окна растворялся в мерцающем свете газовых фонарей.

...там шел мокрый тяжелый снег, набивался в рот, в уши, заваливался за воротник.

А еще там по набережной шел человек...

Он останавливался перед домом, долго искал глазами окно на третьем этаже, где горел свет и сквозняк двигал полуприкрытые шторы. Видимо, здесь вовсе не привыкли пользоваться шторами, чтобы не умножать и без того непроглядной февральской темноты. Опять же можно было наблюдать при благоприятном стечении обстоятельств солнечные и лунные затмения, парады планет.

Сквозняк перелистывал исписанные мелким почерком страницы рукописи, лежащей на столе. Что это означало? Да, вероятно, то, что к столу можно было совершенно безбоязненно подойти с противоположной стороны и заглянуть в эту рукопись. А потом долго, очень долго стоять так, внимательно изучая обратную последовательность расположения абзацев, заглавных буквиц, дожидаясь очередного вздоха сквозняка, чтобы он перелистнул страницы, рассматривать иллюстрации, сделанные на полях пером, а еще и упавшие на пол или в снег закладки, аккуратно вырезанные из папиросной бумаги ленты и мысленно, исключительно мысленно составлять из них гербарий...

Собрание цветов. Цветение.

Потом человек заходил в парадное, поднимался по лестнице на третий этаж и нажимал на медную кнопку электрического звонка. И почти сразу же из глубины коридора раздавались шаги, на смену которым приходило утробное урчание ключей в замочной скважине. Казалось, что в эти минуты время останавливалось полностью (опять!), стрелки часов замирали, и нужно было сейчас же, стараясь не делать посторонних быстрых движений, достать из внутреннего кармана пальто револьвер и ждать. Ждать какие-то мгновения, измерить продолжительность которых можно было лишь по гулким ударам крови в ушах и голове, по судорожному дыханию, вырывающемуся из открытого рта. Потом вставлять револьвер себе в этот открытый рот и нажимать на спусковой крючок.

Да нет же! Нет! Это был вовсе не выстрел никакой, а грохот дверного крюка. Дверь открывалась, и это уже только потом раздавался выстрел.

В лицо. В голову. В рот. В глаза.

Вот лицо обдавало адским жаром июльского полдня. На лбу и подбородке выступал холодный пот. Яркая, напоминающая магниевую вспышка ослепляла, палила брови, не делала особого различия между выстрелом и вольтовой дугой. Резкий запах пороха обжигал дыхание, которое, впрочем, тут же и обрывалось...

Потом падал на пол, опрокидывая за собой вешалку, ящики с ботинками, вываливал какую-то пыльную, неведомую дрянь, что явилась на свет Божий только сейчас, в мгновение смерти, будучи извлеченной из небытия, чтобы тут же и отойти ко Господу, — например, граммофонные пластинки катились по полу, лопались и осколками разлетались по всему коридору, как брызги крови. А ведь это и были брызги крови на самом деле.

Внутрь спины входил ледяной холод, и наступало бесчувствие.

Потом дверь захлопывалась. Еще какое-то время из парадного были слышны удаляющиеся шаги.

На первом этаже человек останавливался, приваливался к батарее парового отопления, чтобы немного согреться, закуривал, улыбался вонючему дешевому табаку, и озноб тут же проходил. Он стоял еще какое-то время так — неподвижно, в оцепенении, вдыхал подвальную сырость, успокаивался, а затем выходил на улицу и отправлялся в путешествие по пустому, насквозь продуваемому ветрами городу.

Тело обнаружили только под утро: видимо, кто-то из соседей, услышав выстрел, телефонировал в полицию.

Александра Александровича Кучумова опознал высокий, в устаревшего образца малиновом кителе на ватном подбое, худой, с бельмом на левом глазу и совершенно сросшимися на переносице, как усы, колючими бровями старик, что жил этажом ниже.

Старик извлек толстую, завернутую в пергамент тетрадь или даже книгу, так как она была переложена множеством закладок, и обстоятельно прочитал следующую надпись: «Кучумов Александр Александрович, приват-доцент кафедры древних языков Санкт-Петербургского университета, прибыл в город недавно после длительного, многолетнего странствия. По его рассказам, был в Северной Африке, Палестине, на Афоне, некоторое время жил в Москве, откуда через северные волости и прибыл в Петербург».

Однако все это конечно же было абсолютно пустой формальностью и ничего не меняло, так как смерть наступила сразу после выстрела, произведенного из револьвера в голову, и воскресить Александра Александровича уже не представлялось никакой возможности!

Кроме немногочисленных вещей путешественника была также обнаружена многостраничная, со следами кропотливой правки рукопись, в которой, что явствовало при беглом прочтении, покойный довольно подробно и обстоятельно рассказывал о своей жизни — о своем детстве, родителях и братьях-близнецах. Однако воспоминания эти были изложены в весьма и весьма прихотливой манере, и вполне могло сложиться впечатление, что события, и составляющие, собственно, жизнь Александра Александровича, никак не связаны между собой, разрозненны и довольно часто повторяются. Впрочем, это не было результатом неумения организовать текст, но, напротив, скорее специальным художественным приемом, за которым следовало бы искать нечто большее, глубокое, чем просто изложение собственной биографии. Может быть, в этом содержалась некая философия безначальности и бесконечности существования, просто как перечисления событий, бытования, лишённого всякого рационального смысла, но лишь подверженно-го воздействию болезненных эмоций и ярких ощущений-выпешек, пусть даже и гипнотического происхождения. Реализация видения в данном случае всегда носила некий чудесный характер, свершалась даже не по горячей молитве, а по особой напряженности сердечному влечению, приносящему, увы, не только удовлетворение и радость, но и острую, вплоть до дыхательных спазмов боль, вплоть до обмороков и конвульсий. Что случалось потом? Потом на смену приходили полная опустошенность, слабость в членах, головная боль и расстройство желудка. Приходилось делать над собой нечеловеческие усилия, чтобы встать с кровати, с трудом добраться до ванной комнаты, пустить воду из крана и подставить под нее свою большую голову-колокол. А в зеркале, висящем над рукомойником, было видно, как волосы извиваются в потоке, словно водоросли, словно змеи, покрываются пепельного цвета пеной, выпадают, плавают в раковине, образуя при этом водовороты, заводи, воронки, бездонные черные плесы, балки, заполненные до краев болотной жижей овраги. Впоследствии выяснялось, что дно одного из таких оврагов было вымощено мраморными плитами, испещренными полустершимся каббалистическим орнаментом, а также мистическими изображениями, неизвестно кем и когда сделанными: лапа ястреба-пустынника,

специальным образом засушенная над огнем жертвенника, двуглавая рипида, трехглавая рипида, открытая в четырех местах книга «Хесед», свиток, буквы греческого и арамейского алфавитов, алконост, крылатая собака, являющаяся божеством некоторых кочевых племен, буддийская божница, сосуд в виде чаши для причастия, птица-сирин, знак Великих Моголов, пылающий кустарник — Купина.

Здесь же, в этом овраге, Александра Александровича и похоронили, согласно его завещанию, обнаруженному среди страниц рукописи.

Почему именно здесь? Разбираться, конечно, никто не стал, но последнюю волю покойного все-таки выполнили...

Попытка же разобраться в причинах гибели Александра Александровича тоже, к сожалению, ни к чему не привела. Версия самоубийства изначально была основной, но при этом оставались совершенно непонятны мотивы такого дикого поступка. Может быть, это и позволило впоследствии предположить, что путешественника все же застрелили. Но кто? Жандармский следователь был склонен подозревать соседа Александра Александровича по лестничной площадке, вечно пьяного скорняка по фамилии Мазурин.

Впрочем, ни малейших мотивов к совершению подобного лютого злодеяния Мазурин не имел, но в состоянии аффекта, с истеричным криком: «Сейчас как стрéльну в тебя!» — вполне мог решиться на такое безрассудство, так как страдал тяжелейшими головными болями, повышенным внутричерепным давлением, частыми бредовыми и галлюцинаторными состояниями с очевидными симптомами «делириум тременс».

На суде, состоявшемся после Пасхи, Мазурин приговорили к пятнадцати годам каторжных работ в Семипалатинском остроге и, как только сошел снег и просохли дороги, отправили по этапу.

Эпилог

Человек стоял еще какое-то время так — неподвижно, в оцепенении, словно пытался вспомнить что-то, вдыхал подвальную сырость, наконец успокаивался целиком, а затем выходил на улицу и отправлялся по пустому, насквозь продуваемому ветрами городу.

На пересечении Английского проспекта и Екатерининского канала останавливался у витрины небольшой книжной лавки. За стеклом, по которому ползали улитки, в густой перламутровой воде, подсвеченной электрическими светильниками в матовых колпаках, плавали книги. Переворачивались, выпускали из себя закладки в виде атласных лент, лент из папиросной бумаги и сыромятной кожи, оседали на дно, усыпанное разнообразными канцелярскими принадлежностями, высланное старинными потрескавшимися холстами и пожелтевшими от времени линогравюрами.

С противоположной стороны к витрине подходил необычайно приятной наружности господин и приглашал человека войти.

В книжной лавке было жарко натоплено и преобладал приглушенно-коричневый свет. Оказавшись здесь, вполне можно было вообразить себя полностью потопленным на дне заброшенного пруда где-нибудь на задах старинной усадьбы. Хотя бы и в Арсаках.

Кроме расставленных рядами на полках книг, гравюр, фотографий в перламутровых, украшенных замысловатыми монограммами и каббалистическими символами рамках, тут еще продавались и древние географические карты, разложенные, как шкуры фантастических животных, на овальных столах. Жертвенниках.

По географическим картам ползали неуклюжие, кобальтового цвета жуки, и при помощи увеличительного стекла в медной оправе вполне можно было наблюдать, как они путешествуют по суше и по водам, по горам и долам, забираются в сделанный из кости монгольский реликварий, в

котором, по преданию, хранилась высушенная голова известного бурятского мага-медиума из клана Великих Моголов — Джебе-нойона.

Владелец книжной лавки предлагал посетителю несколько книжных новинок, в особенности же обратив внимание на сочинение некоего Александра Кучумова, носившее престранное название «Быстрое движение глаз во время сна».

— Не желаете ли приобрести? Хотя нет, берите даром, я вам ее дарю!

Человек выходил на улицу. Что ему было делать с этой книгой, как, впрочем, и с револьвером, который чуть ли не до земли оттягивал внутренний карман его дорожной на ватном подбое куртки...

...и сразу же пригрезился Петербург в один из тех редких теплых осенних дней, когда только что прошедший дождь уже испарился с мостовых, изошел, но воздух еще полнится пряной, пахнувшей свежими водорослями сыростью. Говорят, что эти водоросли в высушенном виде весьма полезны для лечения разного рода нервных заболеваний...



ВИКТОРИЯ ИЗМАЙЛОВА



ДЕТИ ЗАТМЕНЬЯ

Виктория Измайлова живет в Чите, работает врачом. Автор книг стихов «Жаворонковы сны» и «Талисман» (первая вышла в Чите, вторую выпустил в Петербурге Александр Житинский в своем издательстве «Геликон Плюс»: таков был приз за победу в сетевом литературном конкурсе «Арт-ЛИТО»). В Сети можно найти ее рассказы (в соавторстве с Романом Сидоровым) и стихотворения. Александр Кушнер назвал ее одной из главных надежд русской поэзии.

В толстом журнале Измайлова публикуется впервые. С одной стороны — это радостно, с другой — печально. Радостно — потому что хорошая русская поэзия, которой вроде бы нигде и нет, иногда еще благополучно пишется и, что ценно, печатается. Печаль же в том, что Измайлова пишет стихи (и чудесные песенки, сентиментальные и мужественные) уже много лет, стяжала известность в Интернете и в родном городе, а к журнальному читателю выходит только сейчас.

Я люблю Вику Измайлову за многое: за точность, за нежность, за иронию, — но главное, за то, что она не боится быть уязвимой. Качество по нынешним временам почти уникальное. Неуязвимо только мертвое — вот почему живые стихи стали такой редкостью.

Дмитрий Быков.



Выцвели луж голубые камни,
Вдоль по обочинам — пыльные рвы,
А по лугам все лежит и тускнеет
Скифское золото старой травы.

Снова сквозь ветви березы и ели
Ветреный полдень разлил стеарин.
Каждую ночь поет у постели
Желтая птица весенних равнин.

В крапчатых перьях некроткого нрава
Тонко выводит, склоняясь ко мне,
Как закипает зеленая лава
Там, в глубине, у древесных корней.

Скоро! Подступит, прорвется, нахлынет
Сквозь раскаленные поры земли,
Мусор и хлам — захлестнет, опрокинет,
Словно враждебной страны корабли!

Если скажу, что напрасны усилия:
Время вселенной подходит к концу, —
Благословенные пестрые крылья
Больно ударят меня по лицу.

Если под вопли взбесившейся стаи
 В зимнюю полночь придется уйти,
 Желтая птица меня не оставит,
 Тень ее будет бежать впереди.

Мама

Читает мама моя роман,
 Блестят очки на носу.
 Но Мама всех бесконечных мам,
 Конечно, живет в лесу.

Она огромна, она стара,
 Но все норовит расти.
 В глубокой чаще ее нора,
 И лапы ее — в шерсти.

Сминает ели ее живот,
 Угодьям чиня урон,
 Как будто она проглотила взвод,
 А может быть, эскадрон.

Но хоть боится ее когтей,
 Похоже, сам Сатана,
 Лесная Мама не ест людей,
 Не ест никого она.

Встает во весь беспримерный рост
 В предутренней тишине,
 И пьет молоко заплутавших звезд,
 И лижет бочок луне,

И жаждет Мама весь мир объять,
 И шепчет в сырой рассвет,
 Что будет насмерть она стоять
 За этот безумный свет.

Она воркует, она рычит
 Среди бескрайних лесов,
 И этот голос во мне звучит
 Сильней других голосов.

* *
 *

Ужасно линючие кошки,
 Достаточно грустные книжки,
 С мостком деревянным картина.
 В январских узорах окошки,
 Кроватка для рыжего мишки
 И — маленькое пианино.

Артачились нот закорючки,
 Тускнела в пыли полировка,
 Ленивые кошки — скучали.
 А мамины тонкие ручки

По клавишам били неловко.
«Средь шумного бала, случайно...»

Но к маминой робкой досаде
Росла я с решением жестким
И в этой разлуке повинна.
Ты в крохотной нашей мансарде
Казалось мне слишком громоздким,
О маленькое пианино!

В том доме — серьезные люди,
Хрусталь, и сверкающий кафель,
И девушки правильный профиль...
По клавишам бегают пудель,
Любитель печенья и вафель,
И кличут его — Мефистофель.

* *
*

Весенним хмельным дуновеньем,
Слепым неподкупным судом
Прекрасные дети затменья
Однажды приходят в твой дом.

Немерено их обаянье,
твою озарившее клеть.
Какие, мой Бог, расстоянья
Сумели они одолеть!

Покуда их вечные очи
Томят обещаньем любви,
Не видишь — истерзаны в клочья
Одежды и руки твои.

А видишь... и гонишь сомненья,
Мечтаньями ум иссушив, —
Прекрасные дети затменья
Дороже бессмертной души!

Беспечны, жестоки и лживы,
С повадками диких зверей
В ответ на твои же призывы
Возникли они у дверей.

Дрожите же, ветхие стены!
Лети, роковая стрела!
Какие нас ждут перемены!
Какая глубокая мгла...

* *
*

Полднего луча горячий грошик
И на столе меж черствых хлебных крошек
Остывший чай.

В лесную глухомань, такая жалость,
 Не нужно уходить, как оказалось,
 Чтоб одичать.

Под крана неисправного журчанье
 Забыть речей значенье и звучанье —
 Таков итог.

Вселенная глуха на оба уха.
 Стучит в стекло разгневанная муха,
 Ей невдомек.

Судьба всегда пристрастна и дотошна,
 Но, может быть, совсем неплохо то, что
 Все решено,

Что за окном — ни облака, ни птицы,
 И никуда не надо торопиться
 Давным-давно.

* *
 *

Все время ждешь чего-то,
 То выходных, то денег.
 И ходишь на работу,
 И смотришь чертов телек,

Удачу заклинаешь,
 Полтинник занимаешь
 И никогда не знаешь,
 Кого ты обнимаешь.

Куплеты сочиняешь,
 Микстуры принимаешь
 И никогда не знаешь,
 Кого ты обнимаешь.

Бросаешься в романы
 И не глядишь под ноги,
 Зализываешь раны
 И думаешь о Боге,

Растишь свои фиалки,
 Глотаешь бутерброды,
 Латаешь плащик жалкий
 Запредпоследней моды,

Сомненья прогоняешь,
 Волненья унимаешь
 И никогда не знаешь,
 Кого ты обнимаешь.

* *
 *

Стою, в душе звериной просвет не находя,
 Над песенкой старинной слезами изойдя.
 Не тенор при капелле, раскормлен и усат,
 Ее мы с мамой пели сто тысяч лет назад.

Горланили дуэтом, два брошенных птенца,
 А думали при этом — синхронно — про отца,
 Что, мол, кому-то крышка, кранты, как ни крути,
 А наш-то, докторишка, у смерти на пути.

Мы вслух его бранили, грехи его копя,
 Мы так его любили! Безмолвно, про себя...
 Из подкаблучной дали, с восточной стороны,
 О, как его мы ждали! Как были мы верны!

Сквалыга-алиментщик, смотавшийся в астрал!
Игрок, фигляр, изменщик, он всех нас разыграл!
Я сердце заклинаю, чтоб было как броня.
Я до сих пор не знаю, любил ли он меня.

Ах, белые халаты! Ах, жизни торжество!
А жизнь — одни заплаты и больше ничего!
Паршивая шарада! Грабительский кредит!
Вот смерть — святая правда — слепа и не шадит.

Песенка жертвенных барашков

Монеты света не зароешь,
Сна золотого не продашь,
Ладонью небо не закроешь,
Звезды заветной не предашь,

Пусть говорят — не вечно маю
Сады и головы кружить,
Не плачь, не плачь, теперь я знаю:
Мы будем жить! Мы будем жить!

Где свищут в кущах духи леса
И ткут зеленое сукно,
Где опустившийся повеса
Цедит дешевое вино,

Где океан хрипит угрозы,
Где травы жаркие по грудь,
Где окровавленные розы
Роняет Бог на Млечный Путь,

В потоках воздуха и ливней,
Ночных машин, прозрачных рыб,
В пересеченьях ломких линий
На грубых гранях древних глыб

Пребудем мы — вселенской солью,
Сильны, как в мае дерева,
За то, что нашей скотской болью
Была Вселенная жива.



ОЛЬГА ПОСТНИКОВА

*

ПЕТЬ И ПЕТЬ!

Рассказ

Набирали желающих в школьный хор. Случилось так, что собрались девочки из десятого класса, уже барышни, да второклассницы, потому что школьницы других возрастов от пения отлынивали. Розу Левитину проверили и, отделив от тонкоголосых ровесниц, отправили во вторые голоса. Ставили ее впереди, перед рядом высоких девушек, и здесь она со своим красным бантом в рыжих волосах казалась совсем маленькой.

Коллективом руководил студент консерватории, красавец хохол, казацкими черными усами и ярким ртом похожий на Вакулу из мультфильма «Ночь перед Рождеством». Хор назывался «фольклорный». Выучив слова украинской песни «Нэ щебэчи, соловейко», Левитина не поняла слова «спарувався». При домашнем обсуждении вопроса мать ей сказала, что это переводится: «женится», а когда Роза спросила у руководителя хора, что значит «Ты сщасливый, спарувався и гнэздэчко маешь», тот поспешно ответил: «Летает и поет». Но девочка больше поверила матери, хотя вообще-то с родителями у нее никогда не было взаимопонимания.

Жаль, но хор скоро развалился.

Их домашний проигрыватель надо было раскрутить вручную, а потом слушать запинаящуюся пластинку, которая тем не менее выражала те чувства, которых девочке так не хватало в обыденном и пионерском ее существовании. Вызвав из пластмассового небытия голос Шаляпина или Лемешева, Роза искренне подпевала солисту, стараясь подражать всем голосовым модуляциям и паузам великих певцов, и в конце концов так насобачилась, что тянула вместе с ними, правда, делая один-два лишних вдоха на длинных фразах:

Жил-был король когда-то, при нем блоха жила.
Блоха? Ха-ха-ха-ха!

И арию о клевете:

Клевета все сокрушает,
И колеблет мир земной,
И как бомба разрывает...

При этом она воспроизводила не только голос певца, но и те звуки и пiski, которыми сопровождалась старинные записи на пластинках.

С тех пор в течение почти пятидесяти лет Роза пела. Каждый день. Она пела «Вдоль по Питерской», когда после уроков топала по лестнице на пятый этаж своего дома (старинный лифт с зеркалами почти никогда не работал), пела вполголоса «Эй, ухнем!» на поле, в дождь, выбирая картошку из

Постникова Ольга Николаевна — поэт, прозаик. Родилась в Москве, окончила Московский институт тонкой химической технологии. Печаталась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Континент» и др. Автор нескольких книг. Живет в Москве.

борозды, когда по институтской разрядке отправляли студентов осенью в колхоз, но пела и в июле, согнувшись над бесконечными рядами поля, которое надо было прополоть, и сдерживая темперамент «Дубинушки», когда после сессии их гнали в колхоз снова. Пела в девичестве и в замужестве, в горе и в радости и чуть ли не на операционном столе.

Всю жизнь она мечтала выступить на публике. Будучи студенткой первого курса, представляла, как будет петь в кафе на манер Клары Лучко — в черном длинном платье и пушистом боа:

Белая, несмелая ромашка полевая...

И держала карандаш в пальцах, как папиросу (хоть никогда и не пробовала курить):

Счастье мое, где ты? Пепел погоретый.

После выхода фильма «Разные судьбы» подхватила романс пожилого профессора:

Как боится седина моя твоего локона.
Ты еще моложе кажешься, если я около.

Но вообще-то ее репертуар был как-то старомоден — все народные песни да оперные арии, по большей части то, что исполняли знаменитые басы и баритоны. Поэтому, когда девочки тянули «Вот кто-то с горочки спустился», она шокировала всех грубыми неженскими низами.

Еще Роза любила «Не искушай меня без нужды», как-то ухитряясь довольно искусно имитировать то Катюльскую, то Козловского, которые на пластинке поют дуэтом. Но во всю жизнь она не имела слушателей.

В родительском доме было не до песен после того, как мать в шестидесятом пошла работать. Приходила вечером со службы и трагическим голосом распекала дочку за невымытую посуду и переполненное мусорное ведро. Родные терпеть не могли эти Розины истошные завывания, похожие на стоны и вои водопроводных труб.

В Станкине, где она училась на механическом, тоже дар ее не был востребован, даже и в художественной самодеятельности. Те костровые туристские песни, которые были в ходу, оставляли ее равнодушной, а грянуть какую-нибудь «Блоху» или «Ехал на ярмарку ухарь-купец» и даже «Барыню» среди вечера с танцами, взбаламутив лирический настрой, было неуместно.

Первый Розин муж зажимал уши от ее вокала, потому что вместо женственной подруги, какой представлялась ему эта высокая, с газельими глазами и выразительной грудью девица, он заимел какого-то ефрейтора-запевалу, командовавшего в доме всем — от стерилизации бутылочек для малыша до мужниной рыбалки и организации любительских футбольных игр. На матчи эти Роза, подготовив явку игроков, сама никогда не ходила. Пока супруг был на футболе, она предавалась пению.

Пожалуй, был у нее в жизни счастливый год, когда она числилась в декрете и сидела с сыном дома. Тогда она пела ребенку и «Блоху», и «Утро туманное», и «We shell over come», а малютка очень быстро научился подтягивать. Правда, однажды, когда вместо колыбельной она грозным голосом запела, подражая Ведерникову, из «Плясок смерти» Мусоргского, мальчик расплакался от страха, а рев ее был столь невыносим и ненормален, что соседи сначала возмущенно стучали в стену, а потом ринулись отбивать младенца у мамы-садистки и так колотили в дверь ногами, что чуть не своротили замок.

Когда определила годовалое свое дитя в казенный дом, а сама после декретного отпуска вышла на работу, пенье всякое прекратилось, хотя, ка-

залось, ребенок знал ту тайну, которую Роза никому не доверяла. Впоследствии никогда в жизни между матерью и сыном не возникало разговора на эту тему, но, наверное, потому он и вырос в такого чувствительного юношу и пылкого молодого супруга, что, можно сказать, с молоком матери выпит эти интонации страсти.

После развода, вернув себе снова девичью фамилию, Роза погоревала года два и снова вышла замуж за бывшего своего сокурсника, кудрявого гитариста, в любой компании быстро становившегося душой общества. Она и себе не признавалась в том, что ее согласие на брак отчасти было связано с надеждой петь вдвоем. В мечтах представлялось, как они исполняют дуэт из оперы «Евгений Онегин», причем сама она поет за Онегина.

Но всем этим благопредположениям не удалось сбыться, потому что ее избранник как привык первенствовать на дружеских вечеринках, так и продолжал петь один. Было заведено в компании, что он солирует, и когда Роза робко присоединяла свой голос к его пению Окуджавы, остальные ревниво и недовольно воспринимали ее подголосье, и как-то прямодушный гость сказал ей, чтоб не мешала. Всю жизнь она пыталась приспособиться к чьей-нибудь песне, и ничего не получалось. У нее просто был совсем другой стиль голосоведения.

Алик, второй муж ее, был человеком очень добрым, но не вникал в сущность проблем своей половины, а она снова ощущала неприкаянность, убиваясь на хозяйстве до такой степени, что в квартире всегда стоял дым коромыслом, вечно шла стирка, глажка, уборка, из-за которых жить в доме было совершенно невозможно, но во время которых неистовая творческая энергия, распиравшая Розу изнутри, находила выход.

Когда муж неожиданно, едва достигнув пятидесяти, умер, она не сразу осознала, что осталась совсем одна. Сын, к тому времени уже оженившийся, жил отдельно от матери, унаследовав внутрисемейную традицию вражды поколений, и лишь изредка справлялся по телефону, как там мать.

После смерти мужа Розе неизменно снился сон, что они с Аликом поют вместе на два голоса. Но сон этот, повторявшийся не раз и не два, был довольно странный и страшный, потому что представлялся ей там концлагерь, женская зона, и она сама, изможденная, в сопревшей добела телогрейке, перетаскивает камни с места на место.

Весна ей снилась, и короткоостая зелененькая травка кругом, и колючая проволока вокруг соответственно. Была, как она понимала, и стража, но вышки никогда не попадали ей в поле зрения. И за двумя рядами проволочной ограды — мужская зона, где ползали мужчины по черной земле, вроде искали дождевых червей и ели их — во сне она точно знала, что так, но сама не видела, как червей едят.

И Алик ее был там, в мужской части лагеря, и поднимался иногда на ноги, и махал ей. На это действие всегда была реакция охраны, раздавался окрик на немецком языке, хотя сами фашисты находились где-то за кадром.

И в одну ночь во сне она вдруг запела песню собственного сочинения. Мелодия после того, как она пробудилась, оказалась забытой, но Роза знала, что пела о любви, и никто ее там, в зоне, не останавливал. Подошла к проволоке-«колючке» близко-близко, так что слышен был электрический гуд, и стояла, прямо обратив взгляд к своему Александру, а он, лежа на земле лицом вверх, вдруг присоединился, вторя страстным ее взываниям. И так стройно впервые вдвоем они допели до финала.

И хотя потом ее тащила от «колючки» другая заключенная, а женщина-надзирательница в немецкой форме, подскочив, больно била Розу по обриту голове, она испытала в сневидении то чувство взаимной разделенной любви, которое так и не удалось ей пережить в реальном бытии.

Через несколько лет в ходе «перестройки» Роза превратилась в Розу Михайловну и воспринималась всеми, кто имел с ней дело, как статная, большая женщина, немного кривобокая, но превосмогающая этот свой не-

достаток силой воли и приучившая себя — это на пятидесятом-то году жизни! — сидеть прямо и ходить развернув грудь и бедром вперед, как вышагивают на экране голливудские красавицы.

Общество с ограниченной ответственностью, которым теперь Роза Михайловна руководила и которое называла своей фирмой, несмотря на небольшой оборот, давало-таки прибыль. Штат фирмы был невелик, и сама Роза фигурировала в списке в трех лицах как директор, бухгалтер и сторож. Специализируясь на организации культурной программы научных симпозиумов, в том числе и международных, фирма размещала в гостиницы приезжающих со всех концов света ученых и их жен, которых надо было обеспечить, не в пример отечественным парам, двухкомнатными номерами; проводила экскурсии по древнерусским городам для небогатых туристов; на школьные каникулы вывозила в пансионат надоевших своим родителям лоботрясов, для которых затевались экологические курсы.

При окружном начальстве владелица ООО держалась с достоинством, заранее зная, перед кем надо постоять, скромно опустив глазки, кого обнадежить крепким рукопожатием, а кому, протягивая руку для поцелуя, впрямую, словами, пообещать что-нибудь небезвыгодное. И лицедейство, когда она являлась в разные кабинеты — то инициативной личностью с неким феминистическим блеском, приглашающей к деловому партнерству и протестующей, когда ей подают пальто, то умело накрашенной, с коричневыми тенями над глазами, неотразимой и даже роковой красоткой, которая увлекает своими планами, связанными с культурным бизнесом «на зарубеж», то жертвой, которой отказывают в скидке на аренду помещения, — это актерство как будто удовлетворяло то ее желание блистать на сцене, которому уже бы должен был наступить возрастной предел.

Она наняла девочку-статиста, чтобы выявить в микрорайоне, кто чем мог бы заниматься даром или за небольшую плату, например, вести уроки французского, или перешивать одежду, или выгуливать группу детей с обучением их этикете и начаткам эстетического воспитания.

Роза не поленилась поговорить по телефону с каждым из таких потенциальных трудовых кадров, преодолев недоверие и подозрительность людей, которым казалось, что даже знание кем-то их телефонных номеров представляет опасность, и составила картотеку, наладив систему местных услуг.

В квартале теперь можно было за копейки договориться о патронажном уходе за собакой во время отъезда хозяев в зарубежный вояж, починить безнадежно разбитую обувь или получить помощницу для кухонных дел перед юбилеем. Все это стоило недорого, но Роза Михайловна, имевшая по десять процентов с каждой операции, не гналась за выгодой, а словно бы участвовала в каждом событии, нередко драматическом, будь то приготовления к свадьбе или обмывание и обряжание покойного, заклейка окон на зиму или переезд семьи на дачу, осуществляющийся на машине соседа, которого просто так совестно было бы попросить, а при оформлении заказа через такую фирму это вроде бы приобретает статус общественного мероприятия.

Роза Михайловна посадила на телефон одну из неходячих старух, и та в качестве диспетчера споро распределяла заказы, неожиданно почувствовав вкус к жизни после многолетнего затворничества, и просто благословляла работодателя, ежедневно упоминая ее в молитвах Божией Матери «Скоропослушнице», так как имени Роза в православном месяцеслове не нашла.

Публика была разная, и иногда начинались склоки, неизбежные, когда имеешь дело с людьми.

Однажды пришла жалоба, что штатный поэт, которому заказана была ода-поздравление к юбилею генерала, как-то неприлично срифмовал его отчество, а в другой раз возмутились пришедшим убирать квартиру малым, который переусердствовал и горячей водой испортил какую-то замечательную и драгоценную для хозяев писанную маслом картину. Была просто ка-

тастрофическая ситуация: вешавший новую люстру бедолага электрик уронил ее, да еще и поглумился над оторопевшей хозяйкой, когда, слезая с табурета и глядя на гору осколков, спросил: «Какая еще будет работа?»

Эти ляпы приходилось устранять фирме Левитиной. Платя за испорченное добро, она зарекалась продолжать свою деятельность, но заказов было так много, люди так привыкли, что о них заботятся, и, несмотря на расходы, Роза Михайловна не отступалась от дела.

Когда она затеяла проект благотворительной социальной помощи местным одиноким пенсионерам, у нее и в мыслях не было каких-то гуманитарных мотивов — один расчет на снижение налогов. В мыслях не было, а в подсознании, наверное, было, потому что, оплачивая помывку, стрижку или курс уколов для ветеранов войны и труда, не способных доплестись до бани и поликлиники, рассчитываясь с парикмахершей или медсестрой, выполняющих задания, Роза Михайловна как будто вдруг стала видеть за простым перечислением услуг и цифрами в рублях жизнь и проблемы других людей. И даже их фамилии, порой очень неожиданные и замысловатые, вызывали ее любопытство.

Она столкнулась и с тем, что в коммунальных распрях одни соседи брали сторону опекаемого ею человека, а другие противились приходу в квартиру чужих людей, того персонала, который засылался для обихаживания подшефного контингента.

Как-то ей пришлось самой отправиться для увещевания несогласных. Внушительной внешности старикан Иван Дормидонтович, участник двух войн, представлял собой весьма живописную фигуру: с седыми кудлями полуметровой длины, как у оперного Пимена, бородой. Он крыл соседей матом и уже в течение нескольких лет не стриг себе ногти на ногах, будучи не в состоянии нагибаться, и ходил по квартире без обуви, стуча по полу когтями, как лев. Фирма Левитиной обеспечила ему стрижку во всех смыслах, а соседей уgomонили, пообещав заменить сифон в подтекающем бачке.

Роза Михайловна не подавала нищим, разве что уж явно безногим. Но уличным певцам — почти всегда: и старухам с платками на плечах, которые на голоса распевают деревенские песни, и слепому, сладкоголосому выводящему знакомые с детства мелодии советских композиторов, и в электричке — переходящему калеке с аккордеоном. Она останавливалась в подземном переходе и слушала парней в камуфляже, которые кричали под гитару, и бросала им деньги в картонку с надписью «Для семей афганцев». Она любила справедливость и хотела поддерживать только тех, кто трудится. А пение — труд!

Превратив несколько тысяч деревянных рублей в доллары, Левитина снесла приличную кучку купюр на депозит в коммерческий банк.

Втайне от всех и особо платя за конфиденциальность, директор фирмы брала уроки вокала, чтобы на старости лет выучиться наконец петь.

Строгая ее преподавательница, несмотря на то что осознавала, кто такая Роза Михайловна, не принимала во внимание немалые лета ученицы и муштровала ее, как какую-нибудь девчонку.

Роза Михайловна добросовестно завывала: «Дон-дон-дон» и «Блям-блям-блям» или ползала — сначала на полусогнутых, а потом и в полном присяде — по полу старухиной комнаты, стараясь держать корпус прямо и громко выпевая сложенными в трубочку губами: «Перлита донноре, певучая речь. Перлита донноре, певучая речь».

А дома она разучивала, как велено, вокализы по сорок минут в день и порой не могла остановиться и до ночи выводила: «Соль-до, ми-соль. Соль-фамире-до-до-до!» И после упражнений этих так начинала любить себя, что целовала в зеркале собственное отражение, свой рот, сама себя испрашивая: «Неужели это я пою?»

Надо сказать, что «Блоху» приходилось скрывать и от учительницы. Та донимала своим сольфеджио, к двум октавам Розы Михайловны пытаясь

присоединить и высокий регистр, чему обучаемая инстинктивно сопротивлялась.

Старая певица, когда-то окончившая Киевскую консерваторию и называвшая представительниц московской певческой школы визгушками, говаривала, что более талантливой ученицы у нее никогда не было. Она восхищалась Розиным модерато (унаследованным, по-видимому, от старого патефона Левитиных, крутившего пластинки несколько замедленно) и утверждала: начни та петь смолоду, такой гимнический посыл сделал бы Розу знаменитостью в мировом масштабе. Однако полной откровенности с ней Роза Михайловна не достигала и, пропищав вокализы, возвращалась домой, где опять трубила свое «Рэвэ тай стогнэ Днипр широкий».

А по выходным, вспугнув сидящих на подоконнике утренних сизарей, будила пением жильцов и вечером, когда нормальные люди смотрят «Итоги», сотрясала межэтажные перекрытия своего дома темами из «Бориса Годунова».

И вдруг наступил роковой для ее предприятия момент. Банк, в который снесла она почти все состояние фирмы, прекратил выплату процентов, а в газетах замелькало дурацкое слово «дефолт». Роза Михайловна пыталась вернуть вклад, не понимая, почему даже тем банкам, которые не объявлены банкротами, запрещено отдавать вкладчикам деньги.

А тут в конце лета покатились счета на оплату того и сего. Чтобы рассчитаться с долгами, она вынуждена была продать все и пряталась от бывшей своей клиентуры. Ликвидировав фирму, оформила пенсию, потому что срок подошел еще два года назад. Уверенная, что без работы не останется, она объездила пол-Москвы, откликаясь на газетные объявления, и даже встала на учет в обществе безработных «Триза», но там ей предложили сборку электронных схем, для чего она уже была негодна ввиду возрастной подслеповатости. Два дня она работала уборщицей в крупном офисе, но лицо юной секретарши казалось таким недоброжелательным, площади уборки были такими огромными, что, когда после официальной вечеринки, посвященной дню рождения шефа, среди мусора оказались не только объедки, но и презервативы, Роза бежала.

Совершенно раздавленная неудачами, она кинулась было за утешением в церковь, намереваясь петь в хоре, но встречена была с осторожностью. У нее не было рекомендаций духовника, потому что, будучи в принципе верующей, она до сих пор не воцерковилась, откладывая и откладывая это приобщение. Ей предложили, окрестившись, сначала просто войти в общину.

Через некоторое время получила она благословение петь на клиросе, но и жену священника, и попову дочку, которые тоже были в хоре, эта молодая уже особа чем-то раздражала.

Ее неканоническое пение бесило и певчих, которые по большей части были слуховики, нотной грамоты не знали и хотели скорее выжить непрощеную солистку, потому что страстный голос ее перекрывал их благочестивое бляенье. Несмотря на внушение, сделанное батюшкой, новая певчая забывалась и во время праздничных церковных песнопений не могла укротить в себе ни торжествующих трельных переливов, ни brutальных, не подобающих месту голосовых раскатов.

И когда вся церковь пела «Хвалите Господа с небес», Роза вступала с таким чувством и так недолжно громко, что в паникадиле взрывались электрические лампочки. Контральто ее, обогащенное гулом храмового эха, звучало настолько сочно и радостно, что и молящиеся заражались неуместным оптимизмом. Мужчины вспоминали, что они мужчины, а кротко согнувшиеся женщины, словно разделяя безудержный этот громогласный восторг, вскидывали головы и глядели ввысь, в барабан храма, где на своде лик Спасителя взирал на них не ярыми, как было привычно, круглыми очами, а источал вниз из широко открытых просветленных зениц горную нежность всепрощения.

Но две старухи-прихожанки, в прошлом ортодоксально партийные, а когда упразднили КПСС, с тем же пылом обратившиеся в христианскую веру, возмущались, ибо такое непотребство нарушало благолепие обряда и отвлекало от службы. Поэтому Роза скоро была отлучена от церковного хора, и спевки и трапезы в доме причта проходили уже без нее.

А потом грянуло вот что.

Когда по телевизору шли иностранные фильмы, она с трудом врубалась, кто же от эпизода к эпизоду появляется на экране. Вот герой объяснился с девушкой и получил положительный ответ, и в сцене любви они долго задыхаются от счастья. А через минуту он же тащит свою возлюбленную в автомобиль, и вне всякой логики та кричит ему «Нет!», и он ее душит, хотя только что вроде была полная гармония. Роза даже решила: или у нее самой что-то с головой, или производители «мыльных опер» издеваются над русским потребителем. Дело в том, что все киношные мужчины стали для нее на одно лицо. Вернее, если на экране появлялось лицо, то ей виделось полтора лица. Она это заметила, когда выступал известный депутат, правда, в первые секунды злорадствовала, уверенная, что операторы нарочно двоят картинку, намекая на двуличье политика.

Образы расплывались в ее глазах, причем она не понимала, какое изображение настоящее, а какое мнимое. Знакомые стали неузнаваемы. Кое-кого она вычисляла по характерным трепыханиям одежды, которое всегда сопровождает движение человека, или распознавала по голосу. Если же объект не двигался, она вообще его не замечала.

Жизнь ее изменилась. У Розы, такой дерзкой в прошлом, появилась опасливость. Когда она подходила к метро, то боялась войти, после того как однажды врезалась лбом в алюминиевую стойку стеклянных дверей на «Академической», потому что проход был совсем не там, где ей виделось. Перед глазами ее плавали полупрозрачные гусеницы и запятые, особенно навязчивые при солнечном свете. Ей трудно было на лестнице: спускаясь, она шарила ногами, чтобы отыскать край ступени.

Левитина пришла к районному глазнаику, модной молодой женщине, сразу взявшей с ней иронический тон:

— На что жалуетесь?

Роза Михайловна рассказала об ухудшении зрения: темные клочья мешают смотреть и она уже не может прочесть цифры на ценниках в магазине.

— И хорошо, — сказала врач. — И не надо: так у вас только глаза не в порядке, а увидите цены — испортите себе нервную систему.

На таблице Роза не видела толком ни одной строки, вместо кругов были лежащие горизонтально восьмерки.

После соответствующих исследований на вопрос: «Чего же вы хотите?» — она робко прошептала:

— Хочу улучшения или стабилизации хотя бы.

— Это невозможно, — жестко ответствовала врач. — Дистрофия сетчатки. Не лечится.

Но Роза Михайловна решила бороться.

Пока сидела в очереди в поликлинике, прослышала, что есть такой профессор Муталиев, который лечит незрячих и от его силы люди прозревают.

В доме культуры «Серп и молот» доктор этот давал первый урок программы по возвращению зрения. В зале собралось человек шестьсот слепых и слабо видящих, многие пришли, поддерживаемые поводырями. Все расселись, наострив уши. Никогда еще Розе Алексеевне не приходилось встречать такого количества людей в очках.

Муталиев вышел из-за кулис, причем шел он на руках, а его помощник в это время читал послужной список профессора. Член многих академий постоял сколько-то перед публикой на голове, и те, кто еще что-то различал на сцене, бурно захлопали в ладони. Слепцы автоматически присоединились к аплодисментам. Доктор сказал:

— Скоро все пришедшие сюда смогут делать то же самое, что и я. Человек может все, но сначала надо выбросить очки, эти костыли для глаз.

Подробно рассказывал, что долго болел и даже умирал, не успев завести семью, и ему предрекали смерть без потомства, но затем было некое откровение, в результате чего он не только совершенно выздоровел, женился и у него сейчас пятеро детей, но и получил свыше указание врачевать.

— Вы должны покончить со своей гордостью и тогда вылечитесь, — сказал он и начал учить страждущих специальным духовным упражнениям.

Медитировать рекомендовалось постоянно.

Роза Алексеевна истово предалась этим медитациям и зарядке для глаз. Одно из упражнений заключалось в быстром вращении глазных яблок, и делала она это не только дома, но, чтобы не терять времени, и в метро. Не обращая внимания на пассажиров, старательно двигала выпученными глазами, развивая боковое зрение. Правда, при этом люди, сидящие напротив нее в поезде, вставали со своих мест и уходили в другую часть вагона.

Однако ни тренинг, ни заклинанья, которым учил восточный целитель, не помогали, и она скоро разочаровалась в лечебном методе, понимая к тому же, что с экстрасенсом иметь дело грешно. Хотя и заплатила за весь курс вперед тысячу рублей, Роза прекратила посещение занятий.

С каждым днем она видела все хуже.

В платной глазной клинике, где ей на сапоги велели натянуть голубые полиэтиленовые бахилы, все были радушны и приветливы. Женщина-врач, улыбаясь и называя катаракту катаракточкой, предложила ей косметическую операцию, а подобрать очки так и не смогла. После прокрутки на новейшем оборудовании на нее навешали еще всяких диагнозов, кроме имеющегося, и, хотя научные названия звучали не страшно, дали понять, что положение серьезно.

Назначили уколы, кололи под нижнее веко, и было так болячо, что только повторением «Отче наш» и держалась несчастная Роза. Выглядела она теперь как битая пьяница: под одним глазом появился у нее синий фингал, под вторым красовался бурый кровоподтек, и она изводила остатки французских теней на разрисовку лица, добиваясь, чтобы под обоими глазами цвет был одинаковым.

Роза Михайловна порядком вытряслась, но ни дорогие лекарства, ни биодобавки не помогали.

Тех черных каракатиц, которые застили ей божий свет, можно убрать, подштопав сетчатку, сказали наконец доктора. Оценивалась же операция в такую сумму, что обанкротившейся Розе надо было бы месяцев пять не есть, не пить, копя пенсионные рубли.

Она возвращалась с последнего приема домой, понурая и обессиленная, еле волоча ноги. В метро ее, бедную, толкнул сзади раздраженный ее медлительностью мужик и выпалил прямо в лицо, когда она удивленно к нему оборотилась: «Ненавижу старых сук».

В ноябрьской слякоти шла Роза Михайловна домой по неосвещенной бесснежной улице. Тащась, как говорится, на автопилоте, по привычному пути, она не различала движущихся рядом с ней в темноте, но не видела и идущих навстречу, слыша только шорохи да шарканье ног. В узком проходе возле стройки, где протискиваются, почти прижимаясь друг к другу, она воспринимала людей как грубую недружелюбную массу. Лишь изредка на темно-сером фоне появлялось какое-нибудь туманное пятно — лицо, попавшее под свет прожектора, или белая чья-то шапка.

Как заработать? Она молилась всю ночь — шепча молитвы, которые успела выучить, пока ходила в храм, и своими словами. И все приговаривала: «Господи! Спаси, помилуй, вразуми!», обращая помутневшие глаза в правый верхний угол комнаты, совершенно пустой. Стеновой иконы у нее не было, а те маленькие глянцевые образки, которые в свое время принесла она из церкви, не казались ей достаточно действенными.

Утром она встала и поехала на метро. Вышла из поезда и в длинном переходе с одной линии на другую, где пол выложен оранжеватыми плитками мрамора, как она знала, выщербленными и загрязнившимися, остановилась. Раньше она каждый день делала тут пересадку, направляясь в свою контору. И обычно в этом пятиминутном пробеге слушала музыкантов, которые работали по очереди. Чаще других — бородач со скрипкой и женщина, которая пела «Подмосковные вечера» или «Лен, лен, лен...», широко раскрывая рот с коронками из нержавеющей стали.

Было около восьми, хмурый народ спешил на работу, и в переходе еще не стояли нищие.

Роза набрала в грудь воздуха и запела:

Благословляю вас, леса,
Да-да-да, да-да, реки, воды.

Из-за склероза она, оказывается, позабыла некоторые слова и, чтобы восполнить утраченное памятью, вставляла в куплеты «да» и «да-да», точно, несмотря ни на что, отвечала утвердительно на вопрошания жизни.

Она пела так искренне, проникновенно и мощно, что ее слышно было не только на эскалаторе, но и на платформах обеих линий.

И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду.

И представляла себе зеленые тонкие стебельки майского луга и, поднимая зрачки к белому потолку, куда единственно не проникла еще реклама сигарет, смотрела мысленным взором на лохматые звезды, которых на небе не могла видеть уже давно незрячими своими глазами.

Пела и сопровождала это благословение соответствующим моменту жестом — не только покровительственным взмахом руки, но и как будто качанием невидимого кадила, как когда в церкви делают обход и кадят ладаном и дымок обвеивает молящихся.

Голос ее, в котором больше не было удали и силищи, лился облагороженными густыми звуками среди столбов, разбивавших скопления людей на два потока, которые двигались мимо Розы в противоположных направлениях. Голос этот больше не казался баритоном, каким поют театральные злодеи, разбойники и обманутые мужья, и даже заставлял кое-кого оглядываться: «Старая, а голос молодой». Ее новый голос, голос ранимой женщины — без наива, грубости, сексуальности, — свободно исторгался из ставшего неуклюжим, постаревшего ее тела.

Когда в одном месте Роза почувствовала, что не хватает духу, чтобы закончить фразу, она вспомнила преподанный ей некогда певческий прием: незаметно прижала руками с боков живот. Воздух выдавился из нее, выходя через гортань, и она благополучно, словно на избытке дыхания, завершила высокую ноту.

Люди торопились и поэтому шагали не останавливаясь, но возле поющей замедляли шаги. Кто-то из проходивших, глядя ей под ноги и не обнаружив сумки или коробки для подаяния, бросал тихонько деньги прямо на мрамор возле ее ботинок. И когда она слышала звон монеты, то с достоинством благодарственно наклоняла голову.

И тут впервые публично, на исходе судьбы, в полный голос благословляя равнодушный к ней мир, Роза ощутила наконец то творческое счастье, которому была предназначена и к которому таки привел ее Господь Бог, для чего понадобилось ослепнуть и отчаяться.



ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ

*

ЖЕРНОВА СОЗВЕЗДИЙ

Благовещение

Вестник лилию держит в руке, как свечу,
Чтобы не обзнаться — та ли дева пред ним,
Чтобы не принять служанку, рабыню — за госпожу;
Промах (он знает) будет непоправим.

Дева потупилась, будто томима виной, —
Не понимая, к чему испытующий взгляд
Странника и отчего у него за спиной
Эти огромные светлые крылья блестят?

В левой створке Иосиф строгает и ходит удод;
В правой створке гора и над нею виденье Креста;
Ангел решился: вот сейчас он колени согнет
Перед невестою — и разомкнутся уста.

* *
*

Снова небо вспомнил я ирландское,
Обижанье вперемешку с ласкою:

Словно мать, присевшая на корточках,
Утирает слезы детской мордочки.

Мокр в ее руке платочек скомканный,
Над его лицом ее — как облако,

От чьего малейшего движения
Происходит плача продолжение

Или слез мгновенных высыхание,
И улыбка — и в носу дыхание.

Январь

Как хорошо проснуться одному,
 смотреть, младенчески не узнавая,
 на белый потолок своей пещеры,
 на ослепительный холодный день,
 снега, деревья, гаражи и трубы,
 на елку праздничную, как Иосиф,
 наряженный на пир, — за Рождество
 перевалившую, а там уж скоро
 и старый Новый год, и непонятно,
 что дальше делать — праздновать, пенять
 на календарь или, навьючив сумку
 на ослика седого, отправляться
 в тот край, где ласточки не лепят гнезд,
 а только вьются меж рекой и небом;
 где корни пышных пальм, как когти грифов,
 в земле сжимают ребра мертвецов;
 где даже посох, воткнутый в песок
 (как сказано в одной старинной книге),
 тотчас же «летарасли и листочки
 пускает, а порою и цветет...».

* *
 *

Глаза твои колкие как колосья
 Я слышу их шорох перед грозой
 Глаза твои колкие как колосья

Забрось в меня синие эти зерна
 В сухую бесплодную почву сердца
 Глаза твои колкие как колосья

Они не взойдут никогда я знаю
 Посеянные между светом и прахом
 Глаза твои колкие как колосья

О черные жернова созвездий

* *
 *

Я б эту жизнь хранил, как пайку хлеба
 за пазухой хранят в платочке чистом,
 завязанном так туго, чтоб зубами
 не развязать. Но может ли голодный
 за вечность не отколупнуть ни крошки,
 а раз отколупнув, остановиться?

И что вначале было —
 хлеб иль голод?

* *
*

А этот человечек с хвостиком,
что заявиться в мир намерен,
но, будучи в душе агностиком,
ни в чем особо не уверен, —
мир дан ему лишь в ощущениях,
и если в нем живет догадка
о неких новых измерениях,
то неосознанно и шатко...

Еще он, как монах с котомкою,
дойдет в своих мечтах до края
и голову просунет, комкая
пелены и завесы рая;
и зреньем ярким огорошенный,
небес ошеломленный славой,
о коей прежде знал не больше он,
чем левая рука — о правой, —

что он, зверек метафизический,
почует в первый миг свободы,
счастливо избежавший вычистки,
прошедший все круги и воды, —
уже решившись биться внаглую
за дар случайный, бесполезный, —
что он поймет, увидев Ангела,
держашего его над бездной?



АННА ВАСИЛЕВСКАЯ

*

КНИГА О ЖИЗНИ

Я уже знала, что нахожусь на Волховском фронте. Большого потока раненых в это время не было — шли оборонные бои, но все равно работали медики напряженно. Кроме раненых поступали и больные воины: простуженные, контуженные и разные другие...

Отработавшие смену медсестры и сандружинницы валились на нары и мгновенно засыпали. Нары из тонких жердочек, покрытые еловыми лапками и брезентом. Укрываются своими шинелями, из-под которых торчат ноги в кальсонах. Сапоги-кирзачи, стоявшие на полу, — каждая пара похожа на свою хозяйку «выражением» голенищ, каблуков...

Алексин объявил медсанбатовцам, чтобы никто, кроме Зинаиды Николаевны, не кормил меня, ибо это может оказаться медвежьей услугой истощенному человеку, и добавил: «А вот в санпропускник полезно ее сводить... одним словом, помыть, постричь, побрить — ха-ха! С первой эвакуационной машиной отправить в госпиталь на рентген, а чтобы ее вернули обратно, оформим солдатом и обмундируем...»

Лежать не могла — кашель душил, дышать трудно. Отвлекалась от болезни делом... И работу дали: вместе с дежурными по пищеблоку чистила картошку на весь батальон, топила в бараке печку. Невдалеке татакает пулемет, летают осветительные ракеты. Фронт! Спрашиваю девчонок: «Разве это фронт?» — «А что же это?» — ответный их вопрос. Я говорю: «По моим представлениям, фронт — это когда бегут, стреляют, а вы просто работаете, даже спите, едите...»

Объяснили: «МСБ всегда располагается во втором эшелоне дивизии, а в километре-двух от нас действительно бегут, стреляют, но и там едят и спят, хотя недостаточно... И мы, бывает, по трое суток не имеем возможности спать... Увидишь!»

А пока работа в ритме: девушки сменяют друг друга в палатах, приходят в барак поспать. Вот слезла с нар Наташа Лапшина — широкая в кости, с высоким бюстом под бязевой солдатской рубахой с завязочками на груди, в кальсонах. Натянула юбку, гимнастерку, опустила ноги в сапоги огромного размера, но она еще почти спит, и непонятно, какая сила подняла ее именно в тот миг, когда надо идти на смену (ее никто не будил, сама...). Перед выходом из барака она достала зеркала из шинельного кармана и тут только полностью разлепила веки, изучила лицо — чем-то осталась недовольна...

А вот вошла маленькая, худенькая Катя Шумская — после смены: коротенькие косички с кумачовыми тряпочками; завела ручку дребезжащего патефона, но пластинку не поставила... улеглась на своем месте на нарах, с головой укрывшись шинелью, и мгновенно уснула.

Прибегают, убегают, спят накоротке, едят в спешке, оставляя в котелке, на мой взгляд, ароматный суп и недоеденный хлеб (эдак безразлично бросают отгрызок хлебушка в недоеденный суп...). А у меня на четвертый

день прорезался зверский аппетит — страдаю, съела бы все остатки, но нельзя, и девчонки предусмотрительно уносят свои котелки с остатками еды, а я через час пойду в госпитальную палату к Зинаиде Николаевне, чтобы съесть очередную порцию «восстановительной диеты»: манная каша на дне котелковой крышки и хвойный отвар. Фельдшер Агапова Екатерина Васильевна ко мне очень внимательно относится. Жалеет. По моим понятиям — она пожилая женщина, с седой головой (ей было 38 лет), москвичка, незамужняя. За строгость и требовательность недолго любили ее девчонки из операционной (Е. В. была старшей операционной сестрой) и за глаза называли «старой девой».

Я спросила Екатерину Васильевну, где ее личное оружие. Она ответила:

— Мы — служба милосердия... Наша задача восстанавливать, наше оружие — скальпель, бинт, шина, жгут и непременно сострадание... Но бомбы и снаряды на нас тоже падают; были случаи с другими медсанбатами, когда просочившиеся фрицы нападали и вырезали, убивали медиков и раненых... В такой ситуации и мы будем стрелять — обучены. Мы вообще уже обстрелянные на «невском пяточке», на левом берегу Невы... А тебе не страшно здесь?

— В Ленинграде тоже страшно было: фашист у Нарвских ворот, бомбежки, обстрелы, голод, холод. Страшнее ли здесь — я еще не знаю. Вот поправлюсь скоро, и кажется, что... Я так не хочу отсюда уезжать!!!

— Наши условия не для твоего здоровья... А что так рано замуж-то вышла? Когда успела? Сколько тебе лет? Свекровь-то ты когда-нибудь видела? Какая она — не обидит невестку?

Мне так хотелось сказать доброй женщине правду о моем «замужестве», но промолчала...

День отправки в госпиталь. Комбат Алексин, начальник штаба Скуратов и старшина Бодров оформили приказ о зачислении меня солдатом медсанбата, Зинаида Николаевна написала историю болезни, зав. складом принес выцветшую, б/у гимнастерку, огромные кирзовые сапоги, кусок хлопчатобумажной ткани защитного цвета, который девочки быстро превратили в юбку: шов сбоку, а наверху продернут бинт вместо резинки. Чулки изобразили из обмоток. Сделали короткую стрижку — ершик (волосы выпадали очень). На ремне пришлось прокалывать дополнительные дырочки. Шинель, выдавшая виды, дважды обернулась вокруг тощего тела, пилотка опустилась на глаза, на уши. Когда я вышла из укрытия, где меня обряжали, «народ» безмолвствовал, оценивая новоиспеченного солдата. Старшина Бодров, удерживаясь от смеха, посоветовал застегнуть шинель на крючки и затянуть талию ремнем. Исполнили. Получился кафтан со сборками. Попробовала шагнуть — ноги выскакивали из сапог сорок второго размера. Намотали портянки — могла шагать... Сдерживая смех, старшина Бодров сказал: «Ты уж извини, но выглядишь ты как зимний пленный фриц... Ничего, поправишься!..» Позже девчонки вспоминали: «Да, вид ты имела тот-с: заторможенный дистрофик, черные подглазья, желтизна на лице... и этот наряд...»

Машину подали. Раненых разместили в кузове, меня — в кабину, как сопровождающую раненых, — все истории болезней у меня. Все желают счастливого пути. Появился Сергей Михайлович Морозов, но он остановился в стороне с комбатом. Недалеко от машины Клава Китаева («Китайченок») что-то тихо говорит девчонкам, кося взглядом в сторону Морозова.

Услышала Клавин ответ Дусе на вопрос о чьей-то должности:

— Ее муж — уполномоченный Особого отдела в арtpолку... странный лейтенант, не улыбочивый, всегда выдавал себя за холостяка, а оказалось — женат... А еще месяц назад он оказывал повышенное внимание Лариске... Вот и верь после этого мужчинам... Лариска тогда справки у знающих людей наводила — по документам холост...

К машине подходил Морозов, Дуся на Клавю зашикала:

— Идет! Замолчи! Тебе-то какое дело?! Бывают браки и незарегистрированные...

Так я впервые узнала, кем служит С. М. в дивизии. Я ведь ничего не знала о нем.

Сергей Михайлович со всеми и со мной тоже «поручкался», спросил шуточно:

— Ну, как тут мой подкидыш у вас себя чувствует?

Ответила Клава:

— Оживает понемножку... Выправим до первоначального вида... Сергей Михайлович, а вы человек скрытный — не говорили, что жена в блокаде, мы числили вас в холостых. Ха-ха-ха! А ведь это опасно для нашего брата, вернее, сестры... Ха-ха!

Морозов мрачно отшутился:

— Всякое в жизни бывает: и у девушки муж умирает, и она числится во вдовушках... — И ко мне: — До свидания, подкидыш! Если задержат в госпитале — навещу.

...Армейский госпиталь. Тоже в лесу. В ряд большие палатки; на территории все расчищено, идеальный порядок. Среди встречающих хирург Порет (я его сразу узнала — З. Н. мне его обрисовала). Шофер вручил ему истории болезней, выгрузили раненых, а я не выхожу из кабины, страшно — вдруг отправят в тыл?!

Хирург пересчитал раненых, истории болезней:

— Здесь лишняя история болезни, в чем дело?

Я выползла из машины и предстала во всей «красе».

Он:

— Где получили такое истощение? Из Ленинграда, что ли?

Я подала ему записку от Алексина и З. Н.

Он:

— У меня глаз наметан... Все понятно... Раненых — в сортировочную! Большую — в госпитальную палату!

Это происходило 29 марта 1942 года.

Госпитальная палата. На носилках (носилки на козлах) — раненые. Не все лежачие, есть на костылях, большинство — раненные в руки — «самолеты»: от плеча до пальцев — гипс. Мои носилки почти при входе в палатку, в углу, их занавесили простыней. Осмотрела женщина-врач — милая, внимательная. Зашел Порет, она сказала обо мне:

— Без рентгена можно сказать, что требуется длительное лечение и лучше бы — в тыловом госпитале.

Порет распорядился:

— Ее МСБ прислал на обследование, и просят вернуть им.

Порет объявил раненым:

— За простыней — человек из блокады... Истощение... Никто из вас не должен давать ей еды, если даже она будет просить у вас... — Разъяснил, почему это опасно: — Истощение, осложненное легочным заболеванием...

На другой день рентген — врач даже присвистнул. Началось лечение. Откачивали экссудат. Диагноз — экссудативный плеврит, запущенный. Врач сказала, что надо упорно лечиться, иначе это перейдет в туберкулез. Но я не думала о хвори, не придавала ей значения. Абсолютная вера в выздоровление — такая же, как в Победу над врагом. Но вот есть мне хотелось ужасно. С каждым днем аппетит зверел все больше. Меня кормят отдельно — четыре-пять раз в день, малыми порциями: кашка, яйцо, масло, белый хлеб. И даже принесли бутылку кагора, велели добавлять в чай. А я хочу шей и хлеба, чтобы поесть досыта... Завидую раненым — у них ши, хлеб... Стало казаться, что в Ленинграде я меньше думала о еде, чем здесь...

Кагор не идет, даже тошнит от него. Старалась уйти в сон — недосып большой у меня из-за кашля и удушья. Здесь кашель приглушили, и я могу спать лежа.

Врач при обходе неизменно интересуется моим аппетитом. Обещает каждый раз в ближайшие дни увеличить порции и разнообразить меню, интересуется, чего бы я хотела поесть.

Я прошу щей и хлеба («котелок щей и буханку хлеба») и обещаю, что буду «всю жизнь за вас Бога молить!».

— Пока нельзя... Скоро будет можно.

Принесли еще бутылку кагора, теперь под нарами — две бутылки вина. Раненые знают об этом и постоянно шутят об обмене: кагор на щи...

После откачивания жидкости из плевральной полости стало легче дышать, и боль в боку утихает, хотя сама эта процедура не из приятных...

Через неделю ко мне за занавеску пришла делегация от раненых. Пожилой усатый сибиряк держал речь:

— Ты, дочка, брось врачей слушать — они тя уморят своей научной диетой. Нешто это видано, чтобы не давать голодному человеку поесть досыта... Вот мы тут оставили тебе обед и хлеба... видим, что кагор тебе не по нутру... тебе бы поесть... а нам бы винца...

Я отдала им кагор не то чтобы в обмен на обед — у меня не хватило силы воли отказаться от «настоящей еды».

Но ночью мне было очень плохо (дурнота, понос, рвота). Раненые поверили в медицинскую науку, струхнули. Выручила медсестра — врачу о ЧП не сказала, меня выходила быстро.

Еще через неделю я постепенно была переведена на общий стол, и мне разрешили выходить на улицу. Я начала набирать силу и тело. С очередной машиной Екатерина Васильевна прислала записочку: дивизия в бою, работы в МСБ много, частые переезды, бомбят их. Советует возвращаться, если врачи разрешат, — «вылечим работой и хвойным экстрактом».

Я попросила врача отпустить (выписать) меня с этой машиной в МСБ — она и слушать не захотела...

И все же я уехала из госпиталя через несколько дней. Было это так: навестил меня Сергей Михайлович. Я сказала, что хочу вернуться сегодня же в МСБ и начать работать. О чем говорил он с врачом — не знаю, но, когда врач беседовала при выписке со мной, предупредила: «Еще бы месяц лечения и отдыха нужен вам. Весна, таяние... переждать весну. Отпускаю только потому, что ваш муж собирается отправить вас в тыл!»

При выписке меня приодели получше, в одежду, более подходящую мне по размеру. Как я выглядела? Пятнадцатилетней девчушкой... Начало двадцатых чисел апреля 1942 года. Яркое солнышко, птичий щебет в лесу...

На развилке дорог С. М. остановил машину, велел шоферу ждать его здесь, а мы с ним пошли по просеке с указателями «Хозяйство Алексина».

Со времени отъезда из Ленинграда поговорить с С. М. наедине не было случая. Долго шли молча. Разговор начал он:

— Как себя чувствуете? Не устали?

— Чувствую себя хорошо. Легкость необыкновенная. Могу работать. Я благодарна вам! Вечный должник ваш!.. Вы заменили мне отца... отец умер до моего рождения.

(А сколько С. М. лет? Определять возраст людей я не умела. Наверно, за тридцать? Мне — девятнадцать. Не важно, что по годам он моим отцом быть не мог... он по-отцовски помог мне.)

По вашим ответам на мои письма я понял, что первая наша встреча в бомбоубежище ничего не оставила в вашем сердце... А я полюбил вас в тот день... Вам помнится бомбежка, а не наша встреча... Я тогда не реагировал на взрывы бомб, потому что рядом были вы... Когда я увидел вас месяц назад в страшном блокадном, немошном состоянии, когда прочитал в дневнике ваши рассуждения обо мне — любовь не уменьшилась. Мне необходимо было превратить вас опять в юную, стройную, красивую девушку с нежным цветом лица, с платиновыми волосами... и чтобы она меня полюбила. Дневник? Дневник — слова, а жизнь мудрее, сложнее рассуждений блокадного полутрупа...

— Моя благодарность сильнее любви и мучительнее, потому что у меня нет возможности отплатить вам равноценным поступком, то есть спасти вам жизнь. Если такая возможность представится, я с радостью заслону вас собой.

— Пока что это только слова... Вы скоро обретете прежний вид — и это все я сделал! Привыкайте к слову «жена»! А люблю, не люблю — чепуха, девчачьи бредни из книжек... В народе говорят: «Стерпится — слюбится». Я сделаю все, чтобы вы уехали в Молотовскую область моей женой... А между прочим, если бы я и оставил вас здесь — это опять же в вашу пользу: на мою жену не посягали бы мужчины (на фронте это неизбежно). Итак, я оставляю вас на месяц в покое... оперяйтесь... На людях мы будем обращаться на «ты» и не ограничиваться рукопожатием — хотя бы в щечку поцелуй, иначе странно супруги выглядят. Надеюсь, это не противоречит записи в дневнике «не отдавай поцелуя без любви»? А вот твоя мама (я уже перешел на «ты») сказала: «Сергей Михайлович! Ты — Анечкина судьба!» Да, судьба! И все будет хорошо, если война нас пощадит. Разве мало для счастья, когда один безмерно любит, а другой ему безмерно благодарен?!

— Сергей Михайлович! Я никуда отсюда не поеду — это раз и навсегда! Дай бог вам здоровья, и пусть пощадит вас война! Мы будем друзьями! Поставьте себя на мое место: скажем, какая-то женщина спасла вас от смерти, любит вас, а вы благодарны ей на всю жизнь, но не испытываете того чувства, чтобы стать ей мужем, и мучаетесь этим: должен — и не могу!

— Удачный вариант, коль он должен, а она любит! Отдал бы долг! И ответное чувство появилось бы. Я верю в это. Я не виню вас в отсутствии любви ко мне сейчас, но я сделаю все, чтобы вы увидели во мне мужчину...

Сергей Михайлович в МСБ не зашел. Меня не сразу узнали встретившиеся медсанбатовцы. Капа Киселева кому-то сказала:

— Наверно, пополнение в дивизию прибыло и нам сестричку выделили — интересно, в какой взвод, ведь нужны «единицы» и в госпитальный, и в операционный...

Значит, хороша же я была до госпиталя.

Когда признали, стали рассуждать.

Старшина Бодров:

— А я ведь не поверил тогда, что тебе девятнадцать лет. Во всяком случае, давал не меньше тридцати. И сейчас не верю, что девятнадцать. Не больше шестнадцати даю.

Зинаида Николаевна:

Рановато вернулась... Весна... Спать негде — все палатки заняты ранеными, а земля не прогрелась...

Борис Яковлевич Алексин:

— Вот теперь и поговорим конкретно... что решили с мужем — остаешься или уезжаешь?

— Остаюсь! Буду делать все, что прикажете!

— Дел много, а в кадрах некомплект. Очень нужен грамотный кадр в штабной взвод, что-то вроде начфина, писаря, счетовода, что ли.

— Я не хочу начфином — писарем!

— Начинается! Кем же ты хочешь быть? Можно в прачечный отряд, только хилвата ты для этой работы.

— Пойду в прачечную, а в штаб не пойду — я считать не люблю... Я умею бинтовать, шины накладывать, кровь переливать, поворачивать раненых... Я в медшколе училась — один курс закончила, на практику в больницу ходила, да и зимой в Ленинграде дежурила в госпитале санитаркой.

— Восторг-то какой! Нам как раз операционная медсестра нужна. А чего же второй-то курс не кончала?

— По глупости...

— Давай иди в малую операционную. Чего не умеешь — по ходу дела научишься.

— Я сейчас и пойду, можно?

...Операционная палатка: на четырех операционных столах — изувеченные мужские тела. Под столами в тазах — кровавые салфетки, ошметки... в одном тазу — только что ампутированная рука, бледная, пальцами касается пола (брезента), — санитар (из роты выздоравливающих раненых) собирается ее вынести куда-то...

На одном из столов лежит раненый, на животе. Мне велено освободить раненое место от одежды, не причинив боли, то есть разрезать ножницами брюки, кальсоны, гимнастерку, как бы распеленать... Месиво на месте ягодиц. Глубокая рваная рана на одной, «фарш» на другой. Два хирурга на четыре операционных стола, один санитар, две медсестры при хирургах, третья — у стерильного стола. В предоперационной — сидят и лежат ждущие очереди раненые. Пришел врач Райгородский Лев Давыдович узнать, можно ли из «сортировки» подносить следующих раненых — места там нет, а все подвозят новых. Ходячих раненых располагают на улице — они могут ждать.

Хирург Дуров огромного роста, хромой. Как же ему трудно передвигаться по брезентовому полу палатки — под брезентом то кочка, то ямка с водой. Места болотистые. Видно, с марша, с ходу развертывали лагерь, некогда было выравнивать площадки для палаток. Здоровые-то ноги за сутки-двое немеют, а Дурову какво?

Работала я старательно, по ходу дела постигая то, чего не знала. Состояние оглушенное, времени не замечаю... Иногда подташнивает, глаза затуманивает — я же впервые все это в открытом виде узнала и в таком количестве. Да и силенки мои не восстановились еще полностью. Выдержать! Никому виду не показать! Добрая Екатерина Васильевна, подойдя ко мне и вытирая марлевой салфеткой испарину с моего лба, приказала сбегать в госпитальный взвод узнать, можно ли к ним нести «обработанных», есть ли места и будет ли сегодня машина для эвакуации в госпиталь. Получить в аптеке медикаменты и в большой операционной взять пару биксов со стерильным материалом. И тихонько шепнула: «Не торопись — шагом иди, отдохни маленько на пёнышке», я тебя подменю, а потом уйду надолго в большую операционную — там два шоковых живота привезли».

Не знаю, почему некоторые девчонки недолго любили «злую Катю — старую деву». Ко мне она все годы относилась по-доброму: помогала, учила, советовала, жалела. В Москве (после замужества) мы с Е. В. встречались домами. Она жила с сестрой-богомолкой, а в других городах жили их многочисленные племянники, которым Е. В. валом валила и деньгами, и натурой. На похоронах Е. В. ее сестра Ксения (старше Е. В.) сказала: «Сожрала и до сумасшествия Катю довела эта саранча!»

Врачи похваливали меня, называя прилипшим ко мне прозвищем «подкидыш». Я многому научилась, а кое в чем пришлось переучиваться (учила Е. В.). В медшколе меня учили переливать кровь методом «веносекция» (надрез на коже, оголяется вена, и тогда вводишь иглу, а на фронте уже перешли на венопункцию — через кожу надо попасть иглой в вену). Научилась давать наркоз, новокаиновую блокаду, «стоять» у стерильного стола — быть «стерильной сестрой», обслуживающей хирургов нужными для операции стерильными инструментами.

Теорию всех этих процедур я знала — это уже половина успеха. Мне легко было это освоить на практике.

«Стоять» у стерильного стола, пожалуй, труднее, чем сновать от раненого к раненому, от хирурга к хирургу, выполняя их назначения и требования. «Стерильная сестра» делает меньше передвижений по палате, но надо внимательно следить, что следует по ходу операции подать именно этому хирургу. Каждый хирург со своими привычками и методами работы. Как правило, хи-

ругр работает молча, молча протягивает руку, в которую сестра должна вложить нужный ему инструмент: один шьет кривой иглой, другой — прямой, один любит шелк, другой — кетгут. Надо внимательно следить за ходом операции и угадать (знать!), что ему через минуту потребуется.

Что делала операционная медсестра в условиях МСБ, когда при таком потоке раненых не хватало рук для самого элементарного — подготовки операционного поля, обезболивания, наркоза, извлечения осколков, сшивания поверхностных тканей после того, как хирург сделает все до этого этапа... и т. д.

С каждым днем доктор Дуров подхваливал меня усерднее: «Вы прекрасно бинтуете...», «А что, раньше приходилось шины накладывать? Это у вас хорошо получается...», «Вы хорошо помогли мне — настоящая ассистентка...». Обработкой касательных осколочных и пулевых ран врачи не занимались — сестры с такими ранеными сами справлялись.

Была я в рядовом звании. Деньги — крохотные, маме послать нечего. Рядовая, исполняющая должность хирургической медсестры. Документа нет о медицинском образовании. Не помню, через сколько времени сделали из меня сержанта: на петличке два треугольника. Девочки-медсестры (с курсов, из медицинской школы) были старшинами, а с фельдшерским образованием — младшие лейтенанты. Молодые врачи и не окончившие последний курс института — лейтенанты, старшие лейтенанты. Врачи с довоенным стажем — капитаны, потом — майоры.

К лету 1942 года я была уже «медным котелком», как любил говорить старшина медсанбатовский Вася Бодров, если хотел похвалить.

5 апреля 1942 года обо мне был приказ по МСБ (№ 51), что с 28 марта 1942 года я исполняю должность хирургической медсестры, и мне присвоили сержантское звание.

Присягу принимала 1 мая 1942 года. Говорили, что голос у меня звенел и стояла я будто птица перед взлетом.

Забегу вперед: чудесные люди были в медсанбате. Зная, что в Ленинграде у меня мама, которая, конечно, нуждается, решили подать документы на присвоение мне звания старшины медицинской службы, для чего создали комиссию из врачей, «проверивших мои теоретические знания и практические навыки в пределах сестер хирургических». *Было это в 1943 году.*

И стала я тогда старшиной медслужбы. В денежной ведомости было обозначено, что деньги будут направляться матери. Не помню точно своего денежного довольствия, так как деньги на руки не выдавались, я только расписывалась в ведомости. По-моему, рублей пятьсот двадцать — пятьсот шестьдесят.

Мама благодарила за помощь. Писала, что если мы пережили первую страшную зиму и весну 1941 — 1942 года, то и дальше все выдержим, что работает она теперь на заводе, с продуктами лучше — «в скверах выращиваем овощи», жить можно, а к бомбам и снарядам привыкли.

И однажды написала, что получила письмо от Сергея Михайловича еще в 1942 году, в июне, и он написал маме, будто со здоровьем у меня очень плохо и он просит уговорить меня уехать в тыл — к его матери. Очень он маму расстроил, мне пришлось убеждать ее в обратном: что я здорова и вкальваю наравне со всеми, а ехать никуда отсюда не собираюсь, чем, конечно, очень огорчаю и злю своего спасителя, но ничего с собой поделать не могу.

Да, выжить-то мы с мамой выжили, но я понимала, что ей и сейчас трудно.

В начале июня в МСБ появился еще «подкидыш из блокады»: комиссар Константинов привез свою племянницу — Алю Андрееву (ныне — Рыбалтовскую Аиссу Федоровну). Ужасный вид, состояние тяжелое. Как сказал Константинов, весна ее доконала, весной люди, ослабшие за зиму 1941/42 года, умирали не меньше, чем зимой. Аля — высокая тонкая «пал-

ка», с отечными ногами — даже кожа лопалась, и вытекала жидкость... На пол-лица черные подглазья, цинга, дистрофия, заторможенность, и будто навечно сомкнуты уста — ни слова не произносила несколько дней. Поместили ее в эвакуопалатке под присмотр нашей первой орденоноски Любцевой Ирины Лукьяновны, которую направили в МСБ после того, как она вывела из окружения много раненых, за что ей дали орден Ленина, о ней в армейской газете был очерк И. Ф. Курчавова.

Опекала Алю та же Зинаида Николаевна Прокофьева — терапевт, принимавшая участие и во мне, когда я поступила в МСБ в «блокадном виде». Еще Аля была под наблюдением Льва Давыдовича Райгородского, врача с лицом доброй лошади в очках. Этому доктору приходилось кроме основной работы в сортировочном взводе, где «сортировались» поступающие в МСБ раненые, определять «СС» — самострелов...

Левушка, встретив меня, сказал: «Уж ты была страшна... а эта!! Аля к тому же — с нервным срывом...»

Но и Алю поставили на ноги. Рядовой Андреева была зачислена в эвакуовзвод. По-прежнему она была молчалива, с углубленным в себя серьезным взглядом. Меня отличала, при встрече улыбку мне дарила — еще бы, мы обе были спасены от смерти...

Пишу я эти строчки в июне 1989 года, а Али Андреевой-Рыбалтовской не стало в октябре 1988-го. Все годы Аля была страшно худа, с черными подглазьями, конечно, нездоровой, но никогда не лечившейся. Был у нее нередко нервный тик лица, но на удивление внешне очень уравновешенная, с ровным голосом... Бывала у меня дважды в гостях...

С фронта она уехала за год до Победы. Комиссована была по состоянию здоровья, вернулась в Ленинград, вышла замуж, родила дочку, имела двух внуков...

«Солдат не видит всей войны... у каждого был свой радиус обзора» (Адамович, Гранин, «Блокадная книга»).

Мой радиус обзора — медсанбат, МСБ и его путь по военной дороге. Работа, работа, работа. А тактика и стратегия войны тогда солдату в деталях была неизвестна.

На переднем крае задача санитаров, сандружинниц — вынести раненого с поля боя, сделать ему повязку, если нужно — жгут наложить и доставить в полковой медпункт, где сделают укол, подбинтовку и отправят в МСБ — на повозке ли, на машине, а не тяжелых — пешком.

А у нас уже медики сражались за жизнь каждого раненого — с такой же ответственностью, как воины переднего края сражались за каждый бу-горок земли родной.

Расстояние от переднего края до МСБ бывало разное и зависело от того, как и куда продвигается передовая, насколько в данный отрезок времени МСБ способен двигаться за передовыми частями: какой поток раненых, насколько скоро проведена эвакуация обработанных у нас раненых, каково положение с транспортом, как быстро придвигались к нам полевые госпитали, чтобы принять от нас тяжелых (нетранспортабельных) раненых и т. д.

...Июль 1942 года. Волховский фронт. В лесу, в палатках. Дивизия в активной обороне. Раненых немного! Но вражеские самолеты летают активно, гоняются за каждой машиной, за отдельным человеком на дороге. Если бы не это, то иногда казалось, что нет войны: шумят деревья, птички поют, а мы стираем бинты, готовим стерильный материал, точим скальпели, прочищаем иглы, помогаем чинить подъездной путь к лагерю. Много комиссий, проверок, строевая и боевая подготовка, дежурства на кухне, стоим на посту, чистим картошку, заготавливаем дрова для «буржук», на которых греют воду, кипятят инструменты. Совсем мирная работа. А комары — спасенья нет! Ведь место лесисто-болотистое. Никакие марле-

вые сетки не помогают. Все мы чертыхаемся на комаров: «Назойливые, бродяги, как фрицы».

В это время надолго исчезнувший С. М. Морозов напомнил о себе. Я знала, что он жив, здоров (от людей, бывавших в артполку, — он с ними передавал мне привет). От его «приветов жене» я съезживалась, рос страх — страх должника, не способного отдать долг человеку, так много одолевшему...

И вот он появился в МСБ... Кто-то вызвал меня из операционной: «Аня! Муж приехал...» С. М. с букетиком васильков. Около палатки с ним стояли комбат Алексин и милая Зинаида Николаевна (мы, девчонки, почитали ее за маму). Встреча странная, если посмотреть на нее со стороны, глазами людей, считающих нас мужем и женой!

Рукопожатие молчаливое, я напряженно слежу за ним. Вручил букетик, спросил, как работается. Отметил, что я похорошела...

Комбат шутливо сказал:

— Смотрю я на вас, и мне смешно — стоят супруги истуканами, при встрече поручались вместо поцелуя... Стерильные вы какие-то! А ведь мужу и жене даже на фронте поцелуй не запрещен!.. А мы вам, Сергей Михайлович, сейчас благодарность перед строем объявлять будем за то, что нам клад такой привезли, — хорошо работает жена ваша! Хвалим ее все время, как бы не испортить... Ну что это мы вас держим байками, время отнимаем. Идите-ка во зеленый лес погулять!

С. М. идея понравилась. Шли молча... Я думала о том, что мы ведь не знаем прошлой жизни друг друга, а потому и говорить не о чем.

С. М. предложил научить меня стрелять из нагана: я никогда не стреляла ни из пистолета, ни из нагана. Знала винтовку. Объяснил, выбрал березу, в которую будем по очереди стрелять. Я стреляла первая, пошла посмотреть на свои успехи — совсем неплохо). Я обернулась, чтобы позвать его и показать, куда я попала. С. М. стоял не двигаясь, очень бледный и вдруг заговорил:

— И все-таки ты в Молотовскую область поедешь!!!

— Зачем же об одном и том же снова? Вы успокойтесь и меня не мучайте! Я никуда не уеду! Я здесь не лишняя, нужна.

— Поедешь, поедешь! Я все для этого сделаю! А до отъезда твоего я обещаю не появляться.

В это время к нам прибежали начальник штаба и дежурный по лагерю, встревоженные выстрелами, которые они приняла за боевую тревогу...

С. М. сказал, что стрелял он, извинился.

Начальник штаба Скуратов по-бабьи хлопал себя по бедрам, стыдил лейтенанта (кажется, старшего лейтенанта) — неужели офицер не знает, что стрельба на территории лагеря расценивается как боевая тревога.

Вернулись к палаткам. На душе у меня ералаш, в руках — васильки... Зинаида Николаевна мягко, но с нажимом на слове «жена» сказала:

— У вашей... жены... глаза как эти васильки...

А у меня было одно желание — чтобы Морозов скорее уехал; и непроходящее чувство вины перед ним. «Вины должника...» Благодарность к нему как к брату в то же время. И мучительное чувство несвободы: Морозов, подаривший жизнь, и мужчина Морозов, объявивший право собственности на меня... Где мне, не знавшей любви, понять было его отношение ко мне?! Не знала я тогда, что, если человек заболел любовью, он может стать неменяемым. А тут к любви еще примешивалось то, что он спас мне жизнь, этот поступок позволял ему тем более считать, что он имеет на меня все права...

Дивизия готовилась к предстоящей боевой операции. А пока затишье. Раненые случайные. Режим — в 23 часа отбой, в 6 часов подъем. Есть где спать. Палатки, нары, покрытые еловыми лапками. Окошечки в палатках

слудяные. Укрываемся шинелями. Все девчонки младшего состава вместе. Дolecиваем легких раненых, не подлежащих эвакуации. Они — в команде выздоравливающих, помогают нам, медсанбатовцам, во всех делах. Но в госпитальной палате есть и тяжело раненные, которых надо довести до транспортабельного состояния. Я к ним захожу почти ежедневно. Я — агитатор из комсомольцев: читаю газеты, пишу письма их родным.

Иногда нас посылают на помощь банно-прачечному отряду, где заведующая — Александра Николаевна Ветрогонская, красивая, цыганистого вида женщина. Но она почти всегда отсутствует, поговаривают, что у нее есть какой-то «интерес» в штабе дивизии. В банно-прачечном отряде, по моему, все вольнонаемные, но некоторые в форме.

Валя Киселькова, ее сестра Липа с маленькой дочкой Милочкой, да и Ветрогонская, и Валин брат-парнишка (он определен в артиллерийские мастерские) — все они прибились к дивизии с окопов, отступали вместе с войском нашим и остались при дивизии. Странно видеть на фронте ребенка: Милочку все любят, ласкают. И она, похоже, привыкла к бомбежкам, обстрелам. Сыта, обласкана всеми, на чистом воздухе, с матерью, с теткой.

Когда нас, хирургических сестер, посылают помогать прачкам, хирурги недовольны: «Впереди будет большая работа, и у медсестер не должны быть в ссадинах руки...» Смешно! Не видят они наши руки, когда мы готовим для лагеря участок леса, корчуем, пилим, рубим, ставим большие палатки, чистим картошку, пилим и колем дрова.

Стирать окровавленное мужское белье трудно. Норма у прачек большая. Мы, помощницы, не зная их способов стирки, стирали так, как дома, до войны. Мыла давалось мало, мыло едкое. Прачки говорили нам: «Если бы мы стирали поштучно — давно были бы без рук... оптом надо...» И все же — какие у них были страшные руки от этой работы.

Готовясь к предстоящей большой работе (нам объяснили, что впереди бои), мы собирались отметить годовщину создания дивизии (формировалась она под Москвой, в Софрино, в 1941 году). Нам приказано было подготовить концерт своими силами. Шофер Миша Ананьев — баян, Люся Жупырина — песня «Синий платочек», Нина Карпова и я — плясовые номера, Серго Григорьянц, из команды выздоравливающих, — грузинский танец «кинтаури».

...Вспоминаю начало своей службы в МСБ. Всего-то четвертый месяц я здесь, а сколько видела страданий раненых, смертей, кровушки людской...

Помню, как первый раз мне надо было остаться в операционной с покойником. До этого сутки работали — поток раненых был большой. Когда всех обработали, врачи и сестры ушли отдыхать, а моя очередь была остаться на дежурстве. Умерший должен быть в операционной два часа. Я должна «обиходить» труп: сделать то, что следует: проверить (по признакам) смерть еще раз, закрыть глаза, подвязать челюсть, написать на ноге химическим карандашом его данные, одеть, вызвать солдат из караула и отправить труп в шалаш, куда снесены ранее умершие.

Как только кончается работа, движки выключают. Зажгла коптилку. Стала оформлять истории болезни, прижавшись спиной к брезенту палатки. Пламя коптилки колыхается, тени бегают по палатке... по умершему. Боюсь смотреть на него... А время шло, и скоро я должна буду подойти к нему... Тревожно... Хочется, чтобы рядом оказался живой человек и помог... и вдруг кряхтенье, кто-то входит из тамбура. Это Федор Иванович Шушпанов — шофер. Он сегодня дежурный по лагерю. Огромный мужик, добрый, но неисправимый матерщинник. Медсестра Марочка Смирнова говорила: «В его речи матерных слов больше, чем русских». Ей отвечали, что, наоборот, речь его состоит из отборных «русских» слов.

Шушпанов — в полушубке, в валенках. Забасил:

— Ну что, сродница моя?! Как ты тут, осинова сласть, умильна ты моя?! Узнал, что ты сегодня оставлена один на один с упокойником... вот

я и зашел... Наверно, боисси? Я тебе помогу, научу, что надо сделать, чтоб не бояться упокойников... Пойдем к нему...

И пошел Федор Иванович в «чистую» половину палатки — в шубе, в валенках, с винтовкой...

— Федор Иванович! Нельзя! Туда только в белом халате можно! Ведь там стерильный стол, стерильные материалы! — возопила я.

— А, можа, я стерильнее ваших столов... (тра-та-та-та). Иди сюда! Встань в ногах его, ухватись руками за его стопы и держи минут пять, и страх пройдет!

И я сделала так... Ледяные стопы... а ведь еще вчера они бежали в атаку... Сибиряк. Немолодой. С усами. Ранен в живот. Умер во время операции...

Федор Иванович был в палатке, пока я не исполнила свое скорбное дело. Сходил за санитарями... и поплыл мой первый «упокойник» на носилках к шалашу из елок...

Федор Иванович вскоре вернулся ко мне. Шумно сморкался и изощренно материл Гитлера...

— Не могу я видеть этот салаш... Ляжать там рядком на еловых лапах, в исподнем усопшие молодые мужики (тра-та-та!), а где-то их осиротевшие матери, жены, дети... А и вам-то, девкам, что приходится здесь видеть и слышать!

— Федор Иванович, я уже много чего увидела в блокадном городе...

От грусти Федор Иванович перешел к смешному (а может, опять к грустному?) случаю из своей медсанбатовской жизни:

— Вот зимой было: Донька Дублевская написала на меня заявление в нашу партийную организацию (и она, и я — партейные). И завели на меня партейное дело. А незадолго до этого опять же обо мне разговор был: требовали от меня изжить матерные слова... Чудаки! Не понимают, что без этих слов мне не обойтись: язык делается деревянным, к небу прилипает и я навреде как контуженый делаюсь.

А тут снова обо мне, из-за стоеросовой дурочки. Видите ли! Я оскорбил девицу?! А она, можа, и не девица вовсе, а просто дура! Дело-то было в чем? Долька сопровождала раненых, которых я вез в МСБ. Мороз!! Дорога была нелегкая... Можно сказать, на одном колесе ехали — попали в передрыгу. Когда выбрались на безопасное место, что-то в машине испортилось. Стоим. Я на морозе вожусь в потрохах машины. Руки так окоченели, что пальцы ничего не чувствуют и не разгибаются, а тут еще, как на грех, мне сцать захотелось, ну нет терпенья! Но руки не действуют, не могу справиться с ширинкой... Я и позвал Дольку. Говорю: «Слышь, сестрица, будь другом — расстегни мне штаны и достань!.. А она говорит, что не понимает, о чем я прошу... Я, конечно, с матерком кричу: «Чего ж тут не понять! Не в штаны мне на морозе мочиться! Расстегивай мне ширинку и помоги! Руки у меня не действуют». Она выпучила зенки: «Да как ты смеешь!» Тут я такой мат отпустил, что она помощь мне оказала... а когда приехали в МСБ, она и написала заявление на меня. Начался разбор... И смех и слезы! Долька настаивала на том, что я ее оскорбил. А я в свое оправдание сказал: «Придурок она, а не сестра милосердия, если считает оскорблением оказать помощь человеку в беде!» Посмеялись все партейные люди, опять призвали меня победить мат, но и мне и Дольке объявили благодарность за отлично выполненный рейс...

После этого рассказа Федор Иванович пошел обходить лагерь. Но еще раз в эту ночь зашел ко мне и пожаловался, что из-за малой грамоты не умеет написать душевное письмо своей Манюне (жене).

— Стою ли на посту, кручу ли баранку — думаю о доме, о Манюне. И так душевно слагаю в уме для нее письмо, даже слеза покажется, а начну писать на бумаге — дальше «здравствуй» и поклонов сродникам ничего не выходит. Вот погляди и скажи ты мне, что еще-то написать, чтобы душевно было! Так, как я чувствую!

И протягивает мне измятый листок с каракулями, жуткими ошибками.

Читаю: «Здравствуй, Манюня! Кланяется тебе твой мужик Федор Иванович Шушпанов. Кланяюсь всем сродникам (идет длинный перечень, можно предположить, что вся деревня — его сродники). Я живу хорошо, того и вам желаю. Как там наша корова?»

Я спрашиваю «Шушпаныха» (так его здесь называют):

— А Манюню-то свою любите?

— Скучаю! Свидеться хочется! Трудно ей там без хозяина в доме. Я ведь не очень ласковый был... а она така умильна... Это я здесь все понял... Вот ты и помоги мне написать по моему чувствуваню.

Я велела ему зайти попозже и стала писать Манюне письмо, стараясь, чтобы не слюняво, иначе она испугается, зная своего Федора Ивановича. Но все же писала такое письмо, чтобы Манюня и всплакнула, и поулыбалась, почувствовала, как дорога она Феде, и прокляла бы Гитлера, разлучившего их...

Когда я прочитала написанное Федору Ивановичу, он забыл матерные слова, прослезился и сказал:

— Сродница ты моя! Осинова ты сласть! Умильна ты моя! Как же ты, такая молоденькая, угадала, что я чувствую? Как раз то, что надо! У меня душа на место встала...

Так я сделалась его постоянным секретарем.

Днем рождения 265-й стрелковой дивизии считалось 11 июля 1941 года. В этот день не поступало раненых. Было торжественное собрание, потом наш концерт на полянке. Были гости из дивизии. «Артисты», в том числе и я, были на подъеме. Мой номер — пляска «цыганочка» («смесь французского с нижегородским»). Наш концерт принимали с благодарностью.

А потом — танцы на той же поляночке под баян Миши Ананьева, «ндравного» шофера МСБ. Какая отдушина! Война — и самозабвенное кружение в вальсе! От музыки — щемящее чувство...

И вдруг мне сказали, что в сортировочную палату поступил больной С. М. Морозов и доктор Райгородский, осматривающий его, просит меня туда прийти.

Я пришла. С. М. лежал на носилках, а Райгородский смотрел на него исподлобья, сердито.

— Что с вами, Сергей Михайлович? — участливо спросила я, присев рядом.

— Решил праздник вам испортить... Приболел, направлен к вам с подозрением на аппендицит, — как-то с вызовом ответил С. М. Был он действительно бледный, беспокойный. Мне показалось, что он в опьянении. Да и водочным перегаром несло.

Доктор Райгородский бурчал:

— Симуляцию — вот диагноз его болезни... Он вполне здоров! Очень немело симулирует аппендицит. Каков?! И направленнице полкового врача имеется... Я не виню врача — почему не направить в МСБ товарища Морозова, если он на живот жалуется! А с кем пил? С тем же врачом? Уж по-честному сказал бы, что по жене соскучился, и нашел бы другой путь для отлучки из полка. Райгородский вам не пешка! Нет у вас аппендицита!

Я вроде даже обиделась за Морозова и сказала Льву Давыдовичу:

— Как же не верить человеку, если он жалуется на боли?! Может, что-то другое? Может, отравление или еще что. Надо посмотреть...

— Старика Райгородского не проведешь! Я уже полчаса смотрю и проверяю... Он же в нетрезвом виде! Вы можете идти, а «больной» пусть полежит и хорошо все обдумает, — с издевкой пробормотал строгий «Левушка», специалист по самострелам, и ушел к своему столу. Спросил Морозова оттуда: — Ну что, заводить историю болезни с диагнозом «симуляция»?

Морозов поднялся с носилок, пошатнулся. Пьяный! И речь пьяного человека, обращенная ко мне тихо, шипяще:

— Доктор прав! Я здоров! Я искал возможности повидать вас. Выпил для храбрости, чтобы окончательно сказать вам, что победа будет за мною — в Молотовскую область вы непременно уедете! Да! Да! Да!

— Сергей Михайлович! Ваша угроза и слова «храбрость», «победа» не подходят к нашей с вами ситуации. С такими словами надо в атаку ходить, а не на свидание. Не стыдно вам лгать врачу? Не хватит ли одной лжи о нас с вами? Мне трудно ее поддерживать...

Он:

— Постарайтесь понять, что вы для меня тяжелее любой атаки... Но я должен победить! Извините. Я сейчас вернусь в полк.

Но он не сразу ушел. Пошел на поляночку, бродил среди танцующих, куражился, оскорбил Петю Никитина — шофера, пригласившего меня на танец... Вообще был груб... Таким я видела его первый раз.

Я ушла в глубь леса, наплакалась от стыда, обиды под птичий щебет... Муравьи снуют в муравейнике. Этим малым существам нет дела до войны, до меня...

Погиб сегодня наш почтальон. Шел по дороге, с самолета враг расстрелял его. Не живут наши почтальоны, это уже второй...

Конец июля 1942 года. Бегу на кухню — мое дежурство. Навстречу вос-
троносый тощий лейтенант из дивизии по фамилии Венза. Он часто бывает в МСБ: какие-то бумаги приносит из штаба дивизии, какие-то от нас носит в дивизию. Мы его называли «связник Венза какой-нибудь приказ приволок из штаба...». Он всегда со всеми балагурит. Вот и меня остановил:

— Пстой, беленькая! Мне разведка доложила, что твоя фамилия Орлова? Правильно? Только не ври, будто ты Иванова — Петрова — Сидорова! Умеешь с тайнами обращаться? А то, что я тебе скажу, — большая тайна... Намотай ее на ус, но делай вид, что я тебе ничего не говорил и ты не от меня ее слышала...

— Ну а дальше что? Я — Орлова.

— У тебя легкие не в порядке, а к тому же — со зрением неважно! — прощентал Венза.

— Пока дышу и вижу нормально, и чем дальше, тем лучше. Не жалуясь... Найдите другую тему...

— Могу и на другую тему... Из верного источника я узнал, что ты Морозову жена... Я случайно услышал разговор Морозова с его начальником, — начальником Особого отдела дивизии). — Ты хоть знаешь должность Морозова? Он уполномоченный Особого отдела в артиллерийском полку... Я был вызван к начальнику Особого отдела, а когда пришел, узнал, что у него кто-то есть, и ждал в тамбуре домика. И весь разговор слышал. Морозов рассказал историю твоего появления в медсанбате, сказал, что до этого видел тебя один раз в начале войны и сразу же влюбился, а в марте сорок второго года, будучи в командировке в Ленинграде, вывез тебя, и что ты была согласна на выезд из Ленинграда при одном условии — остаться в армии, Морозов на это согласился, уповав на то, что состояние здоровья у тебя было не для фронта и что он отправит тебя к своей матери в Молотовскую область. И попросил Морозов начальника подействовать ему в этом, то есть демобилизовать тебя.

Начальник спросил, что у тебя со здоровьем сейчас. Морозов ответил, что легкие у тебя на грани туберкулеза и с глазами плохо...

Начальник обещал; разговаривали они доверительно и выпивали (кружками чокались)... Прошло с того дня какое-то время, и вот сегодня я привез на твой счет документик твоему комбату... к исполнению... через пять дней. И уж будь уверена, что не исполнить комбат не сможет, коль

бумагу делал сам начальник Особого отдела! Из подслушанного разговора я уяснил, что ты-то ехать не хочешь... Влипла ты здорово, беленькая! Но ты меня не подводи, борись сама, а то мне несдобровать. Это не шуточки! Я по-товарищески к тебе... Я понял, что дело с тобой делают несправедливое. Раньше времени не тормозишь, жди, когда тебя комбат вызовет...

Мне вдруг показалось, что мне нечем дышать. Онемела. Как же такое можно? И где? На фронте?! Но что я никуда не поеду — я твердо знала. Лучше отравлюсь, застрелюсь!

Стала отсчитывать дни. Часто плакала. Девчонки ничего не понимали, спрашивали — не от мамы ли плохие вести? Я замкнулась.

Комбат позвал меня в свой дощатый домик («собачья конура») на пятый день после разговора с Вензой. Я шла к нему с мыслью, что если Алексин, без всяких ко мне вопросов, не желая вступать в конфликт с такой силой, как Особый отдел, всего лишь сообщит, что я должна уехать, демобилизована, то мне ничего не останется, как... Нет! Есть еще путь — в крайнем случае потребую демобилизации в Ленинград, к своей маме.

Немолодой, седой комбат сидел на топчане с хмурым лицом. Забот у него много — батальон готовился к большой работе...

Я пришла к нему тоже хмурая, с распухшими веками — часто плакала.

— Чего вид такой, подкидыш? Простудилась, что ли?

— Я здорова.

— Я вызвал тебя, чтобы задать три вопроса: первый вопрос — почему решила уехать в тыл?

— Мне незачем и никуда уезжать... Медсанбат — мой дом, моя семья. Разве я плохо работаю?

— Второй вопрос: как ты себя чувствуешь? Есть жалобы на здоровье?

— Я хорошо себя чувствую, жалоб нет.

— Ответ госпиталя, куда мы тебя направляли на рентген и некоторую подправку, был не очень спокойный: плеврит у тебя был тяжелый, опасный. При неблагоприятных условиях мог перейти в туберкулез. Зинаида Николаевна, слушавшая твои легкие месяц назад, сказала, что опасность миновала: молодость, еда, переключение нервной системы на сострадание раненым перестроили твой организм, ты здорова... А что у тебя с глазами? Почему веки красные и отечные?

— Комары укусили. А зрение у меня хорошее.

— Черт-те што! Ничего не понимаю! Вопрос третий, только честно, откровенно отвечай: когда ты вышла замуж?

Я молчала, лихорадочно думала — рубить ли этот узел или промолчать, запутать себя и других.

— Я спрашиваю — ты жена Морозову? Какие у вас отношения? Ты сама просила его о демобилизации и отъезде к его матери?

Я разревалась и рассказала все, как есть (только умолчала о разговоре с Вензой).

— У меня глаз-ватерпас! У меня большой жизненный опыт! Пожалуй, с первых дней твоего появления и из последующих наблюдений понял, что «эта супружеская пара» не знала ни объятий, ни поцелуя и что тут какая-то закавыка... Зинаида Николаевна тоже давно твердит, что вы не муж и жена, и другие наши люди — тоже. А может, ты собираешься стать его женой?

— Наверно, люди рассудят так, что за спасение я должна стать его женой, но у меня не получится это...

— Может, другому парню дано слово?

— Нет у меня никакого парня! Я не умею объяснить, почему не могу... Не могу в такой форме отдать большой долг Сергею Михайловичу... Можете меня осуждать, но не могу...

Комбат наконец сказал, что малость понял, почему на свое имя получил предписание демобилизовать меня. Вернее, понял это сразу, но мои ответы подтвердили его догадку.

— Ты здесь очень нужна! У нас и так некомплект сестер, ты работаешь за двоих, за троих. Скоро дивизия вступит в бой, у нас каждая пара рук будет на вес золота. Иди и работай! Теперь я вооружен, чтобы оградить тебя и себя от полученной бумаги.

Но предупредил, что не выполнить приказ я могу только в том случае, если предам огласке состряпанный приказ и существо дела.

— Пожалуйста, только помягче! Ведь Сергей Михайлович спас мне жизнь! Он же просто спасал меня, как спас бы любую блокадницу! Человека спасал! Мой тогдашний вид говорил сам за себя, не мог он вызывать другого чувства, кроме жалости... Это потом на него нашло...

— Не думаю, что не было у него «другого чувства». Спасая дистрофика, он видел тебя такой, с которой переживал бомбежку в начале войны и в которую тогда с ходу влюбился... Он же на фронт в тот день уходил... все чувства были обострены. Он спасал твою жизнь... для себя... А теперь, когда ты оклемалась, стала такой красивой — любовь его смешалась с «чувством собственника».

Любовь! Что только она не делает с человеком... тебе это еще неизвестно. Любовь может даже до преступления довести...

— А у тебя есть родные?

— Мама в Ленинграде. Что-то писем нет давно.

— Запросим! Или кто в командировку поедет — попросим разузнать.

В каких инстанциях и как рассасывалось мое «дело» — не знаю. Меня никуда больше не вызывали. Но что где-то оно должно было разбираться — это ясно, так как молча комбат не мог не выполнить предписание. На другой день после беседы со мной комбата медсанбатовские терапевты — Зинаида Николаевна и «Мусенька» — меня осматривали, ощупывали, выстукивали и сказали, что все хорошо, что остаточные явления эксудативного плеврита — спайки — это нормально. Послали меня в госпиталь сопровождать раненых и показаться там глазнику. Ответ — зрение и глаза вообще идеальные.

Комбат позже рассказал мне, что разговор — большой — был в штабе дивизии в присутствии начальника Особого отдела и Морозов был вызван... Морозов в свое оправдание твердил одно: «Поймите, я ее люблю и потому поступал безрассудно, по-мальчишески...» и будто бы ему сказали: «Любовь требует терпения... любви нельзя требовать...» Он сказал, что «сам себе навредил и ее напугал... ведь она меня теперь боится, как это ужасно!..»

Я слушала комбата и горько плакала. Почему? Чувствовала себя виноватой перед ним, неблагодарной свиньей... Не надо было уезжать из Ленинграда. Маму послушалась, пожалела ее, желавшую страстно сохранить мне жизнь... представила ее горе и положение, если я умру, ей не на что было бы предать мое тело земле...

Плакала потому, что надо было сразу опровергнуть ложь С. М. — ведь не отправили бы меня обратно в Ленинград?!

Жалела Сергея Михайловича, что из-за меня он поставил себя в такое положение, объяснялся, каялся. Я удивлялась — чем могла вызвать *любовь* Морозова. Ведь когда он уговаривал меня на выезд из Ленинграда, я задыхалась от своего плеврита, была страшна, невыта, меня рвало... Худая, с голыми синяками всех цветов на лице...

Ненавидела я сейчас себя за то, что не умела по-женски полюбить доброго человека. Правда, я совсем не знала ни его жизни, ни характера. Но мог ли он быть недобрым человеком, если спасал другого человека — меня. Неблагодарная я, неблагодарная! Хотя бы в благодарность за свое второе рождение... А я так и не смогла отдать себя ему... И это меня всю жизнь мучило!

С. М. Морозова перевели от нас в соседнюю дивизию... Увидеться со мной на прощание он не пытался... (Последнее свидание произошло в 1944 году в начале лета. Оно было короткое — оба просили друг у друга прощения.) Комбат, сообщая об этом, сказал:

— А Морозов сглупил, не тем путем шел. Когда привез тебя и отрекомендовал женой — это пусть. Это для тебя благо. Ты хорошенькая, будешь влюбляться. Он это понимал, а к «замужней» не будет подкатываться доблестные воины... Ну и заботился бы по-братски о «жене», не форсировал бы свои притязания, не напоминал бы о твоём «долге». Глядишь, и приручил бы терпением своим. Твоя благодарность ему — немаловажное чувство, оно могло и преобразоваться...

Ну а теперь, если хочешь спокойной жизни, отвечай всем влюбленным (имею в виду здоровых): «Сейчас война! Кровь рекой льется, а ты, сукин сын, куда мозги направил!» И матом его, матом!

Ну а если раненый влюбится — это ему на пользу, скорее поправится. Тут не бойся, не ругай его матом. Знай, что он у нас недолго пробудет — эвакуируют... Ха-ха!

Грубость, мат — ненавидела, так как много этой «прелести» за свою короткую жизнь слышалась (скверно ругался отчим; деревенские мужики беззлобно матерились; в рабочем бараке «висел» мат: много было татар — они ругались по-русски, но с акцентом, и это выходило пакостнее, чем у русского мужика). Прощала мат раненым, воспринимала как лекарственное для них средство, как разрядку от боли — со скрипом зубовым, в бреду мученик хрипел: «В атаку! За мной! Тра-та-та-та! Бей фашиста!.. Гитлера... Тра-та-та!» Один солдатик спросил меня:

— Как ты, белая березонька, умудряешься не качаться от мата, как бы и не замечаешь его?!

— Так они же не меня матерят, а Гитлера, войну... От боли физической и душевной.

Так много писала о С. М. Морозове, что можно подумать, будто я только и делала, что копалась в себе...

Нет! Главное было — работа, нелегкая, под бомбежками, обстрелами, с переездами, переходами и... столько изувеченных войной мужчин... кровь, гангрены, ампутации, развороченные животы.

На запрос о маме был комбату ответ: повредила она чем-то на заводе ногу, лежала в санчасти. Получила постоянную комнату (вместо той, временной, в которую мы с нею въезжали осенью 1941 года).

Живется Ленинграду нелегко, но летом есть травка и солнце. Мама писала бодрые письма. Не приукрашивала, но трезво, с оптимизмом смотрела в будущее, верила в победу.

А блокада еще не была прорвана. Война бушевала, пожирала человеческие жизни, люди тяжело работали, недоедали, голодали. Мама была терпеливой, труженицей. Не умела щадить себя: надо — значит, надо!

В письме мама спрашивала о С. М. Морозове... Я не ответила на этот ее вопрос и опять думала, думала! Может, я от природы эгоистка — не умела отдать то, что желанно другому? Но ведь мама, несмотря на неудавшуюся личную жизнь, с гордостью говорила, что оба раза выходила замуж по любви и что только по любви надо замуж выходить...

А я вот чувствую себя без вины виноватой и не умею объяснить эту виноватость себе и другим. Читая книги, останавливала внимание на похожих ситуациях.

«Одностороннее самопожертвование — ненадежная основа совместной жизни, потому что оскорбляет другую сторону» (Д. Голсуорси).

В ту пору я по наивности считала несовместимыми войну и любовь. Это неверно! Самая бескорыстная, чистая, сильная любовь — на фронте. Постоянный страх утраты любимого человека...

О фронтовичках в мирное время судачили так: «А она ребенка на фронте прижила...», «А она с ним на фронте сошлась», «Все они были там ППЖ (походно-полевая жена)».

А надо бы иначе: «Их любовь родилась на военных дорогах, они ведь были в той поре, когда природа велит человеку любить...»

«Не спеши накладывать на услышанное сегодняшней опыт чувств. Они — другое поколение. У них был свой опыт любви».

1942 год. Август. Синявинская операция. Работа по трое-четверо суток, не выходя из операционной, затем два часа сна. На обед пять — десять минут. Боролись за жизнь тех, кто по характеру ранения отвоевался, за возвращение в строй тех, кто снова пойдет в бой.

Отмечается в книгах, что в эту войну медикам пришлось впервые столкнуться с таким потоком раненых...

Судьбы медсанбатов разные. Бывали случаи, когда прорвавшиеся группы врага или десант вырезали, уничтожали раненых и персонал. С нашим МСБ такого ужаса не было. Был один смешной случай — прачки «пленили» немецкого солдата. Банно-прачечный отряд всегда располагался не на территории МСБ, а в отдалении некотором. И вот прачки привели «пленного». Он бродил недалеко от их расположения, девчонки стали его окружать, брякать шайками, подавать команды вроде: «Взять живым!», «Не стрелять», «Обходи!». А им и стрелять-то не из чего. И заплутавшийся «фриц» тоже безоружный, ободранный, голодный... Он долго искал, кому сдать. И настроен он был очень миролюбиво. В МСБ его накормили и отправили на КП.

Обстрелы, бомбежки были частые. Особенно тревожно это было при потоке раненых. Скажем, идет операция на животе или ампутация, а тут обстрел... недолет... перелет, и ждешь следующего удара — он вполне может нас накрыть. Распластываешься над раненым, а разве спасешь, если будет прямое попадание. Страшно здоровым, раненым тем более.

Продолжаем работать, втянув головы в плечи, приседая при каждом ударе.

Но сейчас, через год после начала войны, персонал МСБ был уже ко многому привычен, если можно так сказать. Девчонки, которые с самого начала здесь были, рассказывали о начальном периоде: штаты неполные, обеспечение необходимым слабое, условия наитруднейшие — почти на передовой (на Невском «пяточке»). Сентябрьские бои 1941 года. Медсанбатовцы врылись в берег Невы. Крысы сигают по раненым, есть нечего, бомбят нещадно, раненых огромное количество, переправы. Одевали девчонок по-мужски: галифе висят ниже коленок, обмотки, ботинки огромного размера (показывали мне фото Кати Шумской — «чаплинский вид»).

Синявинская операция 1942 года, август — новая операция по прорыву блокады Ленинграда.

Между Волховским и Ленинградским фронтами — шлиссельбургско-синявинский выступ... Главная роль отводится Волховскому фронту — прорвать оборону противника южнее Синявино. 8-я армия, куда входила наша 265-я, — в первом эшелоне. Наступление начал Ленинградский фронт. 8-я армия перешла в наступление 27 августа и за два дня подошла к Синявино. Тяжелая работа на передовой, и в МСБ не справиться быстро с потоком раненых. Пострадал МСБ соседней дивизии — значит, раненые тоже к нам. Частично эвакуируем в госпитали тех, кому можно обойтись без срочной хирургической помощи: делаем уколы, подбинтовываем — и на машины...

Как развивались события, мы, «бобики», тогда, конечно, не знали. Теперь читаю: «Волховский фронт не смог завершить удачно начатую операцию...» А до Невы уже оставалось шесть километров. Враг бросал новые

силы. Операция не завершилась прорывом блокады (это-то мы узнали от нашего командования), но планы врага на захват Ленинграда были сорваны.

Читаю: в середине сентября приказ — прервать операцию и перейти к активной обороне. 27 сентября начали отводить войска, чтобы избежать напрасных потерь...

В конце сентября возобновились активные боевые действия на возрожденном Невском «пяточке» (в районе Московской Дубровки), но удар Волховского фронта противник отразил и восстановил прежнее положение на шлиссельбургско-синявинском выступе.

В сентябре МСБ — в Нази. Штаб 8-й армии — в Войбокало.

«К 1 октября войска Волховского фронта отошли на правый берег реки Черной, а на восточном берегу Невы бои продолжались до 6 октября...»

Наша дивизионная медслужба без отдыха латала, чинила, лечила, боролась за жизни раненых. Работал каждый по несколько суток кряду. От усталости впадаешь в оцепенение, автоматизм спасал. Терялось представление о времени и месте нахождения. Остановишься, тряхнешь головой, чтобы взбодриться, но недосып, усталость, пары наркоза, неровная земля под брезентовым полом — кочка, ямка, — и по нему суток двое-трое без перерыва снуешь от одного стола с раненым к другому — и спрашиваешь себя: что это? Сон или реальность? Может быть, ты уже в аду? И тебе не суждено вырваться... Кажется, что мир сошел с ума, если человек убивает человека. Один вид: кровь, стоны, раны, страдания, мат раненого (он не осознает, что матерится). Нужно все время ласково, искренне, нежно утешать страдающих: «Миленький, потерпи, сейчас тебе станет легче... а без стопы можно жить прежней жизнью: танцевать, ездить на велосипеде... протез хороший сделают... нельзя не ампутировать ее — она на сухожилии чуть-чуть болтается, загрязнена, может начаться гангрена, если срочно не оперировать. У тебя даже голеностопный сустав сохранится... А остальные твои раны — пустьяковые, осколки повытаскиваем — и все быстро заживет...»

Хирургический взвод имел две палатки: большая операционная и малая операционная. Отличие в том, что в малой не оперировали животы и не было шоковых, которых надо по несколько часов доводить до операционного состояния. Я — в группе малой операционной. У нас два хирурга (Перельман, Алексин) и три медсестры: Доля Дублевская, Катя Шумская (старшая медсестра), я — и два санитары.

Когда в большой операционной скопилось много «животов» и все шоковые, старший хирург запросил дополнительную медсестру лично ему в помощь при операциях. Ему разрешили выбрать сестру в малой операционной. Он пригласил меня. Я испугалась, так как не обслуживала операции на животах, о чем сказала Соломону Вениаминовичу. От сестер я слышала, что с Бинемсоном трудновато работать — у него привычки особые: он оперирует, не произнося ни слова, и сестра должна знать ход операции, знать, какие иглы предпочитает Соломон, чем шьет кишки, какой длины любит лигатуры, кетгут или шелк и т. д.

Соломон Вениаминович — блестящий хирург. В этом пекле он умудряется еще и докторскую диссертацию готовить (материала достаточно, а пишет ее между боями).

Бинемсон — тощий, сутулый, с мохнатыми бровями и невероятно рассеянный, вернее, сосредоточенный только на хирургии. Он не запоминает, кого как зовут. По-житейски — смешной и странный. Ремень всегда очень опущен, портупья не на плече, а опустилась до локтя, голенища сапог полупустые, так как очень тонкие у него ноги. Совсем не научился наматывать портянки. Однажды врачи над ним подшутили: было объявлено построение всего МСБ, ему и говорят: «Надо быть на построении со всей выкладкой!», он поверил. И как все смеялись, когда он появился: шинель скатать не смог, она, разлохмаченная, лежала на шее, котелок болтался на ремне, противогаз не на том плече, а в противогазной сумке — его доктор-

ская диссертация. Сапоги он никогда не чистил — не умел или не придавал этому значения. Фуражка всегда надета козырьком набок...

И вот я пришла к Бинемсону, объяснила свои сомнения, посоветовала взять вместо меня Катю Шумскую, но он, как водится, уже забыл, о чем шла речь раньше.

Спрашивает:

— А вы кто? Вы к кому и по какому поводу?..

Терпеливо объяснила все «от печки».

— А! Да! Сейчас приступим! Тут срочный случай. Мойте руки, облачайтесь в стерильное, а я коротко скажу о своих привычках. Не бойтесь, я обещаю, что иногда буду «пользоваться речью» во время операции. Как исключение... Но и вы должны быть архинаблюдательной.

Начали. Обработала операционное поле, обложила его стерильными простынями, накрыла в ногах раненого рабочий столик со стерильными материалами и инструментом... Бенья разрезал слой за слоем, и вот он уже в животе: тонкими пальцами перебирает кишечник (осмотр), кучкой укладывает его на животе раненого, сбоку от разреза, на стерильное полотенце, а я прикрываю их марлевыми салфетками, смоченными теплым физиологическим раствором (чтобы не высохли — создаю им более-менее естественную среду).

Вот Бинемсон нашел все продырявленные участки в кишках. Операция идет полным ходом. На рабочем столике скапливаются кровавые тампоны, инструменты. Я знаю, что надо строго следить за количеством инструментов (не дай бог, какой-то мелкий останется в кровавой ране...)

Бинемсон похвалил меня: «Все идет хорошо! Только следите, чтобы не скапливались на столике кровавые марли, куски отсеченного, — отбрасывайте в таз и время от времени промокайте капли пота на моих бровях... Опасно, если пот попадет в рану».

Я горжусь своей понятливостью, усердствую. Сбрасывая в таз кровавые ошметки и марлю, слежу, как бы не выбросить незаметно какой-нибудь инструмент, иначе после операции, если недосчитаюсь, живот расширять придется. Я знаю, что кишки хирург должен штопать сальником, и я жду, когда он отрежет от сальника большого кусок.

Похоже, я проморгала, наводя порядок на рабочем столике, сбрасывая ошметки в таз! Гляжу на манипуляции хирурга, вижу, что он ухватил часть кишки с дыркой, — значит, начнет штопать...

Вдруг Бинемсон роется на рабочем столике, что-то ищет молча и явно не находит. Спрашиваю, что ему подать?

— Сальник! Где сальник? Где сальник?

— Какой сальник? Его здесь нет. И не было!

— А я спрашиваю, куда делся кусок сальника, который я отрезал и в марле положил на этот столик!

— Но вы же не предупредили, что в кровавых салфетках — сальник. Сами же просили все месиво сбрасывать в таз...

— Мне дела нет, что вы сбрасывали... Хоть родите, а найдите тот кусок сальника, который я еле выискал у него, так как сальник его тоже весь в дырках... Чем я буду кишки ему штопать?! Хоть свой сальник давайте!

Потом работали молча. Расстроилась я ужасно... Он копошился в животе, нашел целый кусок сальника (другой), он штопал, я промокала кровь в брюшине, пот с бровей хирурга, молча вкладывала в протянутую руку нужные инструменты: иглы (он прямыми любил шить) с нитками, зажимы и проч. И вот кишечник водружен на свое место. Вот он уже зашивает жировой слой, вот зашил и подкожный... Операция идет к концу. Бинемсон бросает: «Заканчивайте!» Это значит, что я должна наложить швы на кожу, а он пошел мыть руки, чтобы заняться следующим раненым... Я не могу успокоиться из-за своего промаха, волнуясь — хороший ли кусок сальника Бенья сумел найти вновь...

Работа закончена. Я «размылась» (термин хирургический, то есть я уже не стерильная) и вышла вздохнуть в тамбур. Злюсь на себя, заплакала. В тамбур вышел и Бинемсон, наткнулся на меня:

— Вы кто? Вы к кому? Что с вами? У вас какая-нибудь неприятность? Что-то я вас не припомню... Вы медсанбатовская?

А я-то ждала, что он будет выговаривать мне за невнимательность...

— Да ведь я та сестра, доктор, которая сальник выбросила в таз... Я подвела вас... Не отразится это на раненом?..

— Какой сальник? Какой раненый? Что, среди оперированных есть близкий вам человек? Кто?

Ну что будешь делать, если есть и здесь чудачки! Как неразумному человеку, долго втолковывала, кто я. Дошло.

— Ах, боже мой! Из-за сальника такие слезы! Что вы! Да у этого раненого было и еще осталось столько хороших участков сальника, что я и ваши кишки обшил бы! Операция прошла очень хорошо, вы мне грамотно помогли. Я буду просить перевести вас в большую операционную. А кстати, как ваша фамилия?

Я поблагодарила Бинемсона, но сказала, что в малой операционной без меня — некомплект. А у него — Надя Степанова, ей уже лучше, и она через час вернется.

— Какая Надя Степанова? Такая рослая, грудастая?

— Да нет же, доктор! Рослая, грудастая — это Дуся Терехина из госпитальных палат, а Надя — с косой, невысокая... Вы же с нею уже год оперируете... — И мне стало легко и весело. Когда он не у операционного стола, в быту, то очень странный, рассеянный. Я не понимала, как это можно за год не запомнить людей своего взвода!.. Смешной: ремень на гимнастерке спереди — ниже пупа, сзади — чуть ли не на лопатках, португез — как сбруя на лошади. Грудь впалая, спина крючком. Походка быстрая, нервная. Эдакая первоптица — археоптерикс. Он не замечал ни бомбежки, ни обстрелов. Диссертация его — о ранениях в живот, об операциях на животе.

Побольше бы таких блаженных умниц.

В малой операционной был хирург Перельман Виктор Яковлевич, акуратист, с изящными манерами. Походка неторопливая, ступни при этом вовнутрь, задом вихлял. Вернее, не изящный, а жеманный.

Тоже не отличался военной выправкой, хотя одежда на нем сидела правильно. Движения кокетливые. Работал без спешки. Сентиментальный человек. Вспоминал часто довоенную жизнь и свою «мамочку» (только так называл маму).

— Я был нежный сын... я так обожал мамочку! Еще я любил вышивать крестом по канве... Я все умел делать по хозяйству и мамочку освобождал от всех дел. И мамочка меня обожала...

— А жена, дети?

— Не было необходимости жениться. Ведь это значило бы — переключить свое внимание на другую женщину...

Нам всем не хватало дома, близких. Даже те, у кого до войны была жизнь не вполне уютно устроена, не очень сытая жизнь, — мы вспоминали ее с нежностью, благодарностью. А Перельман тосковал постоянно.

Второй хирург в малой операционной — комбат Алексин Борис Яковлевич. Он не всегда мог быть в операционной, он за весь МСБ отвечал, за все дела и проблемы.

Умный, энергичный, добрый, смелый, с частыми ангинами, да и легкие у него были некрепкие. Лицо волевое. А когда горло забинтует, хочется пожалеть его, погладить. Была у него собака (ее ему подарили разведчики — «пленная» собака), он назвал ее Джульбарсом. Какое раньше было имя — неведомо, какое-нибудь немецкое. К новому имени она быстро привыкла (вернее — он). К Алексину она привязалась, обожала его. Все

изошрялись — сочиняли биографию собаки. Одни настаивали, что Джульбарс — собака русская (порода — немецкая овчарка). Вполне возможно, что собака служила санитаром на передовой или подрывала танки... Может, побывала у немцев в плену, сбежала... Считали ее собакой «нашей» потому, что она не выдала наших разведчиков лаем на них, а когда они возвращались с задания, пошла с ними на нашу сторону.

Алексин и Джульбарс были неразлучны. Когда Алексин оперировал — Джульбарс тихо лежал в тамбуре палатки.

Очень точно собака повторяла настроение хозяина. Если Алексин шел по лагерю бодро, с незавязанным горлом, собака весело пританцовывала у его правой ноги, игриво взглядывала в лицо хозяину, как бы говоря: «Хороший выдался у нас с тобой денек!» Если Алексин устал, или горло болит, или заботы одолевают и шел тяжелой походкой, опустив голову, ссутулив плечи, в валенках, «уши» ушанки опущены — такой же вид и у собаки: уши и нос опущены, глаза печальные.

Однажды Джульбарс прокусил мне ягодицу. Дело было летом 1943 года. Мне хочется эту картинку восстановить.

...Медсестра госпитального взвода (в их палаты поступали из операционных обработанные раненые) Валя Рундаева в этот день... рожала. Да! Да! Рожала на фронте. Так получилось: все тянула и тянула с отъездом, хотела дожидаться, когда дивизия выйдет из боев на отдых. Тревожилась о муже — он, ее Петро, был командиром полка. Брак их был зарегистрирован в книге приказов по дивизии, с посаженным отцом в лице командира дивизии. (Существовала такая форма узаконения брака, и справка выдавалась. Эту справку после войны надлежало поменять в загсе на государственное удостоверение о браке.) Валя и Петро видались редко, он заскакивал иногда в медсанбат. В эти дни его полк действовал (а она думала, что бой этот пройдет и она уедет... его мать звала, ждала ее, а она медлила, то ли не рассчитав сроки, то ли умышленно). И вот — Петро в бою, а Валя рожа-ет... Поступили раненые, среди них тяжело и безнадежно раненый Петро. От Вали скрыли. Валя долго рожала, Петро столько же времени умирал, не приходя в сознание.

Как только боли чуть утихали, Валя тревожно спрашивала: «Раненые из полка Петро поступили? Что говорят? Как там мой Петро?»

Девочки послали меня «в разведку» — узнать, родила ли Валя, так как криков ее больше не было слышно. Иду по лагерю... Солнышко... На бревне сидят легко раненные из команды выздоравливающих. Притихшие, грустные, чем-то занятые. Пожилой солдат показал мне поделки из дерева, с тихой и скорбной улыбкой объяснил, что это игрушки для новорожденного. Другой солдат разрезал новую байковую портянку — хочет сшить распашонку...

А молоденький лейтенант говорит: «Мы посоветались и постановили: если парень родится, назовем его Медсанбат, а если девочка, наречем ее Дивизия...»

Как это удивительно! Война, фронт, кровь, смерть — и вдруг в этих условиях рождается человек!

Когда я пришла в палату, где рожала Валя, маленький человек уже был закутан в простыню. Валя устало, но счастливо шепчет: «Мальчик... Петро хотел сына... Вот и сын... я его тоже Петром назову... Что слышно из полка? Туда не идет машина? Хорошо бы сообщить Петру...»

Рожениц, роды и новорожденных мне доводилось видеть, когда училась в медшколе (на практике). Маленький Петро, уставший от выполненной работы не меньше матери, спал. При виде этого чуда я на время забыла, что с его появлением угасла жизнь его отца, и я, очарованная, чтобы скорее сообщить девочкам, вприпрыжку добежала до нашей палатки, влетела в тамбур и с ходу выпалила:

— Мальчик! Какая он прелесть! Уж не жениться ли нам, девчонки, и не выродить ли таких мальчиков!

Вдруг в противоположном тамбуре кто-то зашевелился, раскрылись створки брезента, и выглянуло лицо Алексина, он смеялся. Я так растерялась и засмушалась, что бросилась из палатки на улицу... Алексин весело крикнул, вылезая из брезента: «Куда ты? Стой! Ты что, жениться побежала?!»

Джюльбарс, наверно, решил, что меня надо остановить (а я и не знала, что, когда я пошла «в разведку», Алексин с собакой зашел в палатку, узнал, что я должна вернуться с вестями, спрятался с Джюльбарсом в тамбуре и сказал девчонкам: «Интересно, как и что она скажет... и вообще интересно послушать, что вы будете говорить». Джюльбарс двумя прыжками настиг меня и вцепился зубами мне в ягодицу... И только голос хозяйки заставил его разомкнуть зубы. Алексин его стыдил, Джюльбарс был очень смущен, а я стояла, схватившись за онемевшую ягодицу. Аккуратные дырочки на юбке.

После Алексин долго подтрунивал: «Почему не носишь нашивку о ранении?» В молодости все быстро заживает, и две дырочки зажили как на собаке. Сегодня обязательно бы вкатили уколы от бешенства...

Ах, как трудно было сказать Вале о Петро. Никто не взял это на себя. Это выпало на долю Зинаиды Николаевны. У нее души и материнских слов для всех хватало...

Через месяц Валя с Петрушей уехала к матери Петро. Через полгода она к нам вернулась, не могла там оставаться, ибо маленький Петро умер... Она знала, что это горе ей помогут превозмочь понимающие ее медсанбатовцы...

Сейчас Валя живет на Сахалине. Муж ее — ветеран нашей дивизии. У них сын и дочь. Валя давно в звании бабушки. Работает, общественница и даже поет в хоре... А на рейхстаге есть ее подпись. Говорят, несколько лет назад по этой подписи ее искали и нашли...

Так и шла наша молодая жизнь в работе в лесах и болотах Волховского фронта... Особенно трудно, когда много стоишь на даче наркоза. Тупеешь. Спать и без паров наркоза смертельно хочется. Усыпишь раненого, и голова твоя клонится на подушку рядом с головой усыпленного... Через какое-то время врач толкнет локтем: «Добавь немного, а то зашевелился». Поднимешь туманную свою голову и видишь все то же: кровь, раны, смерть, ампутированные конечности, видишь таких же до предела уставших медиков, и не получается поверить, представить, что где-то сейчас есть люди, которые спят на кровати всю ночь, что где-то не пахнет кровью, гангреной...

Лето, осень, зима, весна... все то же, с некоторыми нюансами: переезд, пеший переход на новое место, перерывы в поступлении раненых, бодряя шутка товарищей...

Волховский фронт. Леса, болота, комары, мошкара, бездорожье. А. А. Вишневский вспоминает, что в конце 1943 года ему попала какая-то книжка, в которой сами немцы отмечают, что Волховский фронт они считали для себя трудным и что побывавшие на этом фронте немцы приобретали особый отпечаток: неразговорчивость, суровость, мрачность. У них даже была введена какая-то нашивка за пребывание на этом фронте. Они говорили: «Лучше десять Севастополей, чем это...»

Зимой 1942/43 года недалеко от МСБ был сбит немецкий самолет. Летчик выбросился с парашютом, и его взяли в плен. Рассказывали, что он свирепо сопротивлялся и даже, когда был обезоружен, продолжал брыкаться, и, когда его поволокли, он одному красноармейцу почти что откусил... ухо.

Мы бежали (свободные от дежурств) посмотреть на немца (раньше не доводилось)... В дощатом домике на чурбаках сидели немец-летчик и охранявшие его, ждали то ли машину, то ли какое-то начальство.

Волевое лицо ходило ходуном от злобы (не от страха за свою жизнь!). Когда мы, девчонки, появились, он с любопытством стал нас разглядывать. Одет он был в добротный комбинезон с застегжками-молниями и со множеством карманов, кармашков. Комбинезон в нескольких местах порван, и в дыры виднеется шерстяное белье. Он не ранен, только синяки, царапины.

Он даже заговорил. Один из присутствующих знал немецкий язык. Немец интересуется, чем занимаются медхен на фронте, какая наша миссия и надеемся ли мы выбраться из болот, куда его армия нас загнала.

Переводчик ему объяснил, что у медхен «в плане дойти до Берлина!». Немец спросил, указывая на меня, где мой дом. Услышав «Ленинград!», злорадно что-то забормотал. Офицер перевел нам: «О! Ленинград! Я вчера там был... твой дом капут! Бомба! Ферштейн? Немецкая армия получает салат зеленый, а у вас — пшено... До Берлина далеко... не дойдешь...»

Я попросила перевести ему, что по улицам Ленинграда ему не ходить, а я в Берлине буду... и спросила, зачем он пришел к нам.

Больше он не разговаривал. А когда пришла машина, чтобы увезти его в штаб армии, немец, выходя из домика, оглядел нас тяжелым взглядом и вдруг снял с руки часы и протянул их нам с какими-то словами. Переводчик перевел, что немец удивлен нашей наивности и слепой вере в победу... Назвал свой адрес в Берлине и добавил: если эти часы вернуться в его дом, спор будет окончен не в его пользу.

Часы эти — швейцарская «Омега» — оченьгодились в операционной (я носила их в нагрудном кармашке халата, приколотые булавкой, и все спрашивали у меня о времени). Но однажды часы исчезли.

Их украл раненый: пока я накладывала ему шину на левую руку (он сидел на столе), он правой отстегнул булавку и вынул часы. Прошло двое суток после пропажи часов (мы за это время перевернули все, что можно, и не нашли), меня позвали к машинам, в которые грузили раненых на эвакуацию. Один из раненых протянул мне часы и объяснил свой поступок так: «Я решил проверить свои бывшие способности... Я карманник. Я убедился, что опыт не утрачен. Часы хорошие, трофейные. Наверно, ха-халь тебе подарил? Возьми! У меня свои есть — не хуже».

Ампутации... Скольких война сделала безрукими, безногими... Многие раненые не давали согласия на ампутацию.

— Тебе бы только оттяпать! Лечи! — зло выговаривали они хирургу.

Что значит лечить гангрену? Врач разрезает мягкие ткани до кости, на «ленты», отслаивает их от кости, чтобы дать доступ воздуху, но знает, что гангрена все равно поползет выше, и разъясняет раненому:

— Через час краснота, синева, пузыри дойдут до голени, и речь пойдет об ампутации не стопы (только стопы!), а выше...

— Не дам отнимать ногу! Лечи! Куда же я без ноги...

Врач уговаривает:

— Пойми, неразумная голова, что счастливо отделался. Жив! Будет протез, и ты годен для любой работы в тылу. Без стопы легче, чем без ноги от коленного сустава.

Не верит бедолага. Не соглашается... Врач продолжает полосовать ткани, применять лекарства... Проходит время, и гангрена переползла через коленный сустав. Раненый бледный, покрыт потом, слабеет...

Последний довод врача, вид ноги убеждают больного.

— Когда гангрена подойдет к тазобедренному суставу, останется только отчленить ногу в тазобедренном суставе, иначе пойдет на брюшину... и смерть.

И вместо стопы — ампутация на середине бедра...

А без согласия больного будто бы нельзя ампутировать. Не знаю, нигде сама не читала этого правила... и всегда тихонько врачу шептала: давно бы оглушили наркозом и отняли бы стопу...

При большом потоке раненых не всегда хватало консервированной крови. А как она бывала необходима, даже сто — двести граммов крови оживляли раненого, светлели уже посиневшие ногти и губы, открывались почти угасшие глаза. Каждый из нас знал свою группу крови, и мы нередко спасали раненых своей кровью, из вены — в вену... Лежишь и видишь, как твоя кровь восстанавливает дыхание больного, затрепетали его веки, и врач уже может приступить к операции.

Переливая консервированную кровь, всегда приговариваешь: «Все сейчас будет нормально, потерпи. Вот теперь в тебе будет кровушка донора из Вольска, зовут ее Дарья Ивановна...»

А раненый спрашивает:

— Сестра! А на колбе не обозначено, какой характер у Дарьи Ивановны? Вдруг она злыдня горластая, и лишусь я своего ангельского характера... А еще не сказано там — замужняя она аль одинокая. А то бы адресок не мешало переписать...

— Нет, таких данных не обозначено. Не волнуйся! Для фронта кровь дают только хорошие женщины, — успокаивала сестра.

Зима, весна, лето, осень...

Трудно ранней весной и осенью. Бездорожье, болотная сырость, меси-во на дорогах. Дожди.

Летом приятно — на лугу ромашки, кузнечики стрекочут. Но летом больше гангрены. Иногда долго находится раненый под солнцем на поле боя. Инфекция. Не всегда удается санитарам на передовой быстро найти раненого, вытащить из-под обстрела.

Зимой в лагере мы делали аллею (главную дорогу), елками обсаживали. Выйдешь из палатки глотнуть воздуха и залюбуешься: белый пушистый снег на елках, в ночной тишине слышна с передовой стрельба, в небе летают... осветительные ракеты.

А в операционной — молоденький солдатик, израненный как решето. В сознании. Все, что в силах врачей, сделано, но мы знаем, что он умрет... Он не стонет, ничего не просит... Он — поет: «На позицию девушка провожала бойца...» До конца допел песню. Последний куплет проговорил шепотом: «Не померкнет без времени золотой огонек...» — вздохнул и умер...

...В палату внесли лейтенанта. Богатырь. Хирург Лукьянова осмотрела и пошла совещаться с другим врачом. У лейтенанта пуля в сердце... Такая операция, если даже она помогла бы ему, в условиях МСБ не делалась. Это первый случай. Лукьянова (опытный хирург, ученица С. Юдина, начинала у него еще медсестрой) решила оперировать, допуская счастливый случай (вдруг пуля только коснулась сердца, не повредив жизненно важные участки, сосуды...).

Вскрыла, извлекла пулю, но сказала нам, что он не жилец. И его поручили мне: не отходить, следить, чтобы не свалился со стола, так как может наступить возбужденное состояние; обтирать пот, ласково успокаивать, вселять надежду...

Он жил два часа... все время разговаривал со мной, держал мою руку... А потом вдруг сказал спокойным голосом: «Сестричка! Ведь я умираю...»

А я «вселяла надежду» — как трудно было выполнять это задание. Он — ленинградец... я просила его взять мой адрес... «После войны мы там встретимся, выпьем за Победу, будем танцевать», что от его ранения не умирают и проч.

— Не надо, сестра! Все не то, не так! Ты же не можешь за меня чувствовать, а я чувствую и знаю, что умираю. Давай не будем тратить вре-

мя... У меня есть мама. Я у нее один, и у меня — она одна... Она в эвакуации... Запиши ее адрес, выполни мою просьбу — напиши ей о моей смерти: ты видела меня, слышала последней... Сухая похоронка убьет ее. Ей очень важно будет знать, что, умирая, я о ней только и думал... Ей нужны будут эти мучительные подробности...

Я попыталась протестовать, утешать, но он не отступал: «Ты не имеешь права не выполнить последнюю мою просьбу!»

Впал в возбужденное состояние и все повторял и повторял адрес матери... и я запомнила адрес и повторила ему... И я не придумывала сказок, а вместе с ним твердила адрес его матери, и у него распрямылись мышцы лица.

...Я написала матери это страшное письмо. Более трудной просьбы за свою жизнь мне не приходилось выполнять. Она ответила, в письме сохранилось много вопросов. Она решила, что я его девушка, спрашивала, давно ли мы познакомились, где, в одной ли части мы служили, при каких обстоятельствах его ранило, не развились ли у него на фронте волосы... А я же ей писала в письме, что к нам в МСБ он поступил уже раненным.

Главный хирург Волховского фронта был А. А. Вишневский, главный терапевт фронта — Н. С. Молчанов. Эти фамилии мы часто слышали от наших врачей и на собраниях, когда давались установки применять новый метод обработки и лечения ран. В разные годы войны менялись средства для повязок: то увлекались стрептоцидом («присыпьте рану стрептоцидом»), то мазью Вишневского, а то делали повязки с кровью.

К боли раненые относились по-разному. Бывало, изрешеченный изрядно только зубами скрипел, другие стонали, а часто человек с небольшим касательным ранением вел себя спокойно.

Бывало и так, что осколочек торчит почти на поверхности и нет больше других ран, а солдат не дается сделать всего один новокаиновый укол — обезболивание, чтобы чуть-чуть рассечь ранку и достать пинцетом осколочек. Помню узбека... Не дает делать укол. Осколочек в голени. По существу, пустяк. Такой через три дня может на передовую идти, а он сел по-турецки на носилках и не дает обработку раны делать:

— Уй-вай-я-й, бульно будит! Джанам, сестра... дохтур!..

Так и пришлось к общему наркозу прибегнуть. Рауш (на короткое время). Потом спрашиваю — чего кричал?

— Думал — бульно будит! Сичас карашо.

А были и такие, которые говорили:

— Не дай бог к вам попадать... На передовой не так страшно, как у вас. Там не знаешь, в какой момент тебя шарахнет, а тут видишь, когда к тебе с иголкой, с ножиком подходят, как в пыточной камере... орудия пытки сверкают, брякают, кругом стонут раненые.

И почти все говорили, что в момент ранения боли не чувствовали, а только сильный толчок, удар...

Когда дивизию пополнили южанами — узбеками, казаками — они пачками стали поступать к нам (с поносами, простудами). Они из аулов, почти не обученные, а некоторые без знания русского языка. От нашего климата, непривычной пищи, без хорошего чая они страдали. И многие заболели животами. И если не было в операционной работы, нас посылали в госпитальные палаты помогать. Войдешь в тамбур, прислушаешься — тихо в палате. Но стоит переступить, войти, как «бедные наши елдаши» (елдаш — товарищ) начинают стонать, жаловаться, чего-нибудь просить:

— Систра! Бульна-о-о!

— Систра! Утка... судно... два сухаря и попить...

Сестра и санитар объясняют, что через десять минут будут раздавать им обед (завтрак, ужин) и чтобы все сделали, что требуется... Кто может ходить — на улицу, кому не разрешено — поможет санитар.

Странность с ними еще такая была. Не понимали они, зачем дается больному две простыни: на одну лечь, а другая — как бы пододеяльник.

Так вот зачем другая — им непонятно, и они эти «другие» обматывали вокруг головы. И лежат цуцики, кто в чалме, кто с пилоткой на голове, а ботинки непременно на кровати (носилки, а не кровати) в ногах — поверх одеяла.

Выясняла, почему так. Оказывается, голове холодно, а ботинки — чтобы, когда «мало-мало усерде», быстро схватить их и надеть, чтобы бежать на улицу.

Как же им не нравился чай, заваренный в ведре (чай и сахар на всех больных разведен в общем ведре).

С каждой новой партией «елдашей», занедуживших животами, надо было «читать лекцию» — зачем вторая простыня, что такое градусник и прочее.

Разговор с новичком:

— Сейчас я тебе поставлю градусник, — (показываю его и объясняю — зачем).

— Вуй-вай-яй, ни нада, систра... Бульно будит, машинка ни нада!

Еле-еле уговоришь:

— Машинка лечит не больно, увидишь, что сразу помогает.

Через десять минут хочешь вынуть градусник, а он не позволяет:

— Ни нада! Машинка — карашо... Нет машинка — будет бульно...

Смех и горе. И как же жалко их, попавших в непривычные для них обстоятельства. Они, как дети, сбиваются в кучку с соплеменниками. Одна эта отдушинка для них.

А потом они уходили на передовую... Одни храбро воевали, а некоторые увечили себя — самострелы — и поступали к нам же. Таких Лев Давыдович Райгородский еще в своей «сортировке» определял. Скажем, как топором будто отрублен палец на правой руке (или несколько пальцев). Или пулевое ранение в ладонь или стопу. Входное отверстие малюсенькое, выходное — разворочено, и кругом копать... Это так они «выручали» друг друга: стреляли товарищу в упор (в руку, в ногу) или штыком оттяпывали ровненько два-три пальца на руке (рука на пеньке в это время располагалась). Жуть.

Врач (этим занимался Райгородский) расспрашивал такого, где была передовая, что делал в это время пострадавший: бежал, лежал, стрелял или еще что-то. Сначала запирается, потом путается, потом сознается...

Когда поняли, что их легко распознают, они стали это делать другим способом: смачивали буханку хлеба водой, ногу обертывали мокрой портянкой, на стопу — хлеб и стреляли. Копоти нет, и не так сильно разворочено выходное отверстие...

Все равно распознавал Левушка. После выздоровления — в штрафную роту смывать кровью или смертью позор... Это я наблюдала в 1942 году. Потом это явление исчезло. А мне было жалко этих южан, из аулов, не обученных, плохо говоривших по-русски.

22 декабря 1942 года утвержден указ Верховного Совета СССР о медалях «За оборону Ленинграда», «За освобождение Севастополя», «За оборону Сталинграда».

Медсанбатовец (и мне в том числе) награждение медалью «За оборону Ленинграда» было в январе 1944 года, после полного снятия блокады. А вручили медали 30 марта 1944 года.

Номер моей медали — АЕ 66451. Подписи на удостоверении — Попков, Бубнов.

Пища — пшеничный концентрат, перловка, картошка, хлеб, сало. Мы были сыты. Но витаминов нет. Авитаминоз у солдат, куриная слепота и другие проявления его.

Для раненых и для себя мы собирали крапиву, щавель, в аптеке готовили хвойный экстракт...

1943 год — прорыв блокады Ленинграда (январь). Семидневные упорные бои. 12 января утром более двух часов — артподготовка. Это была лучшая музыка. Мы находились на своих рабочих местах — готовились к предстоящему приему раненых и затаив дыхание слушали канонаду. Наша дивизия поддерживала основные боевые соединения.

Ленинград мой, брат мой! Дорогие ленинградцы, родная мама, слышите?! Скоро будет вам полегче!

...И вот 18 января встретились воины Ленинградского и Волховского фронтов! Блокада Ленинграда прорвана! Это символ предстоящей большой Победы! Мы обнимались, смеялись и плакали. Аля Андреева, как и я, вырвавшаяся из когтей блокады, сдержанная в эмоциях, молча обняла меня, и так мы стояли, покачиваясь, обнявшись, вспоминая ад блокадной первой зимы и весны. Каждая свою блокаду, а она у меня с нею — одинаковая.

Бои за Ленинград продолжались. Фашисты продолжали наступать на Ленинград.

Наша 8-я армия, куда входила и наша дивизия, ведет наступательные бои южнее Мги, чтобы сорвать вражеское наступление. А мы спасали жизни воинов, штопали, латали...

Когда дивизию временно выводят из боя, пополняют людьми, готовят к новому бою, мы, медсанбатовская художественная самодеятельность (а позже был создан дивизионный ансамбль художественной самодеятельности), давали душевный отдых солдату в полках. Как желанно встречали нас только что вышедшие из боя воины!

Помню первый наш концерт: шофер Миша Ананьев — баян; Клава Китаева — художественное чтение; Люся Жупырина — соло «Синий платочек»; Нина Карпова и я — «Ритмический танец с тросточками», обучил нас откуда-то приглашенный Наум Портной... Я еще плясала «цыганочку», а Серго Григорьянц свой танец.

А в очередной перерыв в работе нас послали на всеармейский смотр художественной самодеятельности («свыше» было придано этому большое значение), и мы заняли второе место. После этого из штаба армии пришел приказ — создать дивизионный ансамбль художественной самодеятельности из людей, освобожденных от их прежних обязанностей. Всю нашу медсанбатовскую группу взяли для создания ансамбля.

За оставшееся до начала новых боев время мы дали несколько концертов в полках. В ансамбле появился Павел Андреевич Плешаков — он исполнял песни «Землянка» и «Тройка»; Толя Андреев — профессиональный актер Ленинградского ТЮЗа; Теодор Абрамович Стеркин (руководство ансамблем) — один из работников ленинградского телевидения (довоенного; оказывается, было таковое, а я и не представляла, что было). Вот сейчас я держу в руках его книгу, недавно (80-е годы) присланную им мне, — «Становление профессии» (М., «Искусство», 1980). Он музыкальный режиссер ленинградского телевидения, с довоенного времени.

Вот в книге фотография — Толя Стеркин как музыкальный режиссер с группой участников телеспектакля «Севильский цирюльник», а вот он за пультом в аппаратной старого ленинградского телецентра — 1948 год...

А тогда, в 1943-м, он готовил эти наши фронтовые концерты с участием медсанбатовских неумех.

Одним словом, дело шло к тому, что «артистам»-медсанбатовцам придется выполнять постоянно эту работу и в МСБ нас не вернут. А скоро дивизия опять вступит в бои, там в МСБ будет поток раненых, там нехватка наших рук.

Новоиспеченный ансамбль располагался при штабе дивизии и находился в непосредственном его подчинении (при политотделе дивизии).

Здесь я открыла для себя новое: в дивизии есть не только артмастерские и другие нужные соединения, но есть, оказывается, «дивизионный клуб» и его заведующий — киномеханик Авраменко и «художник» Володя Ветронский, малюющий с помощью окурка (кисточек и перьев не было) плакаты, лозунги. Клубная автомашина выезжала на передний край, и из нее вешали на немцев, которые сначала слушали, а потом лупили снарядами по тому месту, где стояла, но уже «смоталась» машина.

Из «артисток» я вырвалась, выдержав громкую беседу с начальником политотдела. Я подала рапорт об этом, и меня вызвали. Я сказала, что хочу быть там, где я нужнее. Мне доказывали, что я в ансамбле нужнее («Вспомни, как тебя встречают... кто кричит: «Орловскую!», кто спрашивает тебя после концерта: «Вы случаем не сестра Любви Орловой?!»).

Последний мой довод рассердил и оскорбил начальника политотдела, который и создал ансамбль. Я сказала, набычившись: «Я не для того оказалась на фронте, чтобы ногами дрыгать, а для того, чтобы дело делать!..» Он ответил: «Если бы ты была умнее, чем есть, то можно было бы отправить тебя в штрафную роту... жалко дуру, не понимающую, что ансамбль, искусство, концерты на передовой — это не меньше любого оружия дело, а она, вишь ты, — „ногами дрыгать“! Отправляйся в МСБ!»

Со мной вернулась только Клава Китаева. И жизнь моя опять вошла в свое русло... И комбат был доволен...

Работа, работа, работа... Мы, уставшие, жалели друг друга, «торговались»: «Я только двое суток не выходила из операционной, а ты раньше меня заступила... иди поспи». — «Да вроде у меня дурман сонный прошел, я еще могу... иди ты поспи...»

А где спать! Все палатки заняты ранеными. Дано тебе два часа, час (в зависимости от объема работы). Палата операционная перегорожена простынями. В одной части — операционные столы, в другой — печурка, раскаленная докрасна, на ней кипятятся инструменты в стерилизаторах, греется вода. Если вода дефицит, в тазах тает снег. Тут же «походный столик» — укладка, за которой врачи делают записи в историях болезни. Сюда же на носилках вносят раненых. У печурки — дрова. И вот в этой предоперационной половине отпущенный поспать свертывается клубочком у печурки, полено под голову... сваливается буквально... и моментально засыпает — наверно, еще не опустившись на пол заснул. И не слышит, как наступают ему на ноги, что происходит вокруг. А когда тебя через час, иногда два будят, чтобы дать место другому, а тебе заступить еще на двое суток, то кажется, что спал ты минут двадцать... Встанешь, потянешься, а глаза еще не открылись... И мечтаешь, чтобы отоспаться вволю. Когда дивизия выйдет из боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6/І-1943 года с 15 февраля 1943 года введены погоны.

Не красноармейцы, а солдаты, не командир Красной Армии, а офицер Советской Армии.

Начальник санитарной службы 8-й армии, Н. В. Смирнов, требует строго бороться за асептику.

Ох, как страшно глядеть на изувеченных. Вот был могучий, ладно скроенный мужчина — и вдруг... он — обрубок! Шок — упавшее давление и спад других систем. Сначала поднимаем давление, потом новокаиновая блокада. По двести, триста, четыреста раненых в сутки проходили через МСБ.

Когда дивизия выводится из боя или переводится на активную оборону — работа ритмичнее, сон достаточный, жизнь с отбоем и подъемом.

Хороним умерших: делаем венки — если зима, то из елочных лапок, а в них вплетаем ромашки из бумаги, если летом — живые цветы и зеленые ветки. Прощальный ружейный салют...

Трудно переезжать на новое место зимой или в осеннюю слякоть. Зимой — снять, свернуть обледеневшие палатки, сложить все операционное хозяйство, погрузить на машины, подводы. Сами пешком, часто. В пути — сухой паек: хлеб и сало. Очень вкусна на морозе эта еда!

На новом месте открыть свое хозяйство. Ставим палатки, а до этого расчищаем в лесу место для них. Руки в кровь обдерешь... И опять работа — обработка раненых. Бывает, окажется на операционном столе раненый, способный хохмить (этакий Вася Теркин), чтобы боль заглушить, то и мы подключаемся к его шуткам...

А как нелегко сестрам в госпитальных палатках (туда от нас поступали «обработанные», после операций): утишать боль послеоперационную, бороться с кровотечениями, переливать кровь, подбинтовывать, кормить, ставить клизмы... И с какой лаской, душевно они это делали! Остро чувствовали медики, что должны найти, употребить все лучшие стороны своей души, чтобы заменить раненым их близких, ухаживать так, как ухаживали бы за ними их матери, жены, сестры. Ведь тут их никто из родных не навестит... В бреду мать зовут, жену...

Летом 1943 года вдруг поступил приказ — оборудовать на территории лагеря щели, чтобы во время бомбежки, обстрела переносить в них раненых. Значит, прерывать операции? Однажды во время бомбежки, когда перетащили в щели трех подготовленных к операциям раненых, осталась в палатке я, стоящая как «стерильная» сестра у стерильного столика, и раненый, которому уже сделано было обезболивание, чтобы ампутировать ногу (стопу). Обезболивание — местное (новокаином). Значит, он все соображает... просит не утаскивать его из палатки и чтобы я с ним осталась. Гудят самолеты, стреляют наши зенитки, слышны взрывы бомб... Я стою около носилок с раненым, он держит меня за руку. Получается, что мы друг друга успокаиваем. Даже шутим, но нам страшно. Ему страшнее — он лежачий. Мне захотелось погладить его по голове, и я сделала всего-то полшага вправо... И в это время на то место, где я стояла, шлепнулся кусок металла, пробив потолок палатки... Я подняла — осколок, еще теплый... Раненый изучил его, сказал: «Ты в сорочке родилась: если бы ты не отодвинулась, попал бы в голову... и на косыночке твоей беленькой разлилось бы красное пятно... Я тоже счастливый... не ранило вторично. А осколочек-то от нашего зенитного снаряда...» — И он показал на какие-то буквы и цифры на осколке.

Я берегла этот осколок, потом потеряла.

Бомбили нас тогда частенько. Реакция у каждого своя. Писарь Лёка Фадеев, как только был сигнал тревоги, накрывал голову шинелью и убежал в лес и долго не возвращался, даже когда воцарялась тишина. Из леса в лагерь он входил степенно, нога за ногу. Его спрашивали (все знали его трусость): «Лёка, куда это ты запропал?.. Мы уж думали, что ты под бомбу угодил, — глаза-то шинелью занавешены...» Лёка спокойно отвечал: «А я бомбежки-то и не заметил... Я на такое ягодное место напал... ел, ел, ел...»

А терапевт Зинаида Николаевна Прокофьева, человек здоровый, спокойный, при бомбежке или обстреле сразу лезла в нагрудный карман гимнастерки, доставала зеркальце и губную помаду, торопливо красила губы... и потом могла «стоять под бомбами». Объясняла любопытным: «Как только накрашу губы, никакого страха и уверенность, что все будет хорошо. Помаду я из дома на фронт привезла...» В другое время она никогда губы не красила.

Наташа Лапшина, широкая, вальяжная девушка, в таких ситуациях подхихкивала нервно.

Катя Шумская тихо причитала: «Ой, мамочки! О! Мамочка!..»

Как вела себя я — не знаю. Помню, что страх, сосущий, появлялся под ложечкой, и все мышцы напрягались, и крепко-крепко сжимались челюсти. Кто, казалось, совсем не боялся, так это комбат Алексин. Однажды все

мы (и он) были в хирургической палатке, готовились к привозу раненых. Начался обстрел. Мы, девчонки, шмыгнули головами под укладку-стол, а зады — наружу выставлены. Наташа подхихикивала, Катя — на одной ноте: «Ой, мамочки!» Алексин некоторое время стоял в тамбуре, а потом (обстрел нарастал) таким же манером устроился среди нас, молчал, а когда девчонки стали действовать на нервы нестерпимо, — грубо, с матом (это так не вязалось с ним!) прошипел: «Прекратите сейчас же! Думаете, мне не страшно?! Страшно! Но надо же держать себя в руках! Ваш скулеж страшнее снарядов!»

С этих пор я больше стала бояться бомбежек, обстрелов. Ну как же? Я считала, что комбат Алексин ничего не боится, а он вот сам сказал, что ему страшно.

А Катя Шумская («Ой, мамочки!») в сорочке родилась. Однажды, когда настал час отдохнуть, комбат Алексин велел ей пойти спать в его дощатый домик, наскоро сколоченный ребятами из транспортного взвода — «в подарок комбату». А между прочим, у Кати с Алексиным был роман. И вот... Катя спит в домике, а недалеко от этого домика выздоравливающая команда узбеков, казахов что-то строила. Началась бомбежка. Все трещит, воеет... Вдруг удар, вернее, сначала вой, свист, потом — удар. Где-то на территории лагеря, вернее, на опушке за лагерем, в той стороне, где алексинский домик. Мы все понимающе-тревожно переглянулись, Алексин побледнел и вдруг сорвался с места, без слов... Его долго не было... Потом привел бледную Катю. Реакция у нее на все и на всех была заторможенная. Оказалось, что бомба упала на то место, где узбеки, казахи чего-то строили. От них нашли только части — куски шинели, сапог, ошметки мяса. Их вбило в воронку бомбой. А Катю Алексин нашел под грудой досок развалившегося домика. Стояла одна доска, на ней на гвозде висел Катин противогаз, изрешеченный осколками. Под обломками сидела Катя, живая, невредимая, притрушенная испугом, грохотом, страхом. Удивительное везение: столько было осколков, ни один не коснулся ее...

Почему-то ветераны не вспоминают о природе: о птицах, деревьях, цветах. Говорят, что это не сочеталось с войной. Война и цветы... Смерть и зеленая полянка... израненное дерево... Верно — не сочетание с войной, а протест этому противоестественному состоянию... Звезды, лес, рассвет, птичья песня, окровавленный снег, полянка с ромашками, и на ней... убитый воин... Такая боль на сердце! Природа страдает вместе с людьми. Так хотелось посидеть в тихом лесочке на пеньшке, забыть о войне, очистить душу и выплакаться, помечтать о послевоенном времени, о мирной жизни, тишине...

Работа, работа, переходы, переезды, постоянная учеба в периоды затишья: уставы, наставления, изучение винтовки, строевая подготовка и т. д., — это чтобы мы «не размагничивались», не тосковали, «романов не заводили». Но ведь мы были молодые, значит, были улыбки, влюбленности, обретения и утраты, встречи, расставания.

В МСБ мы жили (спали) в палатках, в атаки не ходили, но страшно много работали в разных прифронтовых обстоятельствах. Передовая от нас — от одного до пяти — восьми километров в зависимости от продвижения и количества раненых в нашем лагере.

Где-то вычитала: «Столько было раненых, что казалось — весь свет уже ранен...» Верно!

На одной из ветеранских встреч стали вспоминать наш быт, и кто-то красиво стал говорить о тех минутах на войне, когда соприкасался с природой... то другой со злостью опроверг: не видел, не чувствовал, не соприкасался... я воевал, убивал, стрелял, сам был ранен и «убит»...

Нет, и там, в аду, кто-нибудь умел увидеть ромашку на бруствере, услышать птичью песенку... но таким было еще труднее... очищение души природой на миг, а тут же смерть кругом...

Зачем? Кошмарная реальность... Страшная реальность и в МСБ всю войну: сильные, красивые мужчины, превращенные войной в инвалидов, нередко — в обрубков.

Как я испугалась, впервые увидев в развороченном животе раненого белых юрких жирных червячков — множество... Врач сказал: это как раз и неплохо — они уничтожают заразу...

Какое трудное, до пота, дело — раздеть раненого так, чтобы не усилить его страданий. Приговариваешь: «Не напрягайся, не бойся; я все сделаю сама, осторожненько, я не буду тебя двигать — просто разрежу одежду и чуть приподниму тебя и освобожу, как ребенка из распашонок...

А он: «Где силенок-то берешь, ангел белый фронтовой?»

А у фронтовых прачек (банно-прачечный отряд) — тоже «своя война». Ох, каторжная!!!

Но женщина и на войне женщина. Стоит поутихнуть большой работе, как появляются букетики цветов на самодельном столике в палатке (если лето), зимой — еловая веточка-лапочка, на слюдяных окошечках — марлевые занавесочки, а то и вышитая думочка, набитая травой, а вышита нитками, окрашенными лекарствами. Наволочечка — из портянки.

Кто-то гимнастерку подгоняет по фигурке, а которая умелица, мастерит из портянки бюстгальтер (дефицит на фронте!): вместо пуговиц шнуровка из бинта. Интересно, на каком фронте какая-то «законодательница мод» придумала делать чулки из солдатских обмоток? Обмотка — двойная. Отрезается нужный кусок, с одного конца наглухо зашивается — чулок готов!

Умирает человек... Страшная работа тела, души. И одиночество... да, да, да! Сколько бы ни колдовало около него людей... со смертью человек один на один... И это мы, девчоночки, должны понять, учесть. А мы такие молоденькие! Как понять? Война научила понимать мысли, муки, чувства умирающих. Надо было стать мудрой и не ханжить, не говорить бесполезных слов вроде: «Ну что ты, миленький! Мы еще с тобой станцуем в День Победы!» Нет, *не надо этих слов все понявшему солдату*, надо дать ему высказать все прощальные слова, рассказать сестре о близких, кого он должен оставить навсегда... Это в том случае, если медицина бессильна и солдат нутром почувствовал, что умирает. Ведь ты ему сейчас и мать, и сестра, и жена, и дети, и Родина.

Ампутированные конечности в тазу... Конечность (нога, рука) — умерла, ее хозяин — живой. Но долго еще хозяин будет чувствовать отсутствующую конечность, она будет болеть, чесаться... («Сестра, подложи под пятку чего-нибудь мягкое, чтобы боль унять...») А «пятка»-то уже захоронена за лагерем нашим. Хозяин научится обходиться без нее... Часть тела живущего — в земле. Он будет жить, скажем, в Сибири или в Кисловодске, а нога покоится в земле у деревни Воловщина под Ленинградом.

Глядя на похоронку, исходящую от нас, мучительно представлялась мне получившая ее мать, жена, сестра, близкие... Ведь там, в тылу, каждый погибший был для них единственным дорогим, а отсюда их отправляют «коллективно».

После войны нередко слышала от таких осиротевших, будто они чувствовали день гибели, смерти, опасности для их родного человека. И даже то, когда тому было больно или страшно.

В 1943 году у меня стали появляться боли (приступы боли) в области печени, желудка. Боль опоясывала кругом, выступал липкий холодный

пот, подташнивало. Хотелось согнуться, присесть... Медики наши дадут восемь — десять капель настойки опия, и минут через десять я в состоянии работать. Что это было? Язва? Печень? (Наверно, язва двенадцатиперстной кишки, ибо в 80-е годы на обследовании обнаружили язву, много рубцов в луковице двенадцатиперстной кишки и сказали, что я «давний язвенник».)

Очень многому научились мы, девчонки, у старших наших товарищей: у Екатерины Васильевны Агаповой — практическим навыкам; она была опытной старшей медицинской (операционной) сестрой; у З. Н. Прокофьевой — доброте, милосердию; у Б. Я. Алексина — выдержке, взаимопомощи.

А хирург Наталия Ивановна Лукьянова (как и Бинемсон) была совершенно не способна обращаться к начальству по уставу. Например, возмущенная тем, что ее «девочек» (операционных сестер ее взвода — Нину и Славу) комбат посылает на КП дивизии обслуживать «какой-то слет...» (конечно, комбату высокое дивизионное начальство приказало прислать двух девушек), Наталия Ивановна, увидев на территории МСБ комбата Павла Григорьевича Сковороду, без «разрешите обратиться», без козырянья восклицает:

— Павел, ты что вытворяешь? Я не позволю девочкам идти в штаб дивизии. Какой там слет? Зачем там быть девочкам? Чай подавать офицерам? Не думаю, что чай. А водкой обносить могут их денщики! Я тебя спрашиваю — ты жену свою послал бы туда? А Ниночке ты мстишь, я вижу, Павел!

И комбат пасует перед хирургом Лукьяновой, отменяет приказ. Как выходит из положения? Добровольцев ищет в банно-прачечном отряде или из другого взвода кого «выхватит».

Ниночка Полякова — «королева дивизии», в нее все влюблены. Задорная, веселая, интеллигентная — никого из мужчин не жалует. Ее подруга — Слава Галкина — строго наблюдает за Ниночкой, отчитывает, если Нина в разговоре с кем-то дарила свою очаровательную улыбку.

Начальник штаба, «балаболка, балалайка» Скуратов, перед тем как (в 1943 году) появиться в МСБ Нине и Славе (как пополнение), на партийном собрании объявил так: «Товарищи, к нам идет пополнение. Две медсестры. Одна из них — дочь врага народа...»

Ниночкин отец репрессирован в 1937-м, не вернулся, реабилитирован посмертно в 1956 году, но тогда, конечно, в ее деле мог значиться этот факт биографии.

В 80-е годы я спросила Нину, тревожил ли ее на фронте Особый отдел дивизии в связи с этим? Да, не однажды!

Бедная Ниночка! Никогда виду не подавала — всегда веселая и будто беззаботная, но иногда ночью плакала.

Нина — из г. Алексина (под Тулой). Отец работал там хирургом. (Сейчас она — врач, уже на пенсии.)

Еще я спросила Ниночку, почему она отказала Яше Лихтеру, Серго Григорьянцу, Ивану Веленцу — влюбленным в нее красиво, чисто, пылко... Все это знали и очень сочувствовали им, а не Нине. Они вздыхали, страдали, у многих девчонок искали помощи, чтобы мы вроде бы повлияли на Нину в их пользу...

Ниночка мне ответила:

— Ах-ах! Бедненькие влюбленные! Чего же ни один из них не решился жениться на мне?! Как только я сообщила (каждому из них), что мой отец репрессирован, они переставали уговаривать меня выйти за них замуж после войны, хотя влюбленность оставалась. Они понимали, что я своей биографией перечеркну их путь (намеченный до войны): Яша и Серго, если благополучно вернутся с войны, знали, что пойдут в науку (физику), а Веленец собирался стать кадровым военным (академия и прочее...). И я это понимала и предостерегала их. Я их не осуждаю, понимаю,

но... все же, все же, все же... Значит, именно влюбленность была, а не любовь, которая заставляет себя забыть...

Яков Михайлович Лихтер — физик, профессор, доктор, известный за рубежом; Иван Стефанович Веленец преподает в военной академии, кадровый военный. Они до сих пор с придыханием спрашивают, как Ниночка живет, и просят сердечные приветы передать, не скрывают, что нежность, любовь их к ней жива до сих пор.

А Сергей Павлович Григорьянц умер в 1988 году. После института Серго работал в Челябинске на атомной станции, а там были аварии. Когда вдова сообщила мне об этом, то просила найти «девушку по имени Нина, которая была в вашей дивизии и которую Сережа любил всю жизнь... Он мне часто о ней говорил и последний раз незадолго до смерти вспоминал. И он сам, и никто из окружающих не мог бы подумать, что его конец близок, он умер с ходу. Его работа была связана с радиоактивным производством... Пришел с работы, за ужином строил планы, служебные и личные, не на один день вперед, а на год... но ночью умер».

Ниночке я позвонила, она приехала (живет в Калининe). От ветеранов дивизии были только мы, но вообще очень много народу провожали Серго, и такие проникновенные прощальные слова были... День был холодный (середина октября), порывистый ветер, сыро. Ниночка, посиневшая, стояла у гроба с печальной серьезностью.

Погожий осенний день 1943 года (месяц не помню) — встреча с Сергеем Михайловичем Морозовым, последняя встреча... Кто-то вызвал меня из операционной (в те дни не было раненых) и сказал, что меня просят выйти на «залагерную» дорогу — настил. Кто? Сообщивший или не знал кто, или умолчал? Умолчал, чтобы я не испугалась...

На дороге стоял С. М. Морозов. Моя первая мысль — о боже, неужели опять «пойдет в наступление», — и я, заранее съжившаяся, остановилась. Он медленно направился ко мне, с удивительно доброй и грустной улыбкой. Вспоминая потом нашу встречу, я поняла, что мы оба боялись друг друга: я — его притязаний, он — моей этой боязни. И оба из-за своей боязни не приблизились на расстояние, позволяющее пожать друг другу руку. За все время разговора (собственно, говорил он) мы не двигались с места, стояли в напряжении, как две стороны, которым надо провести дипломатические переговоры... Поздоровались, произнеся одинаковое слово «здравствуйте»: он — с доброй, мягкой улыбкой, я, наверно, — с насто-роженностью.

— Сегодня меня не бойтесь! Я пришел, чтобы еще раз вас увидеть и попрощаться, вернее, получить ваше прощение, — грустно говорил С. М. Я почувствовала отчетливо, что его намерения действительно только такие. — Я знаю о вас все за то время, что мы не виделись. Я встречал ваше имя в дивизионной газете — храню вырезки... Я служил в соседней дивизии — этой же Восьмой армии.

Я молчала, придавленная его смирением.

— Я был ранен. Ампутирована нога (повыше щиколотки). В госпитале, где я лежал, познакомился с медсестричкой, очень похожей на вас, и именно поэтому... ЖЕНИЛСЯ на ней. Когда сделали протез, стал хлопотать о возвращении на фронт. Нелегко, но добился. И вот еду в свою часть, по пути решил завернуть сюда — поглядеть на вас. Теперь это будет понятнее вам, тоже узнавшей, что такое любовь... Я и это о вас знаю... У меня здесь оставался друг, и он все сообщал мне о вас... «Мой агент» незримо наблюдал за вами... а потому никаких неприятностей от этого моего поступка не было... А за все предыдущее мое поведение и причиненные вам мною огорчения прошу простить... — И С. М. низко поклонился, а когда выпрямился, его глаза влажно блестели...

Я сделала было шаг к нему — мне захотелось погладить его, поцеловать в щеку, встать на колени перед ним, целовать руки его — благодарить за спасенную мою жизнь, просить прощения за невольно причиненную ему боль... но сдвинуться с места я не могла. Я продолжала бояться, видела, что чувство его ко мне еще не угасло, страшилась своим душевным порывом дать ему надежду... и тогда я тоже низко ему поклонилась и сказала:

— Я никогда не видела своего отца — он умер за полгода до моего рождения... и фотографий не осталось. Я в своем воображении создавала его характер, его поступки и доброе, отцовское отношение ко мне... И когда встретились вы на моем пути и проявили ко мне такую сверхзаботу, спасли от голодной смерти, — я испытывала дочернюю благодарность...

(Наверно, в других словах, не таких гладких, выражались наши чувства и мысли, но смысл был именно таким...)

А война продолжалась... Мы все еще под Ленинградом, хотя блокада прорвана, готовимся к боям по снятию блокады. Коллектив МСБ — дружный, несет большую нагрузку во время боевых операций полков или всей дивизии. Скарб (хозяйство МСБ) перевозился на машинах (был свой транспортный взвод), врачи почти всегда — на машинах, а мы, «шульцы», — чаще пешком... По дорогам, на обочине, искореженная техника... Зимой лучше шагать пешком — на ходу согреваешься. А я к тому же меньше муки испытываю от аллергии на холод, чем во время езды на открытой машине. Как-то неожиданно появилась у меня эта напасть: на улице, на ветру, в холод, кожа на лице, шее, ушах, руках взбуряется красными зудящими пятнами (зуд — до слез!), и если долго находишься в условиях, вызывающих это явление, то пятна (выпуклые) сливаются, и чувствуешь сплошной жар, зуд. И прямо с ходу — за работу. В палатке тепло. Пятна и зуд исчезают...

При больших потоках раненых врачи доверяли медицинским сестрам мелкие операции: извлечение осколков из мягких тканей, когда нет переломов и сосуды большие не повреждены, новокаиновые блокады при пневмотораксах, ампутация. А когда хирургу надо было срочно заняться другим тяжело раненым, он просил наложить верхние швы после лапаротомии, говоря: «Сестра, закончите операцию!»

Бывало, на третьи-четвертые сутки работы мы уже начинали спотыкаться и дремать. И если заходил в палату комбат, мы ждали, что он скажет: «Раненые перестали прибывать». Но часто он говорил: «Старший лейтенант Агапова! Работать придется еще не менее столько-то часов... Надо взбодриться. Разрешаю дать тем, кто хочет, — пятьдесят грамм разведенного спирту для бодрости... Других средств у меня нет». Я отказывалась. И даже праздничные «наркомовские сто грамм» отдавала мужчинам.

Вышел приказ ставить медсестер и санитарок часовыми по охране лагеря МСБ — мужчин в МСБ не хватало, да и «для укрепления нервной системы девчонок». Правда, вскоре отменили, создав взвод легко раненных и выздоравливающих, которые долечивались у нас.

...Мой выход на пост: осень, дождь многодневный, темень, время для меня выпало предночное... Стою, всматриваюсь в темень... лес скрипит, стонет, мне все время чудятся шаги. Территория лагеря большая, мое место недалеко от дороги в МСБ (по которой обычно доставляли раненых). В последние дни — затишье. Начальник штаба Скуратов и разводящий Никитин (шофер) решили проверить «девчачьи» посты, узнать, как мы знаем уставные правила. Но скорее это была проверка «шуточная», «для интересу».

...Вроде слышу действительные шаги, потрескивание под чьими-то ногами сучков. И вроде шепот... шаги ближе. По спине бежит страх, сковывает. Кричу: «Стой! Кто идет?!» Молчание, а потом — опять два-три шага. «Стой! Стрелять буду!» — и шелкаю затвором. Ни звука. И вдруг — шаги

совсем рядом. И я выстрелила в воздух... Шум, треск за деревом, к которому я стояла прижавшись спиной, и кто-то схватил мою винтовку, и тут же голос (по-русски): «Эх, горе-часовой!.. Вот возьму и поцелую часового... Хотя и не за что... что ж так близко подпустила врага? Хотя молодец — выстрелила, сигнал подала... сейчас сбегутся на твой выстрел...» А у меня с перепугу дрожали руки.

В этот день девчонки, которые на фронте, в МСБ с начала войны, рассказали, как их тоже ставили часовыми, так как были случаи нападения «заблудших немецких групп» на медсанбаты, госпиталя и они вырезали и персонал, и раненых.

Рассказали, как Катя Шумская первый раз была часовым. Зима сорок первого года, холод злочий. Одеты женщины, да и вообще все, плохо: шинель, галифе-штаны, ботинки с обмотками. Винтовка больше Катюшки. До этого у нее был большой недосып — работа в операционной. Постояла она, постояла на посту сколько-то, закоченела и надумала «пойти греться» в операционную. Приставила винтовку к дереву и ушла... В операционной шла большая работа. Ее спрашивают: «Что это тебя так быстро сменили?» А она, усаживаясь у раскаленной печечки-временючки, уже почти заснувшая, пролепетала: «Замерзла-а! Спать хочу-у!» — и слезы у нее текут. И совсем уснула, нагнувшись к теплу, да носом ткнулась на раскаленную трубу печную... И смех и слезы... Солдата-мужика, наверно, судили бы, а этот «детский сад» хорошо «пропесочили», и она не по-военному лепетала: «Я больше так не буду»... Девочки 1941 года — от мам, от школы только-только — и в это пекло. Но военный опыт быстро делал их выносливыми.

Позади — синявинские операции сентября и октября 1941 года, синявинские операции августа — октября 1942 года, любаньская операция 1942 года, прорыв блокады в январе 1943 года — семь дней упорных боев. Полтора года борьбы за прорыв блокады, которая завершилась 18 января 1943 года утром. Ленинград получил связь со страной. Мама моя жива, переписываемся.

Дивизия после прорыва блокады ведет боевые действия по обеспечению движения ж/д эшелонов с продовольствием и боевой техникой от станции Жихарево к Шлиссельбургу. В декабре 1943 года она выводится с боевых позиций, сначала на станцию Жихарево, потом под станцию Бологое, в районе станции Куженкино, на переформирование и подготовку к новому пути...

Перестала писать свой рассказ в январе 1982 года, решив, что никому это, кроме меня, не надо, а я не вечная, и потом, я-то все это знаю и помню...

В год 50-летия Победы вновь открыла эту тетрадь, чтобы хоть кратко, для себя, закончить эти косноязычные записи (не думаю и не умею думать о стилистике и художественности...)

Итак: дивизия около месяца стояла под Бологим, работа мирная, приводим свое хозяйство в порядок, пополняем, готовимся идти дальше, к Победе... А Бологое — это почти мои родные места. До моей станции Удомля — сто километров. И еще от Удомли — двадцать четыре километра до деревни. За время стояния МСБ в селе Хотиково очень многие, кто имел поблизости родных, получали по двое-трое суток отпуска. Осмелилась и я, «бобик» (так девчонки от рядовой до старшины называли друг друга полущутя в тех случаях, когда в голову взбрела несбыточная идея), отпроситься на два денька повидать свою крестную матушку, растившую меня.

Начальник санитарной службы Б. А. Пронин сказал «нет» и по секрету объяснил: дивизия со дня на день будет «сниматься», как будешь догонять — своих потеряешь...

Но я очень просила отпустить. Старшина МСБ Вася Бодров ехал в Бологое по делам и меня подкинул, удачно усадил на рабочий поезд, и я очень быстро оказалась на станции Удомля. Все такое родное. Дальше добиралась до деревни Островно на попутной подводе. Мне бы надо было слезть с подводы у деревни Доронино и идти пешком по зимнему пути через бор до тетушкиной деревеньки Мурово, но я совсем забыла про этот путь, а помнился мне летний — от Островно через речку Съезу, в горку через ужогу и под гору — к деревне...

О зимнем пути я вспомнила лишь тогда, когда оказалась на конце тропки у Островенского озера, где была прорубь для забора воды. Дальше — ни следочка. Надо было идти вдоль речки до лав... Я поняла, что поступаю неладно, что надо вернуться к Доронину, но это далеко теперь, а деревня Мурово — близко, если идти этим зимой не хоженным путем... и я пошла по целиковому снегу, подвигая вперед себя вещмешок. Конец февраля. Оттепель. На ногах отсыревшие валенки. Вечереет. В летнее время отсюда до Мурово дошла бы за двадцать — двадцать пять минут, а уж сколько потратила я! Вот добралась до места, где до войны были лавы через речку, теперь их не было, торчали два столба... И я решила переходить речку (метров двенадцать — пятнадцать в ширину). Между берегами речка в низинке. Ступила — и утонула в снегу по ягодицы. Вещмешок толкала перед собой, разгребала руками снег, целину, с трудом вытаскивала одну ногу, ложилась животом на снег впереди себя, освобождала другую ногу... понимая, что так буду двигаться до ночи... Делалось страшновато... речка-то ведь в лесном уголье — в ужоге, где летом пасут скот, могут быть тут и волки, ведь безлюдье. Мужик, везший меня с Удомли, говорил, что волков развелось много. Когда я додвигалась до середины речки, мне стало понастоящему страшно: я почувствовала, что в валенках вода... Боже! Что это? Под толстой снежной шубой не успела полностью замерзнуть вода или от оттепели подтаяло?.. Выберусь ли я? А после речки надо преодолеть подъем в гору по снежному целику, хотя бы то, что с вершины горы увижу деревню, можно кричать, могут услышать, подъехать на лыжах, — так размышляла я. Представлялось мне, что я выбилась из сил и так и осталась до весны на этом «летнем пути», на середине речки. Наткнется первый «летний путник» на труп неизвестной в военной форме. Ведь тетушка не знала, что я ехала к ней, — ей бы это и в голову не пришло, она знала, что я на фронте... И еще хуже, если мой труп долежит до той поры, когда речка вскрыется, — он уйдет под воду. Никто никогда не узнает, куда сгинула Аня Орлова... Во мне все запротестовало против такого ужаса, и я сподвинулась идти до победы... уж в каком виде я ее достигла! В гору шла, ползла бесконечно долго. С вершины горы увидела родные избушки, окошечки, освещенные тусклым керосиновым светом (электричества в этих «боковых» деревушках, ныне вымерших или вымирающих, никогда не было). С мечтательным сожалением подумала: «Эх, как бы сейчас лыжи были, я бы через десять минут могла бы сидеть в избе...» Но какие лыжи, надо придумать что-то, чтобы скорее передвигаться. Я начала мерзнуть. Светила луна. Наст к ночи подмерз. Я решила катиться с горы кубарем. Легла на снег в том месте, где во времена моего детства была широкая тропка, протоптанная с годами богомолками и селянами, ходившими в Островно в лавочку, обняла вещмешок и стала ковылять с боку на бок, застревая в выемках и выпуклостях, мыча «По долинам и по взгорьям». И вот я рядом с деревней. Обходить ее — нет сил. Последнее препятствие — знакомый с детства наш огород... Отдышалась у калитки, сердце забилося от людских голосов — тетя с кем-то разговаривала. Чтобы не напугать ее своим появлением и видом, попробовала склотить палкой повисшие на шинели и на валенках сосульки, но в это время из сених раздался тетушкин голос с хрипотцой:

— Кто тут?

— Я... странник... с фронта...

Впустила... узнала... охи, ахи, радость и слезы, самовар, расспросы, как я добиралась с Удомли...

Узнав про мою глупость, стала ругать, как дошкольницу когда-то:

— Ведь ты ж могла сгинуть там, ведь этим путем уже даже летом люди не ходят, там и лав несколько лет нет. Что тебе стоило от речки вернуться в Островно, а от Островна до Доронины километра два и от Доронины через бор до Мурова — четыре километра, ты бы так не намучилась и не рисковала... — и т. д. и т. п.

У самовара сидели родные мне люди: тетушка, ее напарница по школе учительница Антонина Дмитриевна и «Баба Долгая» — баба Иринья с двумя клыками во рту и свисающими вдоль лица седыми космами, все такая же тощая. И тетушка, и баба Иринья смолили свои сигарки. Разговорам не было конца до утра... и на следующий день. А к вечеру этого дня принесли телеграмму: «Снимаемся выезжай ждем целуем братья и сестры» (мы договаривались о телеграмме, если они начнут свертываться).

Опять ахи, охи — как доехать до Удомли, самовар на дорожку, а баба Иринья в это время раскинула свои карты, долго их изучала и наконец изрекла:

— Все будет хорошо... останешься жива и с победой прибудешь домой...

Провожать меня пошли «зимним путем», к деревне Доронино. Расставание получилось неожиданно быстрое: как только мы вышли на центральную дорогу, вдалеке показалась повозка. Когда поравнялась с нами, тетушка попросила сидевших в санях двух мужчин довезти меня до станции — «ей очень срочно нужно!..». Мы обнялись, и повозка меня умчала... в ночь, в неизвестность... В первом письме после этого тетушка признавалась: «Я места себе не находила: с кем и куда девчонку отправила. Лучше бы пошли мы пешком до Удомли...»

А я и дальше добиралась не просто. До Бологого доехала ранним рабочим поездом, а куда дальше? Еще тридцать километров до Куженкина... а вдруг «мои» уже снялись с места, где их тогда искать. И пошла я к военному коменданту Бологого: уставший пожилой человек долго ворчал: «Черти вас носят по тетушкиным деревням... третьего отставшего от части устраивай. Откуда я знаю, а если и знаю, почему должен говорить о дислокации части...» Потом пожалел, посадил в товарняк и велел ехать до Крестцов: «Ваши печки, укладки поездом поехали, а части пошли пешком, гляди на дорогу, авось своих узришь», — пошутил на прощанье...

Еду. Вдруг голос: «Старшинка Орлова! Откуда? Куда?» Это был отставший лейтенант Рыжов. Уже веселее ехать, из своей дивизии человек... На какой-то станции поезд остановился. Сказали, что будет стоять около часа, что это городишко Валдай. Рыжов позвал найти продпункт и чего-нибудь перекусить. Идем... Деревянные домишки... перешли главную улицу, дальше под горку — к автостанции, а там и продпункт, как указали нам... Шли мы по улице Луначарского. Вдруг вижу у дома, *который рядом с угловым двухэтажным зеленым деревянным домишкой* (после войны узнала, что этот дом имел № 15 по ул. Луначарского, и судьба свяжет меня с ним), — около дома стояла полуторка, а около нее — медсанбатовский начальник штаба Скуратов. Я так обрадовалась, оставила своего попутчика Рыжова, кинулась, как к родному отцу: «Товарищ капитан! Разрешите доложить: из отпуска, догоняю МСБ... можно ехать с вами?» Оказалось, у них испортилась машина, а мне велел идти на тот же поезд и ехать в Крестцы и там искать своих... Доехала ночью. Вошла в первую попавшуюся избу, набитую спящими солдатами, вповалку на полу, — свободного места не было, только коротенькая скамеечка сбоку была пуста. Добралась до нее, осторожно ставя ноги между спящими замертво, и улеглась калачиком, а была скамеечка короче моего роста намного. И мгновенно уснула. Под утро слышала сквозь сон людской топот, и кто-то укрывал меня

шубой, сказав: «Молодец телеграмма, молодец она — догнала нас!» В этой избе разместили (после ухода солдат) медсанбатовских врачей. И все в моей жизни опять наладилось — я в родной семье! В составе 99-го стрелкового корпуса на марше в районе Новгорода.

Ленинградско-новгородская операция 1944 года...

Был пятидесятикилометровый марш под Псковом. Мы, медсанбатовская группа медиков, устроились ночью спать на снегу, под брезентом, и не слышали, как подъезжали «катюши».

Вдруг земля содрогнулась (уже под утро), стрельба дикая (мы до этого не слышали близко «катюш»); старые пни вылетали из земли, грохот невероятный под самым ухом. Оказалось, что подъехавшие «катюши» нас не заметили, а когда мы повывлезали из-под брезента и в ужасе метались, думая, что попали в окружение, отстрелявшие из «катюш» (из них стрелявшие) на нас с криком и матом набросились: «Откуда вы взялись?! Убирайтесь отсюда быстро! Мы сейчас уедем, а по этому месту будут долбать немцы!»

Части наши продвигались очень быстро.

Весенняя распутица невероятная. Места болотистые. Переносили через такую местность раненых на носилках, устилая одно и то же место после переноса одних носилок много раз сваленными деревьями...

Карельский перешеек. Май... Белые ночи. Ехали мы на это направление в эшелоне со станции Дно, через Ленинград, а в Ленинграде на машинах, буквально мимо моего дома — по Литейному проспекту, сердце замирало, как хотелось спрыгнуть, навестить — обнять — маму, но нельзя...

МСБ должен был тоже двигаться за войсками очень быстро, порой — приблизившись к месту прошедшего боя; не разворачивая палатки, двигались дальше, оставляя раненых с небольшим числом медработников, чтобы сдать их приблизившемуся госпиталю.

Жуткая картина, виденная мною во время пешего перехода: шагаем. Жарко, сухо, разморило... Впереди на дороге видна группа военных, стоящая кольцом вокруг чего-то и смотрящая вниз, под ноги, на это «что-то». Когда мы подошли, увидели извивающуюся на пыльной дороге девушку без обеих ног выше колен... Она выстанывала одну фразу: «Братцы, пристрелите!» Ее товарищи стояли растерянные. Мы стали оказывать ей помощь и узнали, как это произошло. Эта группа (не из нашей дивизии) так же, как и мы, совершала переход к своему соединению. Здесь они остановились отдохнуть немного. И один из бойцов предложил санинструкторше поиграть в догонялки, чтобы совсем не раскиснуть на отдыхе. Увлеченные игрой, они забыли, что приказано было не заходить на обочины дорог, опасаясь мин... Молодой солдат, догоняя девушку, крикнул: «Вот сейчас догоню и поцелую!» Она же резко свернула с дороги и побежала по полю, не видя указку: «Мины». (Видно, минеры еще не успели проверить, обезвредить и поставить эту указку.) Бойцы, увидевшие ее, вбежавшую на поле, кричали: «Вернись, мины!» И тут раздался взрыв...

И вот это страшное зрелище... Мы оказали посильную помощь и велели отправить ее в госпиталь с первой встречной машиной.

Впечатление осталось тяжелое. И нам, при отправке, тоже было строго приказано — идти только посередине дороги. При таком быстром продвижении минеры успевали разминировать только дороги. И пока мы совершали свой переход, я поняла, что в меня вселился страх — наступить на мину и остаться без ног... — такое тяжкое впечатление осталось от виденного... Я шла и думала, куда лучше ступить ногой... а вдруг тут?! Нет, а вдруг — здесь?! Мучительно. Так продолжалось со мной два дня. И вот МСБ опять — вперед, догонять передовые части. Оставляют врача, двух сестер, санитаров, чтобы они передали продвигающемуся сюда госпиталю четырех тяжелых раненых. МСБ грузился на машины. Поверх скарба — люди. Оказалось, что мне нет места, я прибежала последняя. Начсандив, проводивший инструктаж, велел мне остаться до следующего рейса, когда

приедет машина за остающимися здесь людьми. Водителям было сказано — ехать «колесо в колесо», никуда не сворачивать. Я уговорила начсандива, что «умещусь на верхотуре нашего операционного взвода», и забралась и прилепилась высоко, над левым задним колесом, ухватившись руками за трубу печурки-«буржуйки». Поехали. Настроение у всех бодрое. Девчонки-медсестры, облепившие верхотуру полторки, тут же достали из карманов свои карты от когда-то недоигранной игры в «козлика» (что это за игра, я не вникала и не уважала это занятие, но не порицала девчонок — не была ханжой). Поехали... начался «козлик» и словесная пустяковина... Сколько отъехали — затрудняюсь сказать. Недалеко. Ну, метров сто — сто пятьдесят. Наша машина ехала четвертой... Я сидела — шинель внакидку, берет на одном ухе, — собралась рассказать Нине Поляковой и Славе Галкиной что-то смешное, а через секунду я уже на всю жизнь забыла, чего же такое я хотела рассказать... Раздался взрыв, и я откуда-то вижу парящих над машиной девчонок, потом вместе с грузом плавно сползающих вниз вместе с опускающимися бортами... Как в замедленном фильме... На какое-то время — я ничего не слышу, не ощущаю, не думаю, где я и что со мной-то, не понимаю, что произошло... Потом слышу голос хирурга Лукьяновой Наталии Ивановны: «Нет, мы не все... А где Аня Орлова?» Я хотела крикнуть: «Вот я!» И не получилось, как во сне — кричишь, а не кричится... А голоса моих товарищей не у подорвавшейся машины, а где-то у первых машин. Кто-то кого-то спрашивает: «Все ли целы?», кто-то отвечает: «Санитару Семенову повредило ногу чем-то, возможно, каким-то тяжелым грузом, летящим с машины, возможно, камнем, вывернутым взрывом... Да у Клары Китаевой — кровь из носа идет, а в остальном ушибы терпимые... И опять: «Ну где же Аня?» Потом голос Наталии Ивановны Лукьяновой, совсем рядом, надо мною: «Да вот она! Боже! У нее лицо в крапушку — земля въелась в поры, а сама она очень бледная, но улыбается...» Оказалось, я находилась в воронке, образовавшейся от взрыва противотанковой мины (от нее нет осколков, а только взрывная волна) как раз под левым задним колесом, над которым я прилепилась на верхотуре, желая ехать со всеми дальше.

Кричат: «Вставай! Давай руки!» Я попыталась встать на ноги, но они подкосились. Сверху говорят: «Там разрыхлена земля, стоять трудно!» Вытащили, но ноги не слушаются. Комбат велел Нине и Славе сделать «носилки» из рук и донести меня назад до оставленной палатки МСБ. Я посмотрела на подорвавшуюся машину: скорбный вид. Перегружают скарб на другие машины. Воронка большая. Колеса нет, машина накренившаяся... У меня — боль (жгущая) в пояснице, ближе к крестцу. Донесли, уложили на носилки... Все, кто должен был уехать, уехали. Врач стала спрашивать, как я себя чувствую. Отвечая, плачу. Хочу сдержаться — и не могу. Понимаю, что глупо и стыдно, и не сдерживаюсь. Врач (Ольга Ивановна Афанасова) улыбается: «Ничего, ничего, легкая контузия... Ты же как уговаривала контуженых: „Не волнуйся, миленький, через недельку все пройдет“, а сама нервничаешь...» Еще я заметила, что стала несколько заикаться... пожаловалась на боль в пояснице; раздели, и Ольга Ивановна ахнула: «Боже, какой кровоподтек! Вся поясница черная, синяя, чем же это? Может, углом хирургической укладки?»

Через два дня раненых принял госпиталь, за нами приехала машина, а меня поместили в санитарную машиночку на носилках в подвешенном состоянии. Выборг был освобожден (20 июня), я сидела на чурбаке в операционной, заполняла истории болезней под диктовку хирургов, точила скальпели, прочищала иглы, стирала бинты и делала другую сидячую работу. Постепенно ноги окрепли, иногда правая дурила, а потом и это прошло. Молодость, чрезвычайные обстоятельства помогали. И до конца войны, до Победы, до Берлина, прошагали мои ноги.

Но думаю, что эта контузия и удар чем-то по пояснице не прошел бесследно. Блуждающая почка не от этого ли? Болезнь ног (особенно правой)

не от этого ли? Возраст возрастом, но, еще когда мне было тридцать пять, невропатолог сказала, что будущее моих ног невеселое: оказывается, она колола булавкой по всей ноге сзади, спрашивая меня, чего она делает, а я и не чувствовала...

Сегодня хожу с палочкой, глотаю пилюли по схеме... называют диагнозы: «У большой с аблителирующим атеросклерозом нижних конечностей, оккирол обеих бедренных артерий. Хроническая лимфо-венозная недостаточность, артроз крупных суставов. Рекомендовано: ... (большой список)».

Ничто просто так не проходит. А ведь кроме этого — сколько эти ноги мерзли, мокли, сколько на себе вынесли тяжестей...

Ну, что уж теперь, доковыляю как-нибудь... Только бы не залежаться...

ПРИЛОЖЕНИЕ

Милая Нина Владимировна [Малюкова]!

Эта записка — вместо «подробной биографии на хорошей бумаге».

Я очень дорожу вниманием и добрым отношением ко мне товарищей по работе. И Вам спасибо за добрые слова и терпеливые беседы по поводу звания [заслуженного деятеля культуры]...

Вы мне дали возможность подумать, посоветоваться. Я советовалась с другом, с лечащим врачом (понимающими и учитывающими мою психологию, вернее, психику), но самым серьезным образом советовалась сама с собой.

Поймите и извините человека с трудным характером. Я очень трудно переношу любое внимание к себе, беспокоюсь чувствую себя, когда меня хвалят или дают что-то сверх положенного на общих основаниях. Это долго объяснять, да я и не сумею. Очевидно, характер мой сложился от уродливого воспитания в первые восемнадцать лет жизни. Прошу терпения, я буду многословна.

1) Как стала помнить себя и до девяти лет — мысль и чувства мои были заняты одной проблемой: как отомстить отчиму — хулигану и алкоголику, безнаказанно ежедневно избивающему до полусмерти мою маму (родной отец умер до моего появления на свет). Представляете глухой хутор, в котором одна наша избышка, и ребенка, не имеющего других эмоций, кроме страха и ненависти. Можете представить этого зверька, обдумывающего убийство?..

2) Отчим попал в тюрьму. Я оказалась у бабушки. Это была неграмотная женщина, до предела изработавшаяся в крестьянстве вдова, вырастившая без мужа четверых детей.

С 9 до 12 лет я не представляла, как можно полчаса провести в праздности или послушаться. Ежедневно бабушка наставляла: «Ты — сирота. Помни это всегда. Помни также, что всем и всегда ты будешь мешать. Будь тише воды, ниже травы; всем уступай, будь незаметной, сторонись, научись прощать нанесенные тебе обиды, терпи; никогда ни у кого ничего не проси, довольствуйся малым и не бери, что предложат, так как могут ради потешки превратить тебя в белую ворону. В лучшем случае тебя будут жалеть...» и т. д.

3) С 12 лет — в Ленинграде. Очередной воспитатель причитал и поучал: «Ведь ты не человек, а червь... Как жить-то будешь, если каждый может раздавить. Пойми, ты хуже тех, кому уступаешь и прощаешь и все отдаешь. Главное в жизни — в первую очередь думать о себе. Расталкивай всех, требуй, перешагивай через людей, хватай, что можно схватить» и т. д.

При этом — голодная, бесконтрольная жизнь. Не стала шпаной и гопницей, наверно, потому, что впитала кое-что из бабкиной философии и еще поняла, что новый воспитатель живет не так, как проповедует. Живет честно, в труде, в нужде. Говоря, просто тешит душу, злится на неудавшуюся свою жизнь.

Итак, от каждого своего воспитателя я взяла понемножку, добавила своего и стала жить-поживать, всю жизнь смущаясь и тревожась, когда меня замечают, хвалят, отличают или что-то дают. Одним словом, человек «не от мира сего» (я знала, что иногда обо мне так говорили).

Спрашивается, зачем мне звание, если я, получив его, стану терзаться, думать, что я непременно должна что-то сделать сверх положенного, чтобы оправдать данное мне отличие, которым меня одну выделили из числа технических работников, многие из которых уже трудились в «Новом мире», когда я вернулась в редакцию после длительного перерыва в работе. То, что в «Новом мире» есть библиотека, — дело случая. Другие журналы не имеют библиотек и преспокойно выходят в свет. Но если, скажем, ликвидировать нашу библиотеку, то «Новый мир» тоже будет выходить. Значит, редакционная библиотека — не такой уж необходимый участок. Проверщики наши проверяли бы фактический материал в Ленинской библиотеке; рецензируемые книги приносили бы авторы, а книги «для души» сотрудники брали бы в библиотеках Союза писателей и «Известий». А к примеру, без Жанны Николаевны [Миловой], без Иры Бадиной журналу трудно выходить. И работают они давно в «Новом мире». И Наталия Львовна [Майкапар] — трудяга, тоже в «Новом мире» дольше меня работает. Не хочу я выделяться!

Я очень ценю и принимаю внимание, оказываемое мне как ветерану Великой Отечественной войны, но не разделяю Ваш взгляд на то, что этот момент в моей биографии должен играть [какую-то роль] в получении звания заслуженного работника культуры. Моя работа во время войны уже оценена.

Очень прошу Вас — не возвращайтесь к разговору со мной о звании... если даже Вы не приняли моих объяснений. Не делайте человеку хуже (в моральном плане). Я и так опять с трудом борюсь с желанием плакать по пустякам.

Можете как угодно назвать мой поступок (мнительность, комплекс неполноценности, пунктик, глупость), но только поверьте искренности и поймите, что глупость, как и ум, могут дать положительный и отрицательный результат. Мое решение и просьба к Вам ни для кого не несут отрицательного действия. Даже положительный заряд есть в этом: я спокойно и уверенно буду трудиться и общаться с товарищами по работе. Скоро в библиотеку поступит справочник о званиях и отличиях. Изучу его, подберу звание, оценивающее труд библиотекаря, и попрошу Вас хлопотать.

Не сердитесь. Постарайтесь меня понять. Спасибо за внимание.

А. В. Василевская.

19.01.76.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ

*

УЖЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ СЧЕТ...

Из дневниковых записей 1987 — 1994 годов

2.2.92.

Наверное, старая привычка невосстановима. Хотя, если не тарашиться в телевизор по вечерам, можно попробовать. Но тарашисься очень часто, потому что устаешь и хочешь остановиться. Теперь работа съедает все мое дневное время: посылаю в набор, подписываю верстки в печать и так далее. Некоторые тексты приходится сильно править¹. Сегодня воскресенье, но вместо того, чтобы писать для каких-то других изданий, писал для своего журнала, пытаюсь хоть как-то выразить то, что думаю о происходящем (в форме диалога, и в этом дополнительная трудность). Но записывать про это — скучно. Интереснее и полезнее было бы записывать цены на еду, и я как-нибудь это сделаю с точностью до копейки. <...> Примета новой торговли: обилие в магазинах на ролях директоров, продавцов молодых крепких мужчин, похоже, что они вытесняют женщин. Самообслуживание ликвидировано. Книжный магазин в доме, где живут мои родители, за последние месяцы превратился в универмаг: государственная книжная торговля занимает теперь четвертую часть помещения, остальное пространство — т. н. коммерческая торговля вещами и магнитофонными записями, а также продажа книг по договорным ценам. Это и есть прибавление, возрождение духовности. (Кстати, это слово, набившее было оскомину в телепередачах, теперь почти не услышишь, — отдекламировались!)

Смотрю какие-то дикие сны. <...> Жаль, не записал «президентский» сюжет, но тоже — какая-то глупость и чушь. Говорю Никите: сойду с ума на политической почве, хоть природа безумия будет очевидной. Никите надо отдать должное: он от политики отворачивается и редко смотрит теленовости (почти никогда), да и в газетах основную политическую текучку пропускает.

Настроение остается смутным, беспокойным. Политические свободы в стране сохраняются, но сказать, что действует демократическая государственная система, невозможно. Как и прежде, человека тащит государство, только теперь — в капитализм.

3.3.92.

Сегодня должен был выйти четвертый номер нашего журнала. С моим диалогом («На дороге»), где разговаривают про жизнь А и Б, мои частицы. Не было ни чистых листов, ни сигнального номера. И когда выйдет и выйдет ли вообще — неизвестно.

Что-то подобное происходит в этом марте со многими изданиями. Новое государство не лучше старого. По-другому, но все та же тяжесть. Было подавление политикой, теперь — подавление деньгами.

Продолжение. Начало см. «Новый мир», № 1, 2 с. г.
Публикация и примечания Т. Ф. ДЕДКОВОЙ.

¹ Дедков согласился стать первым заместителем главного редактора журнала «Свободная мысль».

Жизнь развернулась неожиданно, лишая — пока — душевной ясности и уверенности. А что будет сверх этого «пока»?

Мысль изреченная есть ложь. Что-то мешает писать (записывать) с полной отдачей. Ощущение бесполезности всего (и записей — тоже). Напрасность.

29.3.92.

Очередной перевод стрелок на час вперед. Третий. Ясный солнечный день. Впервые за весну собираемся с Томой пойти погулять на Ленинские горы. Надо бы написать — на Воробьевы, и раньше я, пожалуй, так бы и написал, но не сейчас, в пору мелочной и мелкой реставрации. Две недели назад, на 14 марта, ездили в Кострому — годовщина смерти Виктора. Была суббота, холодно, ветрено, утром хотел было дойти до центра города пешком, но пришлось садиться на троллейбус. В Доме книги (главная цель прогулки) торжествуют торгаши со своим дорогим заграничным барахлом, а книги — всего лишь ютятся. Зато через дорогу, под сводами Красных рядов, на газетках под магазинными витринами выложены сотни ходовых «коммерческих» книг, и возле них топчутся заезжие молодцы. И этак — метров на сто. Возле базара — тоже толпа торгашей, как в Москве теперь на Тверской (на улице Горького, кажется, было бы такое невозможно), — не протолкнешься... Дошел до «Пропагандиста», а там закрыто (никогда прежде по субботам книжные в Костроме не отдыхали), и сквозь витринное стекло видно: и тут книгам долго не жить — большая часть магазинного просторного пространства от них уже очищена.

На кладбище — сильный холодный ветер, отец Георгий (Эдельштейн) долго возжигал благовоние (так ли называю?), вращая энергично кадило, и бумажный (газетный) пепел разлетался вокруг. Состояние природы подчиняло себе состояние души. Хорошо, что Анохину удалось сговориться с шофером маленького автобуса, и он за сколько-то бутылок водки довез нас до кладбища и оттуда к дому Ларисы. Посидели за столом, помянули Виктора, немного поговорили с отцом Георгием без той отчужденности, что была при знакомстве год назад. Были Документовы, Женя Радченко, Миша Салмов и еще многие. Из приезжих только мы да некто Лялин, московский экскурсовод, тихий человек, может быть, стихший после инсульта... Провожали нас на вокзал целой группой, туда же отец Георгий принес пакет со своими статьями...

От посещения Костромы осталось горькое чувство. Впервые я почувствовал, что отъезд наш случился вовремя и жалеть не нужно. Возможно, если бы мы продолжали там жить, то многое из того, что теперь лезло на глаза, просто бы не замечалось. Но ведь за эти пять лет сколько раз я приезжал-уезжал, и — тоже не замечалось, и только теперь — это обилие торгашей, толчея, мусор, носимый ветром по площади, крошащиеся фасады зданий, того же старого вокзала, — даже дрогнуло сердце... И здания, как люди, беззащитны и столь же заброшенны... Впервые я подумал, что уехали вовремя. Никогда я так не думал, все жалел в глубине души, и жалел наперекор рассудку и здравому смыслу. И тут — впервые, и горько стало, и бессильно — от невозможности что-либо переменить, помочь, заступиться...

В журнале — та же смута, что и вокруг, что и со всеми. Надо уцелеть, удержаться и — сохранить лицо. Отношения с Н. Б. хорошие и, надеюсь, обоюдно искренние. Наименее приятное — взаимоотношения с А., но много чести описывать то, во что я всегда предпочитал не втягиваться (игра мелкого тщеславия, служебное мелкое интриганство и т. п.). Главная надежда — получить субсидию от правительства без каких-либо обязательств с нашей стороны (посредством В. О. и в расчете на доброе отношение П.² к Н. Б. и, возможно, ко мне). Иначе — журнал можно закрывать.

² Вероятно, М. Н. Полторанин, который возглавлял тогда федеральное Министерство печати и информации.

Жаль, что тираж мал и число читателей невелико. Иначе, смею думать, и мой текст в четвертом номере («На дороге») был бы замечен, а в нем — реакция на нашу угнетающую и тоже обессиливающую повседневность.

Господи, помоги всем нам все это перенести и выжить, — не о журнале думаю сей момент — о нашей семье, о нас всех, о жизни, подвергаемой новой опале и испытанию.

31.3.92.

Тот сон в ночь на 19 августа, не помню, записал ли где? Вроде было так: живу в атмосфере угрозы и ожидания, какой-то молвы, что ждет арест, и непременный. Но спастись можно, и для этого нужно написать прошение о помиловании или надо как-то объяснить, что я ни в чем не виноват, и действительно, чувства вины никакой нет, и в то же время нет в самой угрозе неожиданности, она — угроза — как бы заслуженна. Но я готов написать требуемое, осознавая это как формальность, — нужно от них отписаться, они этим удовольствуются, им нужен знак то ли сдачи, то ли послушания.

Я помню, что у меня есть чистые листы бумаги (я действительно взял в Марьино немного чистой бумаги: вдруг что-нибудь напишется), и я начинаю ее перебирать — и, о ужас! на каждой из страниц что-то уже написано (то есть вся моя бумага — исписана!). Не может быть, думаю я, я же брал чистые страницы, и, лихорадочно их перебирая, не нахожу ни одной неисписанной, и — просыпаюсь!

Прошение писать не на чем!

Более всего я хотел бы сейчас написать про жизнь в Костроме в 60 — 70-е годы. Может быть, про так называемое «поколение», а точнее — о восприятии этим поколением того, что происходит с нами сейчас.

Пригодилась бы та птица, что кричала в Марьино из лесу: «Какая чушь! Ка-кая, ка-кая! Какая чушь!»

Эти четыре слога-такта можно было бы наполнить каким-либо другим словесным смыслом, но я почему-то расслышал именно это. И хорошо наложилось — слова хорошо наложились на крик птицы и воследовавшую затем действительность.

По отношению к очень многим случившееся в октябре 17-го (начавшееся) было произволом.

То, что происходит сейчас, т. е. проводится как политика власти, является не меньшим произволом, так как распространяется на большинство.

Я даже думаю, что большевики были откровеннее (в лозунгах, например).

Нынешние — лживы и перевертыши, они боятся сказать прямо, куда ведут.

Ведут дрожащими ногами (были бы дрожащие руки — они даже человечнее — вот что думаю сейчас!).

6.4.92.

Сегодня — первый день Съезда народных депутатов России, и впечатления от его начала и каких-то клочков, донесшихся по радио, оставили на душе что-то тяжелое. С тем и домой пришел. Заезжал к своим, а там — старость, все более беспомощная...

Оглядываюсь вокруг: как беззаботно, как счастливо жили в Костроме!

Были заботы и горести, да те ли?

Вечером по ТВ т. н. «Пресс-клуб». Смотрят короткие документальные ленты, потом рассуждают. Постоянный их автор — режиссер ТВ Комиссаров — снял фильм о любви и добре — такова была «тематика» вечера. В обсуждение по фразе-другой вставили Л. Сараскина, И. Ракша, З. Богуславская и другие интеллектуалы и знатоки вопроса. Я с трудом высидел и фильм (с позволения сказать), и дебаты, ради которых, впрочем, и терпел.

Фильм начинается с вопросов журналистки, молодой женщины, художнику, истощенному (истасканному!) парню в очках, редактору некоего г/с журнала, и он рассуждает о политических деятелях (в виду Белого дома) с точки зрения их привлекательности. Идет т. н. «стёб», продолженный графоманскими и патологическими стишками некоего инженера (34-х лет), который мается от своего одиночества и неуспеха у женщин. Потом следуют приставания юных помощников режиссера к прохожим насчет их счастья и с призывом посадить дерево.

Хуже фильма могли быть только разговоры по его поводу. И они были, и дамы из литературной «элиты» сказали по одобрительной и — сверх того — почти восхищенной фразе. Они явно держали экзамен на широту взглядов и глубину знания вопроса. И были далеки от всякой естественности, а от тонкости вкуса и нравственной щепетильности — еще дальше, дальше далекого.

Я иногда представляю себе будущую жизнь в России, — если победят нынешние господа, — и я в ней не хочу быть и, к счастью, не буду.

Если б у меня, как у Людмилы Лядовой, этой музыкальной старухи (героини другого фильма — «про это», менее пошлого), не было детей, а были бы вместо детей — песни (статьи, книги и т. п.), то я был бы спокойнее. Но когда думаю о Володе и Никите, просто так сдавать эту «партию в штосс» не хочется³. Все еще не хочется проигрывать. (Не знаю, уместно ли здесь упоминание штосса — как у Пильняка. М. б., и некстати, тогда — все равно: главное — не сдавать партии (в шахматах, картах, политике, литературе, жизни).)

Иногда думаю: зачем пишу? Записываю зачем? Надо ли? Кому? Конечно, надеюсь. Конечно... Все-таки память, и, если российский мир не взорвется в какой-нибудь новой гражданской, разрушительной, испепеляющей войне, — все-таки формирование памяти семьи, своей родословной... Раньше бы я думал и о чем-то другом: об издании, о какой-нибудь общей пользе, о важности свидетельства, — но теперь посреди этой бестолочи, этого «рывка к капитализму», — я понимаю: до этого никому нет дела. То есть — есть для таких же, как мы с Томой, но в целом — эта жизнь, отбрасываемая назад, еще долго не опомнится, ей еще долго будет не до нас. И будет ли когда — до нас? до нашей памяти? до нашей жизни? нашего удержавшегося идеализма?

Иногда чувствую, что то, что подразумеваю под идеализмом, так называю, — равняется вере, сходной с религиозной или же таковой, т. е. ею и является.

Я давно жалею, что был некогда втянут в обличение костромских священнослужителей. Не понимал, чего они — направляющие — хотели. Но понял все же, понял — и отказался (макарьевская история). Да и когда писал, профессиональные атеисты из «Правды» (был обзор печати, куда попала и «Северная правда») углядели, что статьи не против религии и церкви, но против порока, который проник за церковную ограду, в церковные пределы.

Но оправдание это дурное: не забудь — уполномоченный по делам церкви (а за его спиной КГБ) преследовал одну цель: закрыть еще сколько-то храмов — как можно больше. Осрамил батюшку через газету — вот и повод собрать «двадцатку», сказать: как же вы терпите, он же негодный... (А больше, дескать, прислать некого!) И не присылали — почему? Почему епархия не присылала? Или браковал уполномоченный? Или епархия, кто-то оттуда были в сговоре с полковником? (С бывшим полковником КГБ Кудрявцевым, ныне уполномоченным, с майором Поляшовым, — впрочем, майор — величина малая, он в командировки ездил, начальство не ездило, наблюдало из дома по улице Симановской, рядом с редакцией, там теперь музыкальное училище, оно и тогда было, но и для уполномоченного нашли две комнаты...)

19.4.92.

Опустошающая, всеохватывающая растерянность. Знакомое, прежнее ощущение: беспомощность, ничего от тебя не зависит. Раньше, когда много,

³ «Штосс в жизнь» — посвященная гибели М. Ю. Лермонтова повесть Б. А. Пильняка (1928).

почти непрерывно писал и все время что-то печатал, было легче. Я тогда часто говорил себе: кто-то же читает, в ком-то слово твое отзывается. И когда выступаешь, рассказываешь о литературе (а бывало это часто), то тоже в ком-то отзывается. Помнится, с Леоновичем рассуждали о благе одной только человеческой мягкой, неофициальной интонации. И тогда, и особенно теперь все это легко счесть обыкновенной утешительной иллюзией, но именно рассудком понимаешь, что было что-то помимо иллюзий. Слабо, неглубоко, но слово влияло, что-то смещало в обычном представлении и, очень я надеялся, побуждало критически воспринимать происходящее. Теперь нет даже этих надежд и этих иллюзий. И не потому, что стал мало писать и не о литературе. Что-то же я пишу, и можно писать напрямую про что хочешь. И можно ходить на митинги и разные сборища-собрания, говорить речи, принимать резолюции. Но вот ничего этого не хочется, и ощущение беспомощности нарастает. Я пытаюсь это объяснить, но не могу. Или когда все говорят и кричат, хочется молчать. Или то, что говорят и кричат, страшно неприятно, и участвовать не хочется. Этот сильнейший несущийся политический поток стремится захватить и тащить всех. Тогда тоже был поток, сильный, неумолимый, но ровный, освоивший свое русло, и все его повадки за долгие годы были нами освоены. Ты мог шагнуть в него добровольно, и он бы тебя вынес на берега повыше и потверже. Но ты мог и сторониться его, и вообще смотреть на него со стороны. Нынешний поток неприятен хотя бы потому, что его образуют нечистые, мелкие, а то и подлые страсти. В нем несутся, размахивая сабельками, те же самые, что были на плаву и прежде. Они прекрасно чувствовали себя тогда и теперь — не хуже, не горше. Только вчера они строили социализм, теперь принялись строить капитализм. Какая-то новая, засасывающая воронка.

21.4.92.

Звонил Федор⁴, съезд закончился, завтра — во Владимир. Говорит, что бывали минуты, когда чувствовал, что сходит с ума от нелепицы происходящего, от распала страстей. Еще сказал, что многое перестает воспринимать остро, — сказал: из-за возраста...

Печально. Я иногда думаю об этом — о скапливающейся усталости, нежелании участвовать в том и в этом. Вчера, смешно сказать, вздорили — именно так — из-за земельного вопроса (о частной собственности на землю). Теперь я вроде бы попадаю в консерваторы (якобы возрастное). Зато остальные, надо полагать, молодцы и прогрессисты. Эти марионетки, эти проснувшиеся, прекрасно приспособленные господа... Тот же Валя Оскоцкий, тот же Черниченко, Андрей Нуйкин... Я так не могу. И я не хочу нестись в потоке. Смогли же не нестись в нем тогда. Не подпевать хору. Зачем же сейчас безголово орать вместе со всеми? Не хочу.

Добром эта сумятица, эта бестолочь, эта чушь — не кончится.

«Все проплевано, прособачено...» — поистине так.

Не хочется и записывать. Опротивели слова.

(Тот, кто уличает меня во мне, говорит опять: неточные слова, — и я соглашусь. Но, возможно, какие-то точные слова я знаю, а все равно — говорить их не хочется. Еще и потому, что все — напрасно.)

24.4.92.

Пасха. Вчера — и солнце, и снег порошил. Сегодня чуть теплее, но солнце лишь проглядывает. До половины второго слушали службу из Богоявленского собора. Наш временный вождь, и полувожди, и не вожди вовсе — Руц-

⁴ Федор — Ф. В. Цанн-Кайси, профессор Владимирского педагогического университета, в то время народный депутат РСФСР.

кой, Попов, хасбулатовский зам. Филатов — поздравляли Алексея с праздником и целовались с ним по-светски, как обычно при встречах-разлуках, — троекратно. Лишь Зорькин, конституционный судья, подошел смиренно и поцеловал руку. (Фальшь сия велика есть... — это я про тех, кто отметился до него.) Получив от Алексея по коробочке с пасхальным яйцом, господа удалились, а операторы заскучавшие сосредоточились на Станкевиче, на его постной неподвижной физиономии, отвечающей чину, но не празднику воскресения из мертвых и поправки смерти... Но все это надо признать несущественным, хотя и существующим в полную силу.

С утра, еще не встав, умирал и примирал свою душу и ум, не позволяя им отвлекаться на суету и пошлость недели, на редакционные раздоры и неразрешенности (нет денег, и эта «Мария Ильинична» все мутит и мутит воду...).

Вроде бы усмирил и усмирился; хорошо бы, как вчера: прибрал квартиру, читал Конвицкого — приятный славянский роман — о его бабушке, т. е. о 70-х годах прошлого века: смесь польско-белорусско-литовской плюс русской и еврейской жизни с вкраплением сюжетов из века внука — со злобным лешим Шикльгрубером, полицейским исправником Джугашвили, историей семьи Ульяновых, — роман как скрещение исторических дорог и судеб, как вечное смешение, как вечный состав бытия — этого русско-польского, этой местности с ее родословной и прочим наследием, — этот горький, так до конца и не испытанный наш славянский напиток: кто ни пьет — никому не сладок...

Из «Известий» вычитал: в Костроме некая Хапкова, 31-го года от роду, купила за 5,5 млн. рублей пивоваренный завод. Относительно природы ее капитала сказано: муж — предприниматель. Далее — о кознях трудового коллектива завода и его директора, а также о благородной роли нового областного начальства — бывшего первого секретаря шарьинского горкома партии. Господи, стоило ли огород городить — прожить-промучиться 75 лет, — чтобы некая Хапкова могла купить — хапнуть — пивоваренный завод за неведомым путем полученные безумные — для честного человека — деньги!⁵

Иногда чувствую, как разрастается вокруг чужой мир. И — если б не родные мне люди, если б, точнее, не семья — жить не стоило бы.

Какая разница, в какую сторону ломают живое — влево, вправо ли, — смысла не больше...

1.5.92.

Бывший праздник. Где-то на площадях демонстрируют, я поколебался, но не пошел. Лучше, рассудил, почитаю. Собственно, ничего нового — это в Костроме мы могли пойти на площадь в день Первого мая или Седьмого ноября. Здесь ходили только в студенческую пору, не сейчас же... Но интересно: как там? первомайская демонстрация теперь оппозиционная.

Нет, себя уже не переменить и новому типу российского человека, который объявлен новым спасителем и надежей Отечества, не уподобиться. Не смогу. Лацис сможет? — я за него рад, на здоровье. Он больше, чем я, ценит материальное, тем ему проще. Но если б все это касалось отдельных людей, — касается же всей жизни, ее устройства, каждой отдельной судьбы. Зависимость от государства меняют на зависимость от тех, кто владеет богатством. В сущности, ничтожная перемена.

Как мы выберемся из этого грязного омута?..

Ельцин потрясает сжатым кулаком. К какой борьбе он, дурак, зовет? К борьбе за то, чтобы толпа рабочих, стоящая перед ним, перешла в услужение какому-нибудь невесте откуда взявшемуся заводчику? Чтобы ее лишили бесплатного здравоохранения и образования?

⁵ Пивоваренный завод и сами новые его хозяева Хапковы давно разорились. Как выяснилось позднее, они были подставными лицами.

Если б он сказал, что государственные здравоохранение и образование нищи и плохи, потому что деньги шли на оружие и содержание власти, и отныне будут богаты... Ну, тогда потрясай кулаком, потому что идешь против силы. Жест бессмысленный.

Какая чушь! Какая, какая!.. — не зря кричала птица в Марьино.

3.5.92.

Прошлогодною весну, — нет, я принялся вспоминать весну 90-го года, а не прошлую, — я не заметил, как бы отсутствуя в ней или не участвуя в общей весне (были тогда в Вольнском).

А вспомнил лишь потому, что подумал: сменилась за эти два года целая эпоха, и смена эта уместилась в этой краткости времени и жизни.

Стоял у окна на кухне — оно без занавесок, широкое, свободное, — а там в один теплый вчерашний день воспрянувшие зазеленевшие деревья.

Я подумал о том, что то, чем занята голова, какое-то бесконечное переживание всего, не отдает меня весне, не отпускает, держит.

И вроде бы просто: вышел на улицу и пошел бесцельно, греясь в этом первом тепле и успокаиваясь зрением на этой траве и листе.

[Б. д.]

Не сходятся концы с концами: проходишь коридором до конца — там трусость. И эта личная философия заканчивается так, и та — этак. Обманываем себя. Других, разумеется, тоже.

Как коротко мы живем: то ли это наш воскресный день, то ли отпуск, но от куда мы отпущены, после чего воскресены — после какого труда, какого ада, зачем?

10.5.92.

Вчера ездил к своим, гулял с отцом. Память только мгновенна, позади — какие-то смутные островки.

...Надо писать. Но что?.. Раньше помучаешься день-другой, и проясняется, но теперь день-другой — это крохи праздничных дней, только-только что-нибудь понять... Никогда не думал, что случится так: нет зарплаты за апрель и гонорара с четвертого номера, и когда будет, — и вот что еще, — будет ли? — неизвестно. Полторанин что-то темнит, а все остальное вообще темно. Вчера звонил Василь Быков. А Ю. Суровцев звонил, надеясь, что мы еще можем взять кого-то (т. е. его) на работу. Писать про все это скучно и как-то пошло.

16.5.92.

А жил ли я?

...Какой-то ответ, когда пришел из библиотеки Никита. Он есть, значит, я жил.

И жизнь моя из чего-то состояла?

Иногда — трудно поверить.

Лицо растолстевшего Гайдара <...>

Я с удивлением смотрю на это лицо.

В подготовке чего все-таки я косвенно соучаствовал, сидя за большим овальным столом нашей редколлегии?

6.6.92.

Время — проносится; надо бы — уехать в деревню, в Шабаново, в Демидково, куда угодно — вот в Щельково бы, да и в Кострому хорошо — приоста-

новить этот бег, опустошающий, бессмысленный. Спускались сегодня с Томой к Москве-реке; на склоне, где старые деревья, тенисто и почти как в лесу, кричат, верещат, свистят и что-то бормочут птицы, и поверх всего, пробивая весь шум — своих собратьев, поезда метро на мосту, проносимой «Ракеты» — соловей, сильный, зовущий, счастливый... Тогда ты думаешь, что настоящее — это когда спускаешься по тропинке в тишине деревьев и оглушительного грохота птичьих голосов... А ведь бродим, а политика преследует нас своей практической неотвязностью, потому что она отняла у нас уверенность и сократила возможности... Когда-нибудь я напишу, что думаю о них о всех — гайдарах, бурбулисах, ельциных и прочих, кто вознесся или присоединился...

Опять к всеобщему благу — через насилие. Ничего нового. Одно и то же, только разные слова, разная идеологическая упаковка.

8.6.92.

Из вечерних «Вестей» узнали, что президент России, в Нижнем Тагиле будучи, обещал народу по возвращении в Москву немедленно отправить уральцам самолетом 20 миллионов рублей на зарплату. С неделю назад он обещал самолет с миллионами в Бурятии. Истинно — Отец нации и трудовых масс.

Записывать подобное — тоска смертная. Из абсурда — в абсурд, — вот эволюция нашего отечества за последние год-два. Могучий демократический интеллигентский хор наконец-то смолкает. Осанна демократии кончилась, огляделись: где она? Прокричали всю Манежную площадь, ключья слов облепили гостиницу «Москва», прилипли к стенам Исторического музея и Кремля, к крыше Манежа, — и что толку? Вспоминаю, как объявляют, что у микрофона Валентин Оскоцкий, и он грозитя госбезопасности и еще что-то обличает. А забыть ли, как руководил скандированием толпы Бурбулис, как раскачивал ее и организовывал, по слогам выкрикивая и повторяя: «Сво-бо-да! Сво-бо-да!» (Таким же образом единым криком кричали: «Долой! Позор! В отставку!») Менялись только имена.) Почему-то мне было неприятно и на площади, и на писательских пленумах, и по телевидению наблюдать, как ораторствовали иные знакомые люди. Они делали вид, что эта их деятельность продолжает предыдущую, а для меня эти половинки не совмещались. Но это неинтересный предмет: осуждение кого-либо. Во всех этих сборищах я слышал хор, и следовать его воле не хотелось. Вот я сейчас пишу про это, но нехотя, потому что что-то во всем этом кажется мне само собой разумеющимся: в том же моем восприятии послеавгустовского торжества демократии. До — я еще на что-то надеялся и голосовал вместе с большинством, но очень быстро я понял, как убога предлагаемая нам демократия, как примитивно поставлена задача реставрации капиталистического миропорядка. В сегодняшнем мире я чувствую себя отвратительно: деньги объявлены центром и осью нового мира. Вся система — скажем по-казенному — ценностей, которую впитали, несли в себе, постарались передать сыновьям, объявлена новыми велеречивыми идеологами — все вокруг заполнено их настойчивыми агрессивными голосами — напрасной, несостоятельной, наивной. Бог им судья.

Многие, наверное, поняли теперь, что было пережито в России в семнадцатом — восемнадцатом годах: тогда гнули страну в одну сторону, теперь — в противоположную. Если б эта страна была где-то в стороне, а мы бы все сидели и смотрели: вот построят новый дом затаейники-кудесники, и мы все вселимся и будем жить, да куда там — это все из нас строят, из живого человеческого материала, из наших судеб и нашего времени, наших уходящих лет. От того, что я знал Гайдара, работал вместе с ним, то есть близко наблюдал, все предприятие, во главе которого он поставлен, кажется мне какой-то умственной, теоретической затеей: вот приняли на редколлегии его, Гайдарову, статью, и теперь вот печатаем, да не в журнале, а — по живому, впечатываем в тело, плоть России.

9.6.92.

День бесцветный: правил статьи, ждали звонка из Фонда Горбачева. Редакция без зарплаты два месяца и девять дней. Горбачев в четверг обещал Биккенину при встрече выделить сначала два, а потом еще два миллиона для издания нашего журнала. В пятницу я отвозил Черняеву нашу просьбу, на которую Горбачев обещал наложить резолюцию не позднее понедельника. Прошел вторник, а воз и ныне там. Признаться, я надеялся на поддержку со стороны Полторанина. Осенью он обещал ее Биккенину, показывая дружеское расположение и к нему, и ко мне. Теперь же он никак не отреагировал на звонок от Биккенина по «домашнему» телефону в его служебный кабинет (в который из трех? по трем вертушкам добиться его было невозможно). И странно, странно и неприятно, и чувствуешь себя обманутым. Мы не собирались угождать правительству, но и какие-либо нападки на него были исключены. Были бы объективны, — разве этого мало? Боюсь, как бы выходцы из нашего журнала — теперешнее окружение Гайдара — не настучали на нас, обнаружив нашу недостаточную лояльность. Окружение же из наших таково: Николай Головин, Алексей Улюкаев (давно ли приносил мне почитать черновики своих статей для «МН» и свои стихи?), Сергей Колесников (давно ли, обслуживая Ивана Т. Фролова и Горбачева, через Фролова — боролся с Ельциным и «демократами?»), Евгений Шашков. Жаль всех в нашей редакции, кто поверил в возможности Биккенина и в какой-то мере мои и преданно служит журналу до конца... Что-то давно я не покупал книг, выбрал за это время со сберкнижки тысяч шесть, а книги дорогие, и все уходит на еду. Надеюсь все ж таки что-то получить и, может быть, успею купить третий том Фернана Броделя (рублей 117), воспоминания дочери Вячеслава Иванова (40 рублей) и, может быть, Токвиля (что-то за семьдесят). Нарочно записываю цены, чтобы не забыть. В последние дни — с шестого июня — объявлены свободные цены на хлеб, молоко и т. п. Давно полузабыты хлебные цены: батоны по 13, 18, 25 копеек и черный хлеб по 9 копеек. Теперь батоны по 12 рублей и черный хлеб дороже 4 рублей.

Давно уже не ездим в столовую (говорят, обеды там в пределах тридцати рублей и больше), пьем чай с бутербродами.

Скучная, господа, материя!

Храбрый педантичный Гайдар с голубоватыми висками (близко сосуды) и тиком и вдруг останавливающимся, отключенным взглядом. В этот миг мне всегда хотелось отвести глаза. Но в нем быстро опять что-то включалось, и он продолжал говорить.

Правильный, расчетливый, равномерный Лацис с его неспешной, переваливающейся, медвежьей — по фамилии — походкой, дотошный в своих рассуждениях и рассказах и — хорошо знающий и отстаивающий свой интерес. Вот он его и отстоял, вовремя уйдя в «Известия» и выбрав там проправительственный курс, а я вот сижу теперь за его столом и трачу время на то, без чего вполне бы мог обойтись. И вся моя беда, что чувство товарищества и протеста взяло верх над всем прочим.

Какая скучнейшая, пошлейшая материя, бывшие товарищи! Александр Николаевич сказал, что только слоны не меняют своих убеждений, а вот люди должны меняться. Слону, думаю я, нельзя менять своих убеждений — иначе он не выживет, погибнет. Пораженно смотрю я на многих нынешних деятелей демократии: они прозрели в пятьдесят пять, в шестьдесят лет, и я мысленно спрашиваю их: а где были ваши геройские головы раньше? Или вы не прозрели потому, что вам и так было вполне хорошо, и вы немало делали для того, чтобы соответствовать правилам жизни, которые резвее всех проклинаете сегодня. Разница между такими, как вы, и такими, к примеру, как я, — что вы делали карьеру, лезли наверх по партийным и прочим лестницам, а я и такие, как я, никуда не лезли и не ценили ни этого верха, ни карьеры, ни жизненных благ, даруемых там, наверху. Это не пустая разница, и потому наше прозрение

датируется не 87-м, не 89-м, не 91-м годом, а 53-м и 56-м, и все, что следует дальше, мы додумали сами, как и полагается медленным и упрямым слонам, неохотно сворачивающим с избранного пути...

Я пишу неловко, словно что-то преодолевая — сопротивление этих клавиш, слишком твердых после электрической машинки, или самих пальцев, в которых недостает силы (помнишь Богомолова: силы Вам в руку!), или что-то — вот самое главное — в состоянии духа. Несколько месяцев назад я бы написал: растерянного духа, но теперь дело временами обстоит хуже: духа отчаявшегося, почти готов сказать я. Но и отвердевшего в этом отчаянии. Ни с теми я и ни с другими: ни с «демократами» властвующими, ни с патриотами антисемитствующими, ни с коммунистами, зовущими за черту 85-го года, ни с теми, кто предал рядовых членов этой несчастной, обманутой, запутавшейся партии... Где-то же есть еще путь, да не один, убереги меня Бог от пути толпы... Очень часто вспоминаю Кострому, свой стол, расположение книжных полок, стопы книг по краям стола и машинку между ними, как в ущелье... И полная сосредоточенность на писанье, на обдумывании происходящего вокруг и в литературе... Что-то побочное вторгалось и существовало всегда (время от времени возобновляющийся мотив переезда в Москву, очень настойчивый после появления Залыгина в «Новом мире»; беспокойство за родных и близких, потом окончание Никитой школы и все ему предстоящее — да и мало ли что еще!), и все-таки разве сравнить с моим нынешним положением посреди московской и политической суеты, посреди этой вдруг обезлюдевшей, обессилевшей литературы, посреди московских человеческих множеств... Господи, прости нас, спаси и помилуй!.. Человек так мал, так утл, но как много всего впитывает он за свою жизнь и все несет это в себе и несет, и это какой-то непостижимо огромный объем жизни, которую не передаваемо жаль, и кажется недопустимым, чтобы ушло вместе с человеком, словно не было никогда. Вот это «словно не было никогда» ужасает, хотя и в этом достаточно точном слове есть слабость преувеличения, потому что преувеличивается трагедия отдельного, одного человека, — ведь в том утешение, и новый ужас, и новое примирение, и всё новые и новые круги ужаса и примирения, потому что это касается большинства и даже всех, поскольку оговорка насчет большинства связана с теми, кто наделен художническим даром и вообще способностью хоть к какой-то материализации, реконструкции прожитого, но все равно не забыть, что соперничать с явью, с ее живой полнотой, с целостностью вовлеченного в жизнь мира невозможно, — победы не одержать, остаются — фрагменты, куски, обрывки, конспекты, мгновенья счастья и родства, проблески молнии, выхватывающей нас из тьмы совсем-совсем ненадолго... Какая скучнейшая материя, господа, ваше строительство некоего рынка, его сияющие вершины уже видать кому-то наверху, почему-то отныне все должны рождаться торговцами, предпринимателями, еще кем-то вроде брокеров и биржевиков, но слава Богу, мы-то от этого дела уволены навсегда, нас минует эта сладкая чаша купли-продажи всего на свете, и в нашей памяти ничего этого не будет, и я, если повезет, еще вспомню что-нибудь совсем безденежное, безрыночное, бездельное и, разумеется, совсем бедное, пешее, тихое, далекое, что-нибудь совсем простое: широкие половицы в горнице шабановского дома, герань на окне, ночные вздохи овец под теми половицами. <...>

21.6.92.

Первую половину дня проездил к своим. Ходил в магазины, гуляли с отцом, сидели на скамейке на бульваре Карбышева. <...> На бульваре неподалеку от винного магазина на скамеечках всегда подвыпившая, безобразного вида публика: и мужчины, и женщины. Никакие цены не останавливают. Какое-то время назад одним из признаков патриотизма было осуждение пьянства как результата намеренного организованного спаивания русского народа. Но и эта волна схлынула, идея как бы свое отработала, есть поактуальнее, позабористее, они-то теперь и в ходу, а та антиалкогольная как бы отложена и когда-

нибудь пойдет опять в ход: ельцинское правительство фактически отменило государственную монополию на продажу спирто-водочных изделий и вина. Сейчас — до того ли? Завтра опять сборище в Останкино, и, вполне вероятно, будут столкновения, т. к. митинг пока не разрешен. Но, думаю, московская власть опять отступит (разрешит), и толпа попробует достичь большего, чем в прошлый раз (попробует ворваться). Уже в открытую говорят о возможности вооруженного свержения Ельцина, если не получится конституционным путем. Но откровенная непрочность власти, ее слабая организованность действуют, я думаю, провоцирующе. Власть смирилась с тем, что пишут «День» и газеты этого же толка, и то, что молчаливо сносятся все оскорбления главы государства, говорит лишь о растерянности и немощи власти. Народ, общество начинают чувствовать, что над ними совершается новое насилие, что у них отбирают лучшее из того, что было достигнуто, а худшее продолжает воспроизводиться в едва обновленных, а то и наглых формах. Кроме того, становится очевидным, что т. н. реформы оказались для большинства народа неожиданностью, всех этих нововведений не было в предвыборных программах, на них не было получено народного согласия. Недаром изрядно поднадоевшие демократические голоса — благозвучные тенора интеллигенции — смолкли. Что-то не так — они почувствовали. Ельцин в последнее время предстал во всей красе: его обличения коммунистического идола (в американской речи перед конгрессом), заверения, что он мертв, были отвратительны и по сути, и по языку, и по интонации, и по мимике. Боже, мне лень воспроизводить общедоступные и самоочевидные доводы против этого энтузиазма предателя, против этого героического речитатива политического оборотня и пошляка. На языке улицы ему следовало бы получить что-нибудь вроде того: «Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала». В «прозрении» партийных функционеров, прослуживших на высоких постах в аппарате по двадцать и тридцать лет, есть что-то удивительное и фальшивое. У людей моего поколения были шансы прозреть: и в 53 — 62, и в 68-м, но эти господа почему-то тогда прозревать не захотели: они с успехом делали карьеру в комсомоле, в партии, кончали Академию общественных наук, якобы все понимали и с энтузиазмом поднимались все выше и жили, ели и пили все слаще. Что же такое произошло, что они прозрели? Всю запрещенную литературу они читали своевременно, потому что ее издавали для служебного пользования. А если и не издавали, они все равно имели к ней доступ «по работе», и таиться, читая «Архипелаг», им было не нужно. Кравчук объявил, что он узнал о голоде на Украине три года назад — из новых источников. И он хочет, чтобы ему верили? Этот хоть делает вид, что не знал. А московские деятели даже не думают объяснять, что же так поздно прорезалось их передовое зрение. Какую такую новую литературу, какие такие новые документы прочел тот же Александр Николаевич Яковлев, чтобы прозревать столь поспешно, как он это сделал в конце прошлого года? Заметил ли он, что стал похож на Ельцина, то есть на примитивного борца против коммунизма, снабженного текстами не самых одаренных помощников? (Мне не приходит в голову доказывать правоту коммунистического учения, хотя и со счетов действительно разумные головы его не сбросят как некую чушь, как умышленный мусор. Но и «свергать» т. н. «коммунистическую идею», угождая настроениям какого-то числа громкокопящих сограждан, получивших власть, отвратительно. Я в таких делах не участник, и не ум, не логика меня не пускают, а элементарное чувство, предостерегающее против чего-то грязного, непорядочного.)

24.6.92.

С сегодняшнего дня метро, автобус, троллейбус — один рубль. Очередной скачок в два раза. Еду на эскалаторе, по радио объявляют, а я и не знал. Те, кто купил проездные на месяц, выгадали. Публика выслушивает объявление молча. Пора удивления прошла. Вот и мы в редакции не удивляемся, уже три

месяца без нескольких дней не получая зарплату. Сегодня Антипов ездил в Фонд Горбачева; опять ничего не решилось, и надо ждать завтрашнего дня, когда соберется исполком Фонда, решит... Все это становится унижительным. Как бы то, что началось предательством, предательством не закончилось бы. Забывшись под крышу Фонда, эти господа боятся, что мы их потесним? Но нам не нужна их крыша, мы вообще не просители, а они не благодетели. Если пригладеться и припомнить, мы в журнале, да и лично держались не хуже, а, пожалуй, нередко и лучше этой компании, кочующей вслед и вместе со своим хозяином из Цека в аппарат Президентского совета, а оттуда — в Фонд. Неизвестно одно: куда потом, если Ельцин и иже с ним начнут срывать зло и искать козла отпущения. Возможны и другие варианты, ничуть не более приятные. Мне пока не нравится, как разворачивается наш контакт с Фондом; но я сказал себе: вот выберемся из этого финансового тупика — и при первой возможности, если особенно вздумается кому-нибудь нами командовать, — в сторону! Конечно, втянуться в прежнюю литературную работу будет трудновато, но, надеюсь, возможно, тем более что писать хочется и сила в руке не пропала. <...>

События последних дней тревожны и удручающи. Убивают людей почем зря в Южной Осетии, в Нагорном Карабахе и Азербайджане, в Молдавии. Толпы критиков правительства, соединенные силы патриотов-антисемитов, националистов, коммунистов сталинской выучки и сторонников РКП осадили Останкино и вступали в рукопашную с милицией и омовцами. 22 июня должен был проходить митинг ветеранов войны на Манежной площади, организованный властями. Я пришел туда к пяти часам (оказалось, раньше времени) и наблюдал необычайное скопление милиции во всех дворах и щелях на подступах к Манежной. Университетские дворы голубели от милицейской формы. А сколько было нагнано автобусов и автомашин с тем же голубеющим содержимым. Боятся, подумал я. Боялся и Горбачев, но эти боятся больше. Только что по ТВ сказали, что в этом году численность внутренних войск возрастет на 43 тысячи человек, а в будущем — еще на 50.

Ельцин не вызывает у меня больше никаких надежд. Когда-то мне даже начало казаться, что он чему-то обучился и поумнел. Теперь я думаю, что он слишком мал и мелок для этой страны. Хотел написать: этой великой. Буду считать, что — написал.

Никто не знает, что будет дальше, но этак можно втащить страну в гражданскую войну, в войну против собственного правительства да еще между собой за чистоту каких-нибудь и торжество очередных безумных идей. Раскачивается старая ненависть и старая злоба.

Наверное, Т. права: я плохо разбираюсь в людях, я всегда надеюсь на лучшее в них и отстраняю худшее. В ином свете вижу теперь и Гайдара, и Улюкаева, а про Колесникова и говорить нечего. С разочарованием поглядываю по ТВ на Полторанина и Бурбулиса. И они ведь мне при знакомстве показались здоровыми и увлеченными, серьезными людьми. Правда, потом множество раз слышал про «минные поля» в политике (Бурбулис) и воспринимаю теперь это как очередную ходко пошедшую пошлость.

25.6.92.

Из Фонда весть: приняли решение перевести для нашего журнала три с половиной миллиона рублей. Ну дай-то Бог, чтобы так и исполнилось. Хоть люди воспрянут и займутся журналом всерьез, да и я буду ходить по книжным магазинам по-старому... Так и хочется продолжить: ...ни в чем себе не отказывая, но будет неправда: отказывая. Цены всё неподъемнее, и книг хороших все меньше. Вчера Никита купил третий том Фернана Броделя («Время мира») на деньги (106 руб.), которые дал ему Володя, услышав наш с Никитой разговор об отложенной — из-за нехватки денег — этой книжной покупке.

Но не буду загадывать. Возможности волокиты бесконечны. Улита едет, когда-то будет.

Ехал в метро и стал думать, почему в молодости выбрал именно эту профессию — журналистику. И сложилась и назойливо повторялась фраза вроде этой: выбрал профессию — чувством, честолюбием, умом, но — не по характеру и сколько из-за того в первые годы принял мучений... Как же я не любил ходить по райкомовским и прочим кабинетам, «являться по начальству» и вообще разговаривать с секретарями, председателями, директорами... То-то я и походил пешком по костромским сельским дорогам — до тридцати километров за раз проходил с утра, чтобы попасть середине дня в какой-нибудь дальний леспромхоз или совхоз... Так было в Чухломском районе, когда шел в Введенское...

Три вечера потратил, составляя библиографию своих костромских газетных сочинений о кино, театре, литературе и т. д. Набралось более двухсот названий, но всё отыскать пока не сумел. Может, под настроение составлю библиографию и всех прочих моих писаний. Все-таки любопытно, много ли набрал, да и вспоминаешь разное, когда перебираешь старые газеты и вырезки...

На прошлой неделе ходил к Игорю Саркисяну в больницу⁶. Не виделось мы лет двадцать пять, не меньше. Теперь посещать больных просто:ходишь с улицы и идешь себе куда надо, без всяких там халатов белых, без какого у кого-нибудь спроса, да и часов посещения ныне нет: пришел — иди и носи что хочешь. Поднялся и я на лифте на указанный шестой этаж, заглянул в четвертую, названную, палату, обнаружил там блок из двух двухместных комнат, где никаких больных не было. Правда, в одной из комнат лежал на кровати, поджав ноги и закутав голову вафельным полотенцем, какой-то, как теперь все говорят, дюжий мужик, и ничего от Саркисяна в нем я не обнаружил. В некоторой растерянности я вышел в коридор, спросил у проходившей мимо медсестры, не знает ли она, в какой палате Саркисян, но она такого больного не знала... Потоптавшись и рассудив, что других четвертых палат в этом, 11-м терапевтическом, отделении быть не может, я опять заглянул в палату, где правая из комнат по-прежнему была пуста, а лежавший с полотенцем на голове мужик на этот раз повернулся на скрип двери... То и был Саркисян — под капельницей. Оказалось, что у него астма и ночью прошедшей ему было плохо. Приходили и уходили сестры, доливали раствора, звали на обед, спрашивали про самочувствие, приходил и уходил и присаживался на свою койку Игорев сосед — сельский житель из Ступина, то ли зам. директора совхоза (племенного, свиноводческого), то ли какой-то другой совхозный начальник, но из простых... Вот он-то был действительно дюжий и более того — богатырь, широколицый, высокий, выше средней упитанности, и невозможно было бы догадаться, что он после инсульта... А Игорь, отлежав капельницу и проговорив со мной час с лишком, пока тут ходили-уходили, собрался меня проводить и пошел умыться... Вернулся взлохмаченный, мокрый, стал вытираться, и увидел я уже другого Игоря, 60-летнего, подумать страшно, с другими, не с теми, лежащими, глазами, полуприкрытыми, а какими-то большими и светлыми — от прошлого, то есть выцветшими от жизни, и сильно сдавшего в теле, исхудавшего, словно сжавшегося, усохшего, как всегда случается с пьющими... Он был возбужден и много рассказывал, и говорилось нам легко, и мы не выясняли, разделяет ли нас что.

27.6.92.

Звонил Бакланов. То ли скучно было, то ли прознал про наши отношения с Фондом Горбачева, ну а может быть, и в самом деле решил напомнить бывшему своему автору, что его не прочь напечатать. Я же под настроение — после

⁶ Саркисян И. А. (1933 — 2001) — радиожурналист.

очередного выпуска теленовостей — решил прояснить ему свое отношение к новым властям и к «новой эпохе». Может быть, подействовало и то, что смотрели фильм Занусси «Семейная жизнь» (1971), и я потом сказал Томе, что фильм напомнил мне о моей принадлежности другому времени, другому искусству, и это торговое хищное время, когда торжествуют нелучшие люди, мне чуждо. Да, разумеется, власть и прежде принадлежала нелучшим людям, но они пытались взывать к лучшему в человеке и по крайней мере делали вид, что на это лучшее надеются. Благодаря этому и наперекор замечаемой фальши множество людей было нравственно ориентировано; и хамство, хищничество, воровство, жадное обогащение и т. п. вынуждены были маскироваться и таиться. Теперь первой общественной и человеческой ценностью объявлена способность к личному обогащению, и этой целью освящены все методы и пути ее достижения.

Стало очевидно, что новая социальная среда почти автоматически вырабатывает, наращивает аморализм и преступность. Честным людям в этой среде тяжело, она не для них.

Теленовости сообщают о все новых и новых убитых и раненых в Южной Осетии, Приднестровье, сегодня — Таджикистане (1000 убитых!), в Нагорном Карабахе. Сегодня рылся в старых газетах, наткнулся на «Известия», где огромные фотографии, траурные рамки, кричащие заголовки несут весть о трех погибших в августовские дни прошлого года. Я еще тогда говорил, что из этих трех смертей извлечена максимальная политическая выгода и прибыль. Сколько было произнесено высоких слов, и сколько прозвучало проклятий врагам демократии. Интеллигенция уже почти привычно играла тогда ведущую праведную роль. Совсем недавно в какой-то газете мелькнул снимок той поры: Ростропович с автоматом и рядом привалился толстый малый, тоже защитник Белого дома. С тех пор убиты тысячи армян, азербайджанцев, русских, молдаван, таджиков. Никто не знает точно, сколько, и никто, никакие средства массовой информации, не уточняют и не стремятся уточнить, сколько же. Но счет идет уже не на сотни, это точно, и округленность, противоречивость цифр свидетельствует о знакомом: до трех, или тридцати, или тринадцати считать еще умеют, дальше — сбиваются, и острота переживания пропадает, и наши витии, ведущие наши демократы, замолкают. Или те люди погибают в результате не тех конфликтов, не с той политической расстановкой сил, и не вполне ясно, кого жалеть и надо ли жалеть вообще? Беда и огромное разочарование в том, что становится все виднее отвратительная роль политиков и их идеологов во всех теперешних конфликтах. Это они раздувают пламя ненависти и с помощью вооруженных небольших отрядов берутся определять судьбы многих тысяч крестьян и рабочих, женщин, детей и стариков. Роль большинства народа, как всегда, — роль страдательная, пассивная. Что-то не слышно о гибели хоть кого из тех, кто направляет это взаимное братоубийство. А вот о гибели простых трудовых людей сообщают непрерывно, и это не чьи-нибудь, а их дома и сады уничтожают снарядами, бомбами и ракетами. Ничего нового. Абсолютно. Новая глупость очередная в новом свете, и хотят убедить нас, что все это безумие неизбежно. Или в самом деле человек столь несовершенен, что его нужно удерживать в твердых рамках несвободы, и тогда по крайней мере не будет литься кровь тысяч, или же мы вступили в сферу какой-то первобытной свободы, которая может стать действительной свободой только при решительных и твердых действиях разумной власти, беспощадно карающей, прерывающей эту первобытность. Множество возникает вопросов, и один из них таков: или это неуправляемость и произвол, превращенные в синонимы свободы, или свобода возможна только тогда, когда жестко поставлена в рамки несвободы, и рамки эти непреодолимы. Переход через них должен осознаваться как разрешение смерти бесчинствовать... Общество должно ответить самому себе: сколько жизней оно готово отдать т. н. свободе?

11.7.92.

Три дня назад получили зарплату за три месяца за счет горбачевского Фонда, увеличив ее всем сотрудникам с апреля приблизительно на тысячу рублей. Таким образом, я получил более четырнадцати тысяч — сумму, которую не мог заработать, то есть точнее — скопить за десятилетие каждодневной литературной работы. Я сравниваю только цифры, показывающие, как обесценены деньги, особенно те, что люди собрали за долгие годы. <...> Теперь эти старые деньги уравнены с безумными деньгами новых цен, зарплат и пенсий.

Позавчера Н. Б. попал на прием к Гайдару, ныне занимающему кабинет Горбачева на Старой площади. Встретил Гайдар нашего Н. Б. приветливо, но разговор, как я понимаю, <был> очень короткий, от делового сюжета не уклонялся: наша «жилищная» проблема, просьба пересмотреть договор с т. н. Дворянским собранием. Ни шага в сторону. Поручение — «проследить» (за выполнением резолюции) — было отдано при Н. Б. Колесникову. На том и расстались, однако Н. Б. сумел сказать Гайдару приятное, заметив, что никогда не сомневался в способности Гайдара остаться самим собой на любом посту высоком.

Написал (и уже прошли редколлегию) заметки о книге О. Меньшикова «Письма к ближним», изданной Воениздатом⁷. Вчера ходили с Томой на день рождения к Хлевнюку (33 года); были еще Антиповы. А накануне были на 70-летию у Олега Алексеевича. Все его родственное окружение нам почти не знакомо. Молодежь хорошо пила: сначала немецкий спирт, разведенный с клюквой, потом американскую водку из двухлитровой красивой бутылки. Подобными бутылками и бутылками разнообразной формы и яркими наклейками уставлены все «коммерческие» ларьки и магазинчики. Старшее поколение — сверстники Олега Алексеевича — были много умереннее, и настроение у них было много печальнее — не по причине недопития, разумеется, а в связи с переживаниями политического момента, воспринимаемого ими как ужасающий крах всей прежней жизни, ее полное наглое обесмысливание, как ее предательство. Один из стариков (не знаю, чем он занимался, но, судя по разговорам, за границей жил и английский знает) сказал, что пойдет к Анпилову, встанет на учет в райкоме РКП и будет платить взносы. Предлагал мне записать телефоны «Трудовой Москвы», я отговорился, сказав, что в редакции эти телефоны есть. Странное, трудно объяснимое у меня положение: и ни с теми, и ни с этими, а те, с кем мог бы быть, не объединены, рассеяны. Одно повторяешь: этого мы (если угодно — я) не хотели...

В вагоне метро рядом со мной сел высокий седой старик с палкой и с широкой колодкой орденских лент на пиджаке, — вида интеллигентного, а может, и военного, офицерского. Был он чуть навеселе и несколько раз поворачивался ко мне, как бы рассматривая, я-то — какого поколения. Мои седые длинные волосы, вероятно, убедили его, что я немного до него недотягиваю, и он вдруг, повернувшись ко мне в очередной раз, сказал: «Мы, старые большевики...» Я что-то не очень ловкое проговорил ему в ответ — успокаивающее (реагируя на его жест, показывающий, что дела «старых большевиков» плохи), на что он мне ответил движением большого и указательного пальцев — обозначением денег, которых, надо было понимать так, мало или нет... А потом, указывая на дебелых девиц в кратчайших юбках и с мощными ногами, сказал: «Будь мой дед живым, он бы их такой вот палкой...» — и, взмахнув, чуть было не достал этих девиц своей клюкой...

Заходил Негорюхин: ездит по делам своего кооператива, к начальству: насколько я понимаю, скупают у мастеров — «народных умельцев» — их вещи, поделки «на корню», а потом продают через свои или еще чьи-то магазины.

⁷ Дедков Игорь. И к дальним — тоже... — «Свободная мысль», 1992, № 12.

Рассказывал, что Корнилов и Ю. Лебедев, вернувшись со съезда, убеждали (было писательское собрание), что съезд прошел прекрасно, с большой пользой⁸. Корнилов опять в переписке с Ю. Бондаревым, и, я думаю, соревнуются в проклятиях Горбачеву и т. д. Я расспросил насчет мадам Хапковой, приобретшей костромской пивной завод. Оказывается, и она, и ее муж (люди за тридцать) работали в подсобном хозяйстве завода «Рабочий металлист» и якобы чуть ли не завод дал им эти миллионы (по-моему, «Известия» писали о 5,5 млн. руб.). Теперь завод принадлежит Хапковым, и мадам повысила трудящимся зарплату, и все довольны. (Очень просто сделать всех довольными.) А недавно театр (режиссер — некто Константинов, мне не знакомый) поставил «Яму» Куприна, и премьера была откуплена пивзаводом. В партере убрали кресла, поставили столики, накрыли каким-то угощением — не на деньги, естественно, театра — и начали спектакль. К чести публики, есть-пить и глазеть на сцену она не сумела и, чинно развернув стулья поудобнее, досмотрела с полным приличием спектакль до конца. Ну а потом, как водится, пили, гуляли до предела. (Уж не знаю, как веселились в бельэтаже, в ложах и на ярусах. Хотя при желании и благосклонности администрации пить-гулять можно всем этим старым театральным залом, снизу доверху, от гардероба до кулис...)

Читаю дневники И. И. Шитца (март 1928 — август 1931), изданные в прошлом году в Париже. А обнаружены в бумагах Мазона в 1986 году (похожая история с дневником Ю. В. Готье в «Вопросах истории»): каким-то образом был вывезен из страны. Выходит, обнаруженных (60 — 70 лет спустя!) дневников и записок повременных мало, а о нашем времени много ли будет? Разве что через лет двадцать откроется. Вроде самое подходящее время — пиши, никто не приглядывает, не нависает за спиной... Но пишут ли? — хотя одна хроника цен какая бы вышла впечатляющая...

23.8.92.

Перечитал некоторые записи — повспоминал... Вчера и сегодня — в субботу и воскресенье — готовил для журнала статью М. С. — т. е. соединял в статью три разговорных текста: два интервью и пресс-конференцию. Опять ничего не писал — для себя, как прежде.

На днях звонил Залыгин, заезжал к нему в «Новый мир» — старая песня: приходите к нам работать. А зачем — в такие-то трудные для журналистики времена? Да и коллектив совсем новый. Зачем это нужно? Время упущено — или им, или мной.

Им.

Надо возвращаться к писанию. М. б., что-нибудь я еще и смогу сказать ко времени.

27.8.92.

Рассказывал Андрей Турков: когда построили театр Красной Армии, то знакомый актер водил его по ярусам и коридорам, а потом сказал: все равно, Андрюша, здесь есть комнаты, где не ступала нога человека. (Столь запутана была планировка здания.) <...>

Было дело: посмеивался — включи телевизор, а там что ни проповедник демократии или патриотизма, непременно — про духовность, про возрождение. А теперь, как ни включишь, обязательно — про деньги, про миллионы, про шикарные автомобили и т. д.

Мне рассказали, что незадолго до смерти Маргарита Алигер говорила: я чувствую, что меня нет и будто я не жила.

О чем это она пыталась сказать? О жизни, которая уходила и теперь казалась призрачной? Об ощущениях старости?

⁸ Съезд Союза писателей РСФСР.

Я думаю, она пыталась сказать о новом насилии над — не только ее — общей жизнью. Над жизнью ее поколения. И других поколений.

Человек, рассказавший мне об Алигер, принадлежал к другому поколению — помоложе, но фронтовому. Он повторил ее слова, словно говорил о себе.

Я постарался не смотреть в этот момент в его глаза. Потому что в тот миг во мне тоже что-то дрогнуло. Я был еще моложе — из поколения тех, кто во время войны был мальчиком-школьником. Я еще не готов сказать эти слова о себе, но я чувствую, как силы, возобладавшие в повседневной жизни, к ним подталкивают.

Мы-то дожили, но отчего радость, которая перехватывала горло, все чаще меркнет и подступает тревога? Или не та свобода? Или тревога напрасна? <...>

[Б. д.]

Больное, отмирающее сознание, — что с него взять! А может быть, в самом деле она была никакой поэтессой и это ей запоздало открылось? Да и мало ли кто и что говорит в минуту огорчения или дурного самочувствия? Так что и статью начинать со случайных слов малоизвестного и малоавторитетного человека (какой-то зажившейся на белом свете старухи, не депутата, не властительницы дум, не активистки какой-нибудь симпатичной партии) в высшей степени неосмотрительно и даже нелепо. Но, может быть, я хочу этой нелепости, я распространяю ее, потому что другие — лепые, рассудительные, логически-твердые, уверенные голоса политиков, политологов и других златоустов, опостылевших комментаторов бытия, — мы слышим во множестве, и, признаться, им не мешало бы помолчать, и тогда в наступившей тишине мы смогли бы разобрать, расслышать много простых и отчаянных, последних слов.

Но разве тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой российской когда-нибудь кончится?

Меняются седоки, лишь шпоры поострее, а скачка прежняя. Знай посторанивайся, забивайся в свою хижину бедный Евгений, не путайтесь под ногами, старички и старушки, со своими смешными претензиями. Да и то, что требовать с них, если десятилетиями им внушали про высокий смысл жизни, про стыд за бессмысленно прожитые годы, про человека — творца истории и собственной судьбы.

И вот — оборвалось все. Оказалось, что не имеет значения, как ты жил и что делал прежде. Значение имеет лишь то, что ты говоришь сегодня и делаешь, чем клянешься и что проповедуешь. Такой подход упростил дело. Значение имеет лишь ваш ответ на последний вопрос. Ваши предыдущие ответы на ранее поставленные жизнью вопросы — достояние неинтересного прошлого.

[Б. д.]

Я никого не осуждаю и вовсе не предлагаю героям дня заполнить анкету или рассказать о своей прошлой жизни, но когда стоишь на Манежной площади в толпе митинга и слышишь, как расклеивают — ораторы и подхватывающее их лозунги сгрудившееся у трибуны живое множество голов, — как расклеивают семьдесят лет жизни многих поколений, то...

[Б. д.]

При такой злобе — надо забиваться в угол, спасаться. <...>

9.11.92.

Седьмого в двенадцатом часу ночи прилетели из Барселоны⁹. На иловском аэробусе. Лациса, как когда-то нас, ждала машина, и мы благополучно в эту ноябрьскую слякоть под снег с дождем добрались до своих жилищ.

⁹ С международного симпозиума «XX век и права наций на самоопределение», на котором Дедков выступил с докладом «Трагедия интернационализма».

В Барселоне мы приземлились в шесть вечера под сильным дождем и низкими облаками, минут сорок лишних проболтавшись над городом. Долго не было видно земли, а потом показалось море и кромка берега, и мы низко вдоль это[й] кромки пошли к аэродрому. Автобус от самолета подвез нас к зданию аэропорта и высадил у огромной лужи, куда мы все и попрыгали. Разница с барселонским временем — два часа, и мы до ужина (в двадцать тридцать) успели вдоволь втроем (Лацис, Хлевнюк¹⁰ и я) нагуляться под дождем и как следует промочить ноги. Дождь был то слабенький, вполне сносный, то набирал силу, а возвращаться не хотелось. Дошли от нашего отеля до памятника Колумбу на берегу моря, а назад Лацис нас повел (он в Барселоне уже был, но недолго) по бульвару Рамбла, и мы, возвращаясь, немного поплутали, и пришлось ориентироваться по плану Барселоны с помощью испанцев. Наутро я с ужасом обнаружил, что одна из туфель прорвалась вдоль подошвы... Я, и верно, попробовал найти что-нибудь подходящее, но в продаже обувь по сезону, и летнего нет ничего или что-то сомнительное, а хорошая осенняя дорогая — выкладывать надо половину наличности. Ну, так я и прожил барселонскую неделю — вроде бы российский литератор, и не последнего ряда, заместитель редактора журнала, немолодой человек, что-то обязанный заработать за долгие годы, чтобы чувствовать себя уверенно и обеспеченно, — так и проходил, чувствуя легкий, крошечный холодок своей правой ступней... Однако, убедившись, что неделю-то я непременно дохожу, я успокоился и деньги истратил, что называется, на гостинцы, хотя чуть-чуть практичнее, чем всегда, потому что купил две большие банки кофе и две большие пластмассовые упаковки оливкового и подсолнечного масла... Иногда думаешь — и не ездить бы лучше совсем. (Недаром в свое время я отказывался от многих поездок — впрочем, не эта причина была главной: бывало, что и не знал, в чем ехать, да и работу не хотелось прерывать, а однажды не поехал в Венгрию из-за состава писательской делегации...) Ладно, что про это толковать. До Лацисовой мудрости («Валюта — лучший подарок») я еще не дожил и уже не доживу.

Барселона красива и богата. И разнообразна. Я почувствовал ее лучше, чем Афины: там мы бродили в своей части города, и многое осталось за пределами наших прогулок. Здесь же автобусная шестичасовая экскурсия не только связала между собой те места, где мы уже успели побывать сами (гора Манджерик с олимпийским стадионом, кафедральный собор и т. д.), но и раздвинула наши все-таки скудные пешие возможности, подняв нас на другую гору к парку, созданному Гауди, и спустив к берегу моря и олимпийской деревне. Если же еще сказать, что мы побывали в футбольную среду на матче «Барселоны» и ЦСКА, где наши выиграли (3:2, после 2:0 в первом тайме), то освоенное барселонское пространство окажется достаточно большим. Главное же, что мы много гуляли и смотрели и кое-что, значит, видели. И узнавали — но только через то, что видели. Или — слышали от испанки-экскурсовода. (Насколько я понял, это не была профессиональная водительница экскурсий и, возможно, принадлежала к той барселонской троцкистской организации, которая нас принимала. Об этом можно было догадаться по ее фразеологии; она употребляла такие выражения, как «мелкая буржуазия», «крупная буржуазия» и т. п. из политического словаря марксистов. Может быть, я и ошибаюсь, но похоже, что так и было.) Но, как и в Афинах, мы почти ничего не узнали про местную жизнь. То есть про то, как здесь живут. Возможно, это особенность всех международных сборищ (симпозиумов и т. д.); интернациональный состав участников, и темы, далекие от местных проблем, и соответствующий круг общения: в сущности, все тот же, наш, российский, потому что русские составляют большинство участников сборища. То есть российские, советские. Следовательно, о характере социальной жизни Барселоны нам оставалось только догадываться и ограничиваться ее внешней стороной. Без языка, в чу-

¹⁰ Хлевнюк О. В. — историк, в 90-х годах — член редколлегии журнала «Свободная мысль».

жой стране, приехав дней на пять — семь — десять, ты поневоле оказываешься наблюдателем, соглядатаем и не более того. Смотри, впитывай, догадывайся! И пытайся унести в своих глазах, в своей памяти, в своем обонянии, осязании — как можно больше, чтобы потом все, что удержится и уберется от рассеяния, когда-нибудь перебирать как что-то дорогое и возвращающее прожитое время с его прекрасными минутами.

Имя Барселоны (до этого — имя Афин и т. п.) казалось сказочным в своей недоступности и возможность побывать там — фантастической. Так бывает всегда: возникает возможность, потом она превращается во все более и более достижимую реальность; наконец настает день отлета, и ни сказочность, ни фантастичность не тускнеют, они только сильнее, чем прежде, ожидаемы, предвкушаемы, время и расстояние — до прикосновения к ним, до их достижения — начинают сокращаться. И далее — поразительный слом чувства: ты ступаешь на землю, это уже испанская земля, ты стоишь в огромном зале нового, сверкающего стеклом и мрамором барселонского аэровокзала, за стеклянной стеной — суета автомобилей, людей, ты видишь пальмы, и все это вместе значит, что ты уже здесь, в этом мире, и он вокруг тебя, и ты в нем: все ожидаемое случилось, произошло, ты продолжаешь свою жизнь уже здесь, это новая твоя данность, новая реальность, тебя как бы перенесло через черту, и сколько бы ты раз потом ни сказал: «Боже, неужели я в Афинах, Нью-Йорке, Барселоне, Шанхае, Риме!» — ты минуту спустя после этого патетического внутреннего возгласа — продолжаешь идти по улице, как обычно ходишь, и продолжаешь говорить с товарищами о все той же нашей несчастной России или тарашиться на витрины, и чудо, и вся фантастика — уже только твой новый быт — уличный, гостиничный, деловой и т. д. Но стоит тебе вернуться восвояси, то есть домой, и окунуться в привычную жизнь, сходить разок-другой на работу, почитать газетки, послушать рассказы домочадцев, и ты, по какому-нибудь случаю припомнив, что неделю назад в этот вот час был [в] Барселоне и именно там-то и там-то, вдруг с волнением скажешь себе: «Боже, неужели я в самом деле был в Испании, в этом городе с почти сказочным и фантастическим именем?» И опять, как прежде, почувствуешь, сколь он недосяжим и нереален для тебя. Сколько раз, увидев по телевидению места, где я побывал, я недоверчиво говорил себе: нет, не может быть, нет, меня там никогда не было! Это моя невидимая легкая тень там промелькнула и, как водится, как полагается прозрачным человеческим теням, не оставила там никакого следа! Я даже думал в такие минуты, сколько же раз надо пройти той улицей и площадью, сколько раз надо туда приехать, чтобы освоить это пространство, чтобы никогда не поднимало голову сомнение: да был ли я там, господи! (Мелькнет иногда на экране какая-нибудь костромская хроника: площадь у каланчи, торговые ряды и спуск у книжного магазина, и я же не сомневаюсь: тут был, жил, ходил, — или это и есть особенность обжитого, освоенного, стократ исхоженного пространства и его отличие от пространства, пересеченного быстрыми шагами чужестранца с его рассредоточенностью, занятостью своим, невозможностью отключиться от суеты, с его разогнанностью совсем другой, не похожей на здешнюю, жизнью...)

Барселона — спокойное, стабильное богатство, и никаких признаков тревоги (на улицах нет ни полицейских, ни военных — этих не встретили ни одного), но на стенах домов и заборов можно увидеть надписи, призывающие к свободе Каталонии, и рядом пятиконечные звезды (углем или еще чем-то — может быть, краской), — попадалась и надпись в поддержку коммунистов. Но некая каталонская революционность померещилась мне и в склонности города к модернистскому искусству, особенно заметной в уличной скульптуре — яркой и праздничной и, разумеется, дерзкой. Может быть, я обманулся и домысливал что-то несвойственное, но социальный интерес, как мне показалось, присутствовал в барселонском уличном быту сильнее, чем в Афинах: больше книжно-газетной торговли, больше людей у этих киосков, больше людей с газетами на бульварах, на скамеечках. И вообще больше книжных магазинов, чем в тех же Афинах. Да и барселонцев пришло на встречу с участниками

симпозиума — надо понимать, по призыву барселонских троцкистов (предъявлялись приглашения при входе) — человек триста, и среди них — много совсем молодых, но были, впрочем, и люди постарше, седые, не с опытом ли тридцатых годов. И слушали хорошо, или внимательно, с подлинным интересом, или — дисциплинированно. Думаю, что верно и то, и то...

12.11.92.

Все удаляется и заслоняется... И отчаянные бывают мгновения, когда... Словно жизнь уже кончилась. Родина никогда не казалась мне безобразной, она как дом, где все родное — и бедное, и неказистое, и обтрепанное. Тяжело от другого — от нового насилия над людьми, которых с новым энтузиазмом и новой самоуверенностью волокут, подгоняют к новым сияющим вершинам. При этом не устают повторять: вся ваша прошлая жизнь ничтожна и напрасна, вы дураки, потому что утописты-идеалисты, вы еще не поняли, что уже не книга, а «валюта — лучший подарок» и деньги — превыше всего, новое солнце России, именуемой свободной и демократической... Я видел эту новую Россию, призванную заменить таких, как мы, когда она расхватывала багаж в Шереметьеве-2 после прилета из Стамбула. Какие гигантские тюки она волокла, как громогласно перекликалась, как глядела, не видя, на людскую мелюзгу, путающуюся под мощными, молодыми ногами и мешающую, мешающую их хищной, жадной прыти... Я поздравляю тебя, родина, с новыми героями, я рад, что меня не будет, когда они окончательно восторжествуют. Я молю Бога, чтобы сыновьям нашим было легче — особенно Никите — пройти через эту новь, с нею не соприкоснувшись, ею не заразившись и что-нибудь сохранив из старого нашего обихода... (Нет, тяжело писать про это, я только-только приближаюсь к точным словам, а в точных словах, уже в самом приближении к ним, есть что-то пугающее, очень холодное, не пускающее дальше...) Теперь-то мы поняли, каково в революцию, нет, еще хуже, мы начинаем понимать, каково в контрреволюцию, устроенную вчерашними ретивыми служителями «рреволюционной» идеи — ельциными, бурбулисами, гайдарами и т. п. И снова, как и раньше, за все расплачивается народное большинство. А те, и вчера и сегодня, — среди сытых, поучающих, ведущих, рассуждающих, командующих и всегда — правых. Делали карьеру вчера — и были правы, делают ее сегодня, как бы в противоположном идейном направлении, и снова — правы, и на лицах — никакого румянца стыда, и в голосах — никакой заминки, о, порождение коммунистического монстра, его опора, его строители, его певцы — а теперь его ниспровергатели и герои ниспровержения!.. Хоть бы кто объяснил это позднее прозрение, хоть бы понять, что они думали и делали и что читали все эти долгие годы — 60 — 80-е? Или ничего не видели, не понимали, или во имя карьеры и успеха давным-давно отпонились? А впрочем, — может быть, и верно: они уже получают свое, и мы об этом не знаем, и так оно и есть: не думайте о них, не следите за ними, они уже получают свое, и это как дождь падающий, и звук наступающий, и тень падающая... тень накрывающая...

13.12.92.

С шестнадцатого номера наш журнал не выходит, типография больше не хочет печатать в долг. И первый номер в набор не берут — по той же причине. Вся надежда на М. С.; он обещал поддержку, и завтра или в ближайшие дни мы с Н. Б. хотим (обязаны!) к нему попасть. Н. Б. хочет, чтобы в переговорах участвовал и я. На этот раз я более чем заинтересованное лицо: нужна ясность на будущий год — стоит ли нам огород городить или пора расходиться, в очередной раз признав факт предательства; Залыгин настойчиво зовет к себе, и на этой неделе я должен дать ему окончательный ответ. По совести говоря, идти на новую службу, хотя и литературную, и заметную (зам. редактора «Нового мира»), мне не хочется, хотя там и денежнее и проч. Ситуация в литературе и вокруг отвратительная, и окутаться снова в этот омут не очень-то хочется. Я предпочел бы усилить и усилить наш журнал, но без поддерж-

ки Фонда это немыслимо. Совсем бы уйти со службы, но времена не позволяют: скоро не на что будет кормиться <...>. Никогда не думал — миллионы людей не думали, — что к концу жизнь моя — наша — окажется столь незащищенной и бедной в самом прямом смысле слова.

Приходит в голову простая и грубая мысль: это не справляется с действительностью человеческий ум, надламывается, искажается, «едет крыша», образуются и варьируются умственная массовая болезнь — что-то похожее было в годы революции и позднее. Люди больны — не свинкой, не тифом — а умом. Но больны ли — распространители болезни, носители вируса, — это вопрос, тут надо подумать. Когда распространяется — это болезнь, а вот когда возникает и выявляется?..

Приходит понимание, что переменить направление нынешнего потока, успокоить течение может только крупная личность или группа согласно действующих личностей. Только в этом случае Россия спасется как Россия, продолжающаяся, а не какая-то новая, подогнанная под западные образцы. Когда я думаю о будущем, в которое нас тащат всякие «демоссы» и тот же Ельцин с Гайдаром и дружками, то я радуюсь, что я его не увижу. Впрочем, в то, что у них получится эта подгонка под стандарт, я не верю. Сильно не верю, но возможность допускаю. Ставка на худшие приобретательско-потребительские качества человека надежнее, чем ставка на его лучшие и чистые силы. Но маятник все равно качнется в обратную сторону, но вот загадка: достиг ли он или когда достигнет в нынешнем разгоне своей крайней точки, чтобы откатнуться назад? <...>

19.12.92.

Во вторник (15-го) поехали с Биккениным с утра в Фонд, где в десять утра открывалась международная конференция о будущем новой Европы. Уселись так, чтобы оказаться напротив М. С. Он появился в сопровождении охранника и корреспондентов. Обнялся с Млынаржем, еще с кем-то из иностранцев. Присев на свое место в президиуме, через короткое время заметил нас и подошел к нам. Разговор был коротким, я успел вставить, что журнал стоит и что в двух из остановленных номеров его тексты. «Сколько нужно?» Биккенин ответил, что три с половиной миллиона. «Хорошо, помогу». Н. Б. успел еще попросить о встрече. «После конференции, в четверг». На том и расстались. Мы выслушали вступительную речь М. С. и уехали.

В четверг нам было назначено на половину шестого, но предупредили, что идет совещание и что мы можем прождать дольше. Мы приехали в начале шестого. Ждали. Объяснявшийся с каким-то американцем или англичанином Лихоталь пообещал нам сказать М. С., что мы пришли и ждем. Мы прождали до перерыва в совещании, когда в коридоре появились наши знакомые, в том числе Логинов, Остроумов, Шахназаров. Н. Б. познакомил меня с В. А. Медведевым, и тот посоветовал нам позаседать вместе со всеми. Прихватив стулья, мы внедрились в небольшой кабинет, где помимо уже названных увидели Черняева, Красина, Галкина, Шостаковского, Кувалдина, Батурина, Мушкетерова, Вебера, Млынаржа, Капустина и еще двоих, неизвестных. Оказывается, шло обсуждение итогов съезда и всего, что ему сопутствовало. (Горбачев отсутствовал две недели, побывав в четырех латиноамериканских странах.) Яковлева не было. Как сказал Лихоталь, он «наверху во всех смыслах» (имелся в виду третий этаж здания, мы заседали на втором, и вхождение в правительственный комитет (по реабилитации) на правах начальника). Горбачев начал обсуждение нашего (журнального) положения при всех: «Вот представители „Свободной мысли“... Завтра я подпишу, но не нужно думать, что мы возьмем журнал на содержание». Потом Биккенину, несколько растерявшемуся (господи! генсек ведь! Разве такое забудешь!), пришлось тоже немного порассуждать о съезде, о том, что думают по сему поводу в коллективе редакции. Было девять часов, когда все это закончилось, и М. С. сказал: «Заходите втроем». Разговаривали стоя посреди его кабинета (вместе с нами зашел Медведев, оказавшийся вблизи довольно симпатичным человеком): о политике, Ельцине, о

журнале. Опять обещал «завтра» подписать чек или что там еще на три миллиона. Пускаться в длительные объяснения было уже невозможно; пытаюсь сохранить какую-то возможность для продолжения обсуждения судьбы журнала, я сказал, что мы напишем свои предложения... Домой я приехал без двадцати десять, все уже беспокоились, куда это я подевался. Под настроение, может быть, опишу впечатления от встреч подробнее. Во всяком случае, в четверг Горбачев выглядел энергичным, уверенным, реагировал на все и говорил остро и в то же время очень обдуманно <...> Мы-то надеялись на более тесное и осознанное сотрудничество, то есть на определенные финансовые гарантии — новый год-то вот он, а как в нем жить? Ну, покроем с помощью Фонда долги, рассчитаемся с издательством и сотрудниками за год уходящий, а дальше что? Думали, станет легче, а ничего не отлегло.

Сию и ломаю голову, как быть: оставаться и разделить судьбу своих товарищей, выпуская журнал, пока совсем не потонем? Или уходить к Залыгину? Или в «Дружбу народов», куда зовут тоже?

Что говорить Залыгину, не знаю. И соглашаться не хочется, и утратить этот шанс, этот выход — тоже.

27.12.92.

Год на закате. И жизнь. Горбачев в «Итогах» (сегодня): «Все еще впереди». В той же программе повторяют дурацкую фразу Ельцина, сказанную в Китае о себе как «хозяине» страны, который должен поскорее вернуться и навести порядок. Бесконечные толки — по ТВ — о министрах, о людях, имена которых, уверен, ничего не говорят стране. Почему-то предлагают горевать об отставке Авена, чья деятельность никому не известна. Полторанин назначен главой новой чиновничьей конторы: Федеральный информационный центр. Теперь он через ТВ и телеграфные агентства будет проводить «правительственную линию». Ничего нового. Министерство правды или пропаганды. Все это скучно и противно.

Зарплаты так еще и не получили. Антипов делает попытки залучить-получить надежных и богатых арендаторов. Все не ясно. На днях отказался испытать счастье в роли главного редактора «Дружбы народов». Надо было выставить свою кандидатуру на выборах (Сашу Руденко забаллотировали: 4 против 16). Говорят, что за меня проголосовали бы. Вполне возможно.

Часто всплывает в памяти Кострома и многое другое. Мы живем среди живых, но и в мире теней. Почему-то я вспомнил пишпекскую улицу, ведущую к станции, и огромное поле тюльпанов перед ипподромом. Так вот: там я проходил — весной сорок пятого с мамой и соседями шли в кино на «Шесть часов вечера после войны»: через булыжную мостовую бежали ручьи, и мы через них перебирались. И подумалось: прошли — и нет нас, но мы же рассекали то пространство, тот вечерний волнующий воздух, наши ноги ступали по тем камням — и никакого следа. Никакого следа от присутствия. Жили, думали, переживали, и — ничего. Что же тогда, если не тени? И никаких отражений — в деревьях, в стенах домов, в заборах, в самом воздухе, стоящем над землей? Тени, только тени, и весь смысл в присутствии, продляемом только в потомстве, в творчестве, в каком-то деле. Но и это продление — только утешающее сознание, пока оно само живо; перемена возможна только в том случае, если окажется прав Н. Федоров и его «общее дело» когда-нибудь восторжествует.

Наверное, я все-таки коммунист, и не в смысле принадлежности к политической партии, а по своим чувствам, по тому, что считаю справедливым и подлинно человеческим.

И еще мне противно, что нашу страну, ее великую культуру, ее живой, несломленный дух «подверстывают» под американские мерки, американский стандарт. Мое неприятие происходящего никогда не было столь тотальным.

(Окончание следует.)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИРИНА СУРАТ

*

СМЕРТЬ ПОЭТА

Мандельштам и Пушкин

В 1925 году, разбирая вещи в старом сундуке, Надежда Мандельштам обнаружила отдельные страницы текста, который они с мужем считали утерянным, — фрагменты доклада «Скрябин и христианство», произнесенного Мандельштамом в Санкт-Петербургском Религиозно-философском обществе (или в Скрябинском обществе) то ли в 1915-м, то ли в 1916 году¹. Если бы не эта счастливая находка, от нас бы осталась сокрыта внутренняя связанность и глубинная мотивация одного из наиболее таинственных образных гнезд мандельштамовской поэзии и можно было бы, бесконечно множа источники и толкования, так и не дойти до сердцевины, из которой произрастали и далеко расходились впоследствии пучки поэтических мотивов.

Сетую об утрате «Скрябина и христианства» (другое название — «Пушкин и Скрябин»), Мандельштам говорил: «Это основная моя статья»². Время не поправило эту оценку — статья, хоть и дошла частично, действительно оказалась «основной»: в ней начинающий поэт выдал невероятный сгусток интеллектуальной энергии как результат творческого переживания большой истории и выпавшей ему кризисной эпохи, он как будто высказал вперед, себе на вырост, важнейшие мысли о религиозном содержании новейшей истории, об искусстве в его отношении к христианству, о духе музыки, о вечности и смерти. Непосредственным поводом к этим высказываниям послужила смерть Скрябина — Мандельштам ее сравнивает со смертью Пушкина:

«Дважды смерть художника собирала русский народ и зажигала над ним свое солнце. Они явили пример соборной, русской кончины, умерли *полной* смертью, как живут *полной* жизнью, их личность, умирая, расширилась до символа целого народа, и солнце-сердце умирающего остановилось навеки в зените страдания и славы <...>

Пушкина хоронили ночью. Хоронили тайно. Мраморный Исаакий — великолепный саркофаг — так и не дождался солнечного тела поэта. Ночью положили солнце в гроб, и в январскую стужу проскрипели полозья саней, увозивших для отпеванья прах поэта.

Я вспомнил картину пушкинских похорон, чтобы вызвать в вашей памяти образ ночного солнца, образ поздней греческой трагедии, созданный Еврипидом, — видение несчастной Федры».

Как ни ищи «ночное солнце» у Еврипида — его там нет. Мандельштам читал Еврипида в переводе Иннокентия Анненского, сильно отредактированном Ф. Ф. Зелинским, и в нем есть тема солнца, которого уже не видит страдающая Федра, — но не более того. Мандельштам, по своему обыкновению, сконтаминировал еврипидовского «Ипполита» с «Федрой» Расина «в единый

Сурат Ирина Захаровна — пушкинист, доктор филологических наук. Автор книг «Пушкин. Биография и лирика» (1999), «Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества» (в соавторстве с С. Г. Бочаровым; 2002) и ряда других. Постоянный автор «Нового мира».

¹ Другая, менее вероятная, датировка — декабрь 1916 — январь 1917 года; см.: Мандельштам О. Э. Скрябин и христианство. Публикация А. Г. Меца, С. В. Василенко, Ю. Л. Фрейдина, В. А. Никитина. — «Русская литература», 1991, № 1, стр. 64 — 78.

² Мандельштам Н. Я. Вторая книга. М., 1999, стр. 113.

метасюжет»³ и уже Расиновой Федре передал в стихах этот образ: «И для матери влюбленной / Солнце черное взойдет» («Как этих покрывал и этого убора...», 1915 — 1916). Анализ всех многочисленных, выявленных коллективными усилиями книжных источников образа черного солнца⁴ приводит все-таки к мысли, что в основе его лежит конкретное личное событие и переживание, и Манделъштам прямо на него указывает: «Я вспомнил картину пушкинских похорон...» Вспомнил — так, как будто он все это въяве видел, непосредственно пережил и вот теперь свидетельствует. Картина ночных похорон солнца, раз увиденная внутренним зрением, прочно залегла в активных слоях манделъштамовской памяти, и с тех пор Петербург стал для него городом гибели, Исаакиевский собор — «саркофагом» («Кровавая мистерия 9-го января», 1922). Впоследствии Манделъштам, выбрав исторический момент с безукоризненной точностью, сознательно реализовал эту картину в жизни — и, кажется, освободился от нее, как от болезненного наваждения.

В «Разговоре о Данте» (1933) он рассуждал об особенностях поэтического слова:

«Когда мы произносим, например, „солнце“, мы не выбрасываем из себя готового смысла — это был бы семантический выкидыш, — но переживаем своеобразный цикл. Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. Произносив слово „солнце“, мы совершаем как бы огромное путешествие, к которому настолько привыкли, что едем во сне. Поэзия тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что говорить — значит всегда находиться в дороге». Недаром выбрано для примера слово «солнце», оно у Манделъштама — из самых «длинных», длина его — от жизни до смерти. О Скрыбине и о всяком художнике сказано: «Если сорвать покров времени с этой творческой жизни, она будет свободно вытекать из своей причины — смерти, располагаясь вокруг нее, как вокруг своего солнца, и поглощая его свет» («Скрыбин и христианство»). Солнце как сама жизнь, «солнце-сердце» оказывается одновременно и смертью — и дальше в тексте возникает образ черного солнца, жизнь и смерть совмещаются в черном солнечном диске. Жизнь поглощается смертью, но *sub specie aeternitatis* смерть становится причиной жизни и солнце черное остается солнцем. «Ткани нашего мира обновляются смертью».

Действительно, можно много найти книжных параллелей к этому образу на самом широком культурном пространстве, но Манделъштамом он не присвоен извне, а рожден из глубин творческого сознания, на наших глазах, в процессе текста, рожден усилием познать в поэтическом образе ни много ни мало как отношения жизни и смерти.

В таком понимании манделъштамовское «черное солнце» прямо соотносится с центральной идеей христианства. Перебрав все предложенные историками культуры параллели и источники, Надежда Манделъштам воскликнула: «Но как можно забывать основной образ тьмы, которая настала в шестом часу „и продолжалась до часа девятого“, и „померкло солнце“...»⁵ — она имела в виду событие Голгофы, в трех Евангелиях сопровождаемое солнечным затме-

³ Аверинцев С. С. Судьба и весть Осипа Манделъштама. — В кн.: Манделъштам О. С. П. Сочинения в 2-х томах, т. 1. М., 1990, стр. 7.

⁴ «Подтексты его уводят к таким разнообразным источникам, как сатиры Горация, пророчество Иоила, Нерваль, Вяч. Иванов, Апокалипсис, Валерий Брюсов и Гейне в переводе Тютчева» (Гаспаров М. Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Манделъштама. — В кн.: Манделъштам О. Полное собрание стихотворений. СПб., 1995, стр. 23). В этом беглом списке многое не названо, к примеру — затмение солнца в «Слове о полку Игореве», важном для Манделъштама произведении. Появляется «черное солнце» и у Марины Цветаевой — вскоре после интенсивного общения с Манделъштамом, в стихотворении «Черная, как зрачок...» (цикл «Бессонница», 1916).

⁵ Манделъштам Н. Я. Вторая книга, стр. 119.

нием (Мф. 27: 45; Мр. 15: 33; Лк. 23: 44 — 45). Распятие Христа — абсолютное воплощение той диалектики жизни и смерти, какая заключена в «черном солнце» у Мандельштама. Именно в этом значении оно появляется в стихах о смерти матери⁶:

Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.

Солнце желтое страшнее, —
Баю-баюшки-баю, —
В светлом храме иудей
Хоронили мать мою.

Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудей
Отпевали прах жены.

И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели —
Черным солнцем осиян.

(1916)

«Черное солнце» распятого Христа здесь противостоит безблагодатному «солнцу желтому» иудаизма, но с ним же и связано по происхождению — подобно тому, как историческое христианство зародилось в лоне иудаизма, «черное солнце» Христа в системе поэтических образов Мандельштама рождается из иудейского цветового спектра, из черно-желтого цвета дедушкиного талеса, от которого мальчику становилось «душно и страшно» («Хаос иудейский»), из «желтого сумрака» («Вернись в смесительное лоно...», 1920), который во всем творчестве Мандельштама сопровождает иудейскую тему⁷. Литературные подтексты приведенных стихов о смерти матери очевидным образом указывают на христианское содержание «черного солнца»: это «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, с его противопоставлением иудейского закона и христианской свободы и благодати⁸, а также строки А. С. Хомякова, звучащие в ритмах и лексике Мандельштама, — «Из ворот Ерусалима / Шла народная волна» и «Солнце новое взошло». Первая цитата — из стихотворения Хомякова «Широка, необозрима...» (1858) на Вход Господень в Иерусалим, вторая — из послания «К И. В. Киреевскому» (1848), где речь идет об открывшейся последнему христианской истине⁹.

В стихах о смерти матери латентно просвечивает лирический сюжет, годом позже развернутый в стихотворении «Среди священников левитом молодым...» (1917): в «ночи иудейской» сквозь ее «тревожную желтизну» проступает свет христианства, но, в отличие от сияющего «солнца Илиона» («Вернись в смесительное лоно...», 1920), это солнце — черное, солнце кончины и Воскресения в жизнь вечную. Сюжет ночных похорон и восходящего в ночи «черного солнца» будет устойчиво держаться несколько лет в лирике Мандельштама, изменяясь порой до неузнаваемости и наполняясь по-разному¹⁰, но в нем, как пра-

⁶ С этим спорят, но неубедительно; см.: Мусатов В. В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века. М., 1998, стр. 287 — 288.

⁷ См. об этом подробно: Тарановский К. Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000, стр. 77 — 105.

⁸ Ср. также «Неумолимые слова...» (1910) и «О свободе небывалой...» (1915).

⁹ Хомяковский подтекст выявлен Омри Роненом, см.: Ронен Омри. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002, стр. 37.

¹⁰ Ср., например, «Телефон» (1918), в котором современная история самоубийства парадоксально проецируется на евангельский фон с «полночными похоронами» и восходящим солнцем Распятия, а звонок телефона сравнивается с петушиным криком Гефсиманской ночью.

вило, присутствует один смысловой компонент: как «ночь иудейская», породившая Христа, отвергает его и хоронит, так и Россия-ночь убивает и хоронит свое солнце — Пушкина, и так же Федра Еврипида — Расина губит пасынка — своего возлюбленного, обрекает его на смерть.

Случайно ли, что уникальный мандельштамовский метасюжет объединяет своей образностью судьбу Пушкина и распятия Христа? Глубинную логику этой связи Мандельштам приоткрыл в «Скрябине и христианстве», говоря об отношениях искусства и христианства: «Христианское искусство всегда действие, основанное на великой идее искупления. Это бесконечно разнообразное в своих проявлениях „подражание Христу“, вечное возвращение к единственному творческому акту, положившему начало нашей исторической эре. Христианское искусство свободно. Это в полном смысле слова „искусство ради искусства“». Никакая необходимость, даже самая высокая, не омрачает его светлой внутренней свободы, ибо прообраз его, то, чему оно подражает, есть само искупление мира Христом. Итак, не жертва, не искупление в искусстве, а свободное и радостное подражание Христу — вот краеугольный камень христианской эстетики. Искусство не может быть жертвой, ибо она уже совершилась, не может быть искуплением, ибо мир вместе с художником уже искуплен, — что же остается? Радостное богообщение, как бы игра отца с детьми, жмурки и прятки духа! Божественная иллюзия искупления, заключающаяся в христианском искусстве, объясняется именно этой игрой с нами Божества <...> Христианские художники — как бы вольноотпущенники идеи искупления, а не рабы и не проповедники. Вся наша двухтысячелетняя культура благодаря чудесной милости христианства есть *отпущение мира на свободу* — для игры, для духовного веселья, для свободного „подражания Христу“». Вдова поэта откомментировала эти слова: «Быть может, именно таким сознанием объясняется легкая радость, которая никогда не покидала Мандельштама»¹¹.

И все-таки главная тема статьи — не «радостное богообщение» художника, а его гибель, соотносимая с Распятием. Само искусство — нет, не является искупительной жертвой, но художник в своем свободном «подражании Христу» почти неизбежно оказывается жертвой, расплачивается жизнью за дарованную ему свободу и радость творчества. И смерть его разрастается в своем значении («сказочный посмертный рост художника»), оказывая воздействие на ход истории, особенно «новой истории, которая со страшной силой повернула от христианства». Такова смерть и посмертная судьба Пушкина и Скрябина — «двух превращений одного солнца, двух перебоев одного сердца»; в их «полной смерти» есть то самое «торжество», о котором говорил когда-то Мандельштам¹².

Надо сказать, что взгляд на искусство как на радостную игру с Творцом не всегда был так актуален для Мандельштама, как в юности: «Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост», — написал он в «Четвертой прозе» (1930). Дикое мясо — «болезненный мясистый нарост на ранах и язвах» (В. И. Даль), след пережитой боли. Позже, когда после пятилетнего перерыва к Мандельштаму вернулись стихи, он напрямую поставил дело поэта, то самое «ремесло словесное», в зависимость от пролитой им «крови горячей» — принесенной личной жертвы («Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло...», 1930). Это — линия пушкинского «Пророка» в русской поэзии и пример глубокого (в отличие от множества явных) пушкинского подтекста в стихах Мандельштама. В представлениях о творчестве возобладал у него постепенно «привкус несчастья и дыма», в судьбе поэта на первый план вышла идея жертвы — «Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи...» — и чем дальше, тем отчетливее рифмуются у него «казнь» и «песнь».

¹¹ Мандельштам Н. Я. Вторая книга, стр. 115.

¹² Там же.

Немало написано о совершенно особом, сверхстрогом отношении Мандельштама к имени Пушкина. Кажется, первая сформулировала это Ахматова в «Листках из дневника»: «К Пушкину у Мандельштама было какое-то небывалое, почти грозное отношение — в нем мне чудился какой-то венец сверхчеловеческого целомудрия. Всякий пушкинизм был ему противен. О том, что „Вчерашнее солнце на черных носилках несут“ — Пушкин, ни я, ни даже Надя не знали, и это выяснилось только теперь из черновиков (50-е годы)¹³ <...>

Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем, —

(декабрь 1917)

конечно, тоже Пушкин. (Так он передает мои слова.)¹⁴ О той же сдержанности не раз говорила Надежда Мандельштам: он «считал, что нельзя упоминать всуе ничего, что связано с именем Пушкина», «скупо высказывался о самых дорогих для него вещах и людях, о матери, например, и о Пушкине <...> Иначе говоря, у него была область, касаться которой ему казалось почти святотатством...»¹⁵. Мандельштамовская поэзия вся полнится Пушкиным, вся им звучит, но имя Пушкина — почти неизрекаемое имя для Мандельштама, прямо он лишь раз называет его в поэзии («Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов...»). В статьях и прозе Пушкин упоминается легче, свободнее, но не как объект речи, а как точка отсчета, как камертон, по которому настраивается мысль. Собственно о Пушкине, специально о Пушкине Мандельштам почти никогда не высказывается — а вот как фигура умолчания Пушкин присутствует нередко. Самый, может быть, парадоксальный пример — цикл стихов о русской поэзии 1932 года («Батюшков», «Стихи о русской поэзии», «Дайте Тютчеву стрекозу...»), в которых названы Батюшков, Державин, Языков, Тютчев, Веневитинов, Боратынский, Лермонтов, Фет, а Пушкин не назван. Ахматова никак не могла понять этого. «Единственное, чего я не принимаю у него, — это, как ни странно, „Стихи о русской поэзии“». Здесь он ухитрился не заметить Пушкина» — так передала ее слова Эмма Герштейн¹⁶. Между тем это Ахматова «ухитрилась не заметить Пушкина» в «Стихах о русской поэзии» — ни пушкинских реминисценций, во множестве выявленных современными исследователями¹⁷, ни самой темы Пушкина. В тех же мемуарах Герштейн рассказывает, какой «богатой интонационной игрой» отличалось чтение Мандельштамом третьего стихотворения цикла — «Полюбил я лес прекрасный...»: «Оно разрешалось апофеозом, провозглашенным полной грудью на открытом и глубоком дыхании», — и добавляет: «Когда я прочла эти стихи Осмеркиным, Елена не сразу поняла, какое отношение имеет мандельштамовский лес к русской поэзии. Александр Александрович мгновенно отпарировал: „А Кольцова ты понимаешь на смерть Пушкина — „Что, дремучий лес, призадумался?“»¹⁸. В причудливых образах Мандельштам развивает тему и поэтический ход кольцовского «Леса», но заветного имени в ряду других любимых имен не произносит; его лес — соборный образ русской поэзии, где всё со всем перекликается¹⁹, и одновременно — память о смерти Пушкина.

¹³ Под черновиками наверняка имеется в виду «Скрябин и христианство».

¹⁴ Ахматова Анна. Сочинения в 2-х томах, т. 2. М., 1990, стр. 209 — 210.

¹⁵ Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М., 1999, стр. 38, 78.

¹⁶ Герштейн Эмма. Мемуары. СПб., 1998, стр. 459.

¹⁷ Наиболее полно см.: Гаспаров Б. М. Сон о русской поэзии. — В его кн.: «Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века». М., 1994, стр. 124 — 161.

¹⁸ Герштейн Эмма. Мемуары, стр. 32.

¹⁹ Вообще лес — одна из любимейших мандельштамовских метафор, сопровождающая, как правило, архитектурно-сакральные и музыкальные образы — «Notre Dame» (1912), «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа...» (1918), «Концерт на вокзале» (1921), статьи «Петр Чаадаев» (1914), «Гуманизм и современность» (1923).

Пушкин здесь — то самое ночное солнце, всему дающее жизнь, но закатившееся, невидимое. Так и кажется, что Мандельштам заранее, пророчески упрекнул Ахматову: «А ночного солнца не заметишь ты». Мудрено же было и заметить — настолько прикровенно его присутствие.

Иудейский запрет на произнесение сакрального имени был у Мандельштама в крови²⁰, а имя Пушкина было для него сакральным. Мы имеем дело с глубокой, интимной тайной духа — и оставим амбицию раскрыть ее. Тут можно только выявить и выстроить факты и просмотреть по этому пунктиру драматический сюжет развития внутренней связи одного поэта с другим — сюжет, который постепенно проявлялся как линия мандельштамовской судьбы.

Современники отмечали внешнее сходство молодого Мандельштама с Пушкиным. У Одоевцевой даже рассказан анекдот, как прислуга Георгия Иванова, повесившего у себя над диваном портрет Пушкина, приняла его за мандельштамовский и возмущалась, что его, Осипа, «богомерзкую морду на стенку повесили»²¹. По молодости Мандельштам педалировал это сходство, слегка играл на нем — носил пушкинские бачки, а однажды явился на маскарад костюмированным под Пушкина²². Позже эта самоидентификация приобрела другие формы: в «Шуме времени» (1923) он сравнил свое Тенишевское училище с пушкинским Лицеом, а в «Четвертой прозе» (1930) назвал своего обидчика, «литературного убийцу» Горнфельда, Дантесом. Можно собрать большой материал на тему параллелей в биографиях двух поэтов (дуэльные ситуации, кавказское путешествие, персональные отношения с верховной властью, ссылка), но все они — скорее следствие, чем причина той непостижной тайны слияния душ, которая не позволяла Мандельштаму вступать с Пушкиным в субъектно-объектные отношения, в отличие от Ахматовой или Ходасевича, выразивших свою любовь к Пушкину в профессиональном пушкинизме.

Надежда Мандельштам оспорила приведенные выше слова Ахматовой о «вчерашнем солнце»: «Ахматова, чересчур быстрая в своих решениях, поспешила всякое солнце сделать Пушкиным, а для Мандельштама любой человек — центр притяжения, пока он жив, умерший — он мертвое или вчерашнее солнце. „Вчерашнее солнце” не Пушкин, а просто любой человек, и черный — траурный цвет — носилки, а не солнце»²³. Спор идет о стихотворении «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...» (1920), о строках:

Человек умирает. Песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Да, любой человек — центр притяжения, пока он жив, но о любом человеке стихи не пишутся. А главное — есть память образа, как устойчивого собственно мандельштамовского образа и сюжета похорон солнца, так и большого образа российской культурной истории. Пушкин еще при жизни воспринимался как солнце, как центр поэтической вселенной — знаменитые слова из некролога В. Ф. Одоевского: «Солнце нашей Поэзии закатилось!» только оформили это общее признание. В дальнейшем речь шла все больше о закате (в начале XX века тому способствовала, в частности, солнцеборческая и антипушкинская активность футуристов — сборник «Победа над солнцем», 1913), и когда Владислав Ходасевич в речи «Колеблемый треножник» (1921) говорил о грядущем «затмении пушкинского солнца», он уже оперировал устойчивой и общепонятной метафорой. К той же метафоре отсылают и ахматовские стихи на смерть Блока:

²⁰ Ср. стихотворение «Образ твой, мучительный и зыбкий...» (1912).

²¹ Одоевцева Ирина. Избранное. Стихотворения. На берегах Невы. На берегах Сены. М., 1998, стр. 360.

²² Ряд биографических материалов заимствован нами из книги Олега Лекманова «Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнеописание» (в печати). Сердечно благодарим автора за всемерную помощь в работе.

²³ Мандельштам Н. Я. Вторая книга, стр. 118 — 119.

Принесли мы Смоленской заступнице,
 Принесли Пресвятой Богородице
 На руках во гробе серебряном
 Наше солнце, в муке погасшее, —
 Александра, лебедя чистого.

В стихотворении Мандельштама тема похорон «вчерашнего солнца» соседствует с темой неизрекаемого имени — «легче камень поднять, чем имя твое повторить» — и с темой поэзии: «Время вспахано плугом, и роза землею была» — ср.: «Поэзия — плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются сверху». Дальше в статье «Слово и культура» (1921) говорится о новом рождении «вчерашнего дня» поэзии, называется имя Пушкина — как обычно у Мандельштама, проза дает ключ к стихам. Но в каком-то отвлеченном смысле Надежда Мандельштам права: «человек», умирающий в этих стихах, — любой человек, как и лирическое Я поэта — тоже любой человек, такова природа поэзии. «Я говорю за всех с такою силой...» — возгласит Мандельштам в 1931 году и подпишет эти стихи днем рождения Пушкина.

Второй ахматовский пример — из стихотворения «Кассандре» (1917):

Я не искал в цветущие мгновенья
 Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
 Но в декабре торжественного бденья
 Воспоминанья мучат нас!

И в декабре семнадцатого года
 Всё потеряли мы, любя;
 Один ограблен волею народа,
 Другой ограбил сам себя...

Когда-нибудь в столице шалой
 На скифском празднике, на берегу Невы —
 При звуках омерзительного бала
 Сорвут платок с прекрасной головы.

Но, если эта жизнь — необходимость бреда
 И корабельный лес — высокие дома, —
 Я полюбил тебя, безрукая победа
 И зачумленная зима.

На площади с броневиками
 Я вижу человека — он
 Волков горящими пугает головнями:
 Свобода, равенство, закон.

Больная, тихая Кассандра,
 Я больше не могу — зачем
 Сияло солнце Александра,
 Сто лет тому назад сияло всем?

Стихотворение обращено к Ахматовой, в нем след каких-то разговоров с ней о Пушкине («Так он передает мои слова»), о современности, об историческом разломе 1917 года. «Сияло солнце Александра» — это тоже пушкинское солнце, сомнения в этом²⁴ развеются, если сопоставить этот стих с пушкинским «Померкни, солнце Австерлица!» («Наполеон», 1821). Наполеоновскую фразу «Вот солнце Аустерлица!», произнесенную утром Бородинской битвы и перевернутую Пушкиным, Мандельштам вспоминает в «Шуме времени» с учетом пушкинского стиха: «Ночное солнце в ослепшей от дождя Финляндии, конспиративное солнце нового Аустерлица!» Так что имплицитно «ночное солнце» есть и в «Кассандре» — солнце Пушкина, «сиявшее всем» «сто лет назад» и померкшее в новую историческую эпоху. Здесь берет начало одна из сильнейших лирических тем Мандельштама — тема века, которая, как глубокая борозда, пройдет через всю его поэзию «включительно по три-

²⁴ Предлагается, например, фигура Александра I.

дцать седьмой»²⁵. Соседство этой темы с Пушкиным — признак их глубинной связи, и по мере приближения пушкинского столетнего юбилея 1937 года связь эта становилась все конкретнее. У Мандельштама не было и тени идеализации XIX века, и граница веков не проходила для него по формально-хронологической черте. «Век-волкодав» — это век без Пушкина, это послепушкинская эпоха «ночного солнца», с которой так мучительно выяснял свои личные отношения Мандельштам. В «Кассандре» впервые он заговорил о современности как об эпохе пушкинского послесмертия, и здесь же впервые тема погасшего пушкинского солнца соединяется у него с темой «Пира во время чумы» — с эсхатологической темой Пушкина.

С конца 1917 года «Пир во время чумы» становится особенно актуален для Мандельштама. Это связано с нарастанием его собственных эсхатологических настроений или, как сформулировала вдова поэта, с «первым приступом эсхатологических предчувствий», который она справедливо относит к «периоду становления „Тристий“»²⁶. Неплохо знавший Мандельштама композитор Артур Лурье утверждал: «Эсхатологическое сознание было главной движущей силой Мандельштама, подлинной творческой интуицией в ее высшей категории и на большой глубине»²⁷. Это сознание, проявившееся у Мандельштама в первые же его творческие годы, резко обострилось после 1917-го, с наступлением новой исторической эпохи. Пушкинский «Пир во время чумы» оказался, и не только для Мандельштама, точной художественной моделью отношений между культурой и современностью. Марина Цветаева в «Нездешнем вечере» писала: «Начало января 1916 г., начало последнего года старого мира. Разгар войны. Темные силы. Сидели и читали стихи. Последние стихи на последних шкурах у последних каминов <...> Завтра Ахматова теряла *всех*, Гумилев — жизнь. Но сегодня вечер был наш! Пир во время Чумы? Да. Но те пировали — вином и розами, мы же — бесплотно, чудесно, как чистые духи — уже призраки Аида — словами: *звучом* слов и живой кровью чувств»²⁸. В 1920-е годы ощущение пира во время чумы нарастало, захватывая и таких относительно лояльных тогда художников, как Пастернак: «...и поняли мы, / Что мы на пиру в вековом прототипе — / На пире Платона во время чумы» («Лето», 1930).

У Мандельштама скопление реминисценций из «Пира во время чумы» приходится на 1931 — 1933 годы²⁹. По поводу стихотворения «Я скажу тебе с последней прямокой...» (1931) Надежда Мандельштам пояснила: «Пир во время чумы, а чума ощущалась полным ходом»³⁰. К тому же времени относится воспоминание Бориса Кузина о чтении Мандельштамом Пушкина: «Однажды, в связи с каким-то упоминанием „Пира во время чумы“, он произнес начало песни Мери, закончив стихами

И сверкали в светлом поле
Серп и быстрая коса.

Ни сам он и никто из присутствовавших уже не мог продолжать разговор о Пушкине. Произнеся эти стихи, О. Э. сдернул какую-то пелену, затуманивавшую их полный блеск и силу»³¹.

²⁵ Слова Мандельштама о расположении стихов Пушкина в издании Исакова, том самом, которое он описал в «Шуме времени», в главе «Книжный шкаф»: «Черная песочная ряска за четверть века всё любовно впитывала в себя, — духовная затрапезная красота, почти физическая прелесть моего материнского Пушкина так явственно мною ощущается».

²⁶ Мандельштам Н. Я. Вторая книга, стр. 112.

²⁷ Цит. по кн.: Мандельштам О. С. П. Камень. Л., 1990, стр. 316 («Литературные памятники»).

²⁸ Цветаева Марина. Избранная проза. В 2-х томах, т. 2. Нью-Йорк, 1979, стр. 140 — 141.

²⁹ Подробно см.: Тоддес Е. А. К теме: Мандельштам и Пушкин. — «Philologia». Рижский филологический сборник. Вып. 1. Рига, 1994, стр. 75 — 81.

³⁰ Мандельштам Н. Я. Книга третья. Париж, 1987, стр. 150.

³¹ Кузин Б. С. Воспоминания. Произведения. Переписка; Мандельштам Н. Я. 192 письма к Б. С. Кузину. СПб., 1999, стр. 154.

Так глубоко пережитую метафору пушкинской маленькой трагедии Мандельштам развернул в концовке «Шума времени». XIX век он воспринимал как «буддийский», носивший в себе «внутреннюю ночь» и «слепоту крови» («Девятнадцатый век», 1922), и на этом фоне литература XIX века предстала ему в пушкинском образе пира во время чумы:

«Литература века была родовита. Дом ее был полная чаша. За широким раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Скиннув шубу, с мороза входили новые. Голубые пуншевые огоньки напоминали приходящим о самолюбии, дружбе и смерти. Стол облетала произносимая всегда, казалось, в последний раз просьба: „Спой, Мери“, мучительная просьба позднего пира.

Но не менее красавицы, поющей пронзительную шотландскую песнь, мне мил и тот, кто хриплым, натруженным беседой голосом попросил ее о песне».

Образы века — «ночь» и «зима», ими кончается «Шум времени». Те же метафорические «ночь» и «зима» — в «Кассандре», «зачумленная зима», «зима» и «чума», так мощно рифмующиеся в пушкинской песне Вальсингама. В стихах 1918 — 1920 годов пушкинская тема ночного пира во время чумы набирает силу, и как у Пушкина она сложно интонирована, так и у Мандельштама звучит по-разному.

Когда в теплой ночи замирает
Лихорадочный Форум Москвы
И театров широкие зевы
Возвращают толпу площадям, —

Протекает по улицам пышным
Оживленье ночных похорон;
Льются мрачно-веселые толпы
Из каких-то божественных недр.

Это солнце ночное хоронит
Возбужденная играми чернь,
Возвращаясь с полночного пира
Под глухие удары копыт,

И как новый встает Геркуланум
Спящий город в сияньи луны,
И убогого рынка лачуги,
И могучий дорический ствол!

(1918)

Эсхатологический контекст «полночного пира» создается не только упоминанием Геркуланума — засыпанного пеплом города, но и центральным событием стихотворения — похоронами «ночного солнца». Здесь высвобождается катастрофическая энергия образа, полнота его культурно-исторических смыслов, открывается стоящая за ним эсхатологическая перспектива. Ведь «черное солнце» есть в Апокалипсисе: «...и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь» (Откр. 6: 12), есть оно и в Книге Иоиля, в пророчестве о Судном Дне: «...солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет» (Иоиль 2: 10; 2: 31; 3: 15). «Чего гадать, откуда пришло черное солнце, — пишет Надежда Мандельштам³², — оно <...> всюду и всегда связано с концом мира». В мандельштамовском «Когда в теплой ночи замирает...» Москва сравнивается с Геркуланумом, но и совмещается с Римом (Форум в сочетании с луной — римский мотив Мандельштама — ср. «Поговорим о Риме — дивный град!..», 1914) — с темой «ночного солнца» это сложно увязано. Московско-римские похороны солнца в этих стихах — поэтический эквивалент мыслям все того же доклада «Скрябин и христианство»: тут Россия новой эпохи хоронит солнце Пушкина, как безблагодатный для Мандельштама Рим в лице своих воинов хоронил на Голгофе солнце Христа. И то и другое знаменует «страшный, противуестествен-

³² Мандельштам Н. Я. Вторая книга, стр. 121.

ный ход истории», «обратное течение времени», поворот истории вспять. На онтологической глубине Христос и Пушкин смыкаются у Мандельштама в важнейшем для него понятии «эллинизма»: «Эллинизм, оплодотворенное смертью, и есть христианство», а Пушкин — выразитель «русского эллинизма», «раскрытые эллинистической природы русского духа». Себя Мандельштам считал последним «христианско-эллинистическим поэтом в России»³³.

Отсвет «черного солнца» есть и в «Сумерках свободы» (1918), как и отзвук «Пира во время чумы» в первом стихе: «Прославим, братья, сумерки свободы!...» — «Восславим царствие Чумы»³⁴. Солнце свободы восходит, но оно помрачено:

Мы в легионы боевые
Связали ласточек — и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети — сумерки густые —
Не видно солнца, и земля плывет.

Много рассуждают и спорят о том, закат или восход свободы означают сумерки³⁵, но так ли это важно? Этот вопрос перекрывается эсхатологическим звучанием образа помраченного солнца как предвестия конца времен, и на этом фоне одно из авторских названий стихотворения — «Гимн» — звучит как отсылка к Вальсингамову гимну Чуме³⁶.

То чумой, то пиром поворачивается пушкинский сюжет в стихах Мандельштама первых послереволюционных лет, и тема пира звучит по-разному («театр», «праздное вече»), но в ней непременно присутствует смерть. В стихотворении «Когда в теплой ночи замирает...» пирует и хоронит солнце «чернь» — та самая пушкинская «чернь», о которой Мандельштам писал в статье «О собеседнике» (1913); в другом, ключевом для нашей темы стихотворении развернут традиционно-классический вариант пира — пир поэтов:

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты
Всё поют блаженных жен родные очи,
Всё цветут бессмертные цветы.

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.

Слышу легкий театральный шорох
И девическое «ах» —
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.

³³ Мандельштам Н. Я. Воспоминания, стр. 300 (со слов Н. И. Харджиева).

³⁴ Отмечено М. Л. Гаспаровым и Омри Роненом: Ронен Омри. Поэтика Осипа Мандельштама, стр. 135.

³⁵ См.: Сегал Дмитрий. Осип Мандельштам. История и поэтика. Ч. I. Кн. 2. Jerusalem — Berkeley, 1998, стр. 497 — 498.

³⁶ Месс-Бейер Ирина. Мандельштам и Пушкин: уроки свободы. — «Russian Language Journal», 1999, vol. 53, № 174-176, p. 315.

Где-то хоры сладкие Орфея
 И родные темные зрачки,
 И на грядки кресел с галереи
 Падают афиши-голубки.
 Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи
 В черном бархате всемирной пустоты.
 Всё поют блаженных жен крутые плечи,
 А ночного солнца не заметишь ты.

(1920)

«Мы» — поэты, «сойдемся снова» — как сходились в Петербурге поэты когда-то, во времена Пушкина («словно солнце мы похоронили в нем»³⁷). Апология поэзии, театра, искусства развернута на фоне «советской ночи», несущей смерть (как в «Нездешнем вечере» у Цветаевой), в пире обреченных поэтов участвуют не только собирательное «мы», но конкретно Пушкин и Блок: «злой мотор» сюда попал из близких «Шагов Командора»³⁸ — как предвестие рока, «легкий пепел» — из Пушкина, из задорного послания «Кривцову»³⁹, где юный поэт призывает друзей пренебречь страхом смерти на пиру жизни: «Смертный миг наш будет светел; / И подруги шалунов / Соберут их легкий пепел / В урны праздные пиров». Этой эпикурейской эскападе сложно отзывается мандельштамовское согласие на смерть: «Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи / В черном бархате всемирной пустоты».

Стихи начинаются похоронами солнца и кончаются «ночным солнцем» — но последние слова звучат неожиданно. «А ночного солнца не заметишь ты» — что это значит? Как будто в этом ночном пространстве стиха, когда уже погашены свечи, совершилось таинственное превращение лирического Я, незаметное окружающим, даже близким, как будто от начала стихов к концу произошла какая-то передача эстафеты, невидимое слияние лирического Я с пушкинским ночным солнцем. Пушкин — это сама поэзия, и «черное солнце» жизни и смерти — это не только Пушкин, но и поэзия вообще — поэзия посреди катастрофы, пир во время чумы.

Судьба Пушкина как центра поэтической вселенной, его гибель, непосредственно пережитая и оставшаяся в глубинах образно-поэтической памяти, оказались для Мандельштама одним из центральных событий не только в российской истории, но и в большой мистерии духа — этим и можно объяснить связь Пушкина и Христа в семантике «черного солнца».

В феврале 1921 года в Петербурге прошли вечера, посвященные 84-й годовщине смерти Пушкина, — по общему мнению, они вылились в тризну по уходящей культуре и означили отчетливую границу между прошлым России и наступающей «советской ночью». Первый вечер состоялся в Доме литераторов 11 февраля 1921 года — на нем Блок произнес речь «О назначении поэта», ставшую его завещанием; на следующем вечере, 14 февраля, вместе с Блоком выступил Ходасевич с речью «Колеблемый треножник» — о затмении пушкинского солнца в новую эпоху. Мандельштам в эти дни речей о Пушкине не говорил, но днем 14 февраля он совершил поступок, которым исчерпывается сюжет похорон солнца в его лирике.

Надежда Павлович рассказывала В. Д. Дувакину: «Чудную сцену я помню: как раз февральская годовщина смерти Пушкина. Исаакиевский собор тогда функционировал, там церковь была. И Мандельштам придумал, что мы пойдем сейчас служить панихиду по Пушкину. И мы пошли в этот собор заказать панихиду, целая группа из Дома Искусств. И он раздавал нам свечи. Я никог-

³⁷ Ср. со словами В. А. Жуковского: «Мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб» («А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». В 2-х томах, т. 2. М., 1985, стр. 406).

³⁸ Отмечено Н. И. Харджиевым в кн.: Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1978, стр. 279.

³⁹ Впервые отмечено А. А. Морозовым: «Краткая литературная энциклопедия». Т. 6. М., 1971, стлб. 254.

да не забуду, как он держался — в соответствии с обстоятельством, когда свечки эти раздавал. <...> Это было величественно и трогательно»⁴⁰. После этого рассказа особое звучание приобретают незадолго до того написанные стихи — «В Петербурге мы сойдемся снова, / Словно солнце мы похоронили в нем...», «Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи...» — как будто по стихам и вышло. Точная дата события устанавливается по дневнику А. И. Оношквич-Яцыны⁴¹ — она тоже была на панихиде, но не прониклась происходящим.

Речи Блока и Ходасевича на тех пушкинских вечерах 1921 года хорошо известны и осмыслены в культурно-историческом контексте⁴². Но и поступок Мандельштама должен быть прочитан как высоко значимый текст в общей тризне поэтов по Пушкину. Этой панихидой он выразил свое апокалиптическое ощущение гибели культуры и одновременно осуществил не состоявшееся в 1837 году отпевание Пушкина в Исаакиевском соборе. Мандельштам, конечно, знал о том, как Пушкин в годовщину смерти Байрона заказал панихиду «за упокой раба Божия боярина Георгия»⁴³, — но все это не объясняет полностью, почему из всех форм поминовения, доступных поэту, он избрал не столь уж близкий и привычный ему православный чин⁴⁴. Он отпел Пушкина в точное время в точном месте, но главное — он отпел его во Христе, похоронил как «черное солнце».

Так завершается этот мандельштамовский сюжет. С этого момента «черное солнце», «ночное солнце» навсегда уходит из его поэзии.

Видимо, вскоре после панихиды 14 февраля было написано стихотворение, которое, с датой «1921», замыкало сборник «Tristia»:

Люблю под сводами седья тишины
Молебнов, панихид блужданье
И трогательный чин — ему же все должны —
У Исаака отпеванье.

Люблю священника неторопливый шаг,
Широкий вынос плащаницы
И в ветхом неводе Генисаретский мрак
Великопостная седмицы.

.....

.....

Двусмысленность сохраняется: кого отпевают при выносе плащаницы в Страстную пятницу? По контексту стихотворения вроде бы ясно — речь в нем идет о Христе и христианской вере. Но нельзя пройти мимо ряда признаков текста и одного очевидного биографического факта — на Страстной неделе, то есть в середине апреля 1921 года, Мандельштам был далеко от Исаакиевского собора — в марте он уехал из Петербурга. Помимо двух архаичных форм прилагательных — «седья», «великопостная», — которые, впрочем, можно объяснить общим церковнославянским колоритом стихотворения, в нем есть одно уж очень по-пушкински звучащее слово: «широкопасмурным», ср. пушкинское «широкошумные». А главное — в нем слышатся отголоски и настроение пушкинских стихов на тему Великого поста — «Отцы пустынники и жены непорочны...». Надежда Мандельштам, говоря об отъезде Мандельштама из Петербурга, глухо упоминает об этих его стихах, определенно привязывая их к панихиде по Пушкину: «Последним впечатлением был грохот пушек из Кронштадта и „трогательный чин, ему же все должны — у Исаака отпеванье”». Из

⁴⁰ «Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников». М., 2002, стр. 122 — 123.

⁴¹ «Минувшее». Исторический альманах. 13. М. — СПб., 1993, стр. 401 — 402.

⁴² Подробнее см.: Сура т И. Пушкинист Владислав Ходасевич. М., 1994, стр. 12 — 20.

⁴³ Письмо Пушкина П. А. Вяземскому от 7 апреля 1825 года.

⁴⁴ Напомним, что Мандельштам был крещен в методистской церкви, православных обрядов не соблюдал.

прежних друзей <...> никто, кроме Ахматовой, не удостоился отпевания, да и она не „у Исаака” — запечатанного ныне собора»⁴⁵.

И все же Мандельштам не только поступком, но и словом присоединился к той тризне по Пушкину — речь идет о стихотворении «Концерт на вокзале». Оно возникло под впечатлением февральских пушкинских дней 1921 года, а дорабатываться могло и позже, когда Мандельштам уже знал о расстреле Гумилева и смерти Блока⁴⁶, — видимо, к весне 1922 года относится воспоминание Эмилия Миндлина, как поэт в Москве читал ему «написанный на днях „Концерт на вокзале”»⁴⁷. На фоне мемуарного очерка «Музыка в Павловске», открывающего книгу «Шум времени», стихотворение прочитывается как детское воспоминание о симфонических концертах в Павловском вокзале, куда Мандельштама водила мать, но в контексте событий 1921 года оно звучит как прощание с самим духом музыки, как реквием по поэзии и поэтам:

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но видит Бог, есть музыка над нами,
Дрожит вокзал от пенья Аонид,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.

Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заморожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон:
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это — сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала.
Скрипичный строй в смятении и слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках —
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах...

И мнится мне: весь в музыке и пене,
Железный мир так нищенски дрожит.
В стеклянные я упираюсь сени.
Горячий пар зрочки смычков слепит.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит!

В этих стихах среди реминисценций из Лермонтова, Тютчева, Анненского, Гумилева слышнее всего темы Пушкина и Блока и отчетливо — пушкинской речи Блока. Пушкина «убило отсутствие воздуха», «поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем» — у Блока; «Нельзя дышать, и твердь кишит червями» — у Мандельштама. В словах о кишашей червями тверди можно вычитать цитату из Давида Бурлюка⁴⁸, можно объяснить их реалистически — загрязненностью стеклянного купола Павловского вокзала⁴⁹, но ничто не снимает и не снижает смертного ужаса этого образа. Твердь небесная чревата смертью, и само слово «твердь» таит в себе «смерть» как внутреннюю рифму — так и в стихотворении «Умывался ночью на дворе...», написанном в Тифлисе осенью 1921 года по получении известия о смерти Блока и Гумилева. Та же тема смер-

⁴⁵ Мандельштам Н. Я. Вторая книга, стр. 72.

⁴⁶ О датировке см.: Ropen Omgu. An approach to Mandel'stam. Jerusalem, 1983, p. XVII; Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века, стр. 168, 179 — 180, 183.

⁴⁷ Миндлин Э. Осип Мандельштам. — В сб.: «Осип Мандельштам и его время». М., 1995, стр. 226.

⁴⁸ Тарановский Кирилл. О поэзии и поэтике, стр. 26.

⁴⁹ Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века, стр. 166.

тоносного неба получит грандиозное развитие в предсмертной апокалиптической оратории Мандельштама — «Стихах о неизвестном солдате» (1937).

И Мандельштам и Блок — оба, конечно, знали и помнили последние слова Пушкина: «Тяжело дышать, давит», но оба они не могли еще предвидеть последних слов блоковского дневника: «Мне трудно дышать, сердце заняло полгруды». Однако уже тогда, на пушкинских вечерах, говоря о пушкинском предсмертном удушье, Блок и сам производил такое впечатление: «И многим в этот вечер стало ясно, что и Блока убьет „отсутствие воздуха“, что неизбежная гибель Блока близка, хотя никто еще не знал, что Блок болен. Но весь его вид и даже звук его голоса как бы говорили:

Да, я дышу еще мучительно и трудно.
Могу дышать. Но жить уж не могу»⁵⁰.

Мандельштам называл «удушьем» периоды, когда он не мог писать стихи. С какого-то момента мотивы духоты, затрудненного дыхания становятся у него постоянными: «Душно — и все-таки до смерти хочется жить...» («Колют ресницы...», 1931), «Мне с каждым днем дышать все тяжелее...» («Сегодня можно снять декалькомани...», 1931) — вплоть до задыханий и одышки в стихах последнего воронежского года, когда он уже был болен и действительно плохо дышал⁵¹. Но пока, в 1921 году, эта тема смертного удушья с физическим здоровьем никак не связана — это метафора времени, как и «советская ночь».

Но главная тема «Концерта на вокзале» — тема музыки, блоковская⁵², она же и органичная мандельштамовская тема. В пушкинской речи Блок говорил о музыке как о самом существенном в деле поэта — об «освобождении звуков из родной безначальной стихии» и «приведении этих звуков в гармонию». Музыка — опорная категория поэтологии Блока, его историософии («Крушение гуманизма», 1919), его собственного поэтического дела. В окружении Мандельштама обсуждались жалобы Блока на то, что после «Двенадцати» он перестал слышать звуки — потому и перестал писать стихи. В статье памяти Блока Мандельштам говорил: «Поэтическая культура возникает из стремления предотвратить катастрофу, поставить ее в зависимость от центрального солнца всей системы, будь то любовь, о которой сказал Дант, или музыка, к которой в конце концов пришел Блок» («А. Блок», 1921 — 1922). Так формулируя сoterиологию Блока, он формулировал и свою; ср.: «Но музыка от бездны не спасет!» («Пешеход», 1912), написанное задолго до повторяющейся фразы в дневнике и записной книжке Блока: «Ничего, кроме музыки, не спасет» (4 марта 1918 года).

Хорошо известно, какую роль играла музыка в жизни Мандельштама. По словам Артура Лурье, он «страстно любил музыку, но никогда об этом не говорил. У него было к музыке какое-то целомудренное отношение, глубоко им скрываемое»⁵³, — похоже на приведенные уже слова вдовы поэта, что он не любил высказываться о самом для него дорогом — о матери и о Пушкине. Музыка жила в нем на той же глубине духа и с обоими была связана. Присутствие матери в подтекстах «Концерта на вокзале» очевидно и понятно, но есть здесь и пушкинское воплощение духа музыки — «пенье Аонид», о которых Мандельштам только и знал, что они из Пушкина, а кто такие — не знал, просто был заморожен музыкой, звучанием, и даже предполагал, что «их про-

⁵⁰ Одоевцева Ирина. Избранное. Стихотворения. На берегах Невы. На берегах Сены, стр. 433.

⁵¹ Есть еще одна параллель к теме удушья в «Концерте на вокзале» из тех же детских воспоминаний, из очерка «Тенишевское училище» (книга «Шум времени»), — о «выкачивании воздуха из стеклянного колпака, чтобы задохнулась на спинке бедная мышь». «Вокзала шар стеклянный» — подобие того «стеклянного колпака».

⁵² Впервые о теме музыки как блоковской теме «Концерта на вокзале» написала Л. Я. Гинзбург: Гинзбург Л. Я. О лирике. Изд. 2-е. Л., 1974, стр. 373.

⁵³ Лурье Артур. Осип Мандельштам. — В сб.: «Осип Мандельштам и его время», стр. 196.

сто-напросто гениально выдумал Пушкин»⁵⁴. Это символическое имя пушкинской музыки было столь важно для него, что в 1922 году он собирался назвать свой новый поэтический сборник — «Аониды».

Так что прощание с музыкой в «Концерте на вокзале» — это прощание и с Блоком, и с Пушкиным и отзвук пушкинской речи Блока в прошедшие траурные дни: «На тризне милой тени / В последний раз нам музыка звучит!»

«84-я годовщина смерти Пушкина стала годом „смерти Поэта“, в обобщенном, метафизически вневременном смысле этого образа»⁵⁵. Вступив в это послесмертие, Мандельштам одновременно вступил и в свое предсмертие, стал на прямой и осознанный путь к собственной гибели. Он «всегда остро чувствовал смерть»⁵⁶, но по 1921 году прошла резкая черта — произошел «переход от несовершенного вида к совершенному, от дряхлеющего проживания к дефинитивному поступку»⁵⁷. В 1922 — 1924 годах стихи вырастают как из зерна из одной темы — темы века, погибающего и жалкого, смертельно больного века. «Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу», «век умирает», поэт заглядывает ему в зрачки, пытается «своею кровью склеить двух столетий позвонки», но сам он обречен вместе с веком — «Время срезает меня, как монету». В 1925 году стихи прекарщаются, наступает период пятилетнего «удушья», — а когда осенью 1930 года, во время поездки в Армению, они приходят вновь, то на фоне поэтической роскоши армянских, а потом и московских впечатлений, на фоне нового вкуса к жизни и новых ритмов возвращается и тема века в новом звучании («век-волкодав»), и пушкинская тема пира во время чумы («Фазтонщик», 1931), а с ними и тема личной гибели поэта — неизбежной, близкой, насильственной. Но теперь она звучит не в тонах условно-поэтического пророчества, как в «Tristia» («В Петрополе прозрачном мы умрем», «И каждый час нам смертная година»), — теперь смерть входит в стихи как осязаемая реальность, появляются страх ареста, ожидание казни, кандалы, острог, каторжные песни, «сосновый гроб», «мерзлые плахи». Надежда Мандельштам назвала потом все это «подготовкой к ссылке»⁵⁸. И поэзия обеспечивается теперь пролитой «кровью горячей» («Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло...», 1930), готовностью к полной и окончательной жертве («Сохрани мою речь навсегда...», 1931).

Есть только два случая в поэзии Мандельштама, когда лирическое Я поэта оказывается на Голгофе: «Не искушай чужих наречий...» (1933) и «Как светотени мученик Рембрандт...» (1937); оба стихотворения написаны за год до арестов — соответственно первого (1934) и второго (1938). В смысле отношений между творчеством и жизнью — что это? конкретное предвидение будущего, столь свойственное Мандельштаму, или та самая «чудная власть» поэзии, которую он так хорошо знал⁵⁹, — способность словом формировать судьбу? В самом определенном виде такое случилось с Ахматовой, еще в 1915 году все себе накаркавшей: «Отыми и ребенка, и друга, / И таинственный песенный дар». Или вообще вопрос неправилен? Или — ответ был дан самим Мандельштамом в «Скрябине и христианстве»: «Если сорвать покров времени с этой творческой жизни, она будет свободно вытекать из своей причины — смерти, располагаясь вокруг нее, как вокруг своего солнца, и поглощая его свет».

⁵⁴ Одоевцева Ирина. Избранное. Стихотворения. На берегах Невы. На берегах Сены, стр. 354 — 355.

⁵⁵ Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века, стр. 172.

⁵⁶ Мандельштам Н. Я. Вторая книга, стр. 115.

⁵⁷ Аверинцев С. С. Так почему же все-таки Мандельштам? — В его кн.: «София — Логос». Словарь. Киев, 2001, стр. 384.

⁵⁸ Мандельштам Н. Я. Воспоминания, стр. 228.

⁵⁹ «„Поэзия — это власть“, — сказал он в Воронеже Анне Андреевне, и она склонила длинную шею» (Мандельштам Н. Я. Воспоминания, стр. 199).

Мандельштам, как и Пушкин, был человеком поступка — известны его самоубийственные истории с Блюмкиным, с А. Н. Толстым, — но главным, «дефинитивным поступком» его стали стихи 1933 года о Сталине («Мы живем, под собою не чуя страны...») и их широкое сознательное чтение, обнародование, однозначно чреватое гибелью. «Смотрите — никому. Если дойдет, меня могут... РАССТРЕЛЯТЬ!» — говорил он Эмме Герштейн⁶⁰, а сам, к ее изумлению, все делал, чтоб «дошло».

В январе 1934 года Мандельштам пишет «Реквием» — так между собой они с женой называли цикл памяти Андрея Белого. Домашнее название, казалось бы, прямо отвечает теме — смерти Белого, но есть в нем и второе дно — пушкинское.

Меня преследуют две-три случайных фразы, —
 Весь день твержу: печаль моя жирна...
 О Боже, как жирны и синеглазы
 Стрекозы смерти, как лазурь черна.

Тема смерти художника приходит в звуках пушкинской «маленькой трагедии», почти словами Моцарта, сочиняющего свой Реквием: «...И в голову пришли мне две-три мысли. / Сегодня я их набросал», «Мне день и ночь покоя не дает / Мой черный человек. За мною всюду / Как тень он гонится. Вот и теперь / Мне кажется, он с нами сам-третей / Сидит». Пушкин действительно как будто «сам-третей» присутствует в цикле памяти Белого, как «черный человек» — между автором и героем. Пушкинские реминисценции очень плотно спрессованы в цикле, даже для Мандельштама необычно плотно — «печаль моя жирна» (контаминация Пушкина и «Слова о полку Игореве»), «пламень голубой», «морозная пыль», «юрота колпак». «Черная лазурь» как образ смерти Белого (тут и его «голубые глаза», и почерневшая небесная лазурь) — некоторый аналог пушкинского «черного солнца». И в описании Белого в гробу — черты пушкинского смертного облика:

...Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
 Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
 Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
 Крупнозернистого покоя и добра.

Надежда Мандельштам не раз повторяла, что «этими стихами О. М. отпел не только Белого, но и себя»; «„разыгрываю в лицах” — это и показывает как бы соучастие в смерти»⁶¹. Позже, когда цикл был доработан, «Мандельштаму стала совершенно ясна тема соумирания, сочувствия смерти другого как подготовки к собственному концу. Вот тогда-то я и говорила ему: „Чего ты сам себя хоронишь?” — а он отвечал, что надо самому себя похоронить, пока не поздно, потому что неизвестно, что еще предстоит»⁶².

Вскоре после похорон Андрея Белого и произошедший знаменитый разговор между Мандельштамом и Анной Ахматовой, описанный в ее «Листках из дневника» и попавший в «Поэму без героя»: «Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 г.), о чем говорили — не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: „Я к смерти готов”»⁶³.

Одно из стихотворений цикла, не сохранившееся полностью, Мандельштам строит на голосах из толпы:

Откуда привезли? Кого? Который умер?
 Где <...>? Мне что-то невдомек.
 Скажите, говорят, какой-то гоголь умер.
 Не гоголь, так себе, писатель-гоголек.

⁶⁰ Герштейн Эмма. Мемуары, стр. 51.

⁶¹ Цит. по кн.: Мандельштам Осип. Собрание произведений. Стихотворения. М., 1992, стр. 439, 441.

⁶² Мандельштам Н. Я. Вторая книга, стр. 400.

⁶³ Ахматова Анна. Сочинения в 2-х томах, т. 2, стр. 211.

К этой строфе приводят параллель из книги «Гоголь в письмах и воспоминаниях» (М., 1931), которую Мандельштам мог читать: «Кого хоронят? — <...> Хоронят Гоголя»⁶⁴. Добавим сюда фрагмент, хорошо известный Мандельштаму, из пушкинского «Путешествия в Арзрум»: «„Что вы везете?“ — „Грибоеда“»⁶⁵; да еще эпизод из дневника А. В. Никитенко: «Жена моя возвращалась из Могилева и на одной станции неподалеку от Петербурга увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожею <...> „Что это такое?“ — спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян. „А бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит — и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости господи — как собаку”» — это Мандельштам мог знать по книге В. В. Вересаева «Пушкин в жизни», бывшей тогда самым популярным источником сведений по биографии Пушкина.

Утрата имени, смерть в безвестности — «гоголек», «Грибоед», «какой-то Пушкин». Этот ряд дает совсем новое видение смерти поэта: он умирает не как солнце, а как один из многих, как человек из толпы. «...Он ведь предчувствовал, как его бросят в яму без всякого поминального слова»⁶⁶, — наверное, Надежда Мандельштам имеет в виду стихи 1935 года:

И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама...

Стихи сбылись в точности. В разных версиях гибели Мандельштама фигурируют либо общая яма, либо траншеи, куда рядами укладывали трупы с биркой на ноге, с номером вместо имени.

Надежда Мандельштам пишет, что с начала Воронежской ссылки они жили в полном сознании своей обреченности и ждали конца⁶⁷. У Мандельштама это ожидание обострилось с приближением 100-летия смерти Пушкина: кончался послепушкинский век — *его* век. Мандельштам не путал праздники с траурными днями — посреди юбилейной вакханалии, ставшей своеобразным пиром поэзии в разгар чумы 1937 года и одновременно апофеозом сталинского советского патриотизма, он в январе — феврале 1937 года по-своему переживал смертные пушкинские дни.

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок...
От замкнутых я, что ли, пьян дверей? —
И хочется мычать от всех замков и скрепок.

И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы —
И прячутся поспешно в уголки
И выбегают из углов угланы...

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водочаке
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке —

А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
— Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!

(1 февраля 1937)

⁶⁴ Черашняя Д. И. Этюды о Мандельштаме. Ижевск, 1992, стр. 109.

⁶⁵ Это Мандельштам прямо цитировал в стихах: «Там, где везли на арбе Грибоеда» («Дикая кошка — армянская речь...», черновой вариант).

⁶⁶ Цит. по кн.: Мандельштам О. С. П. Собрание произведений. Стихотворения, стр. 441.

⁶⁷ Мандельштам Н. Я. Воспоминания, стр. 51, 170, 186 и др.

Есть разные пояснения к этим стихам в контексте воронежских реалий — историй о неудавшемся походе к писателю Покровскому (Н. Мандельштам) и описаний водокачки и деревянного короба для стока воды (Н. Штемпель). Но поверх этих реалий проступает глубинный смысловой пласт стихотворения, связанный со смертью Пушкина, со столетней годовщиной «в этом январе»⁶⁸, — ужас близкой гибели, бегство от нее, соскальзывание в смертнующую му, крик о помощи. «В январско-февральскую службу Мандельштам в последний раз вспоминает картину пушкинских похорон, и на этом фоне неопределенность слов *какой-то мерзлый деревянный короб* проясняется: прежде всего речь здесь идет не о доме Покровского, не о водокачке, а о гробе Пушкина...»⁶⁹ Пушкин как черный человек приходит к поэту, как предвестник гибели — вспомним мандельштамовские стихи о смерти Андрея Белого, его двойной реквием⁷⁰.

В предчувствии смерти поэту свойственно обдумывать свой «Памятник», свое посмертное будущее, свою судьбу с точки зрения вечности. У Мандельштама мотивы традиционного классического «Памятника», в том числе и пушкинского, начинают пробиваться с 1935 года — в каких-то очень отдаленных метаморфозах:

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, зачит каждый школьник...⁷¹

(1935)

Народу нужен стих таинственно родной...
(«Я нынче в паутине световой...», 19 января 1937)

Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, что солнце светит⁷².

(«Ода», январь — февраль 1937)

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски...⁷³

(«Заблудился я в небе — что делать?..», 9 — 19 марта 1937)

Как видим, мотивы «Памятника» идут по нисходящей — идет кенотическое самоумаление поэта, его постепенный осознанный отказ от избранничества. Не солнце и не «царь», «чудную власть» имущий, а один из многих, неразличимый в толпе, — «Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят». И за гробом его не ждут ни «народная тропа» к могиле, ни слава «в подлунном мире», ни победоносное шествие его поэзии, как в пушкинском «Памятнике». И не случайно, что Мандельштам своего «Памятника» так и не написал, а написал антипамятник — «Стихи о неизвестном солдате», в которых тема смерти поэта логически сходит на нет. И так же не случайно строфа с открытой реминисценцией из пушкинского памятника — «Всяк живущий меня назовет»⁷⁴ — не вошла в окончательный текст. На фоне апокалипсиса, развернутого в «Стихах

⁶⁸ Раскрыто с большой убедительностью в статье: Рейнольдс Эндру. Смерть автора или смерть поэта? (Интертекстуальность в стихотворении «Куда мне деться в этом январе?»). — В кн.: «Отдай меня, Воронеж...». Третьи международные Мандельштамовские чтения. Воронеж, 1995, стр. 200 — 214.

⁶⁹ Там же, стр. 210.

⁷⁰ Так было и с Блоком, «Пушкинскому Дому» — последнее его стихотворение.

⁷¹ Отмечено в кн.: Тарановский Кирилл. О поэзии и поэтике, стр. 191.

⁷² Месс-Бейер Ирина. Мандельштам и Пушкин: уроки свободы, стр. 311.

⁷³ Кузьмина С. Ф. В поисках традиции: Пушкин — Мандельштам — Набоков. Минск, 2000, стр. 118 — 119.

⁷⁴ Наблюдение О. А. Лекманова: Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000, стр. 552.

о неизвестном солдате», поэт умирает не как солнце, не как Христос и не как поэт. В масштабах истории его смерть неразличима, он — один из «миллионов, убитых задешево», безвестный солдат истории, он погибает «с гурьбой и гуртом», и никто не положит его как солнце в гроб и даже не назовет его имени на переключке смерти:

Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом,
Я рожден в девяносто втором... —
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем⁷⁵.

Такова смерть поэта XX века — воистину его «полная смерть» в эсхатологической перспективе.

⁷⁵ Совсем другое понимание этих стихов см. в кн: Гаспаров М. Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. М., 1996, стр. 14 — 18.



Р Е Щ Е Н З И И . О Б З О Р Ы

ИЗ ТОЙ СТРАНЫ, КОТОРОЙ БОЛЬШЕ НЕТ

Павел Проценко. Цветочница Марфа. Документальная повесть. [Послесловие Евгения Рашковского]. М., «Русский путь», 2002, 280 стр.

Последние внучата мы
Несбывшейся Руси.

Леонид Бородин.

Героиню новой повести Павла Проценко в округе называли по-разному. Обычно «цветочницей Марфой» — по профессии: эта деревенская женщина делала цветы. Позже появилось и иное имя — «церковница Марфа». До великой революции представить себе такое имя было нельзя, но в конце двадцатых годов стало оно уже признаком выделяющим: не всякий крестьянин хранил церковное имущество от разграбления, заменял собой арестованного старосту, а в итоге — спасал от разрушения два храма в своем краю. И всей своей жизнью, и мученическим концом титул церковницы Марфа Ивановна Кондратьева заслужила.

Новая повесть продолжает основную линию творчества П. Г. Проценко. Широко известны его книги о катакомбном епископе Варнаве (Беляеве), церковном интеллигенте и писателе. Героиня новой книги — малограмотная крестьянка. Да и действие происходит вдалеке от центров церковного сопротивления, в глухой деревне на стыке Владимирской и Московской губерний.

По всей логике становления и развития советского общества Марфу Ивановну должны были убить в двадцатые годы. Но лишь в незабываемом 1941-м небогатая, не имевшая врагов, слова не говорившая о политике женщина была наконец арестована. Погибла она два года спустя. По одной из версий, ее актировали, но сил доползти до лагерных ворот у крестьянки уже не нашлось. Память о замученной «за церкву» односельчане хранили до конца века.

Так стечение различных обстоятельств донесло образ живой России — почти до наших дней. «Документальная повесть». Письма. Фотографии, на них лица людей, пейзажи, остовы полусгнивших домов. И рассказы восьмидесятилетних стариков, младших современников-односельчан Марфы. Все это проходит перед нами. И какой-то обратной проекцией ведет в непостижимо далекое прошлое: в докатастрофную Россию, в которой Марфа Ивановна родилась.

«Если идти по полю, протянувшемуся между деревнями Новосергиево и Зубцово, то на горизонте медленно вырастает колокольня приходского храма, осеняющая своим крестом округу. Крестьянин, идущий за сохой, слышав звон колокола, вспоминал о времени молитвы, о Небе, сошедшем в земную, телесную природу в облике Христа...

В красном углу почти каждой крестьянской избы в округе мерцали иконы в киотах, пылающих яркими красками Марфиных цветов. На протяжении почти четверти века наряды невест и женихов близлежащих волостей украшали белые, красные, зеленые букеты, созданные руками Кондратьевой; на могилы возлагали сплетенные ею венки, а деревенские сходы проходили в горницах, стены которых были увешаны изделиями мастерицы. Приходской храм в Новосергиеве был средоточием ее постоянных забот, и, конечно, для храма она работала бесплатно (Этого требовало само ремесло цветочницы, изначально связанное с прославлением христианских святых.)».

Перед нами не идеализация крестьянского быта: автор не забывает ни о тяжести жизни простонародья, ни о — подчас — прямом скотстве ее. Первый муж Марфы утонул, напившись, прямо на работе, в большом чану, где вымачивали ткани. Не правда ли, сразу возникает литературная ассоциация? Такая же кончина постигла одного из героев горьковской «Матери»: жертва эксплуатации свалилась по пьянке в заводской котел с кипящей смолой. Но крестьянство коренным образом отличалось от люмпенизированных городских низов. Община была носитель-

ницей твердых позитивных ценностей: бытовых, трудовых, семейных. Безусловно, «коллективный полудиктатор» (так называл общину В. В. Шульгин) препятствовал развитию в крестьянах неповторимых индивидуальных черт. Но странно, как делают это некоторые теоретики, от общины вести отсчет колхозного ада. Крестьянство было для большевиков носителем традиционных идеалов, не всегда личностно осознаваемых, но коренящихся в самой сути народной жизни. Эти идеалы, прежде всего религиозно-общинные, и стирал с лица российской земли экономически неэффективный колхозный строй.

«Все эти годы, — вспоминает дочь Марфы о „великом переломе“ — времени Крестьянской Чумы, — к матери всегда шли люди за цветами. Приходили издали. Вот, помню, приходит поздно вечером женщина из Ратькова. Река перед Пасхой разлилась, и она не могла пройти по полю, пришлось делать большой крюк через Заречье, Следово и Мамонтово. Появилась она у нас уже под ночь. Извинилась, что пришла поздно и что денег у нее нет и она вместо них принесла муки. Мать заплакала, сняла цветы с икон.

— Какие понравились, — говорит, — те возьмишь.

— Спасибо, что дала.

— Тебе спасибо, что сама пришла да еще что-то нам принесла».

А новая жизнь наступала. «Иконы жгли и рубили по всему уезду. Уничтожали и книги — почти все, что были изданы до революции. В центре Ногинска, на площади Карла Маркса, периодически раскладывали огромный костер, и тысячи людей тащили в него и томики в кожаных переплетах, и связки дешевых бумажных изданий, и семейные кноты, из которых отрешенно глядели светлые лики святых».

Передовой город подавал пример отсталому селу. «Разгульная толпа мужичков (из тех, которых исстари прозывали в деревне „непутевыми“) во главе с колхозным руководством вваливалась в избы и требовала от хозяев отдать им имевшиеся иконы на сжигание. Если те не отдавали, устраивали обыск. „Колхозники не имеют права держать у себя пережитки прошлого“. Найденные иконы тащили на прогон... складывали из этих намоленных досок горки и разжигали костры... Однажды Марфа ухитрилась незаметно вытащить из груды образов, предназначенных на сжигание, икону Воскресения с клеймами. Принесла домой и спрятала под порожек ворот в сарае. Переждав некоторое время, когда приступ очередной истерии несколько улегся, снесла икону в церковь».

Так вела она себя долго, непозволительно долго. Но вот пришел черед и для Марфы Ивановны за антисоветские свои дела отвечать. Автор книги подробно цитирует следственное дело, обвинительное заключение, приговор. Похоже, что эти выразительные документы правдивы. Производителям их не было нужды лгать: обычные, обыденные дела и слова живущей по заповедям Господа и предков крестьянки как раз и оказывались преступлением в зазеркальной Муравии.

«Кондратьева... активная церковница, колхозным строем вечно недовольна, так, например, в дни коллективизации она мне лично заявляла: под окном не сиди, добра от меня не получишь... Продавала просфиры, церковные свечи, делает цветы и всеми этими делами занимается до сих пор», — показал один из обвинителей.

«Принимала участие по сбору денег на содержание попа и заготовку дров для церкви», — добавил другой.

«После закрытия церкви Кондратьева перебралась по своей профессии в Стромыньскую церковь и там среди верующих организовывала разные молебствия. Это уже — официальная характеристика на врага народа.

Следователь Марфы Ивановны оказался человеком незлым. Дело завершил быстро. Впрочем, было оно простым и ясным, и выбивать из антисоветчицы показания не было никакой нужды. Но оперуполномоченный Платов снизошел до не предусмотренного инструкциями разговора с дочерью государственной преступницы. И популярно разъяснил незнакомой с параграфами статей колхознице, в чем вина ее матери.

«Вот видите, она все призывала людей, что Богу нужно молиться, раз идет война...»

Война и правда была в разгаре. И бессмертный Вождь с его великим Маршалом, как ретиво уверяют нас нынче «православно-патриотические» кликуши, уже истово молились и прикладывались к мощам.

У дверей суда родные Марфы Ивановны видели ее в последний раз. Письма женщины из Сибири становились все короче. Вскоре они прекратились совсем.

Но исчерпывающую информацию о судьбе Марфы Ивановны родные ее все-таки получили.

«Осенью 1942 года Ольга, дочь Марфы, упала без сознания на дороге. Ее подобрали и, беспамятную, отвезли в больницу села Мележи. Это был сыпной тиф, от которого она едва не умерла. Выписали ее лишь весной. За это время в забытии ей представлялись различные видения. Однажды явилась „Страждущая“ Божия Матерь, с Младенцем на руках. Ольга спросила: „Божия Матерь! А как моя мать? Что с ней?“ Та ответила: „О матери твоей мы побеспокоимся, а ты думай о себе“. Ольга едва успела повторить: „Божья Матерь! А мама моя вернется домой?“, как в воздухе появилось как бы облако, и Богородица растворилась в нем».

Эта книга была бы интересна и значительна, даже если бы ее автор ограничился описанием такой судьбы. Но замысел его шире: разные судьбы, разные эпохи скрестились в названиях улиц, в пересечениях сохранившихся домов маленького Ногинска.

Неподалеку от здания, где судили Марфу Ивановну, в улицу с характерным названием «III Интернационала» вливается другая, улица Татьяны Лебедевой. Она названа так в честь народоволки, принимавшей активное участие в «охоте» на Александра II — освободителя крестьян.

Перед нами типичная судьба революционерки. Дочь помещика, выпускница Николаевского института благородных девиц впервые была арестована за поджигательскую пропаганду среди крестьян. Просидев восемь месяцев, отпущена на поруки. Новый арест — по знаменитому «делу 193-х». Признана виновной. Приговорена к высылке, но тут же отпущена на свободу: суд зачел предварительное заключение. «Я... отказалась от политической деятельности, но правительство своей глупостью и жестокостью подтолкнуло меня вернуться на стезю сопротивления», — скажет Лебедева позднее по этому поводу.

Варварская жестокость самодержавного суда толкнула Татьяну на путь царевубийства. Неудача. Новый суд, на сей раз приговор — виселица. Но гневные протесты свободолюбивой западной общественности уберегли убийцу от веревки (вопреки истоки...). Революционерка не перенесла каторги. Ее сообщник и любовник Михаил Фроленко пережил ее надолго. Уже после Крестьянской Чумы, накануне Большого террора, заслуженный террорист вступил в ВКП(б).

Судьбы этих людей и ярки, и отштампованы одновременно. В них мало индивидуальных черт. Люди эти сгорают в пламени, но... в пламени каких-то одинаковых, «занумерованных» горелок. Словно бы Татьяна Лебедева — еще одна героиня трифоновского «Нетерпения». Личности революционеров неразличимы, что неудивительно: в жизни этих людей не было цветов.

Но и Лебедева — личность на фоне убийцы Марфы Ивановны — прокурора Голубниченко, «Вышинского районного масштаба». В прошлом малолетняя шпана, полууголовник-полурубака, функционер за всю свою жизнь так и не научился сносно писать. Но партии он был предан без лести. Любое поручение ее было для него свято, необходимость выполнить поручение сделалась единственным моральным движением души.

«Был он невысокого роста. С фотографии из его личного дела сквозь стекла небольших очков в роговой оправе на нас строго смотрит гладко выбритый „товарищ“ в наглухо застегнутом черном пиджаке, с орденской планкой на груди и авторучкой, деловито выглядывающей из нагрудного кармана. Для него естественным было всегда носить галстук, и так же естественно он всегда ощущал собственную значимость и особую ценность своего жизненного назначения».

Кончил номенклатурный начальник неважно. Видимо, что-то человеческое шевельнулось в его душе, и попытался он построить для рабочих не положенные им дома. За что и был низвержен в руководители банно-прачечного треста.

Впрочем, главная идея этой книги не в показе контрастности личностей и судеб. Как фон для жизни и смерти Марфы-цветочницы и блеклые фигуры ее народовольческих «друзей», и совсем уж бесцветные — ее коммунистических убийц были бы не нужны. Автор вводит, однако, в книгу треть, главное, измерение —

наше «сегодня». И это неожиданно меняет кажущиеся ясными и исчерпывающими черно-белые оценки российской судьбы.

Символична судьба спасенного Марфой Ивановной храма. Он давно действует, но прежнее запустение царит в нем: «Колокольня без креста, с ржавыми лестницами, ведущими прямо в небо (крыша отсутствует), трапезная с заколоченными окнами и обвалившимися углами, четверик с выпавшими из стен кирпичами, с обвалившимися у входа колоннами». Нет денег? Но на дворе — уже второе десятилетие нашей свободы! За этот срок и нищие колхозники тридцатых годов восстановили бы храм — если бы власть не убивала их за это, не замаривала в лагерях.

«Когдаходишь в храм, то сразу замечаешь рядом с амвоном, у левого клироса, какое-то скромное сооружение, увенчанное стеклянным колпаком. Поначалу приходит мысль, что здесь выставлены частицы мощей какого-то угодника Божия или святыни, связанные с жизнью чтимого праведника». Но под стеклом витрины лежат гимнастерка и пилотка одного из погибших в Афганистане солдат. «Надпись славянской вязью гласит: „Во Царствии Твоем упокой, Господи, всех православных воинов, в земле Афганской убиенных“. На примере воинов-афганцев в приходе воспитывают подрастающую стайку мальчишек, детей религиозных родителей».

О Марфе Ивановне здесь сегодня никто уже не помнит: в отличие от «воинов-интернационалистов», она отдала жизнь не за покорение чужой страны, а всего лишь за право молиться и жить в собственной.

При оценке всего происходящего сегодня и в этом храме, и далеко за его пределами двухбалльной системой, меркою «хорошо — плохо» явно не обойтись. Хорошо ли, что храмы сегодня открыты? Ответ, конечно же, очевиден. Но вот происходящее в таких, как этот, храмах невозможно оценить однозначно. Может, это и благо, что поминают убитых бездарной и преступной войной ребят. Верили ли они в Бога? Были ли крещены? Но оставим в стороне теологические тонкости, это не наша компетенция. Разве пробуждение, поминанием убитых, «чувств добрых» в живущих сегодня — не очевидное добро?

Все это так. Но где же во всем этом место для единственно настоящей, *той* России? Эпоху уничтожения сменила эпоха подмен. Она же — эпоха забвения. Не похоронила ли окончательно Преображенская революция все то, что сумело выжить под советчиной, что осталось недобитым революцией Октябрьской?

Этот вопрос может показаться странным. Разве целью Октября не было полное, бесповоротное истребление старой России? А целью Августа разве не было...

Но вот тут-то и заминка. Целью Августа был *переход* от советского небытия к ценностям нормальной жизни. К тем ценностям, которые мало уже ощущаемой сегодня основой своей имеют христианские идеалы. Это можно сказать по справедливости. А вот заменить эти фразы на какие-нибудь, в которых фигурировало бы слово *возвращение*, — не поворачивается язык.

Две великие, изменившие страну революции. Два крутых, коренных поворота. Что же осталось от *той* России в итоге всего?

...На деревенской площади торговец делает выразительный жест старушкам: сегодня, бабки, всё за бабки! Опять отсталые, опять несознательные, старушки опять не могут ничего понять... Есть ли у этого парня что-либо общее с (тоже ведь торговавшей...) Марфой Кондратьевой?

«Превратится ли свет, исходящий от загубленной крестьянской судьбы, в излучение далекой и недостижимой звезды на ночном небе нашей истории или его живительное тепло будет востребовано и воспринято опытом соплеменников цветочницы Марфы?»

Так спрашивает автор книги. И пытается ответить на этот главный для сегодняшней нашей жизни вопрос.

...Колхоз, в котором томилась до лагеря Марфа, распушен, на месте ее избы — особняк советского отставника. Опять хозяйство, опять как «до»?

«Хозяин отсутствовал, а вместо него навстречу мне выскочил его сын, крепко сбитый молодой человек, державший в одной руке мелкокалиберное ружье, в другой — своеобразный букет из шомполов, на которых истекли жиром куски дымящегося шашлыка. Впрочем, основной разговор произошел с хозяйкой дома, вальсистой, округлой дамой, настороженно и односложно отвечавшей на мои вопросы.

Ответы ее сводились к одному: нечего здесь смотреть и незачем... Уже стоя у калитки и стараясь как-то сгладить внезапность вторжения в чужую жизнь, я решил еще раз объяснить причину своего внезапного появления. Вдруг глаза дамы покинула настороженность, и она перебила меня на полуслове. „Мы уже знаем, — поспешно сказала она. — Мы очень рады, что построились на этом месте”. — „Чему же тут радоваться? Невинный ведь человек погиб”. — „Мы тому радуемся, — еще быстрее и стеснительнее проговорила хозяйка, — что о святом человеке напишут, что мы на святом месте живем”».

Великой православной державы больше не существует. И вряд ли стоит сегодня кощунственно и бездарно пародировать ее. Унаследует ли хоть что-нибудь из ее ценностей раскинувшаяся на святом месте новая русскоязычная страна?

Ответ на этот вопрос мы вряд ли получим при жизни. Но так не хотелось бы, чтобы оказался он безвозвратно отрицательным. И лежащая перед нами книга — лепта, заметное приношение на алтарь живой памяти.

Дай Бог, чтобы алтарь этот не погас.

Валерий СЕНДЕРОВ.

*

ГОРЬКАЯ ДЕРЗОСТЬ ГЕННАДИЯ РУСАКОВА

Геннадий Русаков. Разговоры с богом. Стихи. — «Знамя», 1996, № 2, 9; 1997, № 6; 1998, № 3, 9; 1999, № 10; 2000, № 4; 2001, № 7; 2002, № 6.

Начну с первых впечатлений. Поэзия, независимо от того, насколько проста или оригинальны ее одежды, тогда имеет свое лицо и свой характер, когда автор волен прямо говорить обо всем, что близко касается непосредственно его: хочешь — гляди со мной, не хочешь — не гляди. Словом, когда она свободна и несуетна. Такова, на мой взгляд, поэзия Геннадия Русакова:

..День утешен последним покоем.
До заката еще полчаса.
И налево, внизу, над Окою,
догорает огнем полоса.

Догорает, сторит и затлеет.
Будет, золотом брызгая, тлеть...
Бог на дело затрат не жалеет —
разве можно на дело жалеть?

Хорошо, просто и по-мужски уважительно.

Однако и видимая простота оказывается не без секрета. Стихотворная материя Русакова, несмотря на некоторые повторяющиеся, почти дежурные в ней детали, очень плотна. А плотность — это и антоним рыхлости, и производное от слова «плоть». Потому и стихотворения — тугие, упругие; почти в каждом — сгусток энергии.

Над Катюшиным Полем гроза собралась
и ударила в землю водой.
И взлетела до неба веселая грязь...
Нет, хорош этот мир молодой!
.....
Потому что заношено лето до дыр,
хоть вишневик еще лупоглаз.
И еще барабанит восторженный мир
в жестяной перевернутый таз...

Вообще стихи «Разговоров с богом» напоминают мне перенасыщенный раствор: вроде смотришь — и ничего особого, мало ли на свете стихотворной жидкости в сочинительских колбах. Ан вдруг и пошел прямо на твоих глазах некий магический процесс, и в результате — многогранное и цельное чудо, название которо-

му — поэзия. Поэзия как кристалл, ни прибавить к которому, ни отнять уже ничего нельзя. Все скреплено внутренней энергией.

Конечно, у стихотворца, как и у всякого алхимика, есть собственный инвентарь: все эти рифмы, ритмы, метафоры, анаколумы всякие, эллипсисы...

...Любимая, всё в мире, как с тобой:
провисли сливы и уже буреют.
Соседский кот выходит на разбой,
и серафимы ласточками реют.

Любимая, мы будем долго жить.
Потом умрем, но вместе и нескоро.
И скажем, где нас рядом положить —
там, где тебя зарыли, у забора.

Вот такая вот... «метафора». Сдержанная, грустная... пронзительная.

Но даже при всей своей горечи, доходящей порой до надрывности, по органическому содержанию перед нами явно *здоровая* поэзия. Русаков, слава Богу, из той породы людей, которые — *живут*. И потому, даже делясь самым болезненным для себя, не действуют *угнетающе*.

К сожалению, авторов, которым даны еще такие ровные интонации и емкий, живой, «обыкновенный» русский, именно русский, язык, — сейчас не много. Не так просто «заградить слух» и не обратиться в точку, бегающую по синусоиде истерически шумного времени. И помочь тут может разве что большое личное счастье или большая же личная утрата, и на том и на другом фоне искусства любого времени просто не замечаются. Но это уже — как Бог даст.

Русакову, если допустимо так сказать, «повезло» и с тем, и с этим. Зато мир в его стихах видится таким, каков он есть, без наложения суетной шелухи, именно как мир Божий. Зато можно оставаться до конца искренним и с честностью признаваться:

Все сгорит — и останется горстка
от церкви, иереев, старух:
небывалое солнце Загорска
оседает на тлеющий луг.
.....
Нет, уеду я, боже, отсюда,
никаких я глубин не постиг.
Мне по вере — и малое чудо
межсезонных закатов твоих.

А еще — по привычке славящего Божий мир жизнелюба — позволить себе почти детскую дерзость в своем обращении к тому, что заведомо сильнее тебя:

...У, страшный бог, верни — ты взял мое!
Я отыщу управу и на бога!..

Вот он какой грозный, Русаков. Но не будем с улыбкой. Потому что стихотворение, откуда вырваны эти строки, — горькое стихотворение. И вкус этой дерзости куда как не сладок.

Может быть, с точки зрения иного верующего, в некоторых строчках не только что ересь, а и что-то на грани кошунства? Не знаю. Не сужу. И лишь в двух-трех стихотворных местах — отхожу в сторону: приобщиться к сказанному в них — просто не могу.

Кому-то может показаться, что поэт старается примерить на себя библейские одежды. Не знаю, я бы не стал сравнивать; мало ли какие атрибуты вставляют авторы в свои стихи — сейчас это чересчур легко. Что же касается непосредственно Геннадия Русакова, то сам он не слишком претендует на какие-то аналогии с Ветхим Заветом. Больше в русаковских стихах проглядывает другое: простое, русское, с мужицким юмором, даже санчо-пансовское, пожалуй.

Научи меня, боже, глядеть на деревья без боли.
Я держусь за веревку, что кто-то мне скинул с небес —
то ли по недогляду, с хозяйством замаялся, то ли
некий знак ободренья... Да я б все равно не полез...

Точно, не полез бы. Не по-нашему это. Нам бы попроще...

Боже птиц и зверей, погляди на меня!
Я в Горах, чуть левой под тобой.
Я стою посредине огромного дня
на траве, от накрапов рябой.
Ты слегка наклонись и меня разглядишь:
я недаром на цыпочки встал.
А поскольку я сер, как амбарная мышь,
я тряпицу на шест намотал...

Ну вот такие мы... богоискатели. Не я попытаюсь подняться, а Ты ко мне наклонись. А уж я-то ради этого расстараясь — стихами. Ты же — услышь только, услышь, что есть такой *Добчинский* (Русаков, Цивунин, имярек — не важно):

...Ничего мне не надо — ни благ, ни наград.
Просто глянь и кивни головой.
Просто глянь на меня и на мой вертоград,
на счастливый, на мокрый, живой...

Полушутливая, казалось бы, картинка, а ведь задумаешься, и... чего только не придет тогда в голову. Даром что в стихах Русакова — никакого «настоящего» бога нет. В них скорее *«мелькают пальцы мойр...»* — античных богинь судьбы. И бог этих стихов — так, *условный* образ: иногда опасный и бесчувственный, иногда забавный, словно старикан из комедийной пьесы.

А ведь не только в творческой природе, но и *в словах* Русакова Бог — появлялся (*«Господи, грозною силою / всепрощения твоего...»*). Раньше. В подборках «Время боли» и «Имя муки», вышедших в «Знамени» в феврале и октябре 1991-го. Когда те стихи писались, было еще упование. А потом... потом поэт замолчал. Небеса для него засыпались. И, оглушенный почти единственной реальностью — реальностью смерти, вновь заговорил он только через пять лет.

Но выговариваться ему приходится перед «Богом, Которого Нет». Душа, чувствуя себя сиротой (а ощущение сиротства, наверно, никогда и не покидало Русакова, даже в счастливые годы тревожа его из глубины), поневоле придумывает и дорисовывает для себя хотя бы неусамделишного бога. Хотя бы так — манерой на внешний взгляд совершенно бесцеремонной — удерживая себя от последнего отчаяния. А еще, концентрируя весь свой гнев на «боге понарошку», поэт зато может никогда никого и ни в чем более не упрекать, никого более не судить. Часто ли встретишь *такое полное* принятие мира, каков он есть, хотя бы и только в земной его части? Не оттого ли Господь, Бог Живой, и попускает такие «игры» одному из возлюбленных Своих, возлюбленных и отмеченных не единственно лишь талантом?..

Все, накопленное поэтом внутри, требует выхода. Слава Богу, для Русакова он есть. Журнальные подборки, все на высоком уровне, когда каждая равносильна иной книге, идут одна за другой. Но, кажется... «Разговорам» пора уже выйти отдельным томиком. Все-таки — книгой.

Во-первых, конечно, она нужна читателю. А во-вторых, она, как некий этапный продукт, *освободила бы* автора для выхода на другие интонации, на другие уровни, не столько, может быть, поэтические, сколько духовные. Ведь вот он уже и признаётся:

Во мне что-то бьется, и плачет,
и просится выйти на свет,
как будто я только что зачат,
а мне рождения нет... —

и рвется из него просьба-мольба:

...Но выпусти, боже, на волю
меня из меня самого!.. —

но *сам* он — все еще держится за прежние рамки своих поэтических интонаций:

...А после возьмешь меня в долю,
хоть я недостоин того.
Я буду служить тебя ради,
одышку стараньем глуша.
И бросишь ты, боже, в досаде:
— Лядащая, в общем, душа!

Хочет выйти — и не выходит. Может, чувствует, что писать ему тогда скорей всего станет много трудней? Сейчас-то он всю свою безудержную энергию выплескивает с ходу — вон его «собеседник», всегда под рукой.

А может, причина совсем в другом, более глубинном? В период, когда писались и выходили его первые, еще «благополучные», книги¹, тоже шло накопление поэтического потенциала. А распорядился им — не поэт, распорядилась — судьба. Да еще взяв с поэта непомерную плату. Плату за все то, о чем я — так восторженно — готов написать в своих о его поэзии впечатлениях. И, может, теперь, боясь очередного вмешательства *извне*, поэт этой своей манерой попросту пытается очертить спасительный для себя круг? Не оттого ли и поэзия «Разговоров» кажется замкнутой на самой себе? Тогда особенно радуешься каким-то «случайным» в ней вещам, таким, например, как «Холмы в Эгенбога: сухая ржа по черни...» или «Ветеран легиона с вонючей от лямок спиной...».

Но действительно ли спасителен для слабого человека (это формула, человек — всегда слаб) очерченный им подле себя круг?.. Не знаю. Не уверен...

И дело даже не в том, что в нашем случае этот круг пытается замкнуть в неких пределах не только самого человека, но и *данный ему в распоряжение дар Божий*, отчего и дерзость стихотворца становится еще более горькой. Просто *спасает* — вообще не круг.

Есть другой символ. В стихах Русакова его почти не встретишь (и хорошо, подходя-то и ни к чему). Но... если встретишь, то обязательно в минуту очень болезненных для автора содроганий.

Я, господи, устал. Укороти мой путь.
Возьми меня к себе и погляди налево:
там, руки положив крестом себе на грудь,
любимая глядит без горечи и гнева.

...Отмучилась. Ушла. Освободилась.
Нательный крест забыла на столе.
Неужто смерть и впрямь у бога — милость,
оставленная лучшим на земле?..

И даже так, в канве признания — в минуту растерянности:

...Такой нелепый дар — реветь по пустякам,
дыхание терять и сердцем обрываться,
как будто я тянусь к родительским рукам,
а позже — будто мне бессмысленные двадцать...

Что он, когда народ восстанет на народ
и будет помечать крестом чужие двери,
и снова на земле наступит день сирот,
зыскующих от нас по мужеству и вере?

И вот эта болезненность, где-то подсознательно доводящая почти до неприязни (уже не игровой) к Создателю, как бы внушающая поэту, что антитезой небытию встает не слабая, эфемерная любовь, а живые, страстные *гнев и горечь*; болезненность, обращающая символ Спасения только в знак конечности земной человеческой жизни, — есть самое трудное из всего, о чем я думаю, принимая поэзию дорогого мне, не всегда всеми понимаемого поэта — Геннадия Русакова.

¹ «Длина дыхания» (1980) и «Время птицы» (1985). Отчасти и «Оклик» (1989), где грядущее, однако, уже начинает проявляться предчувствием его: такими «погодами», когда «Я сирых не жалею, / любимых не люблю. / Лишь боль свою лелею, / и в память — как в петлю».

...Но иногда, вместе с чисто поэтическими отблесками явственного дара, из этого круга пробивается Свет. Это случается тогда, когда поэт, на время освободившись — не от крестной памяти, нет, а только от стянувшейся вокруг нее удушающей петли, — вдруг замечает, что кроме его личной боли в мире есть не только еще что-то, но и — *кто-то*.

...Все, кто может, — простите. И ты, моя поздняя доля.
 Пусть лицо твое светит, когда мое солнце умрет.
 Пусть стоит надо мною у кромки последнего поля,
 на котором я, помню, уже умирал наперед.

Свет этот неяркий и необилен, даже скуповат, но главное, что он все-таки пробивается. Потому что в се, что успеваешь заметить *взгляд поэта*, видит он — *только с любовью*. Потому что иначе он не может. Потому что...

Ну, есть потому что Бог, есть!

Владимир ЦИВУНИН.

Сыктывкар, Коми.



СТРАШНОЕ И СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ

Репетиция. Пьесы уральских авторов. Екатеринбург, Уральское издательство, 2002, 460 стр.

Быть учеником Николая Коляды — хорошо. Коляда создал на Урале не просто собственную драматургическую школу с явственно ощутимыми традициями, но и инфраструктуру, позволяющую даровитым екатеринбуржцам выходить на свет, быстро менять местную известность на широкую, общероссийскую. Николай Коляда щедр: не переставая успешно выдавать собственную творческую продукцию (для справки: к настоящему времени Колядой написаны 70 пьес, у Островского их было 48, у Шекспира — 37), он «обустраивает» первые шаги карьеры для своих подопечных. В каждом интервью не забывает замолвить словечко об учениках, на собственном сайте вывешивает их пьесы, распространяет тексты по театрам. Не человек, а литературное агентство. Сказывается и коренное русское радушие, и сентиментальность театрального человека из провинции, выбившегося в разряд самых востребованных отечественных драматургов, и «отеческая» ответственность. На самом же деле есть и более глубокая причина литературного радушия. Все проще... и все глубже.

Дело вот в чем. Коляда не верит в это привычное театроведческое утверждение: дескать, драматург опережает развитие драматического искусства и предлагает консервативному искусству театра пути развития. Как ни скажи, суть его «системы обучения» остается той же: драматург может состояться только в театре и никогда — на бумаге.

Коляда тащит своих учеников в театр, в буквальном смысле слова «забрасывая» их в жизнь — сразу «в люди», минуя стадию «университетов». Умеющий плавать да выплывет, не умеющий — просто не станет драматическим писателем, профессионалом, настроенным *работать* с театром, а не писать для него. Николай Коляда верит в то, что театральная практика «замажет» любые драматургические недостатки. Для него, если угодно, вообще не существует понятия законченной пьесы — любой текст требует сценической доработки. Драма — прикладной жанр. Со сцены она лучше звучит, чем выглядит на бумаге. В жанре «драмы для чтения» ни сам Коляда, ни его ученики не работают. И вот логичная новость последних месяцев: в Екатеринбурге создан «Коляда-театр», в котором будут идти пьесы мастера и его учеников.

После такой преамбулы банальное название сборника «Репетиция» начинает играть разноцветьем красок. Писать пьесу — значит уже начать ее репетировать. Для Коляды — актера и режиссера — это очевидно.

Пьеса, давшая заглавие книге, принадлежит перу Ольги Бересневой. И этот интересный текст, быть может, максимально приближен к «основным параметрам» школы Николая Коляды. Режиссер и актриса (конечно, любовники) в пустом театре репетируют пьесу. Текст — не сказать чтобы стихи в прозе, но отменно ритмизированный диалог. Речь мягко плывет и стелется, и оттого нервный процесс репетиции оказывается гармоничным и идиллическим. В театральные репетиции вклинивается личная жизнь, сюжет пьесы замещается реальными взаимоотношениями. Театр становится реальностью, реальность — театром, и в этом глубоко естественном для Коляды и его учеников соединении конфликт оказывается соположен душевному покою. Жизнь и сцена сливаются в одну протяженную историю противоречивых человеческих отношений.

На обложке книги изображен пустой театральный зал, на который сверху, из-под плафона, где должна бы находиться люстра, выливается поток грязи. Графика принадлежит постоянному соавтору Коляды, сценографу Владимиру Кравцеву. Его рисунок, вероятно, должен напомнить, что мы имеем дело с так называемой «чернухой» в театре. И таких пьес — жестоких, неприглядных и «варварских» — здесь большинство: это и «панковские» зарисовки Евгения Леончука «Die Mäuse», и «Занимательная арифметика», и тексты Василия Сигарева, и его «эпигон» Татьяна Филатова с текстом «Торс лысого кучера», и пьеса Надежды Колтышевой «Ментовская новогодняя».

Модный теперь и самый известный ученик Николая Коляды Василий Сигарев представлен уже многожды прославленным текстом «Пластилин», поставленным в двух театрах Москвы «Черным молоком» и текстом «Фантомные боли» — о нездоровой девушке, которая пережила гибель любимого человека и ищет замещения своей «фантомной боли».

«Пластилин», если угодно, — знак новой волны в современной драматургии. Писателю удалось совместить очень «прозападную» форму письма, берущую исток в экстремальном европейском кино (рваная, дискретная инфраструктура мелко-мелко нарезанных сцен, действующих на зрителя как ослепительные фотовспышки), моду на ядовитые, злобные, душераздирающие тексты о жуткой беспросветности бытия и отличное знание российского провинциального контекста. В заводском уральском городе прозябает подросток Максим, тинейджерской грубостью и отменным сарказмом отвечающий на возмутительную тупость окружающей жизни. Но парню, так и не успевшему осознать свою особость, в этом мире не выжить. И он погибает, успевая по-своему отомстить негостеприимной жизни и проклясть ее на веки вечные. С помощью пластилина и олова он вылепливает для своих врагов огромный фаллос, чтобы послать их всех куда следует. «Пластилин» — это ужас российской глубинки и патологической глубины в ожесточенных сердцах. Картины «Пластилина»: подлая школа, плюющая в души детей; родители, бросающие чад на попечение еле живых бабушек; нищета и отсутствие перспектив на будущее; беглые солдаты, использующие мальчиков «по назначению»; попустительство милиции — словом, простой крошечный ад привычной всем жизни. «Пластилин» — прорыв не только в общем контексте современной драмы, но и прорыв для Василия Сигарева. Остальные его тексты более чем традиционны, впрочем, не теряя от этого искренности и качества. Сегодня они вызывают правомерный интерес у театров. Но если «Пластилин» призвал себе на помощь адекватную экстремальную режиссуру Кирилла Серебренникова, то «Черное молоко» и другие пьесы Сигарева — скорее удел режиссеров с сентиментально-ностальгическим настроением (Сергей Яшин и Марк Розовский в Москве). Начинают ставить Сигарева и в антрепризах. В этом году он самый популярный драматург.

Еще один участник «Репетиции» — Олег Богаев — был первым из трех учеников Николая Коляды, получивших престижную Антибукеровскую премию. В свое время он написал «Русскую народную почту» — одну из самых существенных современных пьес, которая обошла многие российские сцены и тем самым невероятно подняла престиж новой драматургии. В «Почте» взаимодействовали некто (одинокий пенсионер Иван Жуков, который ведет сам с собой переписку) и бесчисленная рать его фантомов-респондентов: Елизавета Великая — королева Англии, Владимир Ленин, марсиане и клопы. Развиваясь, Олег Богаев ушел сегодня не в ту

сторону, в которую следовало бы от него ожидать. Он стал писать пьесы не из жизни обиженных и униженных Ванек Жуковых, а из жизни искусственных персонажей, которые окружают этого униженного человека.

Театр — искусство, изначально развернутое на человека, на драматизм человеческого бытия. Богаев же презирает закон, который гласит, что если в театре начинают оживать предметы, является нечто фантомное и призрачное, то тут же вместе с ними на сцену восходят искусственность, ходульность и безжизненность. Преодолеть эту закономерность мог только символист Морис Метерлинк в «Синей птице». В старой пьесе Олега Богаева «Мертвые уши», к примеру, авторы книг из местной разоренной библиотеки (Гоголь, Толстой и другие) ходили по домам и искали себе новых хозяев.

В пьесах, опубликованных в сборнике «Репетиция» («Фаллоимитатор» и «Телефункен»), представлен именно этот искусственный мир суррогатов, в который ушел с головой много обещавший автор. И уже теперь кажется, что сочиняет он пьесы не для драматического, а для кукольного или радиотеатра или вообще занимается возрождением мультипликации в уральском регионе. В «Телефункене» театру предлагается разыграть сюжет из жизни радиоприемников и радиол. Живет такая радиосемья в одной квартире: старые аппараты ворчат и вспоминают старую, довоенную жизнь, а молодые влюбляются, женятся и рожают маленькие японские плееры. Трогательно, умильно, сентиментально, да и только!

Олег Богаев испытывает жалость не к человеку, а к вещам, как Плюшкин в блестящей интерпретации Владимира Топорова. Современный театр между тем требует, думаю, исключительного правдоподобия, жесткой реальности, бескомпромиссности и ядовитости эмоций — как, скажем, в текстах других екатеринбургских драматургов, братьев Пресняковых, процветающих без опеки Николая Коляды.

Тот же «кукольный» эффект заметен в пьесе «Пыль» Анны Богачевой, где в антикварном салоне взаимодействуют семь мраморных слоников и свинья-копилка. Замечаем его и еще в одной пьесе Олега Богаева — «Фаллоимитатор»: «новая русская женщина» Вера Павловна, очень богатая и очень несчастная, заводит себе наконец настоящего любовника — резиновую куклу — и начинает новую половую жизнь. Достаточно только на миг представить себе тот театр, который сможет вывести на сцену актера в соответствующем силиконовом костюме «эротической куклы», и сразу поймешь, как быстро сходит на нет весь гуманистический пафос Олега Богаева. Смешно и... как-то глупо, ей-богу!

«Фаллоимитатор» — не единственная пьеса, посвященная теме социального раскола российского общества. В пьесе Надежды Колтышевой «Семечек стакан» мир так же четко делится на очень бедных и быстро разбогатевших. И, как и можно было предположить, в результате различных сценических превращений оказывается, что у богатых на душе одна гнусь, а униженные и оскорбленные, хоть и бедны, — честны и чисты. В текстах молодых авторов почему-то реализуется чувство социальной мести, свойственное скорее старшим поколениям. Крутая баба оказывается несчастнейшей женщиной, униженной мужем-воротилой, а ее партнерша, продавщица семечек, остается при своих и предпочитает свободу унижению, как та худая полевая мышь, нанеся визит трусливой и толстой домовой мыши, бегающей от kota.

Если не замечать суперизвестного «Пластилина» Василия Сигарева, который опубликован в этом издании не в первый и даже не во второй раз, лучшей в сборнике, на наш взгляд, окажется маленькая пьеса Анны Богачевой «Иллюзион». Богачева унаследовала от учителя самый сильный драматургический эффект, в котором Николай Коляда — дока: соединение страшного и сентиментального, сближение двух неблизких ощущений. В «Иллюзионе» Школьница встречает Даму с неадекватным поведением — знаменитую циркачку Стеллу, а теперь городскую сумасшедшую. Сближаясь с девочкой, клоунесса рассказывает ей историю блистательной карьеры Стеллы и Эдгара — цирковой пары — и ее печальный финал: гибель партнерши в автокатастрофе. Разоблачаясь перед благодарной слушательницей дальше, Стелла вдруг оказывается... переодетшимся в женщину Эдгаром, сохранившим в себе супруга в буквальном смысле слова. Трагическая клоунада, трагическая история любви... Очень неожиданный текст!

Николай Коляда создал драматургическую школу, на которой, по-видимому, будет держаться российский репертуар в ближайшие десятилетия. Ее законы состоят в смеси почти детской наивности и необязательно вытекающей из нее искренности. Часто в *неловких* пьесах Коляды, равно как и в его *неловких* спектаклях, вдруг пробуждается великая магия, нечто фантастическое. И бесформенность, нерегулярность, нарочитая неправильность такого искусства — залог свободы, в которой может «зародиться» сила. Парадокс Коляды состоит в том, что в разные моменты он может сравняться с великими, а может — с любым драматургом из числа дилетантов. Ученики повторяют это свойство пера Коляды. Иногда и у них получается.

В любом случае вместо того, чтобы рецензировать все это в качестве *текстов*, имеет смысл дождаться и посмотреть, в каких царевен, дурнушек или милашек, преобразятся эти «лягушки» на драматической сцене.

Павел РУДНЕВ.



БЕС ЛЕГКОСТИ И БЕС ТЯЖЕСТИ

Кристофер Лэш. Восстание элит и предательство демократии. М., «Логос-Прогресс», 2002, 220 стр.

«Восстание элит» — последняя (вышла в 1995-м) книга Кристофера Лэша (1932 — 1994), американского социолога, до сих пор более всего известного у нас другой своей работой, «Культура нарциссизма» (1979). Как видно уже из заголовка, «Восстание элит» сопоставлено со знаменитой книгой Х. Ортеги-и-Гассета «Восстание масс». Основная мысль у Лэша та, что соображения Ортеги на данную тему устаревают, что сейчас происходит не столько «восстание масс», сколько «восстание элит» — против ценностей, которыми они еще не так давно дорожили; массы же, напротив, становятся консервативной силой.

Надо сразу уточнить, что Ортега (его книга вышла в 1930-м) имел перед глазами главным образом европейский опыт 20-х годов, а Лэш написал свою книгу на американском материале. Описанный Ортегой выход на авансцену истории среднего, заурядного человека был нов для Европы, но не для Америки. За океаном — откуда оно, собственно, и перекинулось в Европу — «восстание масс» началось столетием раньше (можно датировать его начало так называемой джэксонской революцией 20 — 30-х годов XIX века), и применительно к XX веку можно говорить лишь о некотором его развитии. А вот «восстание элит» — феномен последних двух-трех десятилетий, и в Америке оно ощущается, быть может, острее, чем в Европе.

Не в последнюю очередь оно связано с обновлением элит: «старые деньги» вынуждены были потесниться, чтобы уступить место менеджериальному слою и тому весьма широкому кругу лиц, которые так или иначе отвечают за «информационное обеспечение» экономики и политики. Прежние богачи жили, как правило, оседло и не забывали о своей местной общине, в рамках которой ощущали себя такими же гражданами, как и все прочие; разве что «первыми среди равных». А люди, причастные к малопонятной рядовым американцам «информационной экономике», ведут полукочевой образ жизни и даже селятся как бы колониями — среди подобных себе и более или менее изолированно от прочих. Психологически они нигде не «прописаны» и ощущают себя скорее «гражданами мира», чем гражданами своей страны. И развлекаются они по-своему, в особых, недоступных другим развеселых местах.

«Элиты, определяющие повестку дня, — делает вывод Лэш, — утратили точку соприкосновения с народом».

Заметим, что осуждение у Лэша, равно как и у «народа» («нижних 80 процентов»), от имени которого он выступает, вызывают не «большие деньги» сами по себе, а то, как они тратятся. Нельзя сказать, чтобы косою взгляд на чужое богатство американцам вообще был бы не знаком; такой взгляд диктуется ведь не толь-

ко непохвальным чувством зависти, но также и сдержанным (иначе можно сказать — амбивалентным) отношением христианства (его кальвинистская ветвь в своем позднем развитии не составила в этом смысле исключения) к богатству как таковому. И все же в американской традиции преобладает терпимое отношение к богатым, зачастую нюансируемое откровенным восхищением: если тот, кто добыл (именно так — добыл, а не по наследству получил) золотую щетинку, «свой парень», от народа не отрывается, в жизни местной общины активно участвует, жертвует на все, на что полагается жертвовать, и т. д., — то в этом случае богатство будет поставлено ему в плюс, а не в минус.

Так что если элиты воспринимаются сегодня как чуждые «народу», то причину тому не богатство их, а культурная инаковость. Нынче в управлении экономикой резко выросла интеллектуальная составляющая — соответственно выросла ценность образования. Естественно, что образование — пусть не любое, но то, какое дают многие, изблюбленные элитами, привилегированные университеты, — приобщает к современной культуре. Современная же культура, по крайней мере на поверхности, такова, что привлекает критически рационалистические и в религиозном смысле скептические взгляды и не привлекает любые другие. А вот этого «народ» не любит¹.

Здесь опять же традиция. Было время, когда «простые американцы» испытывали пиетет в отношении культуры; Америка, между прочим, была «самой читающей страной в мире» задолго до того, как это почетное звание перешло к советской России (конечно, и тогда преобладало чтиво, но успех «серьезной» литературы был несопоставимо большим, чем сейчас, да и чтиво было совсем иным). Какой-нибудь краснолицый фермер со Среднего Запада открывал здоровенными ручищами купленную им очередную книгу в надежде найти там что-то интересное, но такое, чтобы оно не противоречило основам религии и всему кругу общепринятых ценностей. Утонченников и упадочников он не жаловал. «Критиканства», которому предавались «хлыщи с Гудзона», не терпел. «Критикан» для него — хуже тexasской гадюки. Это тип, который, по его убеждению, не может естественным образом произрасти на американской почве, но насаждается из-за океана — усилиями развратников-французов, шеголяющих в «дамских» беретах и бархатных штанах.

В сегодняшней Америке многое, конечно, сгладилось, но, как свидетельствует Лэш, что-то от этой неприязни «простого человека», *common man*, к «чересчур культурным» сохраняется и даже обостряется — причину тому эволюция культуры элит в направлении все большей безземности. Раньше хоть были так называемые *public intellectuals*, у которых словарь сильно отличался от языка «простого человека», но которых все-таки можно было понять при некотором усилии. Сейчас это племя вымирает; его место занимают специалисты, то и дело прибегающие к птичьему языку («невразумительному жаргону», как говорит Лэш), совершенно недоступному для ходящих по земле. Салонность на современный лад становится способом бытия «передовой» культуры; главный ее признак — отчуждение от любой формы мифа (как определенной системы смыслов), восприятие его как текста, объяснять который следует из самого текста. Некоторые называют это «игрой в бисер», хотя такого рода занятие чаще напоминает натужное ворочание тяжелыми камнями.

Мир «передовой» культуры, академический мир в частности, все больше возглавляет поколение, прошедшее через «культурную революцию»: «Когда дети 60-х, — пишет цитируемый Лэшем социолог Р. Кимболл, — получили свои профессорства и деканства, они не оставили мечты о радикальном преобразовании культуры; они принялись проводить ее в жизнь. Теперь... вместо попыток разрушить наши образовательные заведения физически, они подрывают их изнутри». Они отстаивают принцип свободы, применительно к культуре и жизни, упирая на «личный выбор» и не соизмеряя его с другими принципами — авторитета, тради-

¹ Могут спросить, куда же в этом противополжении «народа» и элит подевался средний класс, который у нас считают, не без некоторых оснований, гарантом стабильности. Он никуда не подевался, но ведь сейчас речь идет о классификации по признаку культуры, а не по признаку собственности или уровня доходов. (Кстати говоря, глобализм, которому привержены элиты, многие авторы считают явлением в первую очередь культурного порядка.) Большую часть среднего класса, особенно ту, что проживает в «серединой» (по географическому признаку — простершейся меж двумя побережьями) Америке, Лэш относит к «народу».

ции, долга; и они делаются строгими моралистами, защищая этот принцип, в их интерпретации ведущий в конечном счете на путь вседозволенности и цинизма.

Принимая эстафету у европейских левых, они объявляют себя защитниками всех униженных и угнетенных (или якобы униженных и якобы угнетенных), только вместо дискредитированного Маркса принимают за основу «эстетический социализм» О. Уайльда (так по крайней мере считает Лэш), взгляд которого на человечество был, в пору так его называть, ботаническим: люди — те же деревья в лесу, поэтому пусть все растет, как может, не спрашивая ни у кого советов и не давая их другим (не спрашивают же дуб и терновник друг у друга, как им расти); и пусть никто не мешает другому и все друг друга любят. Казалось бы, такой взгляд должен хотя бы поощрять разнообразие мира; на самом деле мир в своем разнообразии внушает «эстетическим социалистам» скорее равнодушие, и вся их энергия уходит на то, чтобы не допускать сравнений, какое дерево высокое и какое низкое, — все деревья равны, и каждое должно вызывать «уважение».

Во многом эта «ботаническая» утопия созвучна умонастроениям jet-set society, скользящего над миром как бы на воздушной подушке и все меньше ощущающего себя привязанным к определенному его участку. Равно в деловом и развлекательном аспектах жизни. В деловом аспекте люди, принадлежащие к этому кругу, более всего озабочены успехом собственных наднациональных предприятий и больше общего имеют со своими иностранными контрагентами, нежели с формальными согражданами. В развлекательном аспекте они охотно культивируют «новые стили жизни», отвечающие принципу «свободы для себя» и в наибольшей степени оторванные от традиций. Бес легкости подбивает их и дальше двигаться по этому пути.

По контрасту «народ» остается в значительной мере консервативной силой (это мое определение; Лэш его избегает по причинам, которые станут понятны ниже). Здесь еще сохраняют общинные привычки и навыки «старомодной» артельщины; не считают пережитком мораль и как могут сопротивляются «культуре бесстыдства»; ценят компанейскость и «хороший разговор» (аналог русского разговора «за жизнь»?); сохраняют не только внешние признаки религиозности, но и вполне искреннюю веру в личного Бога; и все меньше интересуются большой политикой как делом, «простому человеку» малопонятным и от его реального участия ускользающим (в этом последнем отношении традиция как раз нарушается: в XIX веке политика федерального уровня, не говоря уже о местном, вызвала живейшее участие у подавляющего большинства американцев).

Выступая на стороне «народа», Лэш позиционирует себя как популист и с позиции популизма говорит немало такого, с чем трудно не согласиться. Например, с тем, что демократия есть правовой строй, который должен способствовать улучшению нравов, а не ухудшению их; и что нравы в конечном счете есть самое важное, от чего зависит все остальное. Или с тем, что подлинная демократия невозможна без «высокоразвитого чувства места и чувства уважения к истории как непрерывности времени»; и что она всегда должна строиться снизу — как «демократия малых пространств» (терминологическое совпадение с А. И. Солженицыным).

Лэш считает, что популистов нельзя отнести ни к правым, ни к левым, и это, пожалуй, верно. Традиционный американский популизм всегда ставил в главу угла опору на собственные силы и высоко ценил «частные добродетели», такие, как семейственность, трудолюбие, инициативность в сочетании с расчетливостью. Но другой, не менее важной стороной популизма была и остается коммюнитарность, хотя она далеко не всегда проговаривается, ибо считается, что она сама собою разумеется: можно ли в самом деле быть христианином и пренебрегать такими вещами, как взаимопомощь и сострадательность к ближнему своему?

Но, окапываясь на позиции популизма, Лэш разделяет и все его слабости. Поэтому нарисованная им картина противостояния элит и «народа» во многих частях оказывается неверной.

Дело в том, что пагуба «восстания элит» никоим образом не отменяет пагубу «восстания масс». Я специально перечитал книгу Ортеги: почти все, что он пишет, и сегодня остается злободневным; что-то стало даже более злободневным, чем шестьдесят лет назад. Человек массы исполнился претензий и хочет иметь все, что имеют другие; в то же время он доволен собою и не склонен считаться с авторите-

тами, не понимая, что цивилизация в ее высших достижениях создана гениями и без них не продержится. Разве что-то здесь устарело? «Вульгарные... смело заявляют свое право на вульгарность» — сегодня их заявления звучат еще более настойчиво и еще более вульгарно. Политические деятели заискивают у масс — то же делается сегодня, только еще откровеннее.

Более того, пагуба «восстания масс» в известной мере уже предопределила пагубу «восстания элит». Еще раз вспомним Ханну Арендт, ее соображения о «странном союзе элиты и черни»: уже в 20-е годы элиты стали перенимать некоторые повадки черни. Лэш не употребляет понятия «чернь», даже понятия «массы» избегает, предпочитая говорить о «народе». Но те 80 процентов населения, которые он имеет в виду, духовно и психологически предстают в различных и переменчивых обликах, что может быть отражено терминологически. «Народ» означает нечто структурированное и хотя бы относительно устойчивое, «массы» — более текучее и способное к неожиданным превращениям, а «чернь» есть наихудшее, во что способны превратиться «массы».

Великая американская традиция, как называют популизм, изначально заключала в себе покатость, по которой народ может скатиться до состояния черни. Лэш этого не видит, он отстаивает популизм в том виде, в каком он сложился в джексоновскую эпоху. Он берет быка за рога, обосновывая «народный взгляд» как он его понимает. Элиты, по его утверждению, живут в мире абстрактных понятий и знаков, имеющих лишь отдаленное отношение к реальности; тогда как «народ» (я вынужден заключать это слово в кавычки всюду, где его употребляет Лэш) видит ее вблизи и потому судит о ней более здраво. Ругая специалистов, ныне задающих тон, Лэш в данном случае пытается опереться на Ортегу: тот «признавал, что... „человек науки“ — „технар“, специалист, „ученый невежа“ (невежда? — Ю. К.), чье умственное превосходство „в его крохотном уголке вселенной“ было под стать только его невежественности во всем остальном».

Действительно, Ортега порицал специалистов за «частичность» их знаний (более того, исповедуя философию жизни, науку в целом называл «бегством от жизни»), но он несколько не отрицал высокую ценность объективного знания, независимого от «мнения народного», а точка зрения Лэша прямо противоположная: «простой человек» должен опираться на собственное мнение; ближе скорее подскажет ему истину, чем умозрительная даль².

Небезынтересно было бы сопоставить отстаиваемый Лэшем популизм с нашим «патриотическим» движением, точнее, с определенным направлением внутри его (тем, которое проводит, например, радио «Свободная Россия»): десять отличий, наверное, отыщутся, но в самом главном, именно в избранном ракурсе воззрения на мир, большое сходство — и тут и там опора на домашний кругозор, и тут и там вера, что «простой человек» своим умом способен выпутаться из всех сложностей, созданных путаницей истории.

Вот где Лэш расходится с консерваторами (неоконсерваторами): те полагают, что существует незыблемый круг ценностей, независимый от человеческого волеия³, а Лэш утверждает, что «сегодня уже невозможно воскресить те абсолютные истины, что когда-то, казалось, давали прочные основания для возведения надежных умственных построений». При этом Лэш впадает в противоречие, которое становится особенно заметным там, где дело касается религии.

² Уместно вспомнить, что писал на сей счет певец американской «народности» Уолт Уитмен: «Только редкий космический ум художника, озаренный Бесконечностью, может постичь многообразные, океанические свойства Народа, а вкус, лоск образованности и так называемая культура всегда были и будут его врагами» (из статьи «Демократические дали»). В другом месте Уитмен пишет о Р. У. Эмерсоне, что тот «постоянно говорит о приволье, о дикости, о простоте, о свободном излиянии духа (то есть о том именно, что ценит народ. — Ю. К.), между тем как каждая строчка зиждется у него на искусственных профессорских тонкостях, на ученых церемониях, просеянных через три-четыре чужих восприятия» (статья «Книги Эмерсона»).

³ Взгляды неоконсерваторов нашли отражение в книге Ирвинга Кристола «В конце II тысячелетия» (М., 1996). Самое яркое за последние двадцать лет выступление на тему культуры с неоконсервативных позиций — книга Аллана Блума «Тупик американского мышления» (Blount A. The End of the American Mind. N. Y., 1987). Ее, кстати, давно пора перевести на русский язык.

Известный факт: подавляющее большинство американцев верует в Троичного Бога и в загробную жизнь (процент верующих у них значительно выше, чем у европейских народов, за исключением разве что ирландцев и поляков), а вместе с тем сила воздействия религии в их жизни неуклонно убывает; элиты, те вообще, как правило, с нею не считаются или считаются чисто формально. Лэш правильно объясняет этот парадокс: суть дела в том, что практически все конфессии, какие есть в стране, давно уже встали на путь потакания человеческим слабостям. Бог, в которого верует большинство американцев, — снисходительный, дружески подмигивающий и, так сказать, ласково треплющий за холку; Он как бы нашептывает всем и каждому: прислушайся к велениям своего тела, пойми их правильно, следуй им и будь счастлив, покуда возможно, на этой земле, а там перед тобою раскроет свои врата Царствие Небесное.

Опять же Лэш правильно указывает, что сущность религии не в том, чтобы «соответствовать» земным потребностям человека, а в том, чтобы столкнуть его с высшими реальностями, с какими бы «неудобствами» для него это ни было связано. «Секрет счастья, — пишет он, — кроется в отказе от права быть счастливым». Но как удержать высоту веры? Оказывается, надежды в этом смысле подают «менее образованные», и только они; на «специалистов» (клириков) надеяться нельзя — не потому, что они привыкли гладить прихожан по шерстке, а потому, что им вообще нельзя слишком доверять именно как «специалистам».

Противоречив Лэш и в вопросах образования. С одной стороны, он, подобно неоконсерваторам, скорбит об оскудении багажа «общих знаний» (аллюзии на Шекспира или на Библию подрастающим поколениям непонятны) и о том, что образование становится все более специальным и все больше рассматривается как средство продвижения по социальной лестнице. Но с другой — он, вполне в духе популизма, горячится, дабы образование не было оторвано от «демократического идеала населения, образованного самим житейским опытом» (это напоминает одного из героев Г. Успенского, требовавшего, чтобы школьные учебники несли на себе «народные печати»). Элитные, в истинном значении этого слова, нормы образования он отвергает вместе с элитарными школами, ибо демократия, по его убеждению, несовместима с каким бы то ни было превосходством, будь это даже культурное превосходство.

Как легко догадаться, в политической плоскости Лэш является сторонником «прямой демократии», которую он мечтает воссоздать на федеральном уровне. Хотя бы посредством возобновления политических дебатов с участием большинства населения, которому вместо них подсовывают вопросники, резко сужающие возможность высказать свою точку зрения по тому или иному поводу. Но возобновление серьезных дебатов предполагает готовность их участников к обсуждению, среди прочих, весьма сложных вопросов, то есть все опять упирается в образование.

Воюя с бесом легкости, Лэш сам оказывается жертвою беса тяжести, не дающего ему оторваться от опыта прошлого, который вовсе не был однозначно позитивным и в любом случае не может быть воспроизведен в прежнем виде. Всякая правда надвое колется. «Средняя Америка», какую она была в XIX и еще в начале XX века, могла похвалиться разными завидными достоинствами, а в то же время мы знаем, благодаря, например, Шервуду Андерсону или Синклеру Льюису, сколь душно порою становилось в этой среде. Герои их произведений мечтали о большей свободе, хотя постоянно сбивались на апологию существующих порядков. Пришло время — свобода стала распахивать все двери и окна, впуская ласковый теплый ветерок, за которым воровски проникала (такова диалектика свободы) стужа. Это «средняя Америка» 50 — 60-х годов, какую ее изобразили Джон Чивер и Джон Апдайк. Вот чего нет у Лэша — попытки охватить взглядом восьмидесятипроцентное большинство в его движении и в его многообразии; вместо этого он предлагает слишком приблизительную и негибкую схему, вытесняющую из поля зрения живых и меняющихся людей.

Можно ли противопоставлять «народ» и СМИ, которые, как пишет Лэш, «ставят вопросы и задают основные правила игры»? С одной стороны, действительно «народ против Ларри Флинта»; по данным, например, известного исследования Д. Янкевича, две трети респондентов высказываются против чрезмерных «сво-

бод» в СМИ и за «возвращение к более традиционным нормам семейной жизни и родительской ответственности». Но с другой стороны, сами СМИ более или менее оперативно отзываются на пожелания аудитории, что в условиях рынка естественно и неизбежно. Кто несет в массы «легкость в мыслях»? Идолята и кумирчики массовой культуры. Но откуда они приходят? А приходят они, повинувшись зову масс (так по крайней мере обстоит дело исторически). Возвеличивание ничтожного — обратная сторона недоверия к высокому. Словом, здесь какая-то сложная акустика, с которой надо разбираться отдельно. Если взять, к примеру, «важнейшее из искусств» и взглянуть на него с такой точки зрения, то при некотором усилии можно будет развести, что в нем затребовано «народом», как его понимает Лэш, а что идет от «полых людей» (ставшее крылатым выражением название одной из поэм Т. Элиота), принадлежат ли они к элитам или к «нижним 80 процентам».

Злая ирония в том, что отстаиваемый Лэшем популизм фактически подыгрывает настроениям скептицизма и вседозволенности, овладевшим элитами или по крайней мере значительной их частью. Изначальное отвержение авторитетов и объективного порядка ценностей превращает культурный процесс (чем дальше, тем больше подминающий под себя религию) в самотек, в условиях которого человек оказывается в слишком большой зависимости от непосредственно окружающей его среды и складывающихся обстоятельств. С ослаблением внутреннего стержня каждый плывет туда, куда его несет, а кто «посмелее», еще и подгребает по течению. А куда может вынести течение, показывает тот же кинематограф, демонстрирующий — американскому городу и остальному миру — образцы некоего лакированного люмпенства (наряду, конечно, с другими вещами), зовущего на путь подражания.

Может быть, гений Америки, как допускал еще Уитмен, презрительно хохочет с высоты Западных гор, глядя на то, что происходит в стране.

Отнюдь не хочу приуменьшать силу сопротивления всепроникающей порче нравов, исходящую «снизу»; всякое действие рождает противодействие — уже доверяясь этому принципу, можно предположить, что сила сопротивления не такова, чтобы с нею можно было не считаться. «Народ», или наиболее консервативная часть населения, становится худо-бедно хранителем таких элементов нравственности, которые элитами или, во всяком случае, той их частью, что близка к «огням рампы»⁴, ценятся невысоко, как-то: скромность, физическая и душевная опрятность, семейственность, внимательность к ближнему и т. д. Но как «провести» эти качества в будущее, настроить зрение на близь и решительно не желая вглядываться в даль, где ничего невозможно понять, не прибегая к помощи сложнейших и тончайших мыслительных построений? «История... черпает свое богатство в долинах», — писал Ортега. Это, конечно, так. Но разглядеть пролегающие впереди пути-дороги можно только с высоты горных вершин.

Хорошо, что русский перевод «Восстания элит» не слишком запоздал. Сейчас в мире столько Америки, что вопросы ее внутренней духовной «икономии» не могут не представлять всеобщего интереса. Это во-первых, а во-вторых, книга Лэша нелишний раз показывает, что демократия, даже в пределах ее «земли обетованной», не есть нечто окончательно сложившееся, что над ней надо еще работать и работать. А если не работать, то в один прекрасный день она может, грубо говоря, загнуться (возможность, которую автор книги, в числе других западных мыслителей, рассматривает как вполне реальную). Более того, как справедливо пишет Лэш, «при всей внутренней ей присущей привлекательности демократия — это не самоцель. О ней надо судить по ее успеху в производстве лучшего продукта, лучших творений искусства и науки, лучшего образца нравов». Под этим углом зрения Америке, выступающей, не без некоторых на то оснований, в роли учителя демократии, самой еще надо над собою потрудиться.

Юрий КАГРАМАНОВ.

⁴ Есть данные, свидетельствующие, что многие элитные кадры в нравственном отношении могут быть отнесены к наиболее консервативным слоям населения. См., например: Lamont M. Money, Morals and Manners. Chicago, 1992.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА

На сегодняшней «полке» оказалось сразу несколько книг писем. Никакого отбора не было, просто так сложилось. Возможно, что в лучших своих образцах, эпистолярный жанр (в его привычном виде — бумага, перо, конверт...) прощается с нами, уходя из повседневности в историю культуры.

+9

Марина Цветаева. Письма к Наталье Гайдукевич. М., «Русский путь», 2002, 125 стр.

Небольшая книжка в благородно-скудном оформлении — событие для всех, кому дорого имя Марины Цветаевой.

История, которая стоит за выходом в свет этой книги, могла бы быть точно истолкована только самой Мариной. Ей свойственно было моментально проникать в смысл тех событий, что мы называем случайными. Нам же остается радоваться и удивляться маленькой победе над забвением, спасению трепетных листочков от губительного времени. Война, аресты, ремонты, смены режимов и протекающая крыша — все пережили эти двенадцать писем, найденных недавно в Вильнюсе, — число-то какое хоршее.

Поразительно, что письма «прятались» в точности до того срока, до которого Ариадна Эфрон завещала закрыть от чужих глаз письма матери. Летом недавнего, 2001 года польский писатель Владислав Завистовский приехал в Вильнюс и заглянул в дом, где жила когда-то его бабушка Наталья Александровна Гайдукевич. Нынешняя хозяйка дома (увы, имя ее не названо в книге) оказалась доброжелательным и порядочным человеком; на прощание она вручила Завистовскому пачку писем, которую нашла за стропилами чердака.

«Как я обрадовалась виду Вашего почерка на конверте, — аккуратного, институтского, первоученического. Эти почерка похожи на *жизнь* прежних нас...» (из письма от 24 апреля 1935 года).

Редкая способность чувствовать другое сердце на расстоянии, поверх всех барьеров, и безошибочная интуиция дарили Цветаевой возможность дружить и любить без очного знакомства, не видя лица, но видя душу. «Есть вещи пуше, чем родство: родство — человеческое...»

Но формально переписка Гайдукевич и Цветаевой началась как родственная. Наталья, молодая учительница французского языка, написала Цветаевой как своей дальней родственнице по линии Геевских. Марина Ивановна отозвалась быстро и очень сердечно: «Голубчик, как Вы могли подумать, что я Вам не отвечу...»

Письма Гайдукевич не сохранились, но и уцелевшие письма Цветаевой оставляют ощущение диалога, напряженного созвучия. Общие мечты о несбыточных путешествиях, о море и одиночестве. «Хотела бы... маленького окошка, большой лестницы, большого вида, большого сада, большой тишины...» (от 1 июня 1934 года).

Много о детях. В самом последнем письме (от 14 августа 1935 года) — ключ к тому, что Цветаева понимала под воспитанием: «Нужно все отдавать детям без всякой надежды — даже на оборот головы. Потому что — нужно. Потому что — иначе нельзя — тебе».

Письма полны женской повседневности, но и топка, и готовка, и стирка, и штопка — весь этот быт накрепко связан и подчинен поэту. Труд рукодельный без всякой таинственности связан с трудом рукописным. И всякий обыденный предмет, будь то примус или детский горшок, — все укладывается в *рукопись жизни*. «Не пишите иронически о примусе, — просит Цветаева своего адресата, — это — друг...» (от 7 июня 1935 года).

Книга, которая упрямо пишется — пусть и между строк быта! — вырастает в «надежные бесстрашные крылья». Писание делает человека неуязвимым. Вот последнее упование поэта.

В одном из последних писем в Вильнюс Марина пишет: «У меня для Вас есть чудесный подарок, но послать невозможно: таможня. Подарок на всю жизнь...» Пере-

писка обрывается, и мы никогда не узнаем, что это был за подарок. Наталья Александровна Гайдукевич воспоминаний не оставила, хотя Цветаева так просила ее: «Напишите ту книгу, которую за Вас никто не напишет... Напишите всех: мать, сестер...»

Константин Паустовский. Время больших ожиданий. Повести. Дневники, письма. В 2-х томах. Составители и авторы сопроводительных статей: В. К. Паустовский, Я. И. Гройсман, С. И. Ларин. Нижний Новгород, «ДЕКОМ», 2002. Т. 1 — 512 стр.; т. 2 — 384 стр. («Имена»).

Единственное солидное издание, вышедшее к отмечаемому в прошлом году 110-летию Константина Георгиевича. Знакомые читателю автобиографические повести сопровождаются в двухтомнике публикацией неизвестных писем и дневников Паустовского.

Сын писателя, Вадим Константинович, много лет посвятил скрупулезной работе с архивом отца. Первая крупная публикация ранних дневников и писем Паустовского состоялась десять лет назад (Паустовский К. Г. Повесть о жизни. Т. 1. М., 1993). Были опубликованы дневники 1914 — 1919 годов, записи из фронтовых блокнотов 1914 — 1915 годов. Уже тогда стало ясно, что дневниковый Паустовский разрушает привычный образ «певца родной природы». И нет большого преувеличения, когда издатели в своем предисловии к двухтомнику обещают нам «нового Паустовского, неизвестного широкому читателю».

«Неужели нет ни одного человека, о котором бы я не сказал чего-нибудь плохого. Снился Бунин — сухой, похож на моего отца. Я сидел в гостях у его сына... Он вошел и брезгливо сказал: „Неважные гости бывают у тебя“».

«Из жизни РОСТА можно написать страшный рассказ, от которого похолодеет сердце. Он будет вызывать омерзенье, тошноту...» (из записей, сделанных в апреле 1927 года).

Не зная, чьи они, можно долго гадать, кому принадлежат эти записи — Булгакову, Замятину, Пильняку... О будущем авторе «Ильинского омута» и «Корзины с еловыми шишками» здесь ничего не напоминает. Лишь отдельные слова. «Паром, золотые березы, камень, на Оке стучит пароход...» (24 сентября 1927 года).

И только однажды прорывается исповедь, похожая на жесткий диагноз, поставленный бывшим фронтовым санитаром самому себе. Эти строки очень многое объясняют в последующей судьбе Паустовского: «Я... человек с поврежденной психикой. Повреждение какое-то тихое, упорное, мучительное... Я думаю о жизни, которой не может быть, — наивной, прекрасной до глупости, — за это меня презирают, в лучшем случае снисходят, как к безвредному чудаку... В чужом молчании я чувствую прекрасно мысль о том, что я „слабенький писатель“, но никто, никто не видит или не хочет видеть, сколько тоски, отчаяния, крови и заплеванных надежд во всей этой глупой фантастике... Нет ни минуты, когда я не ощущал бы это чувство катастрофы...» (25 октября 1927 года).

Так рано столкнувшись с пренебрежительным отношением к себе многих коллег и критиков, Паустовский нашел силы до конца остаться верным своему мечтательному стилю, тихим сюжетам, рассказам о жизни фантастически «наивной и прекрасной до глупости». Мы же до сих пор плохо представляем себе, из какого содрогания, брезгливости и отчаяния выросли лучшие страницы Паустовского, от какой катастрофы уходил он в спасительные мещерские леса.

Комментарии Вадима Константиновича к двухтомнику написаны с предельной тщательностью. В них прекрасно сочетаются деликатность сына и трезвость исследователя. К великому сожалению, Вадим Константинович не дождался выхода двухтомника всего нескольких месяцев.

Милая химера в адмиральской форме. Письма А. В. Тимиревой А. В. Колчаку 18 июля 1916 года — 17—18 мая 1917 года. СПб., «Дмитрий Буланин», 2002, 239 стр.

После стольких досадных и нелепых опусов о «последней любви адмирала» — долгожданная научная публикация писем Анны Васильевны Тимиревой команду-

ющему Черноморским флотом Александру Васильевичу Колчаку. Из 53-х писем только два были опубликованы ранее.

«...Вы заняли в моей жизни такое странное и такое большое место. Каждый раз, раскрывая Ваше письмо, я не знаю, что найду в нем и о чем Вы будете говорить; перечитывая эти дни Ваши прежние письма, я поражилась разнообразием предметов, о которых Вы пишете, — от очередных операций до цветов на Вашем столе, от Савонаролы до последних событий в Добрудже и до поклонения звездам...» (от 14 — 15 декабря 1916 года).

Письма, хранящиеся в Российском государственном архиве Военно-Морского Флота, отменно прокомментированы А. В. Смолиным и Л. И. Спиридоновой.

Книга, подготовленная безупречно археографически, получилась и нравственно достойной. Ученые-архивисты не позволили себе ни многозначительных намеков, ни тени пафоса, никакого «суда истории». При этом указали на действительные, а не мнимые загадки. «В архив письма, фотография и конверты поступили в 1918 г. от начальника Статистического отдела Морского генерального штаба (МГШ) капитана 2 ранга В. В. Романова. Он являлся близким другом А. В. Колчака и А. В. Тимиревой... Через него, по каналам МГШ, проходила часть писем из Петрограда в Севастополь. Однако до сих пор не ясно, как письма и конверты оказались у В. В. Романова и почему только за этот период... Нет пока и ответа на вопрос о несоответствии количества конвертов и писем. Неизвестна судьба писем, написанных после 17 — 18 мая 1917 года...»

«...Вы должны немного смеяться надо мной, читая все глупости, которые я Вам пишу...» (от 30 ноября 1916 года). А глупостей-то никаких в письмах и нет. Письма двадцатитрехлетней женщины прекрасны своей сдержанной нежностью и удивительно неожиданной трезвостью ума, прозорливостью, напряженным вниманием к политическим событиям.

Много ли в России было в те дни людей, способных так ощущать свою ответственность за происходящее, как Анна Тимирева? «С каждым днем у меня растет определенное и очень тяжелое чувство, что на каждом из нас лежит часть огромной вины за все, что происходит, что все мы виноваты...» (от 11 марта 1917 года).

Трудно сказать, было ли тогда ощущение вины у Колчака. Февральская революция срывала тщательно подготовленную им Босфорскую операцию, и, наверное, ничего, кроме досады и злости, он не испытывал.

Анна Васильевна по-женски мягко просит его в письмах не давать воли злости. Вообще из ее писем мы узнаем совершенно неизвестного нам Колчака. Таким его, пожалуй, и мало кто из современников видел.

«Никто не умеет веселиться так, как Вы, с такой торжественностью, забывая о времени, о пространстве и вообще обо всем на свете...» (от 27 декабря 1916 года).

«Последние дни я почему-то часто вижу Вас во сне таким, как я видела Вас прошлый год, — милым и добрым, каким Вы умеете быть, если захотите...» (от 4 января 1917 года).

Из писем Анны Тимиревой сложилась еще одна грустная книга о русской жизни, о том, как вспыхнула и погасла надежда на счастье, свет, радость... Осталась верность и память. Последние слова из последнего письма: «Не сердитесь и не осуждайте меня — у меня есть смягчающие обстоятельства — то, что я люблю вас больше, чем надо, может быть...» (от 18 мая 1917 года).

Один из видевших Анну Васильевну рассказал мне: «Это было в конце 60-х, летом, на чьих-то похоронах. Знакомый обратил мое внимание на очень красивую, с огромными глазами, совершенно седую женщину в заброшенной на плечи черной пелерине. Меня поразил цвет ее лица: свежий, персиковый... „Она...“ — сказали мне...»

Н. Рутыч. Белый фронт генерала Юденича. Биографии чинов Северо-Западной армии. М., «Русский путь», 2002, 494 стр.

Юденичу, в отличие от Колчака и Деникина, в историографии не повезло. Серьезных работ, а тем более отдельных книг о нем не было издано и в эмиграции. В послесловии, написанном редактором книги Игорем Владимировичем Дом-

ниним, отмечается, что в работе Н. Рутыча «впервые компетентно повествуется о жизни Юденича в эмиграции».

Вообще читать эту книгу стоит именно с послесловия, со знакомства с судьбой автора — Николая Николаевича Рутыча. Сын офицера-«дроздовца» закончил исторический факультет Ленинградского университета, где учился на одном курсе с Львом Гумилевым. Участник финской войны, командир роты в начале Отечественной. Узник Заксенхаузена и Дахау. После освобождения союзными войсками попал в англо-американский лагерь, откуда бежал. С 1948 года живет в Париже. Главный редактор Общества Ревнителей Русской Истории. Историк, публикатор, мемуарист. С начала 90-х вновь печатается на родине.

В книге, кроме большого очерка о Н. Н. Юдениче (выход книги приурочен к 140-летию со дня рождения генерала), можно найти более или менее подробные жизнеописания еще 60 офицеров Белой армии, сражавшихся на Северо-Западе и совершивших в 1919 году отчаянный бросок на Петроград. Читая эти по-архивному сдержанные и суховатые тексты, открываешь судьбы, достойные более пространныго повествования. Вот, к примеру, эпилог биографии лихого генерал-майора Даниила Ветренко, любившего, как было сказано в его аттестации, «действовать самостоятельно, не принимая во внимание данные ему указания»: «Был выслан польскими властями в СССР. Находился некоторое время в заключении... Был выпущен и в течение долгих лет (в 30 — 40-е годы) скитался по глухим местам Сибири и Дальнего Востока, работал счетоводом или учетчиком в совхозах и леспромпхозах...»

А вот Колчака все-таки трудно представить счетоводом. Даже в передовом леспромпхозе.

Наталья Громова. Все в чужое глядят окно. М., «Коллекция „Совершенно секретно“», 2002, 288 стр.

Книга основана на беседах с Марией Иосифовной Белкиной, Евгенией Кузьминичной Дейч и Татьяной Александровной Луговской (в книгу вошли и ее ташкентские акварели). Впервые публикуются фрагменты переписки В. Луговского с Е. Булгаковой, М. Белкиной с А.Тарасенковым, Т. Луговской с Л. Малюгиным. В указателе имен: П. Антокольский, Н. Вирта, Н. Я. Мандельштам, Н. Погодин... Что, кроме Ташкента, могло бы поставить эти имена рядом?..

Название книге о ташкентской писательской эвакуации дала ахматовская строчка из «Поэмы без героя»:

А веселое слово — дома —
Никому теперь не знакомо,
Все в чужое глядят окно...

В ташкентские окна во время войны глядели и Ахматова, и Чуковский, и Алексей Толстой, и Всеволод Иванов, и Луговской, и многие-многие тысячи эвакуированных. Жизнь, протекавшая за этими окнами, очень тесная и трудная, сближала и согревала. Ташкент согревал. И замечательно, что абсолютно документальная книга написана слогом не исследователя, а мемуариста (хотя автор годится во внучки своим героям), для которого дороги все оживающие перед глазами детали.

К книге, очевидно, будут претензии как у специалистов, так и у очевидцев событий (к примеру, не все поймут, почему главным героем книги оказывается Владимир Луговской), но для меня как читателя важнее всего, что книга *живая* и читается на одном дыхании.

«Можно сказать определенно, что входили в водоворот военных лет одни люди, а выходили совершенно другие. И те, кто умел сохранять доброту и великодушие, легче переносили несчастья. Откликались на беду, помогали, жалели...»

Пройдет год-два, война откатится на Запад, и эвакуированные схлынут, унося на башмаках ташкентскую пыль. Дружная коммунальная жизнь, полная общих переживаний и свободомыслия, будет забыта. Завязавшиеся связи, романы, дружбы по большей части оборвутся. Сталин вновь выставит всех на холод. И ташкентская эвакуация покажется тем, кто ее пережил, детским сном, куда хотелось бы, но невозможно вернуться.

В начале 80-х одну осень я прожил в Ташкенте. Это был уже совсем другой город, чем тот старый Ташкент, который принимал несчетные эшелоны с эвакуированными. И все-таки еще ощущалось обаяние какой-то патриархальной жизни, согретой не только климатом, но и особой доверчивостью и благодушием отношений. И не только на старых улочках, но и в появившихся после землетрясения высотках Чиланзара могли запросто приютить, накормить, утешить совершенно незнакомого человека.

Наворачивая как-то плов на солнечной кухне, я узнал, что не все эвакуированные покинули после войны Ташкент. Остались те, кому некуда было возвращаться, и те, кто, наученный трагическим опытом, предпочел остаться вдали от Лубянки и Большого дома. Среди них особенно много было ленинградцев. Они привнесли в жизнь восточного города интеллигентность, сдержанность, петербургскую книжную культуру... Сейчас эти люди, их дети и внуки отрезаны от России, они снова смотрят в *чужие* окна. И кто, когда напишет историю *навсегда эвакуированных* ленинградцев и москвичей?

Так получилось, что сегодня мы знаем гораздо больше об эмиграции, чем об эвакуации. В советское время тема эвакуации трактовалась лишь как тема трудового подвига тыла, а сейчас — просто не до нее. А тема уходит вместе с поколением стариков. Завтра хватимся — некому будет рассказать.

А сколько эвакуаций той эпохи еще ждут своих исследователей! Это же отдельные эпопеи — эвакуации вологодская, пермская, новосибирская, казанская, тагильская, барнаульская, уфимская, алма-атинская, сталинабадская... Чего стоит одна история эвакуации Эрмитажа в Свердловск! Сколько там поразительных сюжетов, судеб, документов...

Ферапонтовский сборник VI. М., Издательство «Индрик», 2002, 400 стр.

О Ферапонтове очень трудно писать — как обо всем непостижимо прекрасном, что дано нам от Бога.

Маленький монастырь на холме. Село, укрытое далью, спрятанное за еще недавно глухими лесами и непроезжими дорогами. Паломничество в эти края и сегодня требует особого настроения, неспешности. Надо одолевать путь, чуть-чуть потерпеть и в дороге, и в ожидании на паперти храма, пока музейная барышня выпустит из дверей одну группу паломников и экскурсантов и разрешит другой войти под дивные своды на дозволенные десять минут... Краткость этих минут трудно без ропота перенести тому, кто стремился сюда издалека. По мирской привычке тянет поворчать на строгие требования «температурно-влажностного режима». Но вдруг ощущаешь эти строгости как еще одно напоминание о краткости нашего бытия и принимаешь эти десять минут благодарно и тихо.

Шестой выпуск «Ферапонтовского сборника» (составитель — Михаил Шаромазов), вышедший под общей редакцией члена-корреспондента РАН Герольда Вздорнова, поможет продлить очарование тем, кто уже видел фрески Дионисия. А тех, кто только мечтает когда-нибудь приехать в Ферапонтово, это научное издание серьезно подготовит к встрече с Русским Севером.

В основу сборника легли материалы научных конференций, посвященных 600-летию Ферапонтовского монастыря, а выход сборника был приурочен к отмечавшемуся в прошлом году 500-летию фресок Дионисия. Во вступительной статье Н. И. Андронов применяет известную мысль Павла Флоренского к северной святыне: Ферапонтово прежде всего есть духовная идея. Развивают эту мысль на конкретном материале около тридцати историков, искусствоведов, реставраторов, архитекторов и даже геохимиков.

Многим памятна романтическая версия об использовании Дионисием ферапонтовской гальки для росписей. После войны, когда в Москве взялись за реставрацию Успенского собора, расписанного Дионисием, было даже решено снарядить в Ферапонтово экспедицию за красящими камнями. Комендант Кремля выделил

художникам-реставраторам пятитонный грузовик. По словам фотографа-художника Василия Робинова (его воспоминания были опубликованы в альманахе «Памятники Отечества», 1993, № 30), экспедиции было приказано «города объезжать, в населенных пунктах не останавливаться, с населением не общаться».

Почти одновременно, тем же летом 1946 года, Институт истории искусств Академии наук СССР отправил в командировку в ФерAPONTOBOM трех аспирантов. Один из них, В. П. Толстой, опубликовал сейчас в «ФерAPONTOBOM сборнике» свои, датированные январем 2002 года, воспоминания «Поездка в Вологодский край в июне 1946 года». В них нет ни слова о встрече с участниками «кремлевской» экспедиции, хотя как им было не встретиться, находясь одновременно в окрестностях одного села? Очевидно, конспирация у «кремлевцев» была на фронтовой высоте.

Но вернусь к фрескам. В 50 — 70-е годы художник Николай Гусев скопировал все шестьсот квадратных метров древней стенописи, используя красочные камни и глины с береговых отмелей ферAPONTOBOMских озер. Казалось бы, какие еще нужны доказательства?

Но пыл романтиков давно пытаются остудить химики и геологи. Статья В. П. Голикова в «ФерAPONTOBOM сборнике» ставит, похоже, окончательную точку в давнем споре. Анализируя результаты комплексного исследования росписей сотрудниками отдела реставрации темперной живописи и лаборатории физико-химических исследований ГосНИИР, автор заключает: «Очевидно, что ферAPONTOBOMские гальки не были пигментным сырьем в соответствующих красочных слоях настенных росписей церкви Рождества Богородицы».

Романтическая версия о художнике, собиравшем камешки по берегам озер, несколько побледнела, но реставраторы убеждены, что новые открытия ничуть не унижают Дионисия, а лишь подтверждают его искусственность в своем высоком ремесле, прекрасную осведомленность о лучших европейских технологиях. Стоит вспомнить, что в Москве того времени работали десятки итальянских художников, архитекторов, строителей.

В одном из последних разделов «ФерAPONTOBOMского сборника», литературном, Юрий Кублановский вспоминает о «баснословном лете 1975-го», когда поэт работал экскурсоводом по соседству с ФерAPONTOBOMом — в Кирилло-Белозерском музее. «Несравненная красота — она и сейчас со мной. В эмиграции, на чужбине, вспоминались до мелочей: и охота на уток с музейным художником Сашей Корниловым, и беседы на берегу с музейным книголюбом Рыбиным, и далекий загрибок горы Мауры на горизонте. Кирилловская обитель стала составной частью впечатлений сердца...»

Приют неизвестных поэтов. Книга стихов 40 поэтов. Вступительные статьи Юрия Беликова, Валентина Курбатова, Марины Кудимовой. М., Редакция газеты «Трибуна-РТ»; Издательский Дом «Грааль», 2002, 350 стр.

Норильск, Братск, Красноярск, Саратов, Омск, Екатеринбург, Пермь, Новосибирск, Иркутск — вот адреса поэтов, собранных под одной обложкой. Антологию составили стихи, печатавшиеся в газете «Трибуна» на странице, несколько скорбно названной «Приютом неизвестных поэтов». Скорбная нота, увы, оправданна. Листаю краткие биографии авторов, опубликованные в конце антологии: «Большую часть из написанного сжег...»; «Бродяжий период длится семнадцать лет...»; «Был препровожден на погранзаставу как нарушитель...»; «Готовый набор был рассыпан...»; «Подрался с обидчиками, запинали до смерти...».

Пока готовилась книга, *пять поэтов погибли*. Среди них — мой однокурсник по свердловскому журфаку Сережа Нохрин. Самый веселый человек на нашем курсе. Поэт, бард, актер и режиссер, отважный насмешник и всеобщий любимец... Помните старый мультик про каникулы Бонифация? Сережа был очень похож на этого славного Бонифация, даже внешне. И стихи он нам оставил такие, чтобы мы не очень-то здесь унывали.

Глубок карман фланелевой рубахи,
где пухленькая пуговка живет.
Она не говорит, не ест, не пьет,
отпав давно от ворота рубахи.

Стирается рубаха. И карман
стирается фланелевой рубахи.
Стираются в нем денежные знаки,
засунутые как-то мной в карман.

Но пухленькая пуговка живет.
Не голосит, не хнычет, не сдается,
не дергает меня, и мне сдается:
она меня во мне переживет.

Ее однажды извлечет на свет
случайность и меж пальчиков покрутит...
Ей, интересно, сколько будет лет?
И сколько лет меня уже не будет?

Однажды на армейских сборах мы с Сергеем попали в ночной караул. Нам следовало ходить по твердо установленному маршруту вдоль палаток — мне с одного конца, Сергеем с другого. На маленьком деревянном мостике под фонарем мы встречались, как на Эльбе. У меня был карманный радиоприемник, он ловил только «Маяк», и мы с волнением слушали новости уборочной страды. Мечтали: вот закончатся сборы, получим дипломы и поедем куда-нибудь в дальние края. Наивные, мы еще не знали, что вместо распределения получим армейские повестки и судьба навсегда разбросает нас в разные стороны.

Прочитав про «дальние края» и про «судьбу», которая разбрасывает, Сережа не удержался бы от улыбки. И, может, написал бы на эти мои сентиментальности блестящую пародию. А потом мы бы смеялись, как не смеялись целых двадцать лет.

..Все реже и дальше улыбки друзей,
они скоро станут излишни.
Я скоро закроюсь. Я — старый музей,
и все посетители вышли.

Балашов — уездный город (1780 — 1928 гг.). Балашов, «Издатель», 2002, 455 стр.

Наиболее интересным мне показался раздел «Люди и судьбы», где опубликованы исследования В. С. Вахрушева. Из них узнал о печальной судьбе Павловки — имения, которому посвящены лучшие страницы любимой мной книги «Мои воспоминания» Сергея Михайловича Волконского. Павловки, на которую я мечтал когда-нибудь посмотреть своими глазами, оказывается, не существует. «От Павловки как культурного дворянского гнезда ничего не осталось...»

Новостью для меня стало «балашовское» происхождение книги «Сестра моя — жизнь» Б. Л. Пастернака. Именно в Балашов уехала Елена Виноград, в которую в 1917 году был влюблен поэт. Любопытны замечания Вахрушева по поводу стихотворения «Распад»: «Анализируя это стихотворение, наш выдающийся ученый Ю. М. Лотман толкует слово „распад“ как метафору... Это верно, но исследователь упускает местный колорит. „Распад“, судя по локальным реалиям, — это станция Пады в 23-х верстах от Балашова... Поэт оказался на ней, скорее всего, случайно... Попав по ошибке в Пады, он коротал время, и в его сознании название станции ассоциировалось с распадом, ибо распадалась тогда тысячелетняя устои Российской империи. О „дезорганизации и распаде“ России говорилось тогда же в резолюции Балашовского Совета от 24 августа 1917 года...»

Жаль, что автор быстро прощается с Пастернаком и переходит к «балашовским» реалиям у М. Шолохова и К. Федина. О том, как увлекательно и фундаментально могут быть исследованы и стихи, и проза Б. Пастернака в их топонимическом и краеведческом аспекте, показала недавно вышедшая замечательная книга Владимира Васильевича Абашева «Пермь как текст». Вторая и, кажется, самая объемная глава в этой работе названа «Пермский текст в жизни и творчестве Пастернака».

Валентин Берестов. Удивление. Стихи: лирика и юмористика. Калининград, «Янтарный сказ», 2002, 175 стр.

Маленькая, в ладошку. книжка. Чистая радость.

Нет, руки зимой не у тех горячей,
Кто клал их в карманы или грел у печей,
А только у тех, а только у тех,
Кто крепко сжимал обжигающий снег

В этом апреле Валентину Дмитриевичу исполнилось бы 75. Всего-то.

Пять лет уже прошло, как живем без него. Порой так хочется увидеть его смеющиеся глаза за толстыми стеклами очков, услышать голос, полный лукавых и ласковых интонаций...

...Я не верю в опустевший двор,
Я играю с вами до сих пор.

Счастье, что книжки Берестова выходят бойко, одна за другой. Они будто стремятся заполнить ту озоновую дыру, что образовалась над нашей детской литературой с уходом поэта. Только за последние полтора года вышли: толстая книга стихов, прозы, песен с нотами «Застенчивый трубоч» в библиотеке «Ваганта» (с предисловием Новеллы Матвеевой), двухтомник в «Дрофе» (сюда вошли и сказочные повести Татьяны Александровой — жены Валентина Дмитриевича) и, наконец, уникальный иллюстрированный «Словарь» В. И. Даля, составленный Берестовым специально для детей (Издательский дом «Нева»; «ОЛМА-Пресс»). Вышли все эти книги благодаря хлопотам чудесных людей, которые работают в Литературном центре В. Д. Берестова, созданном при Российской государственной детской библиотеке. В этом году центр проводит юбилейные Берестовские чтения, открывая двери всем друзьям и читателям Валентина Дмитриевича.

-1

Дуглас Боттинг. Джеральд Даррелл — «Путешествие в Эдвенчер». Перевод с английского Татьяны Новиковой. М., «ЭКСМО-Пресс», 2002, 640 стр.

Невозможно написать о Даррелле лучше, чем это сделал он сам в своих книгах. Но сценарист Би-би-си рискнул взяться за написание «полной и честной истории жизни и работы» своего знаменитого соотечественника.

Я принялся за чтение со смешанным чувством любопытства и ревности: что-то тут написали о *нашем* Даррелле? Ведь с детства мы привыкли считать Даррелла таким же нашим, родным, как и, к примеру, Астрид Линдгрэн. Русским англичанина сделали прекрасные переводы Д. Жукова, Л. и М. Ждановых.

Мне сразу показалось, что предисловие, написанное Дугласом Боттингом к собственной книге, сильно бы покорило Даррелла своим пафосом. «Лидер современного мира... Он был современным святым Франциском... Отдал жизнь ради спасения...»

Пафос, конечно, простителен, когда речь идет о таком замечательном человеке. Но взятая высокая нота в дальнейшем оборачивается развязностью тона, каким-то навязчивым стремлением представить своего героя позабавнее, попричудливее. Впрочем, биограф в том же предисловии откровенно предупредил читателей: «Когда вы видите на титульном листе слова „авторизованная (? — Д. Ш.) биография“, это означает, что я получил полную свободу действий. Портрет Джеральда Даррелла и рассказ о его жизни принадлежит мне, и только мне...»

Ох уж эта полная свобода действий! Хорошо, что я заглянул в книгу до того, как стал читать ее вслух детям. «На Корфу все учителя рассказывали мальчику о сексе... Он почуствовал внимание со стороны гомосексуалистов... Он был абсолютно гетеросексуален... Джеральд не просто ценил физическую красоту. Он любил и уважал женщин... Хотя общество животных доставляло ему еще большее

удовольствие...» Все эти милые откровения на протяжении двух страниц — из главы, посвященной детству Даррелла.

К финалу книги биограф становится просто беспощадным. Он хладнокровно и обильно цитирует заключения врачей о тяжелой болезни Даррелла, списками перечисляет лекарства, оказавшиеся бесполезными, и в чисто медицинских подробностях описывает мучения больного.

Нет, не зря Даррелл в свое время неоднократно отказывался от услуг биографов, чувствуя их совершенно хищный интерес к своей личности.

Нам остается вернуться к полке, где у нас стоят зачитанные и любимые «Земля шорохов», «Гончие Бафута» и «Зоопарк в моем багаже». А книгу Дугласа Боттинга — что поделаешь — поставим рядом. К немногим ее достоинствам стоит отнести вклады с редкими фотографиями и цитируемые автором письма и работы Даррелла, ранее не публиковавшиеся.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО

Дневник — он на то и дневник, чтобы о чем-то упомянуть вскользь: потом, если доберутся руки, два-три слова, может быть, превратятся в большой разговор. А может, так и останутся словами, брошенными «по пути».

Вот несколько заметок, имеющих отношение к нынешнему театральному сезону: год-полтора назад в Москве к руководству театрами пришла, подумалось (и написано), целая когорта новых главных и художественных руководителей. Пришла с новыми идеями, с определенными (и неопределенными) творческими планами. Роман Козак, Вячеслав Долгачев, Сергей Арцибашев, Семен Спивак, Александр Ширвиндт, Андрей Житинкин... Чуть раньше МХАТ имени Чехова возглавил Олег Табаков. Публика и критика затаились — в ожидании уже не организационных, но театральных перемен. Перемены не заставили себя ждать. И уже можно говорить, что волна, если так можно сказать, пошла на попятную. К началу нового, 2003 года в столице уже вовсю обсуждали грядущий уход из Театра на Малой Бронной Андрея Житинкина, из Театра Станиславского — Семена Спивака. Очевидно, что бедно творческими идеями оказалось новое руководство Театра сатиры. Критикуют Табакова, вернее, пока не его, а режиссеров, которые ставят в чеховском МХАТе, но Табаков — единственный, кто без усталости «печет» премьеры. Снимает из репертуара те, что видятся ему неудачными, и в таких случаях порой презирает интересы кассы. Вызывает уважение работа Романа Козака (признаться, уже смешно читать в откликах на очередную его премьеру утверждения, что, мол, такого успеха здесь не было давно, и ссылки на апокрифическое проклятие Алисы Коонен, прозвучавшее в адрес бывшего Камерного театра); в работе этой чувствуются — лишь бы не сглазить — заботы о репертуаре, о том, чтобы экспериментальные поиски не совсем разошлись с ожиданиями публики.

Жалко, конечно, что не вышло у Житинкина. Но не вышло не только из-за конфликта режиссера с директором, который не захотел продолжить сотрудничество со скандальным постановщиком (хотя не взял на себя смелость решения и, отказываясь от подписания нового контракта, сослался на письма и просьбы актеров). Не вышло у него самого: став главным, он выпускал премьеры «недозрелыми», скандальностью пытался искупить и компенсировать очевидные режиссерские пробы — слишком пунктирно намеченные характеры, банальные ходы. Знаменитые актеры Бронной, игравшие в спектаклях Анатолия Эфроса, выходя на сцену, не знали, что им, собственно, делать.

Отступление режиссеров. Так можно сказать об этом.

Другая тема — новая драматургия, которая занимает все больше места в московской афише. Трудно заключить, что театр откликается именно на запросы зала.

Или — что речь о каком-то новом взлете отечественной драматургии. Ни отрицать оба эти утверждения, ни соглашаться с ними не отважусь. Тем более, что недавно новую русскую драматургию признали на самом что ни на есть международном уровне: в ноябре прошлого года Василию Сигареву, автору «Пластилина» (уже отмеченного Антибукеровской премией и премией «Дебют»), вручили едва ли не самую престижную английскую драматургическую премию¹. Классик английской драматургии Том Стоппард, награждая Сигарева, произнес такие слова: «Если бы Достоевский писал в XXI веке, он бы обязательно написал „Пласталин“». В списке лауреатов нынешнего «Триумфа» — Людмила Петрушевская, а среди тех, кто получил молодежные гранты «Триумфа», — драматург Елена Исаева; новое драматургическое имя открыл очередной конкурс «Дебюта»... И все-таки речь не о признании. И не о каком-то рывке. Хотя число попыток, мне кажется, само по себе подталкивает к разговору о современной драматургии и ее бытовании на театральной сцене.

Один пример: в Париже прошел фестиваль «Москва на сцене», месяц нового российского театра: из восьми представлений пять опирались на тексты последних лет. Среди приглашенных — спектакли недавно рожденного Центра драматургии и режиссуры под руководством Алексея Казанцева и Михаила Рощина: «Пласталин» и «Ощущение бороды» (пьеса Ксении Драгунской), моноспектакли Евгения Гришковца «Как я съел собаку» и «Одновременно», а также «Сны» Ивана Вырыпаева — продукция «Театра.doc» (о котором — ниже).

«Мастерская Петра Фоменко», считавшаяся (и не без оснований) цитаделью классики, где классическое, хрестоматийное слово умели не только прочесть, но, главное, расслышать, и та пошла навстречу свеженapisанному слову. В минувшем декабре Евгений Каменькович поставил в «Мастерской...» пьесу Петра Гладилина «Мотылек», где речь — такое совпадение! — и о том, что нужны новые формы. В той части, которая касается театра, в пьесе обыгрывается и пародируется первый акт «Чайки».

Так долго находившаяся в загоне, новая драма, конечно, не могла обойтись без крайних, резких проявлений. Речь, в частности, про то, что можно увидеть в «Театре.doc», недавно рожденном театральном образовании, ставшем модным и посещаемым местом. Рецензии на новые представления, вроде бы не претендующие на светскость или, упаси боже, рейтинги и топ-листы, выходят уже на следующий день после премьеры. Задуманный как нечто почти самодеятельное и как заведение для своих, сейчас «Театр.doc», расположенный в подвале жилого дома в Трехпрудном переулке, вынужден печатать и продавать билеты.

Принцип работы прост: документальный театр в России — то, что в Англии называется «verbatim» — «дословно». То есть драматурги на авторство не претендуют. На авторство в традиционном смысле, поскольку едва ли не главное умение, которое требуется от драматурга-документалиста, — не сочинить, а узнать, записать. «Театр.doc» сегодня — политеатр-полуклуб, где можно стать свидетелем какой-то одноразовой акции, а можно попасть на спектакль «Первый мужчина», для которого женские монологи собрала драматург Елена Исаева. Знакомого врача, наверное, лучше отправить в «Ленком», а сюда — привести товарища, который поймет, что попал в круг посвященных.

Елена Гремина, Михаил Угаров и Ольга Михайлова, которым принадлежит идея создания «Театра.doc», мне кажется, пришли к ней самым естественным путем. Естественным для себя. И наоборот, к этой идее они пришли после длительных и бесплодных, то есть противоестественных, отношений с отечественной сценой. А где, как не в документальной пьесе, драматург вправе рассчитывать на уважение к письменному слову: текст-то документальный, из него слова не выкинешь! Тут всякое нарушение авторского права — против правил, прошу прощения за тавтологию.

Одно время казалось: студийная пора закончилась, театр выбирается из подвалов на свет Божий. В разгар энтузиастического увлечения, освобожденные от

¹ См. об этом авторе и его пьесе в рецензии Павла Руднева, опубликованной в настоящем номере журнала. (Примеч. ред.)

хлама и канализационных выбросов, эти подвалы за годы, прошедшие с первых премьер, прошли через евроремонт и превратились в уютные, европейского вида театральные заведения. Но просторные светлые залы со стеклянными потолками, конечно, кажутся более привлекательными, более надежными, а главное — заслуженными «подпольным» театральным стажем.

И вдруг — точно гриб в разоренной грибнице — рождается новый подвальный театр. Вопреки всем новым веяниям.

В подвале «Театра.doc» говорят о жизни. О самой жизни. О жизни в формах самой жизни. Об изнанке, о другой стороне медали. И тянет туда вернуться именно потому, что это почти всегда — совсем другая сторона, совсем чужая изнанка, чужая реальность, имеющая мало общего с нашей. В «Бомжах» поют о бомжах, в «Преступлениях страсти» рассказывается о женщинах, совершивших убийство. «Припёк» (по слову Олега Табакова) этой затее в том, что все тексты, которые произносят актеры, принадлежат реальным персонажам.

«Кислород» Ивана Вырыпаева — вопль лирического героя о том, что ему нужен воздух (по сути, рассказ не о других, а о себе самом), — из подвала «Театра.doc» уже выбирается в модные клубы, а на спектакли Вырыпаева в Трехпрудном собирается цвет политической и финансовой элиты. Документальность и подлинность входят в моду, но в итоге событием становится, конечно, не искренность сама по себе, а ее удачное воплощение, следовательно, и истолкование. «Преступления страсти» в этом смысле — одно из интереснейших событий именно театрального сезона, так как Галина Синькина, автор проекта и исполнительница двух разных героинь, двух женщин-убийц, играет так, что порой мороз пробегает. Словно безо всяких тюремных решеток и засовов, один на один оказываешься с женщиной, способной на крайнее «волеизъявление». В подвал документального театра приходят и затем, чтобы пощекотать нервы. Потребность в сильных чувствах сохраняется, а мало что сегодня способно их вызывать.

Синькина — автор, она же — и исполнитель (сегодня, с легкой руки уже не Жванецкого и других, а Евгения Гришковца, авторы при первой возможности отказываются от посредников, мешающих их прямому контакту с публикой). Говорят, она даже внешне похожа на своих героинь. Во всяком случае, слушать ее бывает страшно, так полно вживается она, так проникается логикой их поступков, убийственной логикой (убийственной — еще и потому, что привела к убийству). Пугаешься отсутствия каких-либо преград — то ли решетки, то ли привычной для театрального зрителя «четвертой стены». А Синькина как будто нарочно шагает туда-сюда, демонстрирует презрение к этим самым границам и вдруг адресуется к кому-то из второго ряда, не обращая внимания на зрителей первого, которым приходится раздвинуться или посторониться.

Этот опыт, наверное, нуждается в особом внимании. Здесь всё — пограничье и почти всё так или иначе связано с нарушением привычных театральных «свобод». Можно говорить об ответственности автора перед тем, кого из гуши жизни он вытягивает на свет и превращает в персонажа своей пьесы. Можно, наоборот, взглянуть на все происходящее иначе и поговорить о психологической зависимости автора-исполнителя от своих героев, как в случае, например, Галины Синькиной. И тут в голову лезут всякие комические и вполне драматические параллели — от «Шести персонажей...» Пиранделло до недавно вышедшего романа Леонида Зорина «Юпитер», герой которого, актер, увлекается ролью вождя народов и это увлечение становится для него смертельным. Можно поспорить об авторстве. Одни из авторов «Театра.doc» могут быть названы буквоедами и сверяются с имеющимися у них кассетами магнитофонных записей, другие относятся к «первоисточникам» проще, позволяя себе вольно театрализовать и разыгрывать жизненный материал.

Уже упомянутая премьера «документального» подвала, «Бомжи», имеет второе, более аппетитное и афишное название — «Песни народов Москвы». Как все, что здесь делается и исполняется, «Песни...» готовились в технике «verbatim», то есть авторы ходили «в народ», разговаривали с потенциальными героями своей будущей пьесы, и те, кого удавалось разговаривать, и становились ее персонажами. Герои «Песен...» — столичные бомжи, так что речь — о них. Вернее, в спектакле звучат их речи. Тема — душещипательная, такая, что и Добролюбов с Чернышевским не-

пременно бы поддержали авторов — тех, кого не без оснований считают молодыми московскими знаменитостями. Александр Родионов, сценарист и переводчик, более всего известен переводами пьес Марка Равенhillла, которые идут сегодня в Москве; драматург Максим Курочкин — автор нашумевших театральных проектов «Кухня» и «Имаго».

В «Бомжах» все — наше, свое. Документальность специально подчеркнута обрамляющей театральное представление видео-«документалистикой»: перед тем как на сцену выйдут бомжи театральные, то есть актеры, на экране показывают площадь трех вокзалов и тамошних вполне реальных нищих. И какого-то кавказца, который перед камерой подает нищим какой-то заморский фрукт. И тут же объясняет причины своей благотворительности и человеческой доброты (так сказать, для прессы и вечности). В финале видеокамера как бы следует за покидающими сцену персонажами: показывает, как гуськом они пробираются за кулисы, как по дороге на улицу успевают пошарить в карманах оставленных зрителями пальто, как выходят и скрываются в конце переулка, в вечернем, хотя и высветленном снегом мраке.

Нет обычных историй. То есть мы привыкли, что если газета собирается нам рассказать о тяжелой доле русской проститутки, так непременно героиня очередного репортажа поведаст, что приехала с Украины, где у нее — любимый, где негде работать, поскольку и камвольный комбинат, и трубный завод стоят, что отец изнасиловал ее, когда ей было... Так и с бомжами: должна быть жалостливая история про отца, которого бессердечный сын выгнал из однокомнатной квартиры, и он, ветеран войны и труда, в прошлом — заведующий лабораторией в НИИ и талантливый художник... Ничего этого в «Песнях народов Москвы» нет и в помине.

Все они — счастливые. Из множества историй авторы выбрали, кажется, самые благополучные. А спектакль построен как концерт. Сейчас в моде спектакли-концерты. Раньше — «Песни нашего двора» у Розовского, в театре «У Никитских ворот». Теперь вот — «Перед началом киносеанса» в театре «Около дома Станиславского». «Песни народов Москвы», несмотря на почти совершенное отсутствие музыки и песен, эту традицию поддерживают и продолжают. Придумано так, как будто бомжи приходят в театр, в гости к обыкновенным людям, к людям с определенным местом жительства, но приходят не как жертвы режима и жизненных обстоятельств, а как полноценные сограждане. Приходят, чтобы дать концерт. И немного рассказать о себе. Для такого случая в их пользование предоставлена костюмерная, каждый волен выбрать себе платье по душе, и потому на сцену герои выходят в совершенно несусветном виде, похожие на эстрадных звезд из... Более всего они напоминают бременских музыкантов — когда те приезжают во дворец, чтобы выступить там под видом заграничных исполнителей.

Трудно сказать, нужно ли все это самим бомжам и как бы они сами отреагировали на исполнение их историй и повторение их случайных откровений (хотя, казалось бы, что и от кого им теперь скрывать, когда вся их жизнь — на миру?). Обыкновенных зрителей веселит и трогает жизнерадостная открытость и ощущение их, бомжей, собственной полноценности. И того, который с кавказским акцентом, и той, другой... И того, кто продолжает поддерживать добрые родственные отношения и время от времени ночует в нормальном доме... Как в каком-то анекдоте — как раз про бомжа, который собрался повеситься, зашел в общественный туалет, нашел вдруг на приступочке бычок, потом — недопитую бутылку пива и... раздумал вешаться: «Жизнь-то налаживается!»

Можно сказать, что как раз такой черный юмор, однако не печальный, а жизнеутверждающий, пронизывает это часовое представление. И если бы не легкий матерок, который к концу спектакля «набирает вес», этот спектакль можно было бы рекомендовать для внеклассного просмотра. Или даже в рамках уроков по москвоведению.

Про «Театр.doc» сейчас много спорят, много о нем говорят. Считают даже, что из маленького подвального и почти что внутрицехового драматургического удовольствия может родиться новое срединное театральное направление, будущий мейнстрим (а центровая фигура сегодняшнего столичного театра Евгений Гришковец разве не позволяет рассматривать свои труды как «документальные спектакли»?). Сейчас, мне кажется, главное его достоинство заключается в том, что он вы-

ступает катализатором процесса. «Черное молоко» Василия Сигарева вышло сразу в двух московских театрах; во МХАТе имени Чехова Кирилл Серебренников выпустил «Терроризм» уральских драматургов братьев Пресняковых; пьесу «Облом off» Михаила Угарова, которая уже идет в Центре Казанцева и Рошина, теперь поставили в Театре имени Рубена Симонова, а будут ставить опять же и в чеховском МХАТе... И потому скромная, мало на что претендующая активность нескольких людей, придумавших занятие, казалось, только для себя, вызвала немалый резонанс и стала интересна многим.

КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

ДУРДОМ

Трудно найти режиссера, больше сделавшего для антирекламы своего фильма на родине, чем А. Кончаловский. Уже первые слухи о сюжете «Дома дураков» повергали в тоску. «Дурдом на границе Чечни и Ингушетии, оказавшийся в зоне боевых действий...» — ну явный же перебор! Тема психушки в России вообще относится к разряду сомнительных. Это на Западе с его развитой медицинской и социальной помощью можно снимать кино про счастливых даунов, гениальных шизофреников и очаровательных паралитиков. А у нас в стране участь душевнобольных до такой степени незавидна, что всякий зритель заранее понимает: кроме полной и беспросветной «чернухи», из кино про психов ничего получиться не может. А тут еще и война...

Кроме того, было известно, что в главной роли снялась юная красавица — жена режиссера Ю. Высоцкая. То есть абсолютно благополучная молодая женщина изображает на экране сумасшедшую наряду с настоящими обитателями специнтерната. Сочетание в кадре профессиональных актеров и реальных больных — прием крайне рискованный. А в актерскую гениальность новоявленной звезды мало кто верил.

Затем фильм получил Гран-при на Венецианском фестивале, при том, что отзывы видевших его отечественных критиков были кислыми: мол, фильм плохой, а приз ему дали только за то, что чеченцы там показаны с большим сочувствием, нежели русские.

А когда разразился скандал с выдвижением картины на «Оскара» в обход любимейшей всем «Кукушки», общественное мнение было уже окончательно против «Дома дураков». Все ждали грандиозного провала. И многие дождались. Хотя после пресс-просмотра реакция критиков была довольно-таки неожиданной. Люди выходили и говорили: «Да, это, конечно, ни в какие ворота не лезет!» — но на лицах была написана радость. Не злорадство, а именно радость, как после детского утренника.

Фильм действительно «не лезет ни в какие ворота» настолько, что «ворота» попросту сносит. Когда после начального титра: «Картина основана на реальных событиях» — на экране появляется поезд, украшенный лампочками, словно в рекламе кока-колы, понимаешь: тебя ждет весьма нетривиальное зрелище. И дальше Кончаловский с безоглядной отвагой отмечает в своей картине все нормы приличия, вкуса и ползучего реализма. Унылый быт пациентов дурдома он скрашивает зажигательными политическими скетчами в исполнении М. Полицеймако, которая играет свихнувшуюся пламенную демократку Викторию (явная карикатура на В. Новодворскую). Утреннюю очередь в сортир выстраивает из натуральных увечных и персонажей-клоунов вроде Гоги (Г. Овакимьян) — жгучего педика-армянина в сетчатой маечке, с голым пупком. Даже самый элементарный бытовой проход по коридору Кончаловский снимает так, что в кадре мы видим тетку с болезненно распухшими ногами-колодами и идущую следом Жанну — Ю. Высоцкую, которая нарочито косолапит, выворачивая свои идеально стройные ножки. Молодая кра-

сотка изо всех сил шепелявит, кривит ноги, беспрестанно тербит подол и похожа на больную примерно так же, как Любовь Орлова — на домработницу в фильме «Веселые ребята». Она даже внешне напоминает звезду советского кино, особенно в дурацком гриме с накрашенными щеками и торчащими из-под шляпы косичками. Качество копии не так уж важно, важен прием — эксцентрическое использование внешности неотразимой блондинки. И этот прием работает, задавая необходимую меру условности: «как в кино».

И уже не кажется удивительным, что санитар в этом условном дурдоме сочиняет стихи, что мимо окон проносятся празднично иллюминированные поезда, что над кроватью провинциальной дурочки висит портрет Брайана Адамса, а злые чеченцы, ворвавшиеся в богоугодное заведение, не насилюют, не убивают, не выставляют больных в окна, чтобы защититься от пуль федералов, а мирно стирают белье, играют на аккордеоне, танцуют лезгинку и поют свои дивные горские песни. Словом, ведут себя как люди. Один из них — Ахмет (С. Измайлов) — даже сватается в шутку к Жанне, и когда Жанна, всерьез собравшись замуж, является к нему с большим чемоданом, ни Ахмет, ни другие чеченцы не издеваются над больной девушкой, отнесая к ней в этой деликатной ситуации максимально по-человечески.

Русские — тоже не звери. Да, они привозят на бэтээре труп чеченца, чтобы продать его за две тысячи баксов, но в процессе переговоров выясняется, что наш командир и чеченский вместе воевали в Афганистане и чеченец нашего спас, так что русский денег не берет, отдавая труп даром. А другой русский командир (Е. Миронов), отбивший больницу в финале, растерян и сбит с толку настолько, что просит доктора вколоть ему наркотик, иначе он не в состоянии ни командовать, ни воевать.

Да, конечно, идет война, да, в фильме стреляют и убивают, но стихия войны как бы внешняя для этих людей; они воюют в истерической сумятице, в безликой массе, на общем плане. А на крупном, когда мы видим их лица, ведут себя совершенно с нормальными понятиями благородства, чести и т. п. Собственно, война, стихия насилия тут и есть болезнь, злостная инфекция, поразившая человечество. И спастись от нее можно только в дурдоме, где силой воображения люди отменяют все расовые, национальные, социальные перегородки, а также поводы для насилия. Недаром, как только Жанна начинает играть на аккордеоне, мир преобразается, становится теплым и золотистым, и доктора, санитары, больные немедленно пускаются в пляс. Жанна прибегает к этой уловке всякий раз, когда в психушке вспухает и назревает какой-то конфликт. Она периодически уносится в мир своих грез, где никакой агрессии нет вообще, где карлики, дауны и паралитики в мехах и в шелках едут в сказочном поезде, а поп-звезда Брайан Адамс почтительно разливает им всем шампанское.

Эти утопические фантазии — не симптом психического заболевания, но метафора искусства, которое тоже строит воображаемые миры, меняя реальность по воле художника. Критики в один голос твердят: «Дом дураков» — коллекция кинематографических штампов. Припоминают режиссеру и белую лошадь, пасущуюся во дворе, и дурочку с аккордеоном (цитата из «Аризонской мечты» Э. Кустурицы), и «феллиниевских» клоунов, танцующих под музыку Нино Роты... Но ведь штампы есть не что иное, как просто изношенные от долгого пользования инструменты внушения. Кончаловский сознательно использует этот списанный реквизит, чтобы противопоставить прекраснодушную, гуманистическую, узнаваемую риторику кино — нет, не действительности, а тем электронно-медийным образам, которые мы склонны сегодня принимать за реальность. Он использует в фильме документальные фактуры, дрожащую камеру в батальных сценах, катастрофические образы и мифы, растиражированные масс-медиа, сталкивая их лоб в лоб с не менее растиражированными мифами и образами искусства. Он, к примеру, вводит в сюжет белокурую снайпершу (общее место мифов о чеченской войне) — и противопоставляет ее «киношной» дурочке Жанне так, что снайперша погибает у Жанны на глазах (единственная смерть, показанная в фильме), а Жанна в этот момент режет себе руку стеклом, и пятно крови расплывается на ее белом подвенечном платье (типичный кинематографический штамп), словно это кровь той, что погибла.

Момент появления в фильме чеченских боевиков практически неотличим от паугающей картинки из телеэроники: по коридору больницы движутся здоровенные

бородатые, обвешанные оружием мужики в камуфляже. Но вот их командир (Р. Наурбиев) снимает темные очки и говорит обитателям психушки: «Не бойтесь, мы вас не обидим», и злобные «орки» сразу же превращаются в добродушных «хоббитов». Волшебная сила искусства! Сводя почти все фабульные линии и отдельные эпизоды к логике стандартного киношного хеппи-энда, Кончаловский иной раз использует и обратный ход. И когда за спиной заполошно мечущейся по двору «юродивой» в белой шляпке рушится подбитый вертолет, понимаешь, насколько серьезен брошенный режиссером вызов. Он дерзко уравнивает в правах на интерпретацию реальности просветленные, утопические киногрезы и пугающую невнятицу виртуально-медийных образов войны. Словно Дон Кихот, взяв наперевес луч кинопроектора и жестяную коробку с целлулоидной пленкой, он несется на ветряные мельницы ксенофобии, ненависти и страхов, рожденных практически полным нашим непониманием ситуации.

Что мы знаем о чеченской войне? Кто там и за что воюет? Кто виноват и что делать? Война, длящаяся с перерывами уже чуть ли не десять лет, обросла множеством взаимоисключающих точек зрения: от защиты целостности России до геноцида чеченского народа, от локальной контртеррористической акции до полномасштабной войны цивилизаций. Прежде, когда войны велись между суверенными государствами, пропаганда работала на ограниченной территории. Теперь границы стали прозрачными, а информационное пространство глобальным, и волны взаимоисключающих интерпретаций, накладываясь друг на друга, порождают полный хаос в умах, раздуваемый масс-медиа до состояния клинической паранойи. И вот на этом фоне Кончаловский, вырядившись в невообразимый кинематографический «секонд хенд» и натянув шутовской колпак, решился сказать очень простую вещь: «И те, кто воюет с той стороны, и те, кто воюет с этой, и те, кто оказался, как на грех, между ними, — просто больные люди» («Больные люди» — два слова, которые чеченцы большими буквами пишут на фасаде больницы). Все — люди, и всем больно, и всех надо лечить. Не случайно в финале один из боевиков — несостоявшийся муж Жанны Ахмет — находит убежище среди пациентов дурдома.

Реплика, произнесенная Кончаловским от имени старого, доброго, гуманистического кино XX века, на мой взгляд, имеет такое же право на существование, что и все остальные, произносимые по поводу современных войн. Больше того, режиссер использует проверенные методы художественной манипуляции, дабы превратить «ужасную страшилку» в добрую сказку с хорошим концом и тем самым вернуть зрителю забытое чувство доверия к миру. Зритель, посмотрев «Дом дураков», перестает бояться больных, чеченцев, федералов да и вообще с опаской относиться к ближнему своему. Давно уже ясно, что поведение человека и характер принимаемых им решений зависят не столько от внешних обстоятельств, сколько от его собственного эмоционального состояния и субъективного восприятия ситуации. А человек, принимающий решения в состоянии доверия и покоя, способен, на мой взгляд, отнестись к реальности более адекватно.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

Последний дар Тевта

Интернет вызывает эрозию времени в отдельно взятой большой голове (моей). Или точнее: всех пространственно-видимых временных форм. Но ведь есть там фронт настоящего — последних новостей. Есть, но прошлое не имеет глубины — все прошлое одновременно. Если быть совсем точным: есть будущее, которого нет, и есть прошлое, но сразу всё — одним большим куском. Значит, есть только прошлое. Значит, это мир после времени. Постмодернизм? Значит, так.

Интернет убивает привычные формы времени, отказываясь его структурировать в виде пространственной последовательности. В виде номеров газет и журналов. Телерадионовостей, вышедших в эфир такого-то числа, во столько-то.

Интернет — это память, которая не умеет забывать. Это — вечная нетлеющая газета.

То, что напечатано на «газетной» (в прямом смысле) бумаге, не проживет больше недели. Газета месячной давности — это — когда-то — раритет.

Книгу нужно издавать на хорошей бумаге, в хорошем переплете — иначе она рассыплется, не выдержит повторного чтения. Это признаки временной иерархии. Глубина прошлого и проникновение в будущее.

А Интернет это отменяет. Он помнит все. И все приумножает. И все отдает. Все сразу. По первому требованию. Ты не можешь сказать — это ерунда, это я так, черкнул не по делу. Не черкай на скрижалях.

Это посттемпоральная эпоха. Эпоха электронного документа. До него не было ничего — была пустота. Смутные фигуры людей. Они движутся, они машут руками, они что-то друг другу говорят, говорят, говорят... От их разговоров не остается ничего, только головная боль и нечеткое ощущение едва намеченных решений, несделанных выводов. Странно. Все эти люди должны сидеть почти без движения перед экранами мониторов и писать: создавать новые электронные документы.

Какое сегодня число? Который час? А почему вас это волнует? У одного из моих корреспондентов, которому я только что отправил сообщение, сейчас поздний вечер вчерашнего дня, но он не спит, я это точно знаю. Как раз понять, что у него ночь, мне стоило некоторых усилий. Проще было спросить у него самого. Главное, это совершенно не важно ни мне, ни ему.

У другого корреспондента сейчас полдень. Его нет сейчас за компьютером. Он — N/A (not available).

У меня 10:54am. Что значат эти цифры? Они задают одну из последовательностей сортировки. Они входят в ключевое поле, по которому можно искать письмо в длинном списке. Это все. Но письмо гораздо удобнее искать по другим полям: по адресату, по теме или вообще по содержанию.

Мир без времени — это в первую очередь мир обратимый. В нем воспроизводим и повторимо все.

Чем оперативнее обновление поисковых индексов, чем проще поиск в Сети, тем меньше ощущается время как таковое. В пределе оно совсем не ощущается. Время элиминируется как ненужная, мешающая сущность.

Я нахожусь в состоянии вопрос — ответ. Меня интересует последовательность разговора, но сам разговор никогда не начинается и никогда не заканчивается. Пауза между репликами, как ее измерить? как измерить пустоту?

Интернет, как воронка, засасывает нецифровой мир. Текст, звук, картинку — скоро запахи и тактильные ощущения. Граница цифрового мира — это граница моей свободы. Здесь я дома. Очень скромных средств — обычных операций булевой логики — мне хватает, чтобы найти и выделить все, что угодно.

Сеть уже нельзя уничтожить. Она уже вечна. Вечность — это Сеть.

Я иду по улице. Ко мне подходит человек и бьет по голове обрезком трубы. Я падаю. Меня пинают тяжелые ботинки. Два идущих навстречу мента сворачивают в переулок — у них есть дела поважней. Это не оцифруешь.

Так что же там — за границами цифрового мира? Только боль? И все? Так зачем же вы хотите, чтобы я стремился туда? Ты стал придатком компьютера. Конечно, только это случилось не вчера, а двадцать лет назад, когда я получил первую зарплату за написанную программу. Интернет дал мне свободу. Я смог быть счастливым. Не часто, но все-таки.

«В чем новизна ситуации? В принципиально иной структуре информационных процессов. Оружие массового поражения завтрашнего дня — не атомная бомба, но информация. Предыдущие полвека люди учились жить при свете факта, что простым нажатием кнопки можно уничтожить город. Это изменило человеческое сознание. Теперь же мы на пороге мира, где целую культуру можно стереть, как папку с файлами. Ее попросту не будет, если некто с соответствующим чемоданчиком нажмет на „Delete”. Существует предельное число носителей языка, при котором язык еще жив. Существует и предельное число читателей Пушкина, при котором

Пушкин наличествует. Уберите пиаровскую программу в виде школьного курса литературы — и нашего золотого XIX века не станет уже послезавтра» (Ольга Славникова, «К кому едет ревизор? Проза „поколения пехт“» — «Новый мир», 2002, № 9).

Так в чем же новизна ситуации? В принципиально иной структуре информационных процессов. Нельзя стереть не только целую культуру. Нельзя стереть даже собственную случайно брошенную фразу, во всяком случае, никогда нельзя быть уверенным, что ты ее стер. Попадая в Сеть, слово начинает свой бесконечный дрейф. Не говоря уже о культуре. самого понятия «целая культура» — как отдельная культура, например русская, — не существует. Всякая отдельная культура перевязана миллионами ссылок со всем прочим миром. И граница ее размыта, бесконечно-изломанна, фрактальна.

В Сети с десяток собраний сочинений Пушкина, кроме частичного цитирования. Яндекс откликается на слово «Пушкин» полумиллионом ссылок. Такое не сотрешь.

Бергсон разделял время и длительность. Время — теснейшим образом связанная с пространством абстракция естественно-научного метода познания. Длительность есть проживание, в котором настоящее есть накопление смыслов. Интернет — это чистая длительность. Умница Бергсон актуален сегодня, как газета. «Материя и память». «Творческая эволюция». (<http://www.philosophy.ru/library/berg/0.html>)

Интернет адсорбирует мир. Впитывает его. Постиндустриальный мир — мир информационный. Интернет — форма существования информации и потому форма существования человека.

Сеть — это всё? Нет, не всё. Есть еще смерть. В Сети нельзя умереть. Человека можно разобрать на социальные функции и каждую запрограммировать на годы вперед. И его фантом будет получать письма и периодику, даже отвечать — возможно, несколько формально, но отвечать, — даже сможет понемногу довольно долго играть на бирже. Он будет платить по счетам и получать деньги. Его давно не видели? Вероятно, он предпочитает замкнутый образ жизни. Деловой, обязательный, несколько суховатый человек. Он умер лет сто назад.

Я вижу, как рассыпаются книги. Рассыпаются на цитаты. Если текст настолько плотен, что из него нельзя дернуть короткий отрывок, он идет на дно под собственной тяжестью, как топор. Длинный текст не нужен. Страница-две-три, не больше. Мир строится не из слов, а из фрагментов. Слово — это слишком сложно. Клише — другое дело. Стандарт деловой переписки. Если вы придерживаетесь устойчивых, общепринятых формулировок и оборотов, то можете не беспокоиться о языке, на котором вы пишете, — перевод на любой европейский язык будет выполнен вполне качественно. Если вы захотите поиграть словами, захотите добавить что-то неожиданное — тогда переводите сами. Автоматический переводчик с этим не справится.

Сократ говорит: «Так вот, я слышал, что близ египетского Навкратиса родился один из древних тамошних богов, которому посвящена птица, называемая ибисом. А самому божеству имя было Тевт. Он первый изобрел число, счет, геометрию, астрономию, вдобавок игру в шашки и в кости, а также и письмена. Царем над всем Египтом был тогда Тамус, правивший в великом городе верхней области, который греки называют египетскими Фивами, а его бога — Аммоном. Придя к царю, Тевт показал свои искусства и сказал, что их надо передать остальным египтянам. Царь спросил, какую пользу приносит каждое из них. Тевт стал объяснять, а царь, смотря по тому, говорил ли Тевт, по его мнению, хорошо или нет, кое-что порицал, а кое-что хвалил. По поводу каждого искусства Тамус, как передают, много высказал Тевту хорошего и дурного, но это было бы слишком долго рассказывать. Когда же дошел черед до письмен, Тевт сказал: „Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и памятьливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости“. Царь же сказал: „Искуснейший Тевт, один способен порождать предметы искусства, а другой — судить, какая в них доля вреда или выгоды для тех, кто будет ими пользо-

ваться. Вот и сейчас ты, отец письмен, из любви к ним придал им прямо противоположное значение. В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых» (Платон, «Федр», <http://www.philosophy.ru/library/plato/fedr.html>).

Тевт еще поразмыслил и вернулся к царю через 5 тысяч лет. Он сказал: «Посмотри, царь, что я принес тебе. Это называется Интернет. Теперь тебе не нужно читать книги, тебе не нужна библиотека. Просто, если тебя заинтересует какая-то проблема, ты сформируешь поисковый запрос (один или несколько), проанализируешь результаты поиска, и через несколько минут у тебя будет все необходимое, чтобы ответить на возникший вопрос, если ответ на него существует. Разве это не лучший из даров, которые приносили тебе смертные и боги?» Царь покачал головой: «Опять ты меня расстраиваешь, Тевт. Я смирился с твоим прежним даром, потому что письмо — это зеркало человеческой мысли, а мысли, чтобы понять и оценить себя самоё, это зеркало иногда необходимо. Но то, что ты принес мне сегодня, много хуже и вреднее искусства письма. Это — инструмент, который убивает память. Тебе уже не нужно помнить даже того, в какой именно книге ты прочел то или иное. Достаточно приблизительно написать фразу и послать запрос — поисковая система ответит тебе. И твоя память, которая была тренированным мускулом, окончательно превратится в дряблую тряпку. Но чтобы найти разрывы в знании, чтобы открыть новое, нужно понять и представить то, чего еще нет. Это совсем не то же самое, что искать готовый ответ. Вместо того, чтобы задуматься, ты будешь механически перебирать ссылки. Что может быть хуже?»

Из письма филолога Татьяны Касаткиной автору «WWW-обозрения»: «Володя, тебе, как, наверное, всякому, кто когда-либо работал в науке, известна ситуация „подбрасывания” информации, причем исключительно самой необходимой, из „ниоткуда”: вдруг без всяких просьб друзья приносят книгу, в которой все, что нужно, или натыкаешься на нее в каком-нибудь открытом доступе, или проходишь мимо стола, а там раскрыто на странице, где все для тебя, а больше ничего нужного и во всей книге не будет, — и т. д. Мне кажется, что Интернет — попытка человека рационализировать этот процесс (то есть поиска, а вернее, получения информации) — от привычного недоверия к тому, что невоспроизводимо в опыте и поэтому не может считаться „достоверным”. Он хочет „наверняка” находить, не полагаясь на игру „случая”. В таких случаях, то есть когда человек говорит: „Уйди Ты, я хочу сам”, Он отходит — и человек начинает барахтаться „сам”».

Да, да, да. О лукавый Тевт. Зачем мне твои дары? Разве не лучше привычное напряжение ума, когда он, прошупывая мягкую пустоту, вдруг натывается на единственный вывод и обжигающая простота развязки обращает хаос в кристальную структуру? Лучше, но...

Память растворяется в Сети. Человек перестает существовать без поисковых систем. Он просто не помнит ничего, почти ничего. Память перемещается из головы человека вовне. Человек становится интеллектуальным инвалидом. Он не может жить по-другому. Но ведь и без электричества и связи человек больше не может жить...

Ты совсем не ходишь пешком, ты даже не знаешь, как дойти от Лубянки до Пушкинской. Ну и что? Зато я знаю, как доехать на метро. Что важнее — умение ориентироваться в городе или умение достигать цель? Быть может, умение достигать. Но только ты не увидишь и не узнаешь сам город, который станет для тебя всего лишь утомительной транспортной сетью.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



И. Богданович. Душенька. Древняя повесть в вольных стихах. М., «Ладомир», 2002, 349 стр., 2000 экз.

К двухсотлетию со дня смерти Ипполита Федоровича Богдановича (1744 — 1803) — издание полного, выверенного по последним прижизненным изданиям текста поэмы «Душенька» (1778) с примечаниями и вступительной статьей Андрея Зорина и воспроизведением всего цикла гравюр одного из первых иллюстраторов поэмы Федора Толстого.

Нина Горланова. Подсолнухи на балконе. Только проза. Екатеринбург, «У-Фактория», 2002, 416 стр., 5000 экз.

Книгу составили рассказы из циклов: «Мужчины в ее жизни» и «Это было недавно», предваряемых «Автобиографией»: «На счастье Бог послал меня в жизнь со слабым здоровьем, и это спасло меня от многих и многих бед... Так, я всего лишь один раз вышла замуж, а могла бы пять. Родила я всего четверых детей от своего мужа, а могла бы восьмерых без мужа!.. Из дома я выгнала четырех стукачей, а могла бы и десять. Жалоб написала не более трехсот, а будь сил поболее — могла бы и тыщу!.. Благодаря желтухе, я в три года научилась читать... Из-за плохой справки о здоровье я, к счастью, не могла поступать почти никуда, кроме филфака. А когда я начала писать прозу и бороться с режимом, на мое плохое здоровье наложилось плохое здоровье моей приемной дочери — мы и взяли ее потому, что в детдоме она бы умерла... А если б не взяли, я свободные силы бросила б на борьбу с коммунистическим режимом и села бы в лагерь (по 58 статье)...»

Олег Губарь. Мелкое хулиганство. Рассказы. Одесса, «ВМВ», 2002, 192 стр., 500 экз.

Лирико-философская ироническая «хулиганская» проза современного одесского писателя.

Евгений Евтушенко. Первое собрание сочинений в восьми томах. М., «Издательство АСТ», 2002, 3000 экз.

Том 4. 1971 — 1975. 623 стр.

Том 5. 1976 — 1982. 557 стр.

Доведенное до пятого тома собрание сочинений, начатое в 1997 году (**Евгений Евтушенко.** Первое собрание сочинений в восьми томах. Том 1. 1957 — 1958. М., Издательство АО «Х.Г.С.», 1997, 481 стр., 10 000 экз.; **Евгений Евтушенко.** Первое собрание сочинений в восьми томах. Том 2. 1959 — 1964. М., Литературно-художественное агентство «ЛИРА», 2000, 545 стр., 10 000 экз.; **Евгений Евтушенко.** Первое собрание сочинений в восьми томах. Том 3. 1965 — 1970. М., Литературно-художественное агентство «ЛИРА», 1997, 475 стр., 10 000 экз.).

Составление и комментарии Евгения Евтушенко. Подготовка текста и научная редакция Юрия Нехорошева, он же — составитель «Пунктира», завершающего каждый том и воспроизводящего — в цитатах из прессы и отзывах современников — историю и характер литературно-общественного феномена под названием «Евгений Евтушенко» («Я не понимаю вас, Евгений Евтушенко... Вы писатель, поэт, говорят, талантливый. А вы опубликовали в зарубежной прессе такое... мне становится стыдно за вас», — Ю. Гагарин в 1963 году; «Все эти годы мы слышим: мода, мода. Но двадцать лет быть в моде у огромного народа — нелегко и непросто. А может быть, и не мода это вовсе, а любовь?» — Б. Слуцкий в 1971 году; «Он среднее арифметическое искусства... Евтушенко смог вынести борьбу на эстраду, привлечь к поэзии массовый интерес молодежи... Он искренне верил, что борется со злом. Он никогда не защищал дурное, он лишь останавливался на подороге... Чувство принадлежности к системе всегда выручало Евтушенко. Его необычайное тщеславие снабжено верными датчиками пределов дозволенного... друг президентов и сенаторов, идеолог и поэт советской полуфронды...» — Давид Самойлов).

Даур Зантария. Колхидский странник. Екатеринбург, «У-Фактория», 2002, 384 стр., 15 000 экз.

Книга стихов и прозы Даура Зантарии (роман «Золотое колесо», повести «Еджи-Ханум, обойденная счастьем», «Судьба Чу-Якуба», рассказы и подборка стихов) — посмертное издание текстов одного из самых ярких «абхазско-русских» писателей, сопровождаемое воспоминаниями друзей и коллег Зантарии (Марины Москвиной, Татьяны Бек, Андрея Битова, Валентина Ежова, Петра Алешковского, Леонида Бахнова и других).

Юрий Коротков. Попса. Киноповести. М., Издательство «Пальмира», 2002, 416 стр., 7500 экз.

Четыре повести с кинематографически стремительным развитием сюжетов («киноповести»), с жестко обозначенными социально-психологическими типами из «нашего времени» (бандиты, шоумены, милиционеры, рабочие, проститутки и т. д.), с актуальной проблематикой (кризис традиционной морали и новые формы ориентации и поведения человека в наступивших жестоких «капиталистических временах»). Прозу Короткова можно рассматривать как эстетическую рефлексию по поводу стилистики сегодняшней «кинопопсы», предполагающей в кадре определенный набор ролей, сюжетов, тем и обязательное сочетание «чернушного» с мелодраматическим. («Хочешь истину в народ нести — пожалуйста, иди в переход, становись среди калек, шапку для мелочи я тебе одолжу, и пой хоть с утра до ночи»). Современные сюжеты и современный жизненный материал здесь положены на классические сюжетные мотивы, — в повести «Кармен» изображается роковая страсть милиционера к преступнице, роль матадора (эпизодическую) выполняет юноша-мотогонщик; или, скажем, в повести «Мертвый» задействована сюжетная основа одноименной борхесовской новеллы — Оталорой здесь оказывается беглый солдат, который, расстреляв пятерых сослуживцев («дедов»), а затем попав в шайку честных («по-мокрому» не работают) разбойников с большой дороги (рзкетилов, «пасущих» дальнбойщиков), стремительно возвышается над старым и большим главарем, уводит у него женщину, подчиняет себе большинство бандитов, но, как и полагается, триумф его становится его концом (повесть стала одним из победителей в номинации «Серебряный треугольник» литературного конкурса «Российский сюжет» <http://konkurs.palmira.ru/smi/smi.phtml?lid=273#0>).

Юрий Коротков, Валерий Годоровский. Подвиг. М., «Пальмира», 2002, 352 стр., 7000 экз.

Повесть, написанная Коротковым в соавторстве с Тодоровским и не вошедшая в сборник «Попса». Современный вариант «отцов и детей». Отцы — советские, дети — постсоветские: «Школьные выпускники начала восьмидесятых. Одноклассники. Три мальчика, три друга, влюбленные в одну девочку... сюжет держится на интриге соперничества и завершается свадьбой», то есть попыткой свадебного путешествия, для которого детишки угоняют самолет. «Достижение книги в том, что авторы уловили момент, когда целое поколение перешло из царства насильственной необходимости в царство насильственной свободы. Общество их обмануло: дети не могли не двигаться по проложенным рельсам, но на их долю не досталось станций» (Ольга Славникова).

Александр Кушнер. Кустарник. Книга новых стихов. СПб., «Пушкинский фонд», 2002, 88 стр., 500 экз.

«Я не прыгун с шестом, / Чтоб прыгать метров за пять, / Аплодисментов гром / Сорвать себе на память, / И шест, как метроном, / Внизу трястись оставить... / Прочтут нас не в толпе, / А под настольной лампой. / И вспомнят при ходьбе». Журнал намерен отрецензировать новую книгу поэта.

Павел Лемберский. Город убывающих пространств. Рассказы. Послесловие Псоа Короленко. Тверь, «Другие берега», 2002, 144 стр.

Проза, которая может считаться в равной степени русской и американской, — творческое становление Лемберского пришлось на 90-е годы и происходило уже в эмиграции. И дело не только в том, что большая часть рассказов написана на материале жизни русской эмиграции в США и Израиле, но и в самой стилистике повествования и проблематике — русский в Америке рассматривается автором не как проблема столкновения менталитетов, а как проблема особого качества новых американцев. Литературная известность к Лемберскому пришла через Интернет, где он один из самых активных литераторов; на сетевом конкурсе «Русская Америка» 2001 года сборник рассказов Лемберского «Вероятность счастливого конца» был признан лучшим (<http://www.ezhe.ru/data/vgik/lp-istorii.html>).

Марина Москвина. Блохнесское чудовище, или Жизнь и приключения милиционера Караваява. Екатеринбург, «У-Фактория», 2002, 200 стр., 5000 экз.

Собрание наиболее известных «детских» рассказов Москвиной — цикл про милиционера Караваява, циклы «Моя собака любит джаз» и «Звездный час. Уральские рассказы».

Джон Стейнбек. Заблудившийся автобус. Роман и повесть. М., «Текст», 2002, 333 стр., 2550 экз.

Переиздание классика американской литературы XX века: повесть нобелевского лауреата 1962 года «О мышах и людях» (1937) в переводе В. Хинкиса и роман «Заблудившийся автобус» (1947) в переводе В. Голышева.

Светлана Шишкова-Шипунова. Дети солнца. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, 382 стр., 3000 экз.

Книга рассказов современного писателя, выстраивающего свою Йокнапатофу на материале повседневного быта и городской мифологии Сочи (циклы «Курортные истории», «Маленькие семейные истории»), также в книгу вошли «Французские новеллы» — о судьбах эмигрантов первой волны.

Николай Щадрин. Без царя. Роман. М., «Пальмира», 2002, 384 стр., 5000 экз.

Добротно исполненная стилизация под актуальную для 20 — 30-х годов социально-психологическую прозу, авторы которой ставили перед собой задачу осмыслить бытие и быт новой, прошедшей через революцию и Гражданскую войну России. Роман стал победителем литературного конкурса «Российский сюжет-2001» в номинации «Серебряный квадрат» (<http://konkurs.palmira.ru/smi/smi.shtml?lid=273#0>).

Сергей Юрьенен. Дочь Генерального секретаря. Роман. Екатеринбург, «У-Фактория», 2002, 368 стр., 10 000 экз.

Сергей Юрьенен. Фашист пролетел. Роман. Екатеринбург, «У-Фактория», 2002, 429 стр., 10 000 экз.

Сергей Юрьенен. Беглый раб. Романы. Екатеринбург, «У-Фактория», 2002, 568 стр., 10 000 экз.

Три книги прозы русского писателя, живущего с 1977 года в Западной Европе, по сути, трехтомник избранных романов (в сборник «Беглый раб» кроме одноименного романа вошли также романы «Сделай мне больно» и «Сын империи»). Составителем издания стал уральский критик Леонид Быков. С предисловиями к романам выступили Игорь Мартынов, Александр Кабаков, Юз Алешковский.



Алла Зускина-Перельман. Путешествие Вениамина. Размышления о жизни и судьбе еврейского актера Вениамина Зускина. М. — Иерусалим, «Мосты культуры» — «Гешарим», 2002, 510 стр., 2000 экз.

Книга о жизни одного из ведущих актеров советского театра и кино 30 — 40-х годов, одной из центральных фигур труппы Московского еврейского театра, члена Еврейского антифашистского комитета, расстрелянного по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР в 1952 году и реабилитированного в 1955-м, Вениамина Львовича Зускина (1899 — 1952), написанная его дочерью. Главной виной Зускина была признана работа над постановкой пьес, в которых «воспевалась еврейская старина, местечковые традиции и быт и трагическая обреченность евреев» (из приговора). Сохранившиеся архивы ликвидированного в 1949 году еврейского театра дали автору возможность тщательно прописать и актерскую судьбу отца, и историю самого театра; так же, как история ареста, допросов и суда над отцом, достаточно полно и выразительно воспроизводит трагическая судьба Еврейского антифашистского комитета. Тщательно проработанная документальная основа (книга на редкость информативна) сочетается с относительно свободной манерой изложения, с использованием личных воспоминаний, семейных преданий, с воспроизведением самой атмосферы театральной и общественной жизни той эпохи.

История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР. Книга для учителя. М., Издательство объединения «Мосгорархив», 2002, 504 стр., 2000 экз.

Кроме исполнения чисто функциональной задачи — представить современным школьникам историю несвободы и борьбы с ней в России XX века, в частности, историю сталинизма — книга эта может быть сочтена попыткой историков обратиться к са-

мым широким слоям общества с научным описанием идеологии и практики массовых репрессий в СССР. В первой части (семь глав) описывается становление тоталитарного государства в СССР, законодательная база советской репрессивной политики, государственный террор в 20 — 30-е годы, сталинизм, диссидентство 60 — 80-х годов (авторы: О. В. Волобуев, А. Ю. Даниэль, Г. М. Иванова, Г. В. Костырченко, Д. Б. Павлов, И. С. Розенталь, О. В. Хлевнюк; научный редактор В. В. Шелохаев). Вторая часть содержит исторические материалы: партийные и правительственные постановления; материалы деятельности НКВД и КГБ; тексты секретных постановлений, приказов и служебных записок Сталина, Ежова, Берии, Семичастного, Андропова; хроники репрессий, переселений и депортаций; материалы по делу А. Синявского и Ю. Даниэля, материалы, связанные с высылкой Солженицына из СССР, и т. д. К книге прилагается сидиром с ее текстами.

Эрнст Кассирер. Философия символических форм. В трех томах. Перевод с немецкого С. А. Ромашко. М., СПб., «Университетская книга», 2002, 3000 экз.

Том 1. Язык — 272 стр.

Том 2. Мифологическое мышление (разделы: «Миф как форма мышления»; «Миф как форма созерцания. Строение и членение пространственно-временного мира в мифологическом сознании»; «Миф как форма жизни. Открытие и определение в мифологическом сознании субъективной действительности»; «Диалектика мифологического сознания») — 280 стр.

Том 3. Феноменология познания — 398 стр.

Главный труд немецкого философа-неокантианца Эрнста Кассирера (1874 — 1945), писавший им в 1923 — 1929 годах и представляющий собой «ряд взаимосвязанных их исторических и систематических исследований, посвященных языку, мифу, религии и научному осознанию». Опорным понятием для Кассирера было не «познание», а «дух», отождествляемый с «духовной культурой» и культурой в целом в противоположность «природе». Средство, с помощью которого происходит всякое оформление духа, Кассирер находит в знаке, символе, или «символической форме»; в «символической функции» открывается сама сущность человеческого сознания — его способность существовать через синтез противоположностей. «Смысл исторического процесса Кассирер видит в „самоосвобождении человека“, задачу же философии культуры — в выявлении инвариантных структур, остающихся неизменными в ходе исторического развития» (из аннотации).

Александр Мень. Библиологический словарь. В трех томах. М., Фонд имени Александра Меня, 2002. Том первый. А — И. 608 стр. Том второй. К — П. 559 стр. Том третий. Р — Я. 527 стр.

Плод десятилетней работы протоиерея Александра Меня, которой он занимался в 70 — 80-е годы. Редакционная коллегия издания (Роза Адамянц, Сергей Рузер, Наталья Григоренко, Павел Мень) не сочла нужным вмешиваться в текст уже подготовленной работы («исключением является лишь указание времени смерти тех библеистов, которые умерли после 1990 года»). Словарь содержит 1790 статей, в которых представлено современное состояние библейского богословия и библейской критики, сведения о выдающихся богословах и ученых, священнослужителях, а также — о писателях и художниках, чье творчество имеет отношение к Библии, и другая информация.

Грегори Надь. Греческая мифология и поэтика. Перевод с английского Н. П. Гринцера. М., «Прогресс-Традиция», 2002, 431 стр., 1500 экз.

Монография одного из ведущих современных филологов-классиков, директора Центра греческих исследований в Вашингтоне, ученика Альберта Лорда (сторонника теории устного происхождения и бытования гомеровского эпоса); полиглота. Разделы: «Эллинизация индоевропейской поэтики» («Гомер и сравнительная мифология»; «Гесиод и поэтика панэллинизма»); «Эллинизация индоевропейского мифа и ритуала» («Патрокл, представления о загробной жизни и древнеиндийские три огня»; «Смерть Сарпедона и проблема уникальности Гомера»); «Эллинизация индоевропейской общественной идеологии» («Поэзия и полисная идеология»; «Мифологические основы древнегреческого общества и понятие города-государства»). Исследует взаимосвязи мифа, ритуала и языка в древнегреческой культуре, автор показывает особенности греческого общества архаической и классической эпохи так, как отразились они в зеркале древнегреческого языка и литературы.

А. А. Панченко. Христовщина и скопчество. Фольклор и традиционная культура русских мистических сект. М., О.Г.И., 2002, 544 стр., 2000 экз.

Монография на тему, которая разрабатывалась последнее время в основном культурологами, обращавшимися к истории и самому феномену религиозных сект как к ис-

торической, религиозной и отчасти философской и эстетической экзотике (см. книги А. Эткинды, считавшего, что его работы — «акт преодоления скучной дробности методов, дисциплин, убеждений»; реплика А. А. Панченко: «...работы Эткинды „скучны“ специалисту своим методологическим эклектизмом, отсутствием аналитической последовательности, различными фактографическими промахами и недоказуемыми гипотезами, но, вероятно, „интересны“ образованному читателю „широкого профиля“ — тому, кого в советское время назвали бы „интеллигентом“»). Монография представляет собой первое научное систематическое описание двух массовых религиозных движений XVII — XX веков; фольклор, ритуалы и идеология христовщины и отделившегося от нее в конце XVIII века скопчества рассматриваются в контексте простонародной религиозной культуры. Одна из поставленных автором целей — показать генетическую связь этих сект с «мистико-аскетическими и эсхатологическими движениями русского раскола». Книга вышла в серии «Фольклор/постфольклор», издание которой начало «Объединенное Гуманитарное Издательство» под научным кураторством семинара «Фольклор/постфольклор: структура, типология, семиотика» Института высших гуманитарных исследований РГГУ. Серия будет содержать три раздела: «Фольклор/постфольклор: новые исследования» (работы, посвященные современным аспектам изучения фольклора), «Фольклор/постфольклор: новые материалы» (здесь предполагается публикация собраний фольклорных текстов, ранее не введенных в научный обиход), «Фольклор/постфольклор: научное исследование» (издания классиков отечественной науки, труды которых заложили основу фольклорно-антропологических дисциплин нашего времени). Часть материалов, намеченных для публикации в серии «Фольклор/постфольклор», можно посмотреть на сайте этого научного коллектива в Интернете (<http://www.ruthenia.ru/folklore/index.htm>).

Станислав Рассадин. Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали. М., «Текст», 2002, 478 стр., 4000 экз.

Размышление о социально-психологической и эстетической сторонах феномена «советской литературы», где писатель почти всегда — самоубийца. Будь то Цветаева, Есенин, Маяковский или — всесильный (и одновременно бессильный) чиновник Фадеев, «физическому самоубийству» которого предшествовало его нравственное и эстетическое самоубийство (в этот ряд у Рассадина встает даже Шолохов, мало похожий в молодости на сановного старца из станицы Вешенская). Это книга о внутреннем трагизме судеб Зошенко, Булгакова, Олеси, Катаева, Мартынова, Слуцкого, Окуджавы и других; и написана она не как серия литературно-критических очерков, а именно как очень личная, «больная» по проблематике книга.

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«В мире науки (Scientific American)», «Вестник Европы», «Время MN», «Время новостей», «VIP-Premier», «Газета», «Гуманитарный экологический журнал», «GlobalRus.ru», «День и ночь», «День литературы», «Дорога вместе», «Завтра», «Знание — сила», «Иерусалимский журнал», «Известия», «Итоги», «ipocMИ. Ru», «Книжное обозрение», «Коммерсантъ», «Лебедь», «Лимонка», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Логос», «Left.ru/Левая Россия», «Митин журнал», «Московские новости», «Народ Книги в мире книг», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Новая модель», «Новое время», «Огонек», «Отечественные записки», «Русская мысль», «Русский Журнал», «Складчина», «Спецназ России», «Топос», «Труд», «TextOnly», «Toronto Slavic Quarterly», «Уральская новь», «Черная сотня»

Аборты. — «GlobalRus.ru». Информационно-аналитический портал Гражданско-го клуба. [2002] <<http://www.globalrus.ru>>

<...>когда этот мерзкий Папа запрещает им [латиноамериканским католикам] пользоваться предохранительными средствами, там об абортах даже речь не идет. Папа против презервативов. Папу за ноги и об стенку. Против он», — шумит Татьяна Толстая.

В бестолковом разговоре также участвуют **Дуня Смирнова, Александр Тимофеевский, Константин Крылов** и др. *После новогоднего обновления сайта этот и некоторые другие тексты куда-то пропали, но у составителя «Периодики» имеется-таки скопированный файл.*

См. также специальный тематический номер *против аборт* газеты «Черная сотня» (2002, спецвыпуск № 14 <<http://sotnia.8m.com/gazeta.htm>>), в номере использованы материалы Православного Медицинского Сервера: <http://pms.orthodoxy.ru>

См. также тематический номер «Семья. Что это такое?» молодежного христианского журнала «Дорога вместе»: 2002, № 1 <<http://www.vmeste.by.ru>>

Сергей Аверинцев. «Человек должен ощущать себя среди веков». Беседу вел Борис Пастернак. — «Известия», 2002, № 225, 10 декабря <<http://www.izvestia.ru>>

«<...> словечки вроде „позитивно мыслить” — это значит не думать о вещах неприятных, не позволять себе никаких травматических переживаний и т. д. И мне кажется, что это небезопасно <...>».

Карен Акопян. Шлягеризация науки. — «Отечественные записки». Журнал для медленного чтения. 2002, № 7 <<http://magazines.russ.ru/oz>>

«Прочитавшему название настоящей статьи, вероятно, нетрудно догадаться, куда клонит ее автор...»

Здесь же: **Виталий Куренной**, «Государство, капитал и мировое научное сообщество» и много-много других статей о современной российской науке.

«Но гуманитариев авторы „Отечественных записок” [2002, № 7] странным образом „не заметили”. В избранном „Отечественными записками” ракурсе *наука*, а также Наука (я исхожу из круга проблем, обсуждаемых в пределах „главной темы”) — это именно *science*, а вовсе не *science* и *humanities*», — пишет **Ревекка Фрумкина** («Великие иллюзии» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/period>>).

См. также: **Владимир Губайловский**, «Строгая проза науки» — «Новый мир», 2002, № 12.

Николай Александров. Вручили «Букера». — «Газета», 2002, 6 декабря <<http://www.gazeta.ru>>

Говорит лауреат литературной премии «Букер — Открытая Россия» **Олег Павлов**: «Я живу в трагическое время — я так думаю. Я так его ощущаю. Это мой выбор, мой опыт. Я так его переживаю в прозе. Ведь есть понятия легковесного и, напротив того, весомого. Я одного не понимаю: почему от литературы ждут развлечения. Ведь для развлечения легче, скажем, посмотреть фильм, чем прочитать книгу. А литература — она не для этого».

См. также: **Геннадий Серышев**, «Мышиная железная дорога на тот свет» — «Русский Журнал», 2002, 4 декабря <<http://www.russ.ru/krug>>

См. также: **Лиза Новикова**, «Российский роман не выпускают из зоны» — «Коммерсантъ», 2002, № 222, 6 декабря <<http://www.kommersant.ru>>

См. также: **Михаил Золотоносов**, «Дрова издательской топки» — «Московские новости», 2002, № 47 <<http://www.mn.ru>>

См. также: **Павел Басинский**, «После „Букера”» — «Литературная газета», 2002, № 49, 11 — 17 декабря <<http://www.lgz.ru>>

См. также: **Вадим Нестеров**, «Где-где? В Караганде! Букер...» — «Газета.Ru», 2002, 7 декабря <<http://www.gazeta.ru>>

См. также беседу **Олега Павлова** с **Владимиром Березиным**: «Независимая газета», 2002, № 264, 9 декабря <<http://www.ng.ru>>

См. также беседу **Олега Павлова** с **Александром Неверовым**: «Труд», 2002, № 221, 7 декабря <<http://www.trud.ru>>

См. также: **Владимир Бондаренко**, «Победа Павлова над Букером» — «Завтра», 2002, № 51, 17 декабря <<http://www.zavtra.ru>>

Максим Амелин. «Мне не хотелось, чтобы из Катуллы получился очередной литпамятник». Беседу вела Елена Калашникова. — «Русский Журнал», 2002, 19 ноября <<http://www.russ.ru/krug>>

«<...> я глубоко убежден, что поэзию должны переводить поэты, а не филологи, которые высушивают ее и выморачивают».

«<...> я пытался вернуть его [Катуллу] в живую языковую стихию, как если бы русский был для него родным, и выработать, насколько это возможно, некий гипотетический катулловский стиль».

Андрей Монастырский и историзация советского. Материал подготовила Мария Рогоулёва. — «Художественный журнал», 2002, № 42 <<http://www.guelman.ru/xz>>

Беседуют критик и историк современного искусства Екатерина Дёготь и директор издательского дома «Ad Marginem» Александр Иванов при участии Виктора Мизиано и

Марии Рогулёвой. «Малевич жив сегодня только тем, что он *не* является частью истории искусства, не относится к компетенции *только* художественной критики: он скорее относится к компетенции идеологии, религиозной философии и т. п. <...> чтобы стать художником, надо перестать думать об истории искусства, перестать позиционировать себя как художника, но ставить себе более существенные задачи» (Александр Иванов).

Александр Андриюшкин. «Раса государственников» и Осип Мандельштам. — «День литературы», 2002, № 11, ноябрь <<http://www.zavtra.ru>>

«Если в России начнется наконец давно назревшее возрождение, то оно будет сопровождаться чистой нашей культурой, из которой и будут удалены Мандельштам и ему подобные. Если же в обозримом будущем не начнется, то Россию и русский язык ждет гибель, и значит, Мандельштам опять становится никому не нужным...»

Ольга Арефьева. Русский блюз. Стихи. — «Литературная газета», 2002, № 48, 4 — 10 декабря <<http://www.lgz.ru>>

«Плохо быть поэтом — / Хорошо ментом...» См. также: Ольга Арефьева, «Старт воздухоплатателя» — «Знамя», 2002, № 12 <<http://magazines.russ.ru/znania>> См. ее сайт: <http://www.ark.ru>

Станислав Аристов, Алексей Чепрасов. Рядом с Андреем Платоновым. — «Знание — сила», 2002, № 11 <<http://www.znanie-sila.ru>>

Платонов-мелиоратор. «<...> причиной возникновения „Дела мелиораторов” явились не происки ГПУ, а действительные недостатки и нарушения в строительстве водных сооружений, принесшие ущерб народному хозяйству. В тех условиях, в каких велось строительство, избежать их едва ли было возможно». Авторы статьи — учащиеся 11 класса Педагогического лицея при ВГПУ (Воронеж).

Владимир Арнольд. Стандартные нелепости. Речь на парламентских слушаниях в Государственной думе. — «Известия», 2002, № 223, 6 декабря (приложение «Наука», 2002, № 44, 6 декабря).

«Не случайно подготавливаемая реформа [образования] финансируется иностранцами, давно мечтавшими избавиться от конкуренции со стороны российской науки и техники».

Виктор Астафьев. Какая жизнь, такая и литература. — «VIP-Premier». Международный журнал о лидерах и для лидеров. 2002, ноябрь.

«Был в Омске хороший поэт Аркадий Кутилов. <...> Нашли его мертвого в городском сквере, в грязи валяющегося, некому было опознать труп в морге». Последнее интервью Астафьева — сибирскому издателю Геннадию Сапронову для иркутского журнала «Зеленая лампа».

См. об А. Кутилове (1940 — 1985) также: Нина Салохина, «Квадратные цветы» — «Патефон Сквер», Омск, 2002, № 3 <<http://www.Partyphone.narod.ru>>; Геннадий Великосельский, «Опознан, но не востребован» — «Арион», 2001, № 4 <<http://arion.ru>>

Виктор Балан. Киров до 1934 года. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 298, 17 ноября <<http://www.lebed.com>>

«<...> будет неожиданным для многих: Киров был враг Сталина, враг убежденный, осторожный, но, к сожалению, гораздо более слабый, чем Сталин — Кирову. Они отлично видели друг друга насквозь».

См. также: Виктор Балан, «Сталин и убийство Кирова» — «Лебедь», Бостон, 2002, № 300, 1 декабря <<http://www.lebed.com>>

См. также: Эдуард Хлысталов, «Выстрел в затылок» — «Литературная Россия», 2002, № 50, 13 декабря <<http://www.litrossia.ru>>

См. также: Григорий Померанц, «Государственная тайна пенсионерки» — «Новый мир», 2002, № 5.

Андрей Балдин. Закон Черепанова. — «Отечественные записки», 2002, № 6.

В частности: архитектура Всемирного торгового центра как «вызов любому иному мировидению, способу обустройства вселенной».

Владимир Баранов. Прощай, оружие! — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 298, 17 ноября <<http://www.lebed.com>>

О будущем *Новом Терроризме*, направленном не против людей, а *против систем*. Среди прочего: «<...> можно ли создать такую систему голосования, чтобы она была рациональной, решающей и демократичной одновременно? Математики, философы и экономисты, исследовавшие этот вопрос в течение десятков лет после опубликования [Кеннетом Джозефом] Эрроу фундаментального результата, склоняются к отрицательному ответу. Голосование может быть избавлено от произвольности, безвыходных положений или неравноправия, но оно не может избежать всех этих недостатков одновременно».

Павел Басинский. Ваши ставки, господа! — «Литературная газета», 2002, № 48, 4 — 10 декабря.

«Андрей Немзер назвал присуждение премии [«Национальный бестселлер»] Проханову позором. А присуждение десятка премий романам, о существовании которых нынче не помнят и члены присуждавших их жюри, — это триумф, торжество? <...> Роман Проханова, подобно тупому консервному ножу, распорол шитый белыми нитками консенсус между жизнью и литературой. Сшивали десять лет. <...> И все это под знаменем исключительно эстетической критики, которой в России никогда не было и быть не может».

Михаил Безродный. Не кантовать. Из книги «Пиши пропало». — «Toronto Slavic Quarterly». *Academic Electronic Journal in Slavic Studies*. 2002, № 2 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/tsq.html>>

«В первой главе „Петербург“ стены дома Аблеуховых украшаются „орнаментом из старинных оружий“ — и вносится бомба. Стрелять из пистолы, вопреки Чехову, так и не станут, зато тиканье заведенного в пятой главе часового механизма продержит читателя в напряжении до конца восьмой. Спустя полвека освоено кинематографом».

Ирина Белобровцева. Лицо не в фокусе. К проблеме одного прототипа. — «Toronto Slavic Quarterly», 2002, № 2 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/tsq.html>>

«Весь 1931 год журнал „Новый мир“ печатал с продолжением роман Алексея Толстого „Черное золото“...»

Андрей Битов. Замкнутая цепь без одного звена. Хроника хмурого утра. — «Новая газета», 2002, № 89, 2 декабря <<http://www.novayagazeta.ru>>

«Сам ли я такой — или страна у меня такая?»

Алексей Бобриков. Абстракция принадлежит народу. — «Художественный журнал», 2002, № 42 <<http://www.guelman.ru/xz>>

«<...> имеет смысл говорить именно о русском абстракционизме как аналоге русской демократии и русского капитализма».

«Теперь это не просто „правильное“, а „единственно правильное“ искусство, поддерживаемое партией и любимое народом (по рассказам очевидцев, на открытие выставки [„Абстракция в России. XX век“] в корпусе Бнуа ломались тысячные толпы), против которого рискуют выступать — с лозунгами и листовками — лишь местные отщепенцы: неоакадемисты (поклонники небезызвестной „красоты“) и „Новые тупые“ (защитники пресловутой „правды жизни“»).

«<...> официальный текст, вывешенный на сайте Русского музея, описывает абстракционизм до боли знакомым „диалектическим“ способом: „Художники XX века стремятся изобразить не то, что видят, а то, что знают“ (именно так — прямо или косвенно — формулировалась всегда задача советского художника)».

«Правда, у русского абстракционизма — в отличие от социалистического реализма — не было своей сталинской эпохи, которая могла бы дать образцы имперского „большого стиля“ (или хотя бы стандарты качества). Это ощущается постоянно; как будто не хватает центральной части, а есть лишь начало и конец».

«<...> гигантский (в стиле миллениума) проект Русского музея, придав новый статус русскому абстракционизму, одновременно поставил точку в его развитии, „закрыл тему“. Теперь — после этой выставки — заниматься абстракционизмом будет просто неприлично».

Владимир Бондаренко. Победитель огня. — «Завтра», 2002, № 48, 26 ноября.

«<...> он [Кунаев] не столько почвенник в творчестве своем, в жизненной позиции, сколько государственный, русский имперский поэт...»

В. Е. Борейко. Этические принципы заповедного дела. — «Гуманитарный экологический журнал», Киев, 2002, том 4, выпуск 1 <<http://www.ln.com.ua/~kekz/human.htm>>

«Необходимо помнить, что несправедливость, совершенная в одном заповедном объекте, является угрозой и оскорблением для справедливости повсеместно».

Марина Бородинская. «Я не теоретик и тяжело прорубаюсь сквозь теоретические дебри». Беседу вела Елена Калашникова. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Среди переводчиков меньше всего склок, это, по-моему, самая интеллигентная часть наших пишущих людей, такие незримые труженики, привыкшие тушеваться, как актеры-кукольники: „А я так себе, за ширмочкой стою“...»

Жан-Баптист Ботюль. Сексуальная жизнь Иммануила Канта. Перевод с немецкого Тигра Вартаняна по изданию: «*Lettre International*», 2000, № 50. — «Логос». Журнал по философии и прагматике культуры. Издается с 1991 года. Выходит шесть раз в год. Главный редактор Валерий Анашвили. 2002, № 2 (33) <<http://www.ruthenia.ru/logos>>

«Я хотел бы Вам объяснить, почему вопрос безбрачия является вовсе не случайным вопросом и относится — к сути самой философии».

«<...> мы не имеем дело ни с циничным мизантропом, ни с анахоретом или монахом. <...> [Кант] проповедует радости жизни, однако на практике воздерживается, отказывается от удовольствий и владеет собой».

«Для меня кантианство — это скорее способ жизни, нежели учение. В большей степени совокупность жестов и поступков, нежели собрание текстов или система понятий. Мыслить — значит вести жизнь мыслителя. <...> *Аскеза* в античном смысле этого слова означает не умерщвление плоти, а упражнения, практику и правила жизни. Жить без женщины — это аскеза. Ровно как и жить с женщиной».

«Кант — это бомба, которая сама себя предохраняет от взрыва».

См. также: Михаил Безродный, «Не кантовать» — «*Toronto Slavic Quarterly*», 2002, № 2 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/tsq.html>>; не кантовать — это именно в связи с Кантом.

«Буквальные прототипы за моими героями не маячат». Беседовал Андрей Миросикин. — «Книжное обозрение», 2002, № 50, 9 декабря <<http://www.knigoboz.ru>> <<http://www.book-review.ru>>;

Говорит Сергей Гандлевский: «<...> искусство — всегда в той или иной мере перепев; оно куда меньше, чем обычно принято думать, нуждается в оплодотворении реальностью и по большей части само себя как-то умудряется опылять. <...> трудно понять, что у Пушкина свое, а что присвоенное. Талант — может быть, не только оригинальность в чистом виде, но не в последнюю очередь восприимчивость к чужому эстетическому опыту».

Дмитрий Быков. История одного одиночества. — «Огонек», 2002, № 39, сентябрь <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

«Поразительно, как никому еще не пришла в голову очевидная мысль: колумбиец Маркес наверняка читал „Историю одного города” и именно с нее „слизал” „Сто лет одиночества” <...>».

Дмитрий Быков. Против всех. — «Огонек», 2002, № 43, октябрь.

«<...> практически в каждой публикации обсуждаются два вопроса — любила ли Цветаева женщин и любил ли Сергей Эфрон НКВД».

В каком году воровать стали? [Круглый стол]. — «*GlobalRus.ru*». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. 2002, 25 ноября <<http://www.globalrus.ru>>

«Подстаканники я воровала. А кто не воровал? Я раньше воровала у государства» (Татьяна Толстая). «Я абсолютно убеждена, что позитивный проект может быть один — потому что он всегда один — „обогащайтесь!”...» (Дуна Смирнова).

Алексей Варламов. Висельная дорога Михаила Пришвина. — «Топос», 2002, 29 ноября <<http://www.topos.ru>>

«<...> „Осударева дорога” — один из самых идеологических, идеологизированных романов во всей русской литературе». См. также: Алексей Варламов, «Клубок писателей» — «Топос», 2002, 9 декабря.

Юрий Васильев. Не фашист в законе. — «Московские новости», 2002, № 48 <<http://www.mn.ru>>

Говорит один из сопредседателей зарегистрированной Минюстом Национально-Державной партии России (НДПР) Борис Миронов: «<...> если у нынешней власти России свастика вызывает неприятие и запрет, то у тех, кто ей противостоит, свастика обязательно появится. Не потому, что она использовалась Гитлером, — а потому, что она не нравится тому, кто коренным народам России ненавистен более, чем Гитлер. Такого истребления, что несет русскому народу нынешняя власть, Гитлер не принес».

Редакционное предуведомление к интервью: «Высказывания лидера Национально-Державной партии России могут быть квалифицированы как призывы к национальной розни. „МН” готовы понести за это ответственность. Но только после того, как эту партию закроют и накажут Минюст за регистрацию нацистов».

«Везувий проснулся!» Беседовал Кристофер Кемп. Перевела Ирина Калкина. — «Книжное обозрение», 2002, № 47, 18 ноября.

«Народ обожают смотреть на две вещи — на то, как люди трахаются, и на то, как людей убивают. (Смеется.) Вот что действительно захватывает. Да и видим мы это не

часто», — говорит Курт Воннегут в интервью журналу «Salon». Перепечатывается к 80-летию писателя.

Анри Волохонский. «Понятие „теория перевода“ существует как измышленная конструкция окрестных бездельников». Беседу вела Елена Калашникова. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«[Джойсовы] „Поминки по Финнегану“ оказались не по зубам отечественной школе перевода потому, что зубов у нее нету».

Дмитрий Галковский. Сказки Друга Утят. Истории, специально сочиненные им самим для детей и взрослых. — «НГ Ex libris», 2002, № 40, 41, 42, 43, 44, 45.

«Хочувсезнайкин и фиолетовый червячок», «Гордый утенок» и др.

См.: **Дмитрий Галковский**, «Друг Утят» — «Новый мир», 2002, № 8. О «Друге Утят» и о сетевой игре «Гэлекси плюс» см.: «WWW-обозрение Владимира Губайловского» — «Новый мир», 2002, № 11.

См. также сайт, посвященный творчеству Галковского: <http://www.galkovsky.ru> Не следует путать его с официальным сайтом самого Галковского: <http://www.samisdat.ru>

См. также: **Алексей Олегов**, «Куда ни кинь — всюду клин» — «День литературы», 2002, № 10, октябрь; об одном из *святочных рассказов* Галковского. Среди прочего: «Хочется надеяться, Галковский пообреет и всех нас не так еще удивит и порадует. И может быть, (а вдруг!) осуществит гоголевский проект — напишет провидческий роман, в котором даст полную Русскую Правду».

Алексей Герман. Мы потихоньку фашизем. Записала Арина Яковлева. — «Новая газета», 2002, № 87, 25 ноября.

«Интеллигенты, миленькие мои, давайте уже пойдем, что мы делаемся расистами...»

См. также: **Александр Архангельский.** Фашизм крепчал. — «Известия», 2002, № 220, 3 декабря <<http://www.izvestia.ru>>; «<...> главная угроза — не в ощерившихся маргиналах, не в зажавшихся фанатах, не в обнаглевших партийцах. И даже не в скучных чекистах. Она — в том самом благонамеренном, обычном, внешне мирном, спокойном, работающем и обыденном слое, который в нормальном обществе служит опорой буржуазной стабильности, а в нашем, больном и усталом, вполне может стать закваской ядовитого теста».

Ср.: **Артем Рондарев**, «Наших бьют. Интеллигенция — тоже банда» — «GlobalRus.ru», 2002, 6 декабря; *резкая полемика с Архангельским*. Poleмику вокруг этой полемики см.: «Грозит ли России фашизм?» — «GlobalRus.ru», 2002, 15 декабря <<http://www.globalrus.ru>>

Нина Горланова (Пермь). От чего я могу заплакать. — «Московские новости», 2002, № 48.

«Когда муж уходил к другой, я рыдала всем телом, буквально — дрожали даже ноги. И при этом я все равно писала письмо подруге, потом — рассказ об этом».

В. Н. Грищенко (г. Канев, Черкасская область). Вегетарианство как природоохранная концепция. — «Гуманитарный экологический журнал», Киев, 2002, том 4, выпуск 1.

«Лучший способ избавить окружающий мир от проблем, связанных со своим существованием, — не жить».

Владимир Губайловский. Запретить языку структурироваться! — «Русский Журнал», 2002, 10 ноября <<http://www.russ.ru/krug>>

«<...> язык сам по себе структуриен — в нем есть множество потенциальных форм — метафор, созвучий, согласий. И [Кириллу] Медведеву [в книге «Все плохо»] приходится совершать довольно прихотливые ходы и выполнять неожиданные построения, чтобы структура не смогла зародиться. <...> Медведев так поворачивает язык, что язык разрушается как бы сам по себе. Это, видимо, тот поворот и наклон, при котором язык падает под собственной тяжестью. Иногда с настоящим грохотом».

См. также: **Татьяна Сотникова**, «Брюссельское кружево поэта Медведева». — «Русский Журнал», 2002, 10 ноября <<http://www.russ.ru/krug>>

См. стихи Кирилла Медведева: <http://www.vavilon.ru/texts/medvedev1.html>

В. Гушин (Санкт-Петербург, «Зеленый Союз»). Экологические экстремистские формирования. — «Гуманитарный экологический журнал», Киев, 2002, том 4, выпуск 1.

«<...> в то же время для российских „зеленых“ по-прежнему остается неприемлем экологический терроризм». Здесь же: **Дейв Формэн**, «Основные принципы тактики экотаж»; *екотаж* — это экологический саботаж.

Олег Давыдов. Генерал Буратино. Модель соцреализма в отсутствие светлого будущего. — «Новая модель», 2002, № 3, 5 ноября <<http://www.new-model.ru>>

«Гениальный в потенции соцреалист, он [Сорокин] рожден был создать новые „Бруски“ <...>».

См. также: «<...> глумление над Сорокиным — это привычное для советской жизни хамство шариковых, которое сейчас активно возрождается, чтобы не исчез навык», — пишет **Михаил Золотоносов** («Дрова издательской топки» — «Московские новости», 2002, № 47 <<http://www.mn.ru>>).

См. также: «<...> вряд ли Сорокин способен повлиять на язык больше, чем, скажем, „Московский комсомолец“...» — считают **Ирина Левонтина** и **Елена Шмелева** («Играть по-русски» — «Русский Журнал», 2002, 11 декабря <http://www.russ.ru/ist_sovr>).

Олег Дарк. Сжимаемая Фаусты. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Когда читаешь „Фауста“ Пастернака, будто слышишь, переводчик говорит: ну я вам сейчас наперевожу. У меня нет других объяснений его небрежностей и несообразностей, кроме „злого отношения“. Пастернак — большой мастер, и многие его переводческие нелепости не связаны с „техническими трудностями“...» Далее — разбор «нелепостей».

См. также: «Пастернаковский перевод „Фауста“ для меня <...> — не плохой, а антигёттевский. И — с этой точки зрения „перевод“ этот (буквально пере-вод) хороший: в смысле — почти удавшийся. Он взрывает пьесу Гёте изнутри, уничтожает ее, а вместо нее предлагает другую», — продолжает **Олег Дарк**. («Сладострастники, или Офелия обесчещенная и утопленная» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>).

Олег Дарк. В бой идет один подросток. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Лимонов — русский Киплинг или Вальтер Скотт. Пошло, но правда. Его хорошо читать перед дуэлью, как Печорин „Пуритан“...»

«Книги Лимонова имеют педагогическое значение...»

«Да зачем Лимонову „писать хорошо“?..»

Ср.: «Лимонов решает проблему, подстегивая свою биографию и находя все более молодых *girl-friends*. Кто-то пытается решить проблему, читая Лимонова», — пишет **Александр Уланов** («Блудный подданный автомата» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>). Он же: «Популярность Лимонова связана с общим ростом популярности культа силы и власти, со стремлением к жизненной энергии любой ценой, к упрощению культуры до уровня крыс и тараканов, которым никакая радиация не страшна».

См. также: **Петр Павлов**, «ЖЗЛимонова, или Полная книга воды». — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

См. также: **Алла Латынина**, «Андрей Белый и бэтээр» — «Время MN», 2002, № 214, 27 ноября <<http://www.vremyamn.ru>>

Вячеслав Дёгтев. Куприн. Речь на Купринских днях литературы. — «День литературы», 2002, № 11, ноябрь.

«Всю жизнь, сколько себя помню, меня сравнивают с Куприным...»

Михаил Делягин. Мир 2010 — 2020-х годов: некоторые базовые тенденции и требования к России. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 297, 10 ноября <<http://www.lebed.com>>

«Ключевой проблемой современного человечества является его нарастающее разделение, имеющее многоуровневый характер, идущее одновременно по целому ряду признаков». Автор — директор Института проблем глобализации. Статья датирована февралем 2002 года.

Роальд Добровенский. Арцмагнус. Нерифмованная хроника. Роман. — «День и ночь», Красноярск, 2002, № 5-6, июнь — сентябрь.

«Не без смущения приступаю я к рассказу о любви, славе и крушении Христиана II, короля Дании, Норвегии и Швеции, а затем только Дании и Норвегии <...>».

Александр Долгин. Прагматика культуры. — «Логос», 2002, № 2 (33).

«Цены [на рынке культуры] не просто отражают фундаментальные факторы, а сами становятся их частью, определяя предпочтения».

Владимир Емельянов. Латинский гуманист из недр Аида. О «Записях и выписках» М. Л. Гаспарова. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 291, 29 сентября <<http://www.lebed.com>>

«Метафизика Гаспарова совсем не туманна и легко излагаема — как устно, так и письменно. Онтология состоит из следующих аспектов: а) Бога нет; <...>. Теперь антропология: а) человека как такового нет; <...>. Потом аксиология: а) высшей цели как таковой нет;

<...>. Этика: а) каждый человек одинок, непрозрачен и плохо понимаем другими людьми; <...>. Наконец, эстетика: а) красоты нет — она придумана вкусом; <...>. Кажется, все». И тут же — следом: «Атеист ли Гаспаров? Это сложнейшая проблема <...>».

Игорь Ефимов. Несовместимые миры: Достоевский и Толстой. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 297, 10 ноября <<http://www.lebed.com>>

«Достоевский не воевал, а Толстой не сидел...» Эту же статью см.: «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 11 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

Юрий Ефремов. Темная сторона материи. — «Независимая газета», 2002, № 242, 13 ноября.

«Трудно поверить, что о <...> 65 — 70 процентах массы (лучше, впрочем, говорить о „плотности энергии“) Вселенной нам неизвестно ничего, кроме ее парадоксального свойства — отрицательного давления, которое действует как антигравитация и вызывает ускоренное расширение Вселенной». Автор — профессор, главный научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга при МГУ.

Сергей Завьялов. Переводы с русского и другие стихотворения. — «TextOnly», 2002, № 10 <<http://www.vavilon.ru/textonly/issue10>>

*После сердечного приступа;
страх смерти на время отступает.*

поток времени медленный и неостановимый
размывает меня
и вместе со мною в нем растворяется
память о языке моего народа его богач его героях

каков будет этот остаток при впадении в океан вечности?
записи приезжих фольклористов
истлевающие в библиотеках книги
пентатонный звукоряд разрывающих душу песен?

Узнаете? См. об этом у **Владимира Губайлового** («Правое выравнивание» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>): «Державинское стихотворение трактуется Завьяловым совсем свободно, хотя оно и угадывается за строчками, поэт думает о другом. Он думает не только о вечности и времени вообще, как Державин, но и о растворении мордовского языка и ассимиляции народа мордвинцов — потерях, чутко и близко переживаемых поэтом. <...> Время, впадающее в вечность, оказывается неожиданно конкретным и осязаемым — вплоть до „пентатонного звукоряда“, характерного для распевов поволжских народов. Поэт присутствует при исчезновении языка и народа, и это его язык и его народ. Редкий опыт».

Михаил Золотоносов. Допрос с пристрастием. — «Московские новости», 2002, № 41.

«Хотя в книге [Джошуа Рубинштейна „Верность сердцу и верность судьбе“] приведены и факты личной жизни Эренбурга и указано, например, что единственную дочь Ирину он имел от Екатерины Отговны Шмидт, что женой его всю жизнь была Любовь Михайловна Козинцева, что „он не был моногамен“, что любовницами его были Ядвига Соммер, Вера Вишняк, Дениз Лекаж и Лизлотта Мэр, все же главная цель Рубинштейна — на примере Эренбурга описать и проанализировать модель взаимодействия российского (советского) интеллигента с властью».

Михаил Золотоносов. Старый враг лучше новых двух. — «Московские новости», 2002, № 43.

«<...> антисемитизм понимается [у нас зачастую] как компонент философского/идеологического плюрализма, симметричный отмене цензурных запретов на сообщения в СМИ о евреях, иудаизме, Израиле, сионизме, хасидах и тому подобном. Логика такая: если можно пропагандировать все еврейское, то в рамках плюралистической парадигмы надо иметь возможность вести и антисемитскую пропаганду...»

Игорь Золотусский. Интеллигенция: смена вех. — «Нева», 2002, № 10.

Разные эссе. «Помню, как в 1987 году я читал лекцию в Бостоне и студентки — все сплошь феминистки, — когда я заговорил о первенстве мужчины в семье, стали стучать ногами об пол, но к концу не только смирились, но и бросились обнимать меня».

«И откуда знать, почему нам так тоскливо в ноябре?» Двадцать лет назад, 29 ноября 1982 года, ушел из жизни писатель Юрий Казаков. Беседу вел Анатолий Стародубец. — «Труд-7», 2002, № 214, 28 ноября <<http://www.trud.ru>>

Говорит вдова Юрия Казакова — Тамара Михайловна: «Музыка не стала его профессией, но ведь он не перестал быть музыкантом. <...> У него был абсолютный слух в том, что называют музыкой слова».

Семен Ивенский. Записки созерцателя. Предисловие и подготовка рукописи к публикации Игоря Губермана. — «Иерусалимский журнал». Журнал современной израильской литературы на русском языке. Выходит ежеквартально. Иерусалим, 2002, № 12.

«Как-то из интереса спросил его [художника Николая Ромадина]: „Н. М., вы не раз нахваливали Левитана. В то же время чувствуется ваша настороженность к евреям. Как это у вас совмещается?“ Он: „Да, это так. Хороший еврей — лучше русского, плохой — хуже“». Искусствовед и художник Семен Ивенский в 1953 — 1973 годах был директором картинной галереи в Вологде, в 1974 — 1979 годах — замдиректора картинной галереи в Тюмени, сейчас живет в кибуце на севере Израиля.

Из переписки старых друзей. — «Складчина». Литературная газета. Омск, 2002, № 4, октябрь.

2002, сентябрь. *Из Петербурга в Омск: «А литература упала в цене почти до нуля. Почему? Не то чтоб так уж мучает меня этот вопрос, но иногда является он мне даже под утро, когда просыпаешься без желания жить и шевелиться, и тогда думается мне, что и тут не обошлось без какого-то страшного и стыдного греха нашего поколения, о котором мы еще и не догадываемся...»* (Владимир Кавторин). *Из Омска в Петербург: «„Страшного и стыдного греха нашего поколения“, как ты говоришь, я думаю, нет»* (Геннадий Гаврилов).

Владимир Каганский. Невменяемое пространство. — «Отечественные записки», 2002, № 6.

«Россия принимается как империя „по умолчанию“ и не вычленена из своей имперской скорлупы. *Не произведено растождествление страны России и России=империи.* Ругать империю образованная публика готова, но представить Россию не империей — не осмеливается».

См. также: Александр Ахиезер, «Российское пространство как предмет осмысления» — «Отечественные записки», 2002, № 6. «Пространство в России» — тема этого — весьма объемного (584 стр.) — номера «Отечественных записок».

Андрей Камакин. Сценарии будущего. — «Итоги», 2002, № 48.

Говорит футуролог Игорь Бестужев-Лада: «<...> 11 сентября 2001-го — начало второго ее [Четвертой мировой войны] этапа. Ну а причиной этой войны является вырождение цивилизованного мира. <...> Одна из моих работ называется „Неопуританство как единственный путь спасения гибнущего человечества“. <...> Что такое пуританство? Во-первых, культ труда — труд как самоцель, как молитва Богу. Во-вторых — культ семьи».

Е. И. Карпенко (Харьков). Сущность и тенденции современного экофеминизма. — «Гуманитарный экологический журнал», Киев, 2002, том 4, выпуск 1.

«<...> основывается на утверждении, что потребительское отношение к природе и притеснение женщин тесно взаимосвязаны».

Марина Кацева. К истории одной встречи. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 293, 13 октября <<http://www.lebed.com>>

«Приступая к описанию единственной на сегодня достоверно известной встречи Цветаевой и Прокофьева...»

Владимир Киришин. Очерки частной жизни пермяков. — «Уральская новь». Литературно-художественный журнал. Челябинск, 2002, № 13 <<http://magazines.russ.ru/urnov>>

«Позже, году в 60-м, я увидел настоящего стилисту. Здесь, в Перми, — я чуть с велика не упал. Около Дома офицеров стоял старикан лет 30-ти, одет как на картинке: брюки дудочкой, ботинки „на манной каше“, пиджак с плечами, галстук с обезьяной, кок на темени — ну все. <...> И лицо-то у него на самом деле было человечье, и вел себя он разумно, не дергался, и в одежде его было некое правило (как позже выяснилось — стиль)...»

«Девушки красились самодельной тушью. Крошили в железную баночку черный карандаш „Живопись“, строгали туда же мыло и плавил все это на газе при помешивании смеси и рассудка. Когда жижа застывала, резали ее на дольки и укладывали в „фирменную“ коробочку <...>».

«<...> кофе молотый был с цикорием — говорили: из него КГБ выпаривает кофеин». И так далее — *не оторваться!*

Нина Коваленко. Анис. Рукопись, найденная в Верхнем заливе, или Белая лосадь. Повесть. — «День и ночь», Красноярск, 2002, № 5-6, июнь — сентябрь.

«<...> как только закрою глаза в зловещей ночи Нью-Йорка <...>».

«<...> в Нью-Йорке, с его чужими окнами <...>».

«У Ивана Пришвина (? — А. В.) есть очерк-рассказ <...>».

Надежда Кожевникова. Он в отсутствие вкуса и культуры. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 299, 24 ноября <<http://www.lebed.com>> Радзинский.

Рэндалл Коллинз, Сэл Рестиво. Пираты и политики в математике. Перевод с английского Ильи Куна под редакцией Никиты Соколова. — «Отечественные записки», 2002, № 7.

«<...> деятельность ученых (и соотносимых с ними других типов интеллектуалов), направленная на стяжание богатства и славы, а также на получение возможности контролировать поток идей и навязывать свои собственные идеи другим».

Симон Кордонский. Кризисы науки и научная мифология. — «Отечественные записки», 2002, № 7.

«Мировая наука тоже не процветает <...>».

Василий Костырко. Пианино-«зубоскал». [Маина Чередникова. «Голос детства из дальней дали...» Игра, магия, миф в детской культуре. М., «Лабиринт», 2002. Серия «Разыскания в области филологии, истории и традиционной культуры. Школа В. Я. Проппа»]. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

«[Маине] Чередниковой, безусловно, удалось доказать, что городская квартира, лифт, магазин и рейсовый автобус обладают не меньшим „мифогенным“ потенциалом, нежели пустующий овин или заброшенная мельница в глухой вологодской деревне».

Сергей Костырко. О прозе и поэзии весеннего «Улова-2002» («WWW-обозрение С. К.»). — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Как таковой ее [„сетевой литературы“] уже нет. <...> Первое появление текста в качестве сетевой публикации — это стартовая ситуация, а никак не эстетическая, поколенческая, тематическая или еще какая-то характеристика текста».

Ольга Кучкина. Голос золы. Роман. — «Нева», Санкт-Петербург, 2002, № 10.

Подробная *посмертная* исповедь океанолога-самоубийцы. Мораль: нас губят водка и женщины.

Ирина Левонтина, Елена Шмелева. Играть по-русски. — «Русский Журнал», 2002, 11 декабря <http://www.russ.ru/ist_sovr>

«Недавно была передача „Версты“, посвященная проблемам языка. В частности, там показывали сюжет о школьниках, которые пересказывали „Евгения Онегина“ на своем жаргоне. Вывод был авторам ясен: культура гибнет. Между тем как раз то, что человек может пересказать произведение своими словами, означает, что он понимает, о чем там речь, и что это произведение для него живое (например, „Недоросля“ дети так пересказать не могли)».

Инна Лиснянская. Стихотворения. Из новой книги «В пригороде Содома» (2001 — 2002). — «Вестник Европы». Журнал европейской культуры. 2002, № 5 <<http://magazines.russ.ru/vestnik>>

«Завтрашний день от меня, рассуждая практично, / Как ни прикинь на сегодняшний, как ни надень, / Даже гораздо дальше, чем день античный, / Старозаветный и вавилонский день...»

См. также: **Инна Лиснянская**, «В пригороде Содома» — «Новый мир», 2002, № 1; «За ближним забором» — «Знамя», 2002, № 9 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>; «День последнего жасмина» — «Новый мир», 2003, № 1.

См. также: **Инна Лиснянская**, «В пригороде Содома» — М., «О.Г.И.», 2002, 112 стр.

Джон Лукач (*The Chronicle of Higher Education*). Американские интеллектуалы как вымирающий вид. Перевод Ольги Юрченко. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr/other_lang>

«Как бы то ни было, английское прилагательное *intellectual* не совсем совпадает по значению с *rational* (разумный, рассудительный) и *educated* (образованный), и точно так же существительное *Intellectual* всегда обозначало нечто другое, нежели просто „образованный человек“...»

Руслана Ляшева. В споре рождаются бесспорные истины. Или нет? — «Литературная Россия», 2002, № 48, 29 ноября <<http://www.litrossia.ru>>

«Илья Кукулин и Капитолина Кокшенёва олицетворяют две головы единой литературной критики, обращенные, как у орла на российском гербе, на Запад и на Восток...»

Е. Маруева, И. Новожилова (Москва). Коррида — кровавый спорт трусливых людей. — «Гуманитарный экологический журнал», Киев, 2002, том 4, выпуск 1.

«Во многих случаях рога быка спиливают, делая их короче; это мешает быку правильно оценивать расстояние. Операция эта, проводимая без анестезии, очень болез-

ненная, так как рога животного полны нервных окончаний. Перед состязанием быков какое-то время держат в темном помещении, и затем, выпущенные на освещенную арену, они плохо ориентируются. Иногда с целью ослабить зрение быку просто мажут глаза вазелином. Целые сутки перед боем быку не дают воды с тем, чтобы непосредственно перед выпуском на арену напоить его вдоволь. Такое животное с трудом передвигается и легко утомляется. А иногда быкам и просто надрезают сухожилия конечностей! Нередко используется такой трюк: чтобы разозлить быка перед боем, ему перевязывают семенники, что вызывает невыносимую боль и ярость животного. Иногда перед боем быку наносят удар кинжалом в область шеи, из-за которого бык не может осуществлять повороты головы. <...> Многие быки, используемые на аренах, настолько поражены болезнями, что были бы забракованы, если бы их забрали на обычную бойню. Они едва могли стоять на ногах, когда выходили на бой. <...> В одном печальном памятном бою бык был пронзен 34 раза, прежде чем умер! Смерть наступает в результате внутреннего кровотечения, которое может длиться 6 минут, прежде чем бык умрет, захлебываясь собственной кровью. После окончания боя многие матадоры в качестве памятного трофея отрезают у поверженного, но еще живого быка уши!»

Р. Морено-Дуран [*La Jornada Semanal.com*, Испания]. Владимир Набоков: разящая страсть прекрасных нимфеток. Перевод Анны Гонсалес. — «inoСМИ.Ru», 2002, 10 ноября <<http://www.inosmi.ru>>

«В своих произведениях, как в трактате по энтомологии, Набоков словно бы желает дать точнейшее научное описание обнаруженного им нового вида бабочки: он отмечает разновидности, классифицирует происхождение видов, занимается вивисекцией, анализирует морфологию и повадки неких живых существ, которые есть не что иное, как прелестные девочки <...>».

См. также: **Николай Наседкин**, «„Литературная ложь“». Поправки к лекции В. Набокова „Федор Достоевский“ — «День литературы», 2002, № 11 <<http://www.zavtra.ru>>

Евгений Мороз. Вокруг Солженицына. «Двести лет вместе» глазами очевидцев. — «Народ Книги в мире книг». Еврейское книжное обозрение. Санкт-Петербург, 2002, № 41, октябрь.

«<...> я не считаю, что Солженицын испытывает какую-либо неприязнь к евреям. Обзор многочисленных откликов на первый том известного исследования.

Михаил Мостов. [Стихотворение]. — «Лимонка». Газета прямого действия. 2002, № 209, ноябрь.

Рубрика «Стихи в „Лимонке“». «Читаю молча Лимонова, / Убиваю тупую бессоницу / И думаю: было бы здорово / В Нью-Йорк ввести / красную конницу...»

Андрей Немзер. Кому это надо? — «Время новостей», 2002, № 205, 5 ноября <<http://www.vremya.ru>>

«В сущности, то, что мы живем до сих пор без репрезентативного издания Фета, — национальный позор».

Андрей Немзер. «Безответственные решения плохи в любой премии». Беседа вела Юлия Рахаева. — «Известия», 2002, № 206, 13 ноября.

Говорит **Андрей Немзер**, в данном случае — *председатель жюри премии имени Аполона Григорьева, учрежденной Академией Русской Современной Словесности (АРС'С) и Росбанком*: «<...> не все можно свести к критериям: профессионально — не профессионально, умно — не умно. Бывают невероятности. Самое интересное, когда привык с кем-то мыслить в одном русле, десять книг подряд вы оцениваете одинаково, а на одиннадцатой вцепляетесь друг другу в горло. Человек сложно организован. Литературный критик — в том числе».

См. также беседу **Андрея Немзера** с Андреем Мирошкиным «Критика — не роскошь и не заумь» («Книжное обозрение», 2002, № 48, 25 ноября).

Неопубликованная речь товарища Сталина. Вступление и публикация Леонида Максименкова. — «Новая модель», 2002, № 3, 5 ноября <<http://www.new-model.ru>>

Застенографированная речь Сталина на встрече с писателями-коммунистами 20 октября 1932 года — за несколько дней до знаменитой встречи с писателями в доме Горького. Текст публикуется по машинописной копии (РГАСПИ, ф. 558, оп. 11).

См. здесь же: **Сергей Земляной**, «Алаверды Иосифа Сталина. Рождение социалистического реализма из духа застолья». Слова Сталина на знаменитой встрече с писателями 26 октября 1932 года — в записи К. Зелинского: «И хорошо, если он [поэт] будет диалектиком-материалистом. Но я хочу сказать, что, может быть, ему не захочется тогда стихи писать. Я шучу, конечно».

См. здесь же: **Сергей Земляной**, «Коммунистическое проектирование. Контекст рождения соцреализма».

Виктор Перельман. ИТ и жизнь. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Русская классическая литература составлена господами, жившими за чужой счет и одобрявшими торговлю людьми; готовыми убить и убивавшими за оскорбление словом. <...> Будь современные писатели так жестоки, никто бы уже не „ходил вместе“».

«Особая статья — „Достоевский, православный истово верующий христианин...“. Его умственные труды, как известно, стали одной из основ для фашистской идеологии».

Ср.: «В идейном плане Достоевского причисляют к „почвенникам“. Это все равно что астронавта причислить к кучерам», — пишет Александр Панарин («Страхи властвующих как фактор стратегической нестабильности» — «Наш современник», 2002, № 9).

Виктор Перельман. Среда «Авторника». — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

Издается над Андреем Геласимовым и Дмитрием Кузьминым. См. еще два мнения о прозе Геласимова: «Новый мир», 2003, № 1.

Никита Петров, Ольга Эдельман. «Шпионаж» и «насильственная смерть» И. А. Ефремова. — «Логос», 2002, № 2 (33).

«Умер Ефремов 5 октября 1972 года, а через месяц, 4 ноября, в его доме произвели многочасовой повальный обыск, а на какой предмет — неизвестно».

«На прямой же вопрос, в чем обвиняется писатель, сотрудник КГБ прямо ответил: „Ни в чем, он уже покойник“...»

«Уже вскоре после обыска по Москве пошли поразительные слухи: что Ефремов — не Ефремов, а английский разведчик, на которого его подменили в Монголии во время экспедиции». А то и инопланетянин.

Лев Пирогов. Смотрите под ноги. — «Новая модель», 2002, № 4, 18 ноября <<http://www.new-model.ru>>

«<...> эффективность прямой рекламы ничтожна: наткаясь на рекламный блок, переключатель каналов — переключает каналы. Однако тратиться на рекламу „положено“, и заказчики несут рекламщикам деньги, как жрецам — жертву. Главное — соблюсти ритуал. Если ритуал соблюден, охота будет удачной».

Евгений Попов. Старик и скважина. Рассказ на производственную тему. — «Вестник Европы». Журнал европейской культуры. 2002, № 5.

«Кто Хемингуэя, а особенно Фрейда читал или просто любит, то не подумайте чего плохого. Старик, он и есть старик, 56 лет старик Гдов, мой старый персонаж, а скважина, она и есть скважина, мелкая буровая скважина „на воду“, расположенная на дачном участке Глова, что по „рижскому направлению“ к северу, северо-западу от города Москвы».

Ирина Пуля. Плюс ёфикация всей страны. Самой русской букве Ё исполнилось 219 лет. — «Труд», 2002, № 223, 11 декабря.

Говорит историк **Виктор Чумаков:** «Благодаря отсутствию Ё фамилию русского дворянина Лёвина из „Анны Карениной“ (от Лёвы — Лев) чуть ли не каждый школьник произносит как Левин (от леви — еврейский раввинский род). Даже от филологов мне приходилось слышать неправильное произношение этой фамилии».

Он же: «Многие источники называют создателем Ё Николая Михайловича Карамзина. На самом деле он был первым, кто стал печатать с этой буквой тексты. Впервые она появилась в 1795 году в книге Ивана Ивановича Дмитриева „И мои безделки“, а руководил изданием Карамзин. Но рождение Ё состоялось почти на двенадцать лет раньше. 29 ноября 1783 года в доме директора Петербургской академии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой проходило одно из первых заседаний Российской Академии...»

Станислав Рассадин. Заложники, или Путешествие в ад и обратно. — «Новая газета», 2002, № 88, 28 ноября.

«<...> но еще и гордыня, в чем Пастернака как показательного эгоцентрика упрекали всю жизнь, правда, не приметив гордыни именно в этих стихах. Ведь строки о Сталине не зря начинались союзом „а“, вернее, им продолжались, — до того поэт говорил о поэте, о себе; завершалось же стихотворение попыткой соединить две разнополюсные фигуры. Вождя и — художника, который, как бы сам ни был „бесконечно мал“ (унижение паче гордости), „верит в знанье друг о друге / Предельно крайних двух начал“. Очень скоро Сталин даст понять Пастернаку, сколь необоснованна его надежда образовать „двухголосную фугу“».

Евгений Рейн. Стихи из новой книги. — «Toronto Slavic Quarterly», 2002, № 2 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/tsq.html>>

«Мне всегда представлялось, что муза памяти посещает Евгения Рейна часто и к взаимному удовольствию» (из послесловия **Вадима Перельмутера**).

См. также беседу **Евгения Рейна** с Татьяной Бек «Вся жизнь и еще „уан бук“» — «Вопросы литературы», 2002, № 5 <<http://magazines.russ.ru/voplit>>

См. также: **Татьяна Бек**, «Центральный защитник. Штрихи к портрету Евгения Рейна» — «Литература», 2002, № 42, 8 — 15 ноября <<http://www.1september.ru>>

Михаил Ремизов. Санитары этногенеза. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Просветительная проповедь этнического безразличия („терпимости“) способна лишь усугубить апатию там, где она уже имеет место, но никак не охладить „национальные воображения“ там, где они действительно разогреты и где границы „своего“ и „чужого“ обладают мощью жизненной очевидности».

Михаил Ремизов. Наследие поражения. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> мы с непреложностью знаем о себе, что являемся детьми побежденных. В этом заключен великий оптимизм, и не надо оскорблять его болтовней о том, что „проигравших нет“, сколь бы ни была она утешительна для самих проигравших. <...> Мы не позволим отнять у нас это поражение! <...> В каждой новой войне „слабое поколение сыновей былых победителей воюет с мощным поколением сыновей тех, кто потерпел поражение“. С нетерпением ждем перехода игры в следующий раунд!»

Михаил Ремизов. Быть ястребами. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> тенденция воспринимать „терроризм“ как особенную субстанцию, как самостоятельную демоническую сущность „нового опасного мира“ (разве когда-нибудь он был безопасным?), которая объясняет все его проблемы не хуже, чем „флогистон“ объясняет горение костра, — налицо. И чем больше закрепляется эта тенденция восприятия, тем в большей мере война превращается из *социального отношения* — то есть из отношения между группами людей, преследующих взаимно соотнесенные цели, — в отношение *магическое*».

«Мыслить свою ситуацию в категориях „войны с террором“ (то есть этимологически с „ужасом“, который всегда — лишь твой собственный) — значит эталонно воспроизводить себя *в качестве жертвы*. Плохо защищенной или хорошо защищенной — жертвы».

Джон Ренни. Креационисты против эволюции: 15 аргументов и 15 фактов. — «В мире науки (*Scientific American*)». Ежемесячный научно-популярный журнал. Главный редактор С. П. Капица. 2002, ноябрь <<http://www.sciam.com>>

Эволюционист против креационизма.

Александр Ромм. Стихи 1927 — 1928 гг. Публикация и вступительная статья Михаила Гаспарова. — «*Toronto Slavic Quarterly*», 2002, № 2 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/tsq.html>>

Александр Ильич Ромм (1898 — 1943) был поэтом — автором стихотворных книг «Ночной смотр» (М., 1927) и «Дорога в Бикзян» (Уфа, 1939). Был переводчиком — «Госпожи Бовари», романов Золя, стихов А. Гидаша и проч. Был филологом — активным сотрудником Московского лингвистического кружка. Стихотворения публикуются по архиву А. И. Ромма (РГАЛИ, ф. 1495, оп. 1, ед. хр. 34).

Бенедикт Сарнов. Бедный лен. — «Литература», 2002, № 45, 1 — 7 декабря <<http://www.1september.ru>>

Шкловский.

Игорь Свиначенко. Джип, который нельзя угнать. Всякий раз он сам уйдет со стоянки. Виктору Пелевину — 40 лет. — «Известия», 2002, № 213, 22 ноября.

«В Пелевине, безусловно, есть нечто бандитское <...>».

«<...> следует холить и лелеять».

См. также: **Ирина Каспэ**, «Бей, барабан. Виктору Пелевину исполнилось [сорок лет]» — «НГ Ex libris», 2002, № 43, 5 декабря <<http://exlibris.ng.ru>>; «<...> Пелевин не стал вливаться в мейнстрим, он его в три глотка выпил».

Рафаэль Соколовский. Вырвавшийся из стаи. 25 лет назад умер поэт Николай Шатров. Об охоте на волков он написал раньше Владимира Высоцкого. — «Новое время», 2002, № 2973 <<http://www.newtimes.ru>>

«Николай Шатров умер своей смертью — и это для меня загадка».

Цитаты:

Тигры кашляли, но прыгали сквозь обруч,
Укротитель шелкал бичом.
Я смотрел на этот жуткий всеобуч,
Тоже тщательно обучён...

Или:

Ах, страна моя хорошая,
Всех соседних стран сильней.
Да одна беда — задешево
Продаются люди в ней...

Александр Сокуров. «Я нахожусь во враждебной среде». Беседу вела Юлия Кантор. — «Газета», 2002, 4 декабря <<http://www.gzt.ru>>

«Русскому художественному автору и в Европе, и в Америке особенно тяжело. Я это каждый раз чувствую. Это более серьезная конфронтация, нежели в политике и экономике. Именно культурой мы можем совершенно равноценно участвовать в жизни мирового сообщества, и это далеко не всегда импонирует моим западным коллегам, заинтересованным в сохранении колючего забора вокруг русской культуры».

Владислав Софронов-Антони. «Правовое бессознательное». Русская правовая картина мира. — «Логос», 2002, № 1 (32).

«В порядке гипотезы хочу предложить с этой точки зрения (через эту правовую картину мира) посмотреть на события 1993 года в Москве. Насколько я понимаю, начало конфликта было связано с тем, что председатель Верховного Суда РФ Зорькин начал настаивать на исполнении буквы закона <...>. И что же? Почти сразу закачалось все государственное здание и страна оказалась на пороге гражданской войны. Тогда в полном соответствии с древними традициями русского права конфликт был разрешен в „судебном поединке“, с оружием в руках».

Спайкер&Собака. *Neighbourhood Watch*. — «Лимонка». Газета прямого действия. 2002, № 209, ноябрь.

«<...> у русских просто есть душа. А у англичанина — нет. То есть таинственность русской души заключается в самом факте ее наличия».

Судьба бригадиров. Романтизация мафии — последний гвоздь в ее гроб. — «Известия», 2002, № 227, 16 декабря.

«Правой интеллигенции „Бригада“, конечно, не может понравиться, поскольку она подвергает сомнению и опасности их образ жизни. Вообще главная социальная роль этого сериала заключается в том, что девяностые рассматриваются в нем как закончившийся исторический период. Это, наверное, первая попытка взглянуть на девяностые как на некий блок событий и вещей, уже ушедших в прошлое», — говорит обозреватель журнала «Афиша» Михаил Брашинский в диалоге с киноведом Денисом Гореловым.

Олег Сулькин. Запрещенный Довлатов. — «Итоги», 2002, № 41, октябрь.

Вдова Сергея Довлатова подала в суд на издательство «Захаров», опубликовавшее переписку ее мужа с писателем и издателем Игорем Ефимовым. Этот последний так комментирует происходящее: «Согласно этой [английской и американской] практике копирайт сохраняется за отправителем. С этим я еще согласен. Но то, что копирайтом писем после смерти их автора распоряжаются наследники, мне кажется адвокатским излишеством. Письма должны становиться общественным достоянием после того, как их автор умирает, если только он не просил в завещании или каким-либо другим явным образом их не публиковать. <...> Если победит Елена Довлатова, это дело станет прецедентом для молодой российской юриспруденции, на который будут ссылаться в делах такого рода. Я против того, чтобы подобная практика перекочевала из Америки в Россию. Потому я, сам издатель, и не решился публиковать эту книгу в США, где так строго расписаны правила».

Говорит Елена Довлатова: «<...> письма, как и любые другие тексты, принадлежащие автору, защищены копирайтом — это следует из решений Гаагской конвенции по авторским правам. <...> Издатель [Игорь Захаров] это прекрасно знал, как знал и то, что наследники Довлатова против публикации переписки. <...> Кроме того, против публикации своих писем был и сам Довлатов, о чем он не раз говорил и мне, и своим друзьям».

«Мы сознательно нарушили закон: текст настолько замечательный, что отнимать его у русского читателя было бы несправедливо», — говорит Ирина Богат, директор издательства «Захаров».

См. также: «Читатель мне важнее, чем наследники авторских прав. Я этого не скрываю», — говорит издатель Игорь Захаров («Итоги», 2002, № 43, октябрь).

См. также: «Поскольку письма опубликованы без разрешения наследника, это издание нарушает закон об авторском праве. Здесь нет даже обстоятельств, которые могли бы как-то осложнить понимание сути дела», — считает юрист Владимир Бирюлин («Итоги», 2002, № 43, октябрь).

5 ноября один из московских судов вынес решение в пользу вдовы писателя Елены Довлатовой.

Игорь Таранов. Что случилось на Черной речке. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 289, 15 сентября.

«Дантес стоит, прикрываясь рукой. Пуля [из мощного *нарезного* дуэльного оружия *якобы*] попала в руку, под которой — пуговица. В этом случае пуговица и осколки костей руки должны были вылететь вместе с пулей с противоположной стороны! <...> Дантес же, как известно, остался жив и здоров. Вывод: *никакого ранения он не получил!* Но ведь говорят: после выстрела Пушкина француз упал? Ну и что? Однажды, в те же годы, князь Голицын тоже стрелялся с одним французом. Так тот упал в обморок от одного вида наведенного на него пистолета, даже не дождавшись выстрела. А не по той ли причине упал и Дантес — ведь, судя по его поведению на суде после дуэли или по тому, как он бросился извиняться, когда Пушкин вызвал его в первый раз (и даже женился на сестре Натальи Гончаровой), — храбрецом этот пассивный гомосексуалист не был...» Но Пушкин не промахнулся — он *стрелял мимо*, считает автор статьи, врач из Ростова-на-Дону.

Ср.: «Но если уж на то пошло, то подлинный герой и должен быть молчалив. [Жорж] Дантес, например. Это мой любимый герой во всей русской литературе, он ведь был вынужден молчать, хотя бы потому, что не знал русского. Не знаю, как по-французски, но по-русски он молчал, это точно. Иногда я даже всерьез думаю, что именно с Дантеса и началась русская литература, с его молчания. <...> У меня даже есть мечта когда-нибудь снять о нем фильм. Пусть бы он так и назывался — „Дантес“. Никакого насилия или порнухи, только легкие поцелуи, балы, в общем, самая обычная костюмная драма, даже мелодрама, не обязательно малобюджетная, с некоторым размахом, с деталями эпохи... А в остальном — самая обычная жизнь обывателя-аристократа. Вот это был бы абсолютный молчаливый и по-настоящему непере译водимый на другие языки фильм! Не сомневаюсь, что его бы почти сразу же запретили (кто?! — А. В.)», — пишет **Маруся Климова** («Моя история русской литературы» — «Митин журнал», 2002, № 60 <<http://www.mitin.com/mj60>>).

См. также: **Виктор Ерофеев**, «Реабилитация Дантеса» — «Огонек», 2002, № 37, сентябрь.

См. также: **Игорь Таранов**, «Промах майора Мартынова» — «Лебедь», Бостон, 2002, № 287, 1 сентября.

Александр Тарасов. Право народов на самоопределение как фундаментальный демократический принцип. — «*Left.ru/Левая Россия*», 2002, № 22 (72), 23 октября <<http://www.left.ru/2002/22>> [«*Left.ru*» издается на общественных началах группой социалистической интеллигенции].

«Геноцид, как показывает история, тоже позволяет „решить“ национальный вопрос — вспомним полное истребление испанцами коренного населения в Вест-Индии или гуанчей на Канарах (между прочим, антропологи полагают, что гуанчи были последними на планете остатком кроманьонцев, сохранившихся в условиях изоляции!). Даже и XX в. дал „успешный“ пример геноцида — полное истребление режимом Стресснера в Парагвае коренного народа аче-гуаяки (антропологи, кстати, воют от ужаса и в этом случае: есть серьезные основания полагать, что аче были доиндейским — немонголоидным — населением Америки!). <...> Итак, или самоопределение наций — или насильственная ассимиляция, сегрегация и геноцид».

Марк Тарловский. Из «Собрания стихов. 1921 — 1951». Предисловие и публикация Вадима Перельмутера. — «*Toronto Slavic Quarterly*», 2002, № 2 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/tsq.html>>

«Липкин рассказывал мне, как в 1922 году к только что переехавшему в Москву Георгию Шенгели постучался подростково-хрупкий двадцатилетний студент филфака МГУ. Он переступил порог со словами: „Бей, но выучи!“ Это был Марк Тарловский...» (из предисловия **В. Перельмутера**).

Роман Тименчик. Еще одно зеркало. — «*Toronto Slavic Quarterly*», 2002, № 2 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/tsq.html>>

Словесные и живописные портреты Ахматовой, их больше, чем кажется. Полная версия — в альманахе «Иерусалимский библиофил», Иерусалим, 2003, выпуск 2.

Товарищ У. Перестройка продолжается. — «*Left.ru/Левая Россия*», 2002, № 21 (71), 14 октября <<http://www.left.ru/2002/21>>

«Советского Союза больше нет, но в постсоветской среде воцарился и воспроизводит самого себя хам именно советский, не хам-буржуй, не хам-фашист, а именно советский, квазисоциалистический хам — при формально капиталистическом строе! Проблема более чем политическая — проблема экзистенциальная, антропологическая, если хотите».

Юрий Тюрин. Датская картина мира в призме русского восприятия. — «Логос», 2002, № 1 (32).

«На уровне бытового менталитета самоубийство в Дании не считается чем-то порочным или ужасным. Так, печальный факт. Никто не поднимает вопрос, что число самоубийств (основной поставщик этой статистики — подростки и молодежь) надо бы как-то сократить, что с ситуацией нужно бороться... А если уж поставить датчанам вопрос: „Как нужно окружающим и близким поступать с человеком, чтобы ему захотелось покончить с собой?“, то тут — откуда ни возьмись темперамент! — заболтают, заклюют, тотчас объявив вопрос провокацией. Вот где у датчан большое место, вот где черная дыра бессознательного, засасывающая незримо саму реальность мира... В Уголовном кодексе Дании отсутствует статья „Доведение до самоубийства“ — в отличие от УК России и многих других стран. Обычно датчане, легкие на язык, как итальянцы, всегда находят приятные душе объяснения любому событию и ответы на любой вопрос. Когда я говорю датчанам об этой разнице в наших Уголовных кодексах, они словно выпадают в транс. А могли бы сказать: „У нас в Дании никто никого не доводит до самоубийства!“ — или что-то подобное...»

Александр Уланов. Прогулки к источникам. — «Русский Журнал», 2002, 9 декабря <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

«В сказке о Красной Шапочке на девочке нет никакой красной шапочки (символа менструации, по Фромму), она не несет бабушке бутылки (символа девственности), а волку не зашивают в брюхо камни (символ наказания мужчины за нарушение сексуальных табу). Волк съедает девочку совершенно безнаказанно (*happy end* присоединила, похоже, еще до Гриммов Жанетта Хассенпflug). Так что психоаналитик исследовал не глубинные архетипы народной души, а лишь авторский вариант разукрашивания и приглаживания. В сказке-то есть и настоящий стриптиз со сжиганием каждой снятой одежды, и поедание девочкой бабушки, разрезанной на куски волком, да только психоаналитик до первоисточников не добирается, зачем, ему заранее все ясно». В связи с книгой: Роберт Дарнтон, «Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры» — М., «Новое литературное обозрение», 2002.

Умер Грант Матевосян. — «Известия», 2002, № 231, 20 декабря.

19 декабря, на 68-м году жизни. О нем вспоминает Андрей Битов.

Иван Уразов. И майские дни отцвели... Повесть. — «День и ночь», Красноярск, 2002, № 5-6, июнь — сентябрь.

1945-й, наши в Европе, весна, лето, осень. Продолжение повести «Юность моя фронтовая» (Красноярск, 1985).

Юрий Фельштинский. Убийство Н. П. Шмидта. Из цикла «Вожди в законе». — «День и ночь», Красноярск, 2002, № 5-6, июнь — сентябрь.

«Но поскольку антибогдановская направленность этого скучного [ленинского] тома [«Материализм и эмпириокритицизм», 1909] была вызвана не философскими расхождениями, а финансовой дрызгой, смысл написанного представляется нам в совсем ином свете».

Елена Филаретова. Неизвестная муза Владимира Набокова. Генезис «Лоли-ты». — «Нева», Санкт-Петербург, 2002, № 10.

Полина — Лолита. Лолита — Лилит.

Александр Филюшкин. Психопатическое уничтожение «Слова о полку...». (Рецензия на еще не изданную книгу Эдварда Кинана). — «Логос», 2002, № 2 (33).

Среди прочего: «История с приобретением „Слова...“ Мусиным-Пушкиным в самом деле темна и загадочна. Этому имеется очень простое объяснение: граф создал свое выдающееся рукописное собрание, если выразиться очень деликатно, незаконным путем. Если называть вещи своими именами, то с помощью использования служебного положения. На правах обер-прокурора Синода он отбирал понравившиеся книги у монастырских библиотек. Поэтому Мусин-Пушкин всегда крайне туманно говорил о происхождении своих находок (известно, что он лгал, откуда взялась рукопись, даже преподнося в дар будущему Александру I древнейший список Лаврентьевской летописи). Не мог же граф сказать открытым текстом, что этот шедевр он украл там-то и там-то!»

Фрэнсис Фукуяма (Policy). Началась ли история опять? Перевод Андрея Коноваленко. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Более десяти лет назад я утверждал, что мы достигли „конца истории“: не то что бы исторические события больше не происходят, но история, понимаемая как эволюция человеческих обществ через различные формы правления, достигла своей кульминации в современной либеральной демократии и рыночном капитализме. На мой

взгляд, эта гипотеза остается верной, несмотря на события 11 сентября <...>. Атаки 11 сентября — удар отчаяния <...>. См. эту же статью — «Огонек», 2002, № 48, декабрь <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

Ср.: <...> следует отделить конструируемую сегодня глобалистскую систему от демократической идеологии и даже от либерализма. <...> Если демократия подразумевает „власть демоса“, то есть прямое участие народных масс в своей судьбе и судьбе государства, то либерализм делает акцент на социальном индивидуализме и юридических правах отдельно взятого человека. Установление же в мире глобалистской системы будет означать неограниченное господство финансовой олигархии, игнорирующей как интересы большинства, так и индивидуальные права личности. <...> один из самых сильных идеологических аргументов против новых тиранов — это их измена прежней либеральной традиции», — пишет Алексей Лапшин («Внутри понятий» — «Завтра», 2002, № 45, 5 ноября).

См. также: Фрэнсис Фукуяма, «Почему мы должны беспокоиться» — «Отечественные записки», 2002, № 7; это фрагмент его новой книги «Наше постчеловеческое будущее», перевод с английского Григория Дашевского под редакцией Никиты Соколова.

См. также: Наталья Серова, «Фрэнсис Фукуяма: „конец истории“ или „конец времен“» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture>>; «<...> либо западная цивилизация победит, перестав быть собой, либо вообще перестанет быть».

Георгий Хазагеров. Что слышит слушающий. — «Отечественные записки», 2002, № 6.

Концептосфера русского языка. См. также: Георгий Хазагеров, «Персоносфера русской культуры» — «Новый мир», 2002, № 1.

Егор Холмогоров. «Новая война» — стратегический тайм-аут. — «Русский Журнал», 2002, 11 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>

«Идеологема „антитеррористической войны“ представляет собой чудовищный вызов военной теоретической мысли. Она вообще никак не укладывается в рамки нормальной военной теории, разрушая все ее уровни. <...> невозможно сформулировать критерий победы. То есть вообще эту войну невозможно нормально описать как войну».

«Международный терроризм как фантомный враг позволяет оперировать собою до тех пор, пока это будет нужно каждой из сторон: одним, возможно, до тех пор, пока Россия не будет „ослаблена“ достаточно, чтобы не представлять угрозы, даже в качестве крысы, загнанной в угол; другим — до тех пор, пока она не будет достаточно „усиlena“, для того чтобы позволить себе не играть дальше в эти игры».

См. также: «„Мировой терроризм“ — это не „реальность, которую мы должны осознать“, это категория восприятия, которая выстраивает под себя реальность», — пишет Михаил Ремизов («В поисках „языка войны“» — «Русский Журнал», 2002, 12 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>). Он же: «Как ни радикально это прозвучит, но единственная возможность „выйти победителем“ из „войны с мировым терроризмом“ заключается для России в том, чтобы просто *выйти* из нее, убив в себе Запад. Здесь мы снова возвращаемся к внутривнутриполитической повестке. Я полагаю, что на поставленный вопрос: „Возможна ли *правая* (то есть правоконсервативная, правонационалистическая) *оппозиция* существующему режиму?“ — следует ответить положительно. И внутреннее „преодоление Запада“ является наилучшей темой для нее на ближайшее десятилетие».

Владимир Христофоров. Анна Баркова: стиха надтреснутого крик. — «Литературная Россия», 2002, № 49, 6 декабря.

«Неумеренная восторженность Луначарского личностью юной провинциальной поэтессы, по сути дела, стала началом медленной и верной гибели Барковой, хотя само-разрушаться она начала еще раньше».

Гавриил Хромов. Российская академия наук: история, мифы и реальность. — «Отечественные записки», 2002, № 7.

«<...> в 1935 году в лице членов АН СССР в советском обществе была создана одна из многих номенклатурных прослоек, привязанная к тогдашней государственной власти если не душой, то телом. С тех давних пор изменилось, можно считать, все».

См. также: «<...> реальная наука и тот предмет, который выбирает себе для регулирования государство, подобны разбегающимся прямым», — говорит Михаил Сперанский в беседе с Модестом Колеровым («Наука без государства» — «Отечественные записки», 2002, № 7).

См. также: Наталья Керро, «О карьере ученого в эпоху перемен» — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 11.

Черный снегопад. Беседу вела Ирина Пуля. — «Труд-7», 2002, № 201, 6 ноября.

«У меня не было видений, [как у Даниила Андреева], я ничего не видела и не слышала, но понимание того, что самый главный мир — иной, — это было тоже с детства», — говорит вдова писателя Алла Андреева.

См. также: **Даниил Андреев**, «На великих перекатах времени» — «Новый мир», 1987, № 4; **Даниил Андреев**, «Роза Мира. Фрагменты» — «Новый мир», 1989, № 2; **А. Андреева**, «Жизнь Даниила Андреева, рассказанная его женой» — «Новый мир», 1993, № 7; «О пламенном хоре, которого нет на земле. Разговор о творчестве Даниила Андреева <...>» — «Новый мир», 1996, № 10.

Владимир Шапко. Забегаловка времен развитого социализма. — «День и ночь», Красноярск, 2002, № 5-6, июнь — сентябрь.

«Длинные тощие сосиски на тарелке напоминали сваренные человеческие пальцы. Серов слотнул...»

См. также: **Владимир Шапко**, «Берегите запретную зонку» — «Волга», Саратов, 1998, № 1; «Юная жизнь Марки Тюкова» — «День и ночь», Красноярск, 1998, № 4-5; «Дырявенький кинематограф» — «День и ночь», Красноярск, 2001, № 5-6.

См. также: **Павел Басинский**, «Поздние цветы империи» — «Новый мир», 1999, № 5.

Сергей Шаргунов. На тему любви. Новые главы из романа «Ура!». — «НГ Ex libris», 2002, № 41, 21 ноября <<http://exlibris.ng.ru>>

«От случки часто тошнит...» Журнальный вариант романа/повести см.: «Новый мир», 2002, № 6; полный — в издательстве «ЭКСМО-Пресс».

См. также: **Сергей Шаргунов**, «Ура!». Главы из повести — «День литературы», 2002, № 12, декабрь <<http://www.zavtra.ru>>

См. также: **Сергей Шаргунов**, «Рай — это другие» — «НГ Ex libris», 2003, № 1, 16 января <<http://exlibris.ng.ru>>

Игорь Шевелев. Комментарии к дневнику. — «Время MN», 2002, № 212, 23 ноября.

Беседа со старшим сыном Давида Самойлова, литератором, переводчиком, редактором журнала «Комментарии» **Александром Давыдовым**: «Отец <...> избегая тягостного и невнятного, старался быть человеком света, но тень растягивалась к закату, и отец с годами все хуже помещался в творимый им блестящий и обаятельный образ, в котором скапливалось все светлое и благодатное в своей натуре. Этот образ носил его детское, дурашливое имя [Дезик]. <...> Отец совершил большой душевный труд, преодолел дьявольский государственный соблазн и гармонизировав хаос войны. Он смирил тьмы демонов, не чураясь их, а мужественно выходя им навстречу, не вооруженный ничем, кроме мудрого простодушия, долгие годы остававшегося цельным».

С текстами других интервью, подготовленных **Игорем Шевелевым**, можно познакомиться на его сайте по адресу: www.newshevelev.narod.ru

Елена Шерман. Русский миф Голливуда. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture/cinema>>

«Россия в голливудских фильмах предстает антиподом нормального мира по всем параметрам — от климата до социальной организации. <...> Холод выступает здесь не как географическая реалья, а как атрибут магического пространства, где, как мы помним, все наоборот».

«Образ русских в голливудской мифологии представляет собой антропоморфное воплощение чуждых человеку хтонических сил, чужих в мифологической модели, пришельцев из иного мира, противостоящих человеку. <...> Образ жизни их и им подобных настолько далек от человеческого, а поведение настолько выходит за рамки здравого смысла, что этими странными существами можно было бы пренебречь, если б не их *сверхъестественные способности* <...>. Будучи порождениями хтонического мрака, демонические [„русские“] существа изначально лишены положительного креативного начала и могут только *разрушать* — не важно, идет ли речь о других людях, о созданном ими или о них самих. <...> все сюжетные линии, в которых участвуют [„русские“] красавицы, не выходят за рамки традиционного мифологического сюжета, именуемого „любовная связь человека с демоном“...»

«<...> такая же условность — русская речь, все эти „карашо, товарищ“. Главное, чтоб на английский не походило, а уж какой набор звуков прозвучит с экрана — значения не имеет. Цель у всех этих мелких деталей лишь одна — продемонстрировать различия между людьми и не людьми».

Михали Шиксентмихали, Роберт Кьюби. Телемания — это диагноз. — «В мире науки (*Scientific American*)». Ежемесячный научно-популярный журнал. 2002, ноябрь.

«Энцефалограмма также демонстрировала ослабление ментальной стимуляции во время просмотра телепередач (чего никогда не наблюдалось при чтении!). Но самое удивительное: когда телевизор выключали, чувство релаксации пропадало, а ощущение пассивности оставалось».

Дмитрий Шушарин. Сбивающие газ, или Россия-68. — «Русский Журнал», 2002, 27 ноября <http://www.russ.ru/ist_sovr>

«Вся [консервативная, праволиберальная] прогосударственная позиция сводится к одному — к апологии *status quo*. Но этот самый *status*, который *quo*, глубоко депрессивен для граждан, для простых людей, для индивидуумов, чье благо должно быть высшей ценностью для правых либералов и консерваторов».

«**Я редактирую самый независимый журнал...**» Беседу вел Геннадий Красников. — «Литературная газета», 2002, № 48, 4 — 10 декабря.

Говорит главный редактор нью-йоркского «Нового Журнала» **Вадим Крейд** (Крейденов): «Поэт Цетлин был редактором с 42-го до 45-го, затем историк [Михаил] Карпович до 59-го, затем [Роман] Гуль до 86-го и восемь лет прозаик Юрий Кашкаров до 94-го. Лучший период — время Карповича и Гуля. Просто потому, что сейчас нет (или мы не видим?) писателей уровня Бунина, поэтов, равных Георгию Иванову, культурологов вроде Вейдле, публицистов, подобных Федотову, нет философов таких, как Франк и Лосский, и критиков, как Адамович. Все они сотрудничали в „НЖ“, когда редакторами были Карпович и Гуль».

Игорь Яковенко. Дезинтеграция РФ: сценарии и перспективы. — «Отечественные записки», 2002, № 6.

«Возникает ощущение, что проблема двух субэтносов русского народа табуирована и спрятана в подсознание русской культуры. Между тем наличие качественно неоднородных Севера и Юга России — реальность».

Савелий Ямщиков. Живший не по лжи. Воспоминания об Андрее Тарковском. — «Русская мысль», Париж, 2002, № 4431, 4432 <<http://www.rusmysl.ru>>

«Последний раз я видел Тарковского в середине 70-х. Мы со Львом Николаевичем Гумилевым гуляли по арбатским переулкам. Андрей, как всегда, куда-то торопился. Задержался с нами ненадолго, чтобы поближе познакомиться с ученым, лекции которого посещал вместе со своими студентами с Высших режиссерских курсов. Прощаясь, отозвал меня в сторону и сказал: „Завидую, Савелий, твоей дружбе с таким самобытным и чистым человеком. Счастливый! — и, как это было свойственно ему, резко перешел на другую тему: — Ты читал что-нибудь Валентина Распутина? Нет? Обязательно прочти. Это классик. Но приготовься плакать”».

Игорь Янчук. При чем же здесь тоталитаризм? — «Русский Журнал», 2002, 6 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>

«Вот типичная цитата [из книги Т. М. Горяевой „Политическая цензура в СССР. 1917 — 1991 гг.“]: „СССР брежневской эпохи — эпохи застоя’ — стал для мира воплощением зла и полицейского государства”. Писать в 2002 г. в таких выражениях — значит прожить последние 17 лет в башне из слоновой кости под шорох пыльных архивных листов и книжных страниц».

Составитель **Андрей Василевский.**

«Вопросы истории», «Детская литература», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Илья», «Литературная учеба», «Малый Шелковый Путь», «Новое литературное обозрение», «Октябрь», «Склянка Часу»

Рамазан Абдулатипов. Надписи. Предисловие Александра Эбаноидзе. — «Дружба народов», 2002, № 12 <<http://magazines.russ.ru/druzha>>

Известный общественный деятель не перевел их с аварского, а написал *по-русски*, создав, по сути, новый жанр поэтического афоризма. Несомненно, это словесность.

А[лександр] А[пальков]. Несколько слов о стихах Джона. — «Склянка Часу», 2002, № 23-24.

«Джон» — это погибший рокер, однажды предложивший главному редактору русско-украинско-немецкого «литературно-мистецького» журнала (А. Апалькову) свои, как я, к сожалению, вижу, абсолютно беспомощные рокерские поэмы. «Готовя этот номер журнала, я нашел стихи Джона. Я даже не спросил его имя и фамилию, — подумалось мне. Мой журнал — это прибижище талантов всех размеров... Я и задумывал его как шанс для ныне здравствующих пишущих, которых объединяет хоть общая скорбь или общая надежда... Ведь именно она, по мысли, кажется, Огарева, заставляет хвататься за

перо разных авторов, и даровитых, и менее даровитых, но стремящихся возвысить свое сердце. И пишущий очищает свое сердце в надежде, что и читающий поступит так же».

Увы, несмотря на благодарные чувства вашего обозревателя за теплое письмо от редакции «Склянки Часу», на сей раз — против прошлой (№ 22) публикации дневника Нестора Кукольника — *схватиться* в текущем номере ни за что не удалось. Но поверит ли г-н Апальков моему искреннему огорчению?

Л. Арсеньев. Заметки усомнившегося. — «Октябрь», 2002, № 10 <<http://magazines.russ.ru/October>>

«Если тень у Анненского действительно ПРИЛЪНУЛА СКВОЗЬ окно (выше цитируется полностью стихотворение „Черный силуэт“ со злополучной строфой, всегда печатаемой так: „Пока прильнув сквозь мерзлое окно, / Нас сторожит ночами тень недуга, / И лишь концы мучительного круга / Не сведены в последнее звено...“ — П. К.), то остается только зарыдать. Стихотворение, которое могло стать самым совершенным в русской поэзии выражением смертной тоски, стихотворение почти гефсиманской силы, испорчено, и испорчено безнадежно. К счастью, чтобы поправить дело, нужно совсем немного — вернуть сбежавший конвой запятых около деепричастия «прильнув» и убрать лишнюю запятую в конце искалеченного пятого стиха:

Пока, прильнув, сквозь мерзлое окно
Нас сторожит ночами тень недуга...

Теперь можно жить на этом свете, не правда ли?»

Людмила Бубнова. Стрела Голявкина. — «Октябрь», 2002, № 10.

Жена написала о своем муже — одном из самых самобытных и талантливых питерских прозаиков. Что это: документально-художественный роман, беллетризованные воспоминания в недовлатовском духе или так называемый *фантастический реализм*? Глава 15-я: смерть Шукшина, неожиданный градус голявкинского горя, совместное с маленьким сыном битие старинных тарелок. Прочитаешь и скажешь, как в «Трех товарищах»: «Крепко, крепко». Вроде ничего особенного: биографическая канва, случаи из жизни, разговоры. Но цепляет этот джаз сразу.

Введение в антологию. — «Малый Шелковый Путь». Новый альманах поэзии, 2002, выпуск третий.

Составители альманаха — Санджар Янышев, Вадим Мурахтанов и Сухбат Афлатуни — соединили здесь представителей двух *разных* поэтических школ — «ферганской» и «ташкентской». Впрочем, и в тех и в других классах пишут по-русски. По крайней мере так это выглядит. Цитирую из большого предисловия, хранящего следы ненаписанного манифеста: «Порой поэтическая центрифуга как бы выбрасывает автора на чужую — хоть и не всегда чуждую — литературную орбиту, из которой укорененность в русской стихотворной версификации с ее стопами и метрами кажется анахронизмом. Примеры тому легко обнаружить едва ли не у каждого из представленных авторов. (Почти все они, в силу историко-географической и этнической принадлежности, ощущают уникальность своего нахождения в данном времени и пространстве, неизбывную свою *двоемирность*.) Возможно, подобный „отрицательный“ опыт — единственный шанс — хотя бы *на время* — оказаться „по ту сторону“ ЛИТЕРАТУРЫ».

Попробуйте разобраться с хитроумными курсивами, кавычками и прописными в этой аттестации. Замечу, что «Малый Шелковый Путь» — это всего лишь проект со всеми приличествующими этому мероприятию условностями и заданными параметрами. Иными словами, прочитав альманах, я так и не смог поверить в продекларированную выше «уникальность нахождения» «в силу принадлежности». По преимуществу это все-таки, на мой взгляд, затянувшаяся игра в словесность — пускай весьма благородная, интеллектуальная и романтическая. Что, конечно, не отменяет серьезных литературных успехов Ш. Абдуллаева, Х. Исмаилова, нежно любимого мной С. Янышева и некоторых других. Не отменяются также переводы и заграница, форумы и фестивали, более или менее триумфальные премии. Это, читатель, не миражи, как может иногда показаться при чтении, а реальное закрепление альтернативного культурного прорыва. Как и хорошо скрываемая *вторичность* новоявленного восточного тумана. На вкус и цвет, конечно.

Город по вертикали. Интервью Валерия Попова — Алексею Пурину. — «Звезда», Санкт-Петербург, № 11 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

«А. П. Тогда поговорим о качестве. Есть ли сегодня писатели, которым вы завидуете творческой завистью?»

В. П. Ну, я завидую каким-то отдельным их сторонам: носу Ивана Ивановича и ушам Ивана Петровича. Скорей даже поведенческим вещам — они сейчас делают девяносто девять процентов успеха. Скажем, менеджерским способностям плодovitой пи-

сательницы или чутью Запада, которое выказал известный поэт, знающий, что Западу нужна не литература, а набор отмычек. А по настоящему счету — скажем, говорку Манинина. Такому талантливому разговору о неталантливом человеке...»

Гр. Гуковский. О стадиальности истории литературы. — «Новое литературное обозрение», № 55 (2002, № 3) <<http://magazines.russ.ru/nlo>>

Первая публикация эмблематичной статьи «позднего» Гуковского (1943?). За шесть лет до ареста, Саратов. «Мы склонны обижаться за гениев, близких нам по времени, по мировоззрению, за писателей — соратников и помощников в нашей борьбе; мы склонны не верить, что и они когда-нибудь будут прошлым, будут историей. Но в то же время мы с легкостью лишаем права на жизненность, на подлинность писателей прошлого, *которые тоже были когда-то* такими же живыми и волнующими. И то и другое одинаково легкомысленно, внеисторично и неосновательно. Надо уважать законы истории и помнить, что в познании их — свобода».

Л. Н. Гумилев. Из поэтического наследия. Публикация и вступительная заметка В. Н. Вороновича и М. Г. Козыревой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 11.

Ей-богу, он писал *стихи*. «Тускнеет сон, бледнеет явь, / Алеет только кровь. / Так что же, жизнь тоской разбавь, / Но сердце приготовь / Увидеть гибель мертвеца, / Кем мы побеждены. / Я буду верен до конца / Концу моей страны». Это из шестой части поэмы «Седьмая жена синей бороды». Все публикуется впервые. Написано в тридцатые годы.

Кирилл Ковальджи. Жила-была студия. — «Литературная учеба», 2002, № 5, сентябрь — октябрь.

Основатель и руководитель поэтического клуба «Поэзия» о своих коллегах-учениках, истории развития литературного объединения, о трагической Нине Искренко и многом другом. «Самый незначительный — это я. А мои „студийцы“, что ни говори, прогрессели... <...> Я не собирался делиться опытом, преподавать уроки мастерства, мое поведение определялось скорее принципами дзэн-буддизма. Авось что-нибудь получится. Как бы само собой. Я и в собственной жизни всегда полагался не на расчет, а на чутье».

Илья Кочергин. Помощник китайца. Повесть. — «Знамя», 2002, № 11.

С сенчинским «Нубуком» (см. «Новый мир», 2002, № 11 — 12) эта вещь рифмуется, как любовь с морковью. Личное дело плывущего по течению молодого человека. Конечно же, *лишнего*.

См. также рассказы **Ильи Кочергина**: «Новый мир», 2000, № 11; 2001, № 6; «Знамя», 2001, № 12.

Марина Кудимова (председатель жюри Илья-Премии). Будьте как дома. — «Илья». Альманах. 2002, выпуск 1 <<http://ilyadom.russ.ru/ditlenter/ditlalamanah>>

«Дом, в котором он хотел бы жить и где хотел бы поселить всех, кто ему дорог, Илья нарисовал еще в детстве. Нарисовал — и описал устройство этого дома. Но получилось так, что гости сошлись, когда хозяин переселился в другой дом — „где нет ни плача, ни воздыханья“: Илья погиб в августе 1999-го. Так что виртуальность Дома Ильи имеет еще и высокий метафизический смысл. Как, впрочем, все, к чему прикоснулся этот непростой мальчик. И, выполняя обещание, данное нашим детям (а взрослые должны выполнять обещания!), — собрать их под обложкой альманаха, мы вроде бы абсолютно естественно, а на самом деле — все под тем же незримым присмотром и по благословению хозяина, Ильи Тюрина, просто решили перенести на бумагу уже существующий Дом».

Даже рубрики и разделы трехсотстраничного издания совершенно «домашние»: от Гостиной и Кабинета до Холла и Лестницы. В альманахе много известных литературных имен, есть настоящие открытия и находки. Но главное, есть интонация *сбережения* молодых дарований и их творений.

См. также <<http://www.pereplet.ru/text/tyurin>>; <<http://ilyadom.russ.ru>>

См. также: **Илья Тюрин**, «Многоточие в конце человека. Из записных книжек» — «Новый мир», 2001, № 12.

Вячеслав Куприянов. Оглядываясь в грядущее. — «Дружба народов», 2002, № 12.

Мастер верлибра рассказывает о *поэтическом* пиаре — внятным регулярным стихом. Приведу последние две строфы — наименее безжалостные.

..Вот тебя, как бочку, катят,
Вот качают на руках!
Тут поддержат, там подхватят
На заморских языках.

И уже пришла известность,
Бредни обратились в бльз.
Неизящная словесность
Утверждается как стиль.

Александр Кушнер. Почему они не любили Чехова? — «Звезда», 2002, № 11.

«Они» — это Анненский, Ахматова и — особенно — Ходасевич. «Нет, не мог Чехов убудить тех, кому предстояло жить в XX веке».

Доказательное, изящное толкование.

А. В. Лавров. «Производственный роман» — последний замысел Андрея Белого. — «Новое литературное обозрение», № 56 (2002, № 4).

«„Чем интересовался мир на протяжении тысячелетий <...> рухнуло на протяжении последних пяти лет у нас. <...> Огромный ноготь раздавливает нас, как клопов, с наслаждением щелкая нашими жизнями, с тем различием, что мы — не клопы, *мы — действительная соль земли, без которой народ — не народ*”. <...> Дневниковые записи (типа вышеприведенной. — П. К.) были сделаны до ареста его архива в мае 1931 г.; маловероятно, чтобы он был способен доверить бумаге размышления подобного рода после этого события. <...> Надеюсь посредством „производственного романа“ (упоминания в разговорах весны — лета 1933 года. — П. К.), статьи о социалистическом реализме и других сочинений в аналогичном духе полноправно вписаться в советский литературный процесс, Белый временами достаточно ясно осознавал всю тщету лицедейства, невозможность подлинной победы в игре со столь всемогущим партнером. <...> В воспоминаниях о Белом П. Н. Зайцев приводит слова, которые „будто бы говорил он в клинике в последние дни“: „Мне предстояло выбрать жизнь или смерть. Я выбрал смерть”».

Дмитрий Новиков. Рассказы. — «Дружба народов», 2002, № 12.

Из предисловия **Андрея Волоса**: «Проза Новикова — это игра именно на языковом поле. Правила ее таковы, что при случае автор может чувствовать себя свободным от необходимости точно отображать действительность. Его аргументы, предъявляемые в споре со стихией обыденности, лежат в области недоказуемого. <...> Целью искусства, на наш взгляд, является поиск все новых доказательств того, что человек не одинок в этом мире, и только наличие убедительных находок такого рода отличает произведение искусства от потребительского явления массовой культуры. Проза Дмитрия Новикова в русле той замечательной школы литературного искусства, к которой принадлежат в первую очередь Иван Бунин и Юрий Казаков...»

См. рассказ **Дмитрия Новикова** в одном из ближайших номеров «Нового мира».

Новый гуманитарий в поисках идентичности. Театрализованное научное действо в нескольких картинах, с интермедиями, прологом и эпилогом. — «Новое литературное обозрение», № 55 (2002, № 3).

Пятидесятистраничная дискуссия (включающая письменные «выступления»). Шестнадцать участников: филологи, социологи, историки, культурологи, методологи. «Получается, что кризис филологии так же перманентен, как сексуальная революция» (**Ирина Прохорова**, главный редактор «НЛО»). «Нужно различать два разных уровня: наше самоопределение, экзистенциальное и профессиональное, и второй уровень — образовательные последствия нашей деятельности» (**Илья Кукулин**, критик).

М. Павлова. «Одиночество» и «Об одиночестве» **Ф. К. Тетерникова**: ранняя поэма и психофизический очерк **Федора Сологуба**. — «Новое литературное обозрение», № 55 (2002, № 3).

«Незавершенная поэма **Федора Сологуба** „Одиночество (история мальчика-онаниста)” — самое большое по объему из его произведений долитературного периода, в котором обе стороны его личности — искушенный народнической идеологией школьный учитель и начинающий поэт-декадент — явили себя одновременно, интимно и непосредственно».

И — немного из самой поэмы: «Быть может, музы своенравной / В труде рожденное дитя / Исчезнет в темноте бесславной, / Мои надежды поглотят». Это из вступления, названного «Посвящение Некрасову». Благодаря «НЛО» дитя не исчезло: «И эти силы поддержали / Его могучий организм, / Хотя безжалостно ломали / Его тоска и онанизм». Это из *Приложения 2* (л. 44 — 49 об.).

Эмиль Паин. Национальные особенности наркоторговли. Этническая специфика контрабанды наркотиков в Россию: мифы и реальность. — «Дружба народов», 2002, № 12.

«Разница между российскими и центрально-азиатскими публикациями на эту тему состоит лишь в том, что роль главного распространителя наркотиков, которую в России

отводят азербайджанцам, таджикам или цыганам, в других странах приписывают русским».

Борис Пастернак — Ромен Роллан. На том берегу неба. Переписка. Предисловие, перевод и публикация писем Евгения Пастернака. — «Знамя», 2002, № 11.

Пастернак — Роллану: «Мне не отказывают в маленьком одолжении (отправить жену и сына к своим родителям в Мюнхен. — *Л. К.*) На путях неофициального покровительства (единственно возможного в этом деле) мне передают и варьируют ответ с полускрытым намеком на то, что я никогда не получу ни согласия, ни отказа на свою просьбу именно потому, что предмет ходатайства неопровержимо требует разрешения. Это косвенный способ указать вам, что вы забыли, что вы раб и не можете ни на что рассчитывать, кроме того, что вам причтут и что (не спрашивая вас) вам припишут в области официальных мифов. Будьте свидетелем. Не делая из этого выводов. Было бы невыразимой подлостью рассчитывать не знаю на что с Вашей стороны и молчаливо намекать на это, повышая цену действия своего рассказа. Но я хочу, чтобы Вы знали о моих унижениях и провалах как внутренней природе моих усилий. Я ее Вам посвящаю».

Полемика. — «Новое литературное обозрение», № 56 (2002, № 4).

Как печатают Пушкина. М. Строганов критикует Б. Гаспарова («НЛО», № 52), затем к нему присоединяется С. Фомичев («Точка, точка, запятая...»). Последнее слово у объекта критики: «Я категорически отвергаю подозрение моих оппонентов, что я вознамерился их „учить“, как должно издавать Пушкина, — не потому, чтобы я считал, что им нечему учиться (этого я не считаю), но единственно потому, что, по моему глубочайшему убеждению, ни я, ни они и никто другой не обладают единственно истинным „научным“ пониманием предмета. Такого понимания просто не существует, как не существует рукописей Шекспира, отсутствие факсимильного издания которых столь наглядно демонстрирует превосходство отечественной науки перед границей».

На ту же тему см.: «Новый мир», 2002, № 6 и № 12.

Политический архив XX века. И. В. Сталин в работе над «Кратким курсом истории ВКП(б)». (Вступительная статья и подготовка публикации М. В. Зеленова). — «Вопросы истории», 2002, № 11.

Эта работа, естественно, открывает номер. «Публикуемые документы раскрывают работу Сталина над главами учебника. Сталинские вставки везде передаются курсивом без оговорок (вставки иных лиц передаются курсивом с оговоркой в примечаниях). Зачеркнутый текст передается в ломаных скобках. Все разночтения с окончательной редакцией текста приводятся в примечаниях. Текст, не зачеркнутый Сталиным в макете книги и в машинописи, но не вошедший в окончательную, опубликованную редакцию, передается в прямых скобках». Добросовестная, бережная публикация.

Рустам Рахматуллин. Красная площадь: опыты метафизики. — «Октябрь», 2002, № 10.

Из вступления ведущего рубрики **Андрея Балдина**: «Протяжение, движение текста Рустама возвращает Москве длительность, неразрывность существования: то, что, казалось, безвозвратно утрачено. Книга „Две Москвы“ Рустама Рахматуллина готова к выходу; статьи, заметки, комментарии, архитектурная критика, эссе — москвоведы отслеживают их на протяжении многих лет, первый текст появился осенью 1994 года — и все складывалось, связывалось, сплеталось в книгу. Перекрестия маршрутов сходились в искомую сплоченную ткань. Путешествие по городу — к Москве, которая никак не город, скорее сумма городов. Название книги обозначает крайние створки, обложку, в которую помещены не две Москвы, но сонм, свод, стопка сообщающихся между собою текстов-карт».

За эссеистический цикл «Облюбование Москвы» («Новый мир», 2001, № 10; 2002, № 11) Рустаму Рахматуллину присуждена премия нашего журнала.

Роль личности в истории филологии: к 100-летию со дня рождения Г. А. Гуковского. — «Новое литературное обозрение», № 55 (2002, № 3).

Воспоминания Руфи Зерновой, ее мужа Ильи Сермана и Лидии Лотман (сестры Ю. М.).

«Женскую красоту он ценить умел — все знали, что его жена, Зоя Владимировна, была им выбрана по фотографии, когда еще была абитуриенткой. И больше ни одного романа во все известное нам время. Но одно дело романы, другое — умение видеть» (Р. Зернова).

«В ходе „антикосмополитической“ кампании Гуковский был уволен из университета, ждал со дня на день ареста, и круг его знакомых значительно поредел. <...> „...помните, что вы — Гуковский, этого никто не может у вас отнять“. Он возразил мне: „Это одни слова!“ Но я думаю, он сознавал свою силу и не мог отказаться от борьбы» (Л. Лотман).

«В книге о Гоголе была сделана попытка найти исторические корни „роевого“ начала русской жизни. <...> Стремление понять переходит у Гуковского в оправдание и апологетику. Гоголь-сатирик становится поэтом высоких душевных свойств русского человека, а «Мертвые души» из зеркала пошлости пошлого человека превращаются в героический эпос. Книга о Гоголе — это зрелище трагических мук таланта, который хотел сделать невозможное — преобразовать пошлую, грязную и кровавую практику бюрократического тоталитаризма в этические формы соборного самопознания. Книга в этом смысле противоречива и двойственна. Удивительные по проникновению страницы и главы ни за что не хотят подстраиваться под ее генеральную линию. <...> Сегодня в нашей науке, кроме вполне закономерного стремления заполнить белые пятна, которых еще так много в культуре всех веков, ощутим сознательный уход от конкретно-исторического изучения всего многообразия живой литературы в техницизируемые абстракции или в психоаналитические фантазии» (И. Серман).

Сергей Спирихин. Кони́на. (Куски из романа). — «Малый Шелковый Путь», 2002, выпуск третий.

Подневный («как бы») дневник с вкраплениями — курсивом — нового произведения уважаемого автора, «основателя философии Сё» и одного из лидеров питерского художьединения «Новые тупые».

«12 декабря 2000. <...> Сфотографировался на память и на документ. При ночной лампе, держа две книги на животе, читать то Стерна, то Селина, то попеременно, то одновременно. Если бы еще удалось на них пристроить де Сада, то это был бы уже животворный треугольник, магический коктейль. 19 декабря 2000. Просидел весь день, поджав ноги, в кресле. <...> Да, тупеть — это огромный талант, тяжелый труд и недевическая мужественность. Всегда жаль себя, своего имени, своих амбиций и здоровья на заведомую ерунду, на проигрыш и позор, — даже само название „Новые тупые“ иногда больно ранило честолюбие Игоря. Но внутренний опыт деградации говорил о другом: это перспективный путь наверх».

Скучно мне, господа хорошие. Кстати, если вы не поняли, при чем тут узбекские эманации, читайте биографическую справку: «В 1987 — 2001 жил попеременно в Ташкенте и Санкт-Петербурге».

С. Н. Третьякова. Английский писатель-путешественник Стефан Грэхем о России начала XX века. — «Вопросы истории», 2002, № 11.

Он путешествовал по нашему краю пешком начиная с 1905 года. Потом писал об этом вдохновенные и наивные книги, а умер в 1975 году, в возрасте 90 лет. Судя по примечаниям, Грэхема у нас до сих пор не перевели и не издали. Очень глупо.

Как любил нас и нашу литературу.

Александр Трофимов. «Не я выбрал сказку, а она меня...». — «Детская литература», 2002, № 4.

Главный редактор журнала беседует с автором первого в России романа о жизни Андерсена («Сын башмачника», М., 1998). «...Андерсену помогла стать гением именно его близость к Богу. Он всегда молился в трудные минуты жизни. Это же делают герои его произведений. <...> Мы знаем только главные сказки Андерсена. А ведь у него более 170 отдельных сказок и историй. Пользовался в дореволюционной России успехом его роман „Импровизатор“. Сейчас переизданы „Импровизатор“ и „Только скрипач“. Именно Андерсен, на мой взгляд, оказал наибольшее влияние на русскую литературу за последние полтора века. В подсознании с детства — его лиризм, темп речи, взгляд на мир. Я вижу влияние Андерсена в творчестве Набокова и Платонова, которых в ряде произведений можно рассматривать как гениальных сказочников. Андерсен мечтал побывать в России; к сожалению, этого не произошло. Но другая его мечта — иметь автограф Пушкина — сбылась».

Илья Тюрин. Письмо А. И. Солженицыну. — «Илья». Альманах. 2002.

«Даже не надеясь на то, что Вы будете держать это письмо в руках, в душе, может быть, питая зачаток мысленного ответа, я посылаю его просто потому, что любой Ваш адрес, где бы Вы ни жили, — это адрес персонифицированной, одушевленной России, это адрес, который уже сам по себе ответ на каждый искренний возглас. Читая Ваши книги — вплоть до последней, — я чувствую, что Вы несете в себе будто осколок той страны, которой могла бы стать Россия, не будь на ее пути вековых завалов — и далеко позади, и еще в грядущем. Зло наступает на нашу родину не обязательно со стороны Кремля или в виде пушек НАТО — оно копится в любой точке пространства, и воевать нам приходится на миллионах фронтов. Но, может быть, только один из таких фронтов имеет свой почтовый адрес, посылая мое письмо Вам, Александр Исаевич, я знаю, что ни само оно, ни слабая подмога, выраженная в нем, не пропадут даром...»

Даже в вышеприведенном зачине видно, какой незаемный зрел в мальчике *стержень*. В альманахе, кстати, помимо стихов и дневниковых записей публикуются некоторые философские и культурологические статьи Тюрина.

И в сторону: откроешь недавно изданный в серии «Современная библиотека для чтения» сборник «избранных эссе» известного Г. Шульпякова («Персона *grappa*», глава «Париж. Урок настоящего времени») и читаешь с тоской, как он (род. в 1971), будучи студентом МГУ, одним из «перманентно поддатых юношей», таскал в сумке книжку Солженицына. Зачем? Дабы поменять в «обменнике» на «действительно нужную книгу» («пророчества же Александра Исаевича [мы] считали безвкусными прежде всего с эстетической точки зрения и не придавали им значения, о чем жалеть и по сей день не стоит»). А ведь небось и двух страниц не прочли, перманентные.

Ричард Уортман. Изобретение традиции в репрезентации российской монархии. Авторизованный перевод с английского М. Долбилова — «Новое литературное обозрение», № 56 (2002, № 4).

«Изобретение традиции в России использовалось для поддержания мифа, который требовал впечатляющих обновлений и резких разрывов преемственности, чтобы утвердить образ недоступной и неотразимой власти. В этом контексте изобретенные традиции едва ли могли породить чувство единого исторического прошлого. Новые традиции ставили под сомнение старые и вели к разрушению ауры величия, прославлявшей императорскую власть. На взгляд критически настроенного Павла Милокова, избыток традиций был равнозначен полному их отсутствию». Семьдесят страниц отдал журнал теме репрезентации власти («Символы и нарративы монархии»).

Станислав Фурта. Кто там идет? — «Литературная учеба», 2002, № 5, сентябрь — октябрь.

«Ну почему, почему у вас все устроено с таким беспросветным идиотизмом? Мы там наверху тоже испытываем голод... По вам... И знаешь почему? В природе необходимо равновесие. Для его сохранения надо породу вашу периодически прореживать безвременными кончинами. Понял? Да оставь тебя в живых и заberi мы вместо тебя бедолагу Дантеса, что бы ты еще мог натворить!..»

И т. д., и пр. Сие полотно представляет последние дни Пушкина, а в данном случае вы читали фрагмент монолога беса у постели раненого поэта. Причем монолог исходит то из дьявольского силуэта, то из приправшей к изголовью Гончаровой. Вроде как и через нее прет дьявольская чернуха. Впрочем, градус монструозной пошлятины у Фурты не везде одинаков. Ведь он хочет «как лучше», душой, так сказать, болеет. Особенно неловко читать последнюю *исповедь* Пушкина перед Божественным причащением. Две с половиной страницы читательского стыда за Фурту.

Валерий Черешня. Стихи. — «Звезда», 2002, № 11.

<...> И ты готов вобрать непредставимость воли,
Простертой белизны скрипучее жильё,
Пока еще ты жив и на булавку боли
Не наколол Господь сознание твое.

Этюды о Бродском. — «Новое литературное обозрение», № 56 (2002, № 4).

Их три. **Николай Богомолов** свой (О двух «Рождественских стихотворениях» И. Бродского) начинает двумя признаниями. Первое: «Должен покаяться перед просвещенным человечеством в том, что не люблю стихов Иосифа Бродского. <...> Скажу только, что отношение, подобное моему, не только не мешает, но может даже помогать филологической работе...» И сразу же второе, в сноске: «Считаю необходимым оговорить, что знаком лишь с ничтожной частью обширнейшей литературы о творчестве И. Бродского, и заранее винюсь, если мои рассуждения окажутся изобретением велосипеда». Какое своеобразное поведение маститого гуманитария. Может быть, это такие поиски идентичности?

Густав Яноух. Разговоры с Кафкой. Фрагменты из книги. Перевод и вступительная заметка Г. Ноткина. — «Звезда», 2002, № 11.

У автора «Процесса» и «Замка» был свой Эккерман. Эти главы по-русски еще не печатались.

«Мы вошли во францисканскую церковь на Юнгманплац.

На какой-то миг в лице Кафки возникло движение улыбки, однако оно тут же замерло в жестких складках около губ; затем он сказал:

— Чудо и насилие — это просто два полюса неверия. Мы растрчиваем жизнь в пассивном ожидании какого-то указующего послания, которое так и не приходит, потому что как раз своим перенапряженным ожиданием мы закрываемся от него. Или же, в крайнем нетерпении отбросив всякое ожидание, топим свою жизнь в преступной кровавой и огненной оргии. И то и другое неправильно.

— А что правильно? — спросил я.

— Вот что, — ответил Кафка не раздумывая и указал на старую женщину, преклонившую колена перед одним из боковых алтарей невядалеке от двери. — Молитва. <...> Искусство и молитва — это лишь простертые в темноту руки. Мы просим подаяния, чтобы принести в дар себя».

Составитель Павел Крючков.



АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).



АДРЕСА: сайт Российского движения против нелегальной иммиграции: <http://www.dpni.org>



ДАТЫ: 22 февраля (5 марта) исполняется 300 лет со дня рождения поэта Василия Кирилловича **Тредьяковского** (1703 — 1768); 4 (16 марта) исполняется 200 лет со дня рождения поэта Николая Михайловича **Языкова** (1803 — 1846); 16 (28) марта исполняется 135 лет со дня рождения **Максима Горького** (Алексея Максимовича Пешкова; 1868 — 1936); 5 марта исполняется 50 лет со дня смерти Иосифа Виссарионовича **Сталина** (Джугашвили; 1879 — 1953).



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Март

5 лет назад — в № 3 за 1998 год напечатана статья Дмитрия Харитоновича «Феномен [академика] Фоменко».

10 лет назад — в № 3, 4 за 1993 год напечатан роман Владимира Шарова «До и во время».

30 лет назад — в № 3, 4, 5 за 1973 год напечатан роман Юрия Трифонова «Нетерпение».

75 лет назад — в № 3 за 1928 год напечатана пьеса Леонида Леонова «Унтиловск».

ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

* *
*

Довольно кукситься, бумаги в стол засунем,
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.

Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви,
И вся Москва на яликах плывет.

Не волноваться: нетерпенье — роскошь.
Я постепенно скорость разовью,
Холодным шагом выйдем на дорожку,
Я сохранил дистанцию мою.

«Новый мир», 1932, № 4.

SUMMARY



This issue contains stories by Leonid Zorin «Of Romin's Life», a tale by Maksim Gureyev «Fast Movement of the Eyes During Sleep», a story by Olga Postnikova «Singing and Singing!», as well as the ending of the memoirs «Book on Life» by Anna Vasilevskaya. The poetry section is made up of the poems by Olesya Nikolayeva, Irina Yermakova, Viktoria Izmaylova and Georgy Kruzhkov.

Sectional offerings:

Close and distant contains a continuation of diary notes by the literary critic Igor Dedkov «A New Account Has Already Been Opened».

Literary Critique publishes an article by Irina Surat «The Death of the Poet: Pushkin and Mandelshtam».



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, А. Н. Латынина, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, О. А. Славникова, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: newworld@newtimes.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novy_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.09.2002 г. Подписано к печати 28.01.2003 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 9600 экз. Зак. 3049. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия имени Юрия Казакова, учрежденная журналом «Новый мир» и Благотворительным Резервным фондом, присуждается с 2000 года автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России.

По итогам 2000 года лауреатом премии стал **ИГОРЬ КЛЕХ**, по итогам 2001 года — **ВИКТОР АСТАФЬЕВ** (посмертно).

Премия имени Юрия Казакова по итогам 2002 года вручена
АСАРУ ЭППЕЛЮ
за рассказ «В паровозные годы»,
опубликованный в журнале «Знамя» (2002, № 10).

Состав жюри:

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ, поэт,
литературный критик, интернет-обозреватель;

ВИКТОР КУЛЛЭ, поэт, главный редактор
журнала «Старое литературное обозрение»;

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,
президент АКБ «Национальный Резервный банк»,
президент Благотворительного Резервного фонда;

ОЛЬГА НОВИКОВА, председатель жюри,
прозаик, зам. зав. отделом прозы «Нового мира»;

МАРИЯ РЕМИЗОВА, литературный критик,
сотрудник журнала «Континент»;

АНТОН УТКИН, прозаик.

Координаторы премии:

главный редактор журнала «Новый мир»
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ;

генеральный директор Благотворительного Резервного фонда
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Сумма премии — 3000 \$.